95 коп.

Индекс 73276



«Нева», 1990, № 5, 1—208

5/1990

ISSN 0130—741X





«Нева. Мост Строителей»
Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

5/1990

Выходит с апреля 1955 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА



Ленинград
«Художественная литература».
Ленинградское отделение

В номере цветная вклейка:
«Глеб Александрович САВИНОВ.
Страницы творчества»

Старший технический редактор **Г. В. Александрова**
Корректоры **А. Ю. Семина, О. Б. Смирвова**

Сдано в набор 26.01.90. Подписано к печати 29.03.90. М-22009. Формат бумаги 70×108[1]/16. Бумага кн.-журн. имп. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,38 усл. кр.-отт. 23,07+2 вкл.=23,34 уч.-изд. л. **Тираж 640 000 экз.** Заказ № 251. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Герман ГОППЕ

◆◆◆

Помню, при налете огневом
Повышать совсем напрасно голос.
Если твердь на части раскололась,
Оставалось действовать с умом.

Как ни трудно,— под углом прямым
Углублять свое земное лоно,
И при этом не считать персону
Собственную центром кутерьмы.

По губам понять соседа речь,
Непременно на нее ответить,
Но держать все время на примете
Миг, в который землю сбросишь с плеч.

Срок, должно быть, опыту не вышел.
В микрофоны митингов дыша,
В крик кричим. А не пора ли тише
Говорить, чтоб слышала душа?

◆◆◆

Где хотя бы полумеры?
Где ваш опыт? Как же так,
Боевые офицеры,
Мастера лихих атак?!

Площадь с каждым мигом у́же.
На эфес ложись рука!
Он всего один и нужен
Взмах гвардейского клинка...

Снег ленивый над Сенатом,
Что ему полет времен!
Он не знает, что закатом,
Будто кровью окраплен.

А не проще ли, не проще
Из иной взглянуть дали:
На свою святую площадь
Мы и выйти не смогли.

◆◆◆

Киношная лошадь усталые травы жует.
Чтоб в образ вошла,
привезли ее в поле под осень.
Давно отстрелялся,
но помнит свое пулемет:
Изъеденный ствол
на лошадку киношную косит.
Пока еще тихо.
Но ролью владеет она,
В белесых ресницах тоску неизбывную прячет.
Уж если простор,
непременно начнется война.
Свобода в полях для нее не кончалась иначе.

И травы безвкусны,
и пить не потянет река,
И, как у сапера, привычка шагать осторожно,
А то, что у взрывов фальшива начинка, никак
Постичь ни лошадка, ни будущий зритель не сможет.

И все повторится: убитые пыль неспеша
Стряхнут,
и за кофием двинут ни валко, ни шатко.
И будет им вслед с хрипотцой окаянной дышать
Киношная лошадь.
И впрямь фронтовая лошадка.

◆◆◆

Страна привыкла к инвалидам.
Отвыкнуть приближался срок.
И в этом никакой обиды —
Закономернейший итог.
Не горбимся мы, даже горбясь,
Строги к капризам старых ран,
Имеем некоторую гордость:
Последние из могикан.
И жадны:
чтоб судьбой делиться —
Ни боже мой, никак, ни с кем.
Поверили:
войне граница
Теперь и вправду на замке.
И вот удар в святую гордость.
Свою беспомощность кляня,
Стоим, впервые в жизни горбясь,
На новой линии огня.
И видим:
мальчик неумело,
Весенних удивляя птах,
Опору ищет то и дело,
Несет себя на костылях.
До пузырей ладони стерты
И губы сжаты добела,

А тень на плечи гимнастерки
Там, где погонам быть, легла.
Мы знаем, что итоги боя
Не перепишешь набело,
Но кто мы есть,
чего мы стоим,
Когда такое быть смогло.

Эстрадный номер

Особой не нужно удачи,
Тем более мастерства:
Он трубкой усы обозначит,
И разом фигура жива.
И голос гортанный по залу,
И перст, указующий в зал.
И важно не то, что сказал он,
А важно —
кого показал.
Из образа вышел, нацелясь
На новый.
И шамкает рот,
И плохо подвижная челюсть...
Ну кто ж ее не узнает!
И ключ не ищите. Отмычка
Бесстыдно предъявлена нам
В извечной лакейской привычке
Кривляться вослед господам.

◆◆◆

— Нет, обвинять себя не стоит,
На прошлое бросая взгляд...—
Мы понимаем, что пустое
Нам в утешенье говорят.

Кто полной, кто неполной мерой,
Кто каждый день, кто иногда,
Но судим мы себя за веру,
А на безверье нет суда.

Какая дьявольская сила,
Копя патроны про запас,
Отцов к расстрелам уводила,
А гнев не разбудила в нас.

И помним, помним год за годом,
Как, попирая мавзолей,
глядит, глядит отец народов
на праздничных своих детей.

Теперь мы знаем, что покоя
Не будет нам на склоне лет.
Свобода — дело молодое.
Для стариков свободы нет.

Владимир МАКСИМОВ

Последние кони

Нужны корма!.. О них радея
И не спросят простых людей,
Вопрос решили лиходеи:
Добить последних лошадей,

Дабы не ели!.. И ей-богу,
Аж по сéрдцу, как током, дрожь:
Ведь уцелело их немного,
Случайно не попав под нож.

Им не казалось иго игом,
Им был любой не в тягость труд,
Теперь, бродячие, к кулигам,
О чем-то думая, придут.

Ведь ты добра, моя сторонка!
Так почему ж охватит страх
Вот эту лошадь с жеребенком,
Людей увидевших в кустах?

Сохатый

Он и доверчиво, и смело
Несет, не видя в нас врага,
То древо, что окаменело,—
Свои высокие рога.

В логу туман клубится синий,
Пьянит охота, как вино,
И небо,
Небо всей России
В одной слезе отражено...

◆◆◆

Какой же он еще зеленый —
Дубок с растрепанной кроной!
Вот он проснулся на рассвете —
Синицы теренькают в листве,
И не беда, что только ветер,
Веселый ветер
В голове...

◆◆◆

Живу в краю незнаменитом,
Где, словно хлеб, необходим
Над крышей, дранкою покрытой,
Отечества горчащий дым,
Где на полях стога соломы,
Где водоемы не пусты,
Где так нужны за отчим домом
Незнаменитые цветы,
Где ветер, листьями играя,
Подарит паутинок нить...
Горжусь незнаменитым краем,
И сладко мне ему служить.

◆◆◆

Костер в степи. И тишина.
И так таинственны светила!..
Мне древнерусская луна,
Как предку, у костра светила.
И я постиг в какой-то миг,
Я уловил его — мгновенье,
Когда взрывается на крик
То чувство родины — прозренье,
Когда и степи, и леса —
Мой край родной —
Не просто местность,
Когда изящная словесность —
Крестьян окрестных голоса!..
Я слышу иву у воды:
Раскроется неслышно почка —
И вот рождение листочка
Равно рождению звезды!

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

МАРТ СЕМНАДЦАТОГО

(23 февраля — 18 марта)

103

Хотя три левых оратора и объявили с крыльца от имени Думы ободрение восстанию — но совсем не такое настроение было внутри дворца. Да просто почти никто — ни центр, ни кадеты (крайне правых уже сдунуло ветром), этого восстания не одобряли. Пока — миновало, 30-тысячная толпа не пришла громить. Но могла прийти в любую минуту.

А ещё был слух, что с Литейного на Кирочную пробиваются правительственные войска. И эти тоже не погладят Думу, обязанную разойтись, а не разошедшуюся, да ещё допустившую безответственные заявления с крыльца.

Несколько депутатов проявили большое нетерпение. Независимый наскочистый казак Караулов в духе гордой вольности громко требовал открыть формальное заседание Думы, не подчиняясь никакому роспуску. И то же предлагал, заметавшись от группы к группе, до сих пор мало замеченный, а теперь воспламенившийся нервный прогрессист Бубликов, с кипучим взором и острыми чёрными усами:

— Вы боитесь ответственности, господа? Но таким бескрайним послушанием вы безвозвратно теряете своё достоинство! Надо бросить вызов императорскому правительству!

Того хотели и крайние левые, обещавшиеся с крыльца от имени Думы. И Керенский, лунатически входя в какие-то новые чрезвычайные права, кинул дежурным приставам, что надо дать электрический звонок, собирающий депутатов в зал заседаний. Но приставы не послушались его.

А вот — появился в Екатерининском зале и Родзянко, возвышаясь над депутатами крупной головой. И зычно пригласил всех членов Думы — в Полуциркульный зал, на частное совещание.

То был, позади главного зала заседаний, в полукруглом выступе дворца в парк,— сравнительно малый зал, где проводились подсобные совещания, и где бы не поместилась вся Дума полностью, даже и для человек трёхсот присутствующих места было недостаточно, многим пришлось стоять.

Эту хорошую мысль подали Родзянке в последний момент его тягучих размышлений. Преступить высочайшую волю и незаконно собрать на заседание распущенную Думу — он не смел, он присягал, он был верноподданный. Но что мешало депутатам, пользуясь незапертостью помещений, собраться на *частное* совещание, совещание частных лиц, демонстративно минуя главный зал? (А вовсе не собраться никак было невозможно, все этого требовали и ждали.)

И вот они втекали в Полуциркульный. Вот они сошлись, как потерпевшие крушение, лишённые своих постоянных мест, стеснённые, столпленные. Как

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1990, № 1—4.

Печатается по изданию: А. Солженицын. Собрание сочинений. YMCA-PRESS, т. 15, Париж — Вермонт, 1986.

просторно и твёрдо ощущали они себя годами — тут же, за стеною, в этом же здании,— а вот сами не могли узнать ни здания, ни себя. И они даже не имели сил и времени погневаться на правительство, но, застигнутые, прислушивались к какому-то новому как бы звуку, как бы шороху начавшегося великого обвала, чему-то, не объемлемому даже ухом, слишком грозному для уха, растолкуемому лишь в груди.

Перемешалась всякая рассадка их по партиям, как и на самом деле вдруг перемешались взгляды их, такие устойчивые годами, и, каждый в себе не находя силы решения, переглядывались они друг с другом, ища поддержки.

Все правила думского наказа, по которому так бесперебойно функционировали четыре Думы одиннадцать лет,— вдруг отказали им при переходе в этот зал. И, частное совещание, не могли они возглавиться своим обычным президиумом, а за столом поместился теперь весь совет старейшин, чтобы не обидеть никакую фракцию,— хотя была ли хоть одна из них, знающая что делать?

Впрочем, похоже, что знал Керенский. Каким-то ли природнённым чутьём — он вдруг стал понимать смысл событий? — и властно начинал действовать. Вот он, было, пришёл, сел за стол президиума, струнно вытянутый,— как-то особенно замечалась узкая вытянутость его головы,— и вдруг вторым слухом услышал нечто, никому не слышимое,— и по этому зову с несомненностью встал и с несомненностью поспешно вышел, никому ничего не объясняя. И даже такая тень пролетела, что всё их заседание не так важно, как то, что он сделает там сейчас, выйдя.

А Родзянко, кажется сколько уже раз подымавший в Думе на возвышение всю тяжесть России,— вот когда подымал её в первый раз, вот когда ощутил в самом деле тяжко. Раньше вся тяжесть бывала — как сбалансировать между думским большинством и Верховной властью, достаточно угодить первому, не слишком рассердить вторую. Раньше вся тяжесть была — сдозировать выражения, а сегодня — в полной дремучести и неведении, в небывалой обстановке отсутствия и Думы и правительства,— Председателю прежде других надо было что-то разглядеть и сделать, а он не был способен.

Что он мог сказать своим думцам? То, что они знали и сами: что вот четырёхдневные волнения сегодня переросли в вооружённый бунт. Что положение исключительно серьёзно. Что правительство не подаёт ни малейших признаков действия, как бы его вовсе не было, хотя медлить с подавлением бунта недопустимо. Что лично он сделал всё человечески-возможное, послал телеграммы и Государю, и Главнокомандующим, и всё равно ответов от Его Величества нет. Теперь члены Думы должны обсудить положение и принять какие-то меры,— хотя при неизвестности соотношения сил Дума не имеет оснований высказываться определённо.

Не обнадёжил Председатель. Жались. Действительно, положение представлялось ребусом.

Неожиданно слово взял молодой Николай Некрасов. Неожиданно, потому что, как правило, в трудные перевесные минуты он не вылезал с выступлениями, его специальность была — бить и травить, когда уже идёт погоня. Так внутри кадетской партии он травил Милюкова, когда и всё левое крыло на него нападало. Чтоб освободиться от этого назойливого левого кадета, чуть не эсера, и связать его, Милюков и присоветовал его в Товарищи Председателя Думы. Но таким крайним Некрасов был только внутри кадетской фракции и ЦК, а на заседаниях Думы выступал скромно, лишь по деловым вопросам, и даже для правых сумел прослыть умеренным. Он умел притворяться добродушным, но выдавали его угрюмые синие глаза. (При воображении, эту угрюмость понимали как огонь революционера.) И без широкого образования он был, и туповат, не любил его Милюков. И что он сейчас может сказать?

Встал решительно, упёрся кулаками в стол. А всего-то и предложил: что надо немедленно передать всю власть сильному генералу, которому доверяет Дума. Надо немедленно ехать в правительство, заставить его назначить такого генерала и передать ему диктаторские полномочия по подавлению бунта. И только то было слабое место в его предложении, как он понимал, что нет поблизости боевого генерала, которому бы доверяла Дума. Но полагал Некра-

сов, что с этой задачей справится Маниковский (интендант по артиллерийскому снабжению).

Однако не только не взбодрил Некрасов своих коллег, но ещё глубже окунул: потому ли, что высказал тупо-мрачно, без воодушевления, или потому, что левый, а вот просил генерала,— и до чего же, значит, все они внезапно погибали?

Тут вырвался выступить недреманный Караулов. В ноябре он предупреждал Думу о *четвёртом* пути, о революции. С зоркостью терских казачьих разъездов всегда улавливал он и не спускал всякое подозрительное шевеление вдали. И с резкостью, с которой, бывало, потчевал правительство, стал теперь угощать Некрасова и остальных оглушённых думцев: как же так? где же наши все смелые слова? Полный год мы честим правительство дураками, мерзавцами, даже изменниками,— а теперь Некрасов предлагает к этим самым дуракам ехать просить содействия? Они сами попрятались под кровати — а мы будем прятаться ещё за их спину? Нет! довольно болтать! Делать надо что-то самим! А если не сумеем — так и достойны мы, чтобы гнать нас отсюда вон!

Но ч т о и м е н н о делать — не придумал. Не сказал.

Обвал не обвал,— но пока это перестало давать себя знать сюда, свежие страшные вести не врывались в Полуциркульный зал с полукругом больших светлых окон в покойный заснеженный Таврический сад,— и думская привычная процедура начинала брать своё, затягивала. То никто не брался говорить, то — сразу несколько просили слова, от малых фракций.

Заговорил надолго медлительный октябрист Савич, тоже склонявшийся просить военной диктатуры. И рыхловатый прогрессист Ржевский, ни в коем случае не допускавший такого нравственного падения Думы, но должна она избрать из себя орган для прямых сношений с восставшей армией и восставшим народом. (Но если раньше того органа — да ворвётся улица сюда?) И, конечно, неотвязный Чхеидзе,— какой думский день когда-нибудь обходился без него? — и сегодня, как всегда, он поносил и клеймил Думу за её буржуазную трусость — может быть снисходительнее обычного, ибо уже постигало его счастье от событий.

А Керенского всё не было, он где-то метался, *он* что-то важное узнавал, исправлял или предотвращал,— и от фракции трудовиков выступил широколобый, без шеи, всегда беспощадный Дзюбинский. Он тоже резко стыдил буржуазную нерешительную Думу (уже все и забыли, что это совещание — частное): если она есть народное представительство, как всегда себя считала и называла, то её долг и действовать самой, когда уже стал действовать народ. Она, конечно, должна сама восстановить порядок — и создать какой-то комитет с неограниченными полномочиями.

Шингарёв подал реплику: ещё неизвестно, признает ли народ власть такого комитета.

Казалось бы — раньше всех должен бы выступить Милюков, от самой крупной фракции. Но он всё оттягивал, всё уступал место другим, и, кажется, готов был уступить и таким безвестным думцам, кого никогда не видели на трибуне, на кого никогда не хватало регламента. Он оттягивал — потому что ждал какого-то прояснения, большей определённости событий. Милюков не склонен был к аффектам и увлечениям, он был человек от ratio, для суждения он должен иметь ясные посылки, сгруппированные, проверенные факты, из которых он мог бы найти несомненную равнодействующую. (Для того он и записывал всегда, не сегодня, мнения всех выступающих.) А пока происходила лишь неясная уличная мельтешня, неясна оставалась позиция всех видов власти,— самый веский, уважаемый, разумный человек тут, Милюков не мог указать Думе позитивного решения. Если смотреть глубоко в суть, то это могло быть и отчаянно плохо: упущенная из рук, нежеланная революция. Тут не место эффектным речам на публику и бомбам-хлопушкам, какими раньше он глушил власть. Это совещание было — как нашаривание слепыми руками, и полезно было хотя бы послушать других, чтобы легче суммировать. А вот — уже подходила неминуемая очередь говорить, и надо было соблюсти авторитетность вида и мнения, чтоб никто не заподозрил ни малейшей в нём растерянности.

Так вот: не согласен Павел Николаевич ни с Некрасовым, ни с Дзюбинским, и вообще ни с кем, говорившим до него, и может быть — ни с кем, говорящим после. Конечно, было бы совершенно неприлично просить правительство о военном диктаторе. Но также было бы неуместно и создавать для диктатуры свой думский комитет. Дума не может брать в собственные руки власть, ибо она, да памятуют господа члены, есть учреждение законодательное, а стало быть не может нести функций распорядительных. И вот какими доводами из области государственного права это можно с несомненностью обосновать... Но ещё потому мы не можем брать власти и даже принимать вообще какие-либо определённые решения, что нам не известен ни точный размер беспорядков, ни соотношение сил местных войск, ни доля участия рабочих и общественных организаций в этих волнениях. И потому никак не наступил момент создания новой власти. А раздававшиеся в кулуарах горячие голоса войти в Белый зал и объявить себя Учредительным Собранием — и вовсе есть безответственный толчок к хаосу. А самое благоразумное — пока никаких решений не принимать и подождать, подождать...

Тут — внезапно ворвался в зал Керенский, с видом драматическим и всё растущий в значении. Ворвался — и спешил говорить,— и, чего никогда не могло быть в этой Думе в нормальное время,— ему поспешно дали слово, в порядке ведéния, оттесняя и всеобщего лидера, который однако спокойно уступил. И Керенский вышел говорить, даже вздрагивая от избытка знания, ответственности и решимости,— в этих вздрагиваниях как бы сбрасывая слушателям свои палящие мысли:

— Господа! Я непрерывно получаю всё новые сведения! Медлить — нельзя ни минуты! Войска — волнуются! Всё новые полки выходят на улицу! Я — немедленно беру автомобиль и еду по полкам! Я остановлю их — одним убеждением! Но мне надо знать, чтó я уполномочен сказать им? Могу ли я сказать, что Государственная Дума безусловно с ними? Что она становится во главе происходящего движения?

Он вздрагивал с полузакрытыми глазами, едва не покачиваясь от собственных фраз, потом разверзал веки и выбрасывал снопы огня. Сколько лет он вращался среди них — мелкий адвокат, заносливый пулемётный оратор,— и они не знали его, не понимали его полководческого, оказывается, таланта, его силы и даже властности. Теперь это вспучилось, прорезалось — и внушало изумление. И никто не возразил, почему именно *он* должен ехать к полкам.

Однако — и слишком много он хотел от этой Думы! Парламент — он хотел увлечь возглавить улицу, громящую толпу, освобождающую преступников?!

Совещание замялось. Не нашлось такой формы, в которой бы оно вдруг уполномочило Керенского прыгать в автомобиль и нестись по полкам.

А всё же оскорблённый пренебрежением Милюков — снова вступил и презрительно отклонил предложение Керенского: такая поездка никого не убедит, ничего не успокоит. А правильнее — выждать, ещё собрать новых сведений и тогда уже принимать решения.

И прения, едва не вывернутые из колеи, кажется опять могли потечь нормальным ходом и надолго, и Милюков, кажется, должен был оканчивать речь, хотя Керенский уже физически не мог устоять, усидеть, онеподвижиться. И нельзя представить, как бы он с собою справился,— если бы в этот момент не вбежал с криком, взъерошенный и с одним оторванным погоном начальник думской охраны. Вместо того чтоб охранять их всех — он сам просил о защите, что его чуть не убили! Он кричал, что творится невозможное у входных дверей, хотят ворваться, кого-то ранили, а его самого спрашивают,— с народом он или против?!

Почтенное собрание так и обожглось: хотят ворваться — прямо сюда? прямо на них? Так они ничем не защищены, ни даже депутатской неприкосновенностью?! Х о т я т в о й т и — это была жутковатая форма.

Но — как выдернутый из этого болота открывшимся деловым применением — Керенский порхнул и умчался, даже не оглядясь на председателя.

И уже все поверили, что их Керенский — умеет, их Керенский — уладит! Это немного успокаивало, но не снимало большой тревоги: что же им делать? что же решать? Как будто и времени не оставалось.

Сколько раз в этой Думе бывала драматическая обстановка, зачарованное молчание — и страстный голос с трибуны исторгал их общую любовь к отчизне, ответственность за народ, их сердечную задетость. Но, кажется, первый раз их задело вот так!

Под гнётом идущей, громящей толпы прения приняли другой характер. Рациональное предложение Милюкова подождать — уже не имело успеха. Бурный кадет Аджемов бурно выступил против своего партийного лидера, что нельзя откладывать, что Дума — сама сила, и должна достойно действовать. А кто-то из центра возражал, что прежде надо узнать намерения толпы: идут ли они продолжать святое дело Государственной Думы или просто громят в пользу немцев? в первом случае это Народ, а во втором чернь. А кто-то сомневался, как это приспособить Думу осуществлять какую-либо власть? И как она может самовольно перенимать её от других властей?

Помрачённый, тревожный, совсем не парадный Родзянко совсем не громко просил, между ораторами, ускорить обсуждение. (Сам он не мог принять решение, и это заседание мешало ему думать.)

И наконец — решили. Решили, если это можно назвать решением, решили без голосования, а просто общим сжатием к середине: сохранить единство без различия партий — для того чтобы противодействовать развалу. И из членов Думы создать-таки комитет, но этому комитету не предоставлять заранее никаких полномочий, а там смотреть по ходу событий. Но не будучи полной Думой, они не могли голосовать и выбирать,— а пусть такой комитет составит совет старейшин.

И во всяком случае — никому не разъезжаться из Петрограда! — вот это было ясное пожелание всех ко всем: чтоб оставшимся не оказаться в меньшинстве и всё это расхлёбывать.

На том совещание пока распалось, члены обещали друг другу не уходить и из Таврического. (Но кто-то незаметно уходил.)

Совет старейшин гуськом потянулся совещаться в кабинет Родзянки.

А между тем снаружи Керенский (снова бесстрашно не одевшись на мороз) отлично справился с положением. Поставленные им волынцы уже не охраняли дворца, и самих их найти было нельзя, никакого караула не осталось, и во дворец начинали лезть какие-то рожи. Но тут же пробился к нему расторопный энергичный какой-то, представился преображенским унтером Кругловым и объявил, что с командой 4-й роты прибыл после взятия казарм Московского полка — и предлагает взять на себя все караулы Таврического.

До сих пор приходили сбродно — а это была первая организованная команда,— и унтер был, видно, из тех, который для революции не пожалеет родного отца, очень решительно и жестоко смотрели его глаза над крупными скулами. Таких людей надо не отдавать стихии, но ставить на службу,— это Керенский соображал мгновенно,— и тут же звонко назначил начальником всех таврических караулов.

Круглов тотчас поставил четверых на крыльце, а с другими пошёл занимать думский телеграф.

И тут в Керенского вонзилось,— он сам даже не мог понять: это он догадался? или переработался в нём слух, что где-то каких-то министров арестовали? — вонзилось, что пришёл момент арестовывать сильных врагов, которые могли бы помешать ходу взрывных событий. Во Французской делали так! Надо искать кого-то? — надоумить? послать?

Но не успел он додумать, найти, послать,— уже четверо рабочих с винтовками и четверо солдат вели к нему двоих безоружных напуганных юных прапорщиков. Оказалось: напротив Таврического, у главной водокачки городского водопровода, это их был караул, который потребовала снять прибывшая взбунтовавшаяся толпа. Но прапорщики не сняли и сопротивлялись отдаче своего оружия — и вот были приведены как преступники на казнь.

И с тою впивчивостью, перехватчивостью, с которою Керенский входил в свою революционную роль, всю жизнь для него готовленную, всю жизнь писанную для него,— он ещё выпрямился, ещё удлинился, протянул вниз с крыльца повелевающую руку и, даже откидываясь от красоты момента, объявил:

— Господа прапорщики! Я понимаю вас! Но ввиду переживаемых нами событий я приказываю вам: снять караул по требованию рабочих!

Особенность революционной минуты в том, что не надо стараться охватить все стороны вопроса, но — выхватить самую яркую! Не отдаваться сомнениям, что городской водопровод нуждается в охране даже сейчас,— но вырваться навстречу требованиям взволнованных рабочих. В революционную минуту выигрывает и возвышается тот, кто решает мгновенно и ярко!

В два голоса у плача пожаловались юные, что за снятие караула их расстреляют по закону.

И тут же рука повелевающая превратилась в руку милующую, и торжество приказа — в торжество прощения:

— Я, член Государственной Думы Керенский, лично приму ответственность за это распоряжение. Своею собственной жизнью,— дрогнуло у кадыка,— я гарантирую вам неприкосновенность!

Прапорщики смякли — и уступили.

А Керенский тут же и забыл о них навсегда.

104

Преображенский полк был всеизвестно п е р в ы й полк русской армии. Это был любимый полк Петра — и уже при петровских ушах звучал его марш. Этот полк возвёл на престол Елизавету. Из царствования в царствование он бывал на первом месте, надежда династии, и не случайно нынешний Государь наследником командовал батальоном именно Преображенского полка. И часть казарм полка и офицерское собрание были — рядом с Зимним дворцом, на Миллионной,— единственная такая близость изо всех полков. (И внутренний коридор соединял их казармы с дворцом.)

И хотя сам полк был теперь далеко на Юго-Западном фронте, где понёс жестокие потери,— офицеры запасного батальона, собиравшиеся ныне в этом самом приближённом собрании, кто попал сюда после ранения, а многие — из петербургской публики, избежавшие прежних мобилизаций, а теперь по протекции,— тоже ощущали себя коренными преображенцами, с удовольствием принимая на свои плечи всю эту долгую славу.

Но два дня назад одной роте преображенцев досталось неприятное участие в событиях: стоять цепью у Полицейского моста, никого не пропуская к Дворцовой площади. Правда, и напор толпы сюда был невелик, она от Казанского собора всё время укатывала в другую сторону,— но удалось капитану Скрипицыну ни разу не применить даже угрозы оружием или физической силы, о чём он с гордостью потом рассказывал в собрании.

А вчера — это их, преображенский наряд арестовывал возмутившихся павловцев,— и офицерам-преображенцам было стыдно теперь.

В собрании у них эти месяцы была атмосфера очень вольная, сошлись такие офицеры, ненавидели императрицу, сочувствовали Думе и реформам. Как многие в петербургской гвардии, они встречали с шампанским известие об убийстве Распутина. И сегодня вполне нестеснительно высказывали своё сочувствие народному движению: ведь народ просит хлеба, как же можно ему противостоять? И не хочется марать репутацию свою и преображенскую, оказаться в одном ряду с подавителями! (Да кое-кто по-новому вспоминал и неподчинение их 1-го батальона в 1905, отказавшегося занимать дворцовые караулы, расформированного за то, невзирая что когда-то командиром именно этого батальона и числился нынешний Государь.) Если полк — первый в России, то тем более надо быть на уровне гражданского сознания. А правительство — призраки.

27-го февраля все офицеры, свободные от нарядов, завтракали в собрании на Миллионной, и уже никто не уходил, ощущая необыкновенный размах событий. Командира батальона Аргутинского-Долгорукова не было, да его никто серьёзно и не воспринимал, а батальонный адъютант поручик Макшеев был в курсе всех сообщений и охотно делился. Ему самому пришлось сегодня и первому получить известия, что две их роты, одна нестроевая, в казармах на

Кирочной взбунтовались, и самому же хлопотать-вызывать полковника Кутепова в распоряжение Хабалова на подавление. Макшеев выполнил это всё, но вопреки своей совести и убеждениям. А убеждения полковника Кутепова, не исконного гвардейца, уже были проявлены здесь же, в собрании, они были взглядами слепого служаки.

Итак, создалось необычайное положение: где-то в центре бунта кипела одна часть преображенцев. Другая, вместе с Кутеповым, шла её подавлять. А большинство офицеров батальона сидели здесь, не имея других приказаний, были как бы нейтральны,— и даже те, потрясённые, кто пришли из казарм взбунтовавшихся рот, или ещё не были там и не могли теперь туда идти. Сидели в комнате позади биллиардной и под глуховатый стук шаров обсуждали с горячностью, что же делать? Нельзя же бездействовать. Жажда быть полезным обществу не противоречила жажде продолжить славу своего полка. Были тут и капитаны — Приклонский, Скрипицын, были и совсем молодые, подпоручики Нелидов-лицеист, Раушфон-Траубенберг, Розеншильд, Ильяшевич, Гольтгоер.

Надо было понимать, и они понимали: то, что сегодня громыхало и стреляло на улицах, может быть не было грубый бунт, но неосознанная тяга к справедливости и свету, а лучи света шли из Государственной Думы. И как бы использовать этот толчок — и создать ответственное министерство из думцев? Удивлялись, почему военные власти просто не сговорятся с Родзянкой,— и весь ужасный конфликт сразу был бы прекращён. Надо было помочь неограниченной самодержавной власти перейти в конституционную. Но как это сделать?

И рисовалось: а ведь это — та же самая задача декабристов! Опять — декабристов. Она не выполнена и по сей день.

И как их предки декабристы — вывели солдатские команды на площадь и потребовали свободы,— вот так же бы сделать и им?

Но как это сделать?

И тут вдруг поручика Макшеева, самого горячего оратора среди них, вызвали к телефону и передали приказ из штаба Округа: все оставшиеся наличные силы преображенцев вывести на Дворцовую площадь в полном боевом снаряжении в состав резерва командования. А дальнейшие указания будут даны позже.

А дальнейшие указания им были и не нужны! Ах, какая удача! — их выводили на площадь приказом командования. Вот оно, то решение, и вот она, та возможность! Они выступали как будто по приказу, совершенно законно,— но офицеры-то знали, что они идут добывать свободу! Может быть сегодня наступает великий день России, и может быть сбудется или не сбудется мечта поколений,— на их глазах.

Наличные силы были — две роты. Раздавали патроны, набивали подсумки.

Выходили с перекомплектом офицеров, больше, чем их нужно было: многие хотели идти и участвовать.

И сразу же мысль: мало нас! Что это — две роты? Теперь надо бы собрать сюда все батальоны 1-й гвардейской дивизии — ещё семёновцев! измайловцев! егерей! И тогда такой отряд может даже не действовать — он одним своим стоянием может добиться требований Государственной Думы.

Но как же оповестить остальных?

А по Миллионной как раз проезжал частный автомобиль. Молодые офицеры остановили его. Оказалось — едет биржевой маклер. Тотчас его ссадили, автомобиль реквизировали. Сели трое и погнали, в те три батальона.

Хорошее начало!

С утра много часов стояла петербургская хмурь, даже с небольшим туманцем. А после полудня — ещё пасмурно, но солнце ясней просвечивало.

Знакомая огромная площадь между вычурным Зимним и широким охватом Главного Штаба была пуста и могла вместить всю петербургскую гвардию, теперь разогнанную по фронтам, или весь сегодняшний неученый недотяпистый петроградский гарнизон. Почти вся площадь была покрыта цельным снегом, лишь в некоторых направлениях прорезанным санными и автомобильными колеями, да чищена на кромке, по тротуарам.

Дружными солдатскими сапогами колонна преображенцев приминала снег по целине, правее Александровской колонны, ближе к Зимнему.

И стала: лицом к ангелу на столпе, спиною к Зимнему.

И тут заметили, что вослед им, с востока, как будто натягивало разреженным дымом от дальнего пожара. И всё доносился отдалённый необычный слитный шум, часто пробиваемый ружейной стрельбою.

Захватывающая музыка! В огромной столице где-то что-то уже делалось — и самое готовное бездействие преображенцев на этой необъятной пустынной площади, перед многоглазым, но мёртвым Главным Штабом, становилось торжественным действом! Вот они слушали, вот они смотрели, вот они готовились и решались! Как ощущался великий исторический момент России! Глубоко-исключительный момент и в жизни полка.

Этого настроения хватило надолго. Подали „вольно", офицеры прохаживались перед строем и позади него, говорили между собою. Сама торжественная площадь звала к манёвру, маршу, безумному поступку. Но надо было подождать и как-то разобраться в происходящем.

Настроение ещё усилялось видимой борьбою солнца с облаками. И шестёркой Победы, прямо над аркою той стороны, сюда лицом.

Полковник Аргутинский-Долгоруков в длинной кавалерийской шинели появлялся ненадолго, ничего не знал, снова умчался в санях. Несколько старших офицеров, почти единомысленных, были предоставлены сами себе. Но решенье очевидно принадлежало начальнику учебной команды капитану Приклонскому и батальонному адъютанту поручику Макшееву. Они согласились, что надо ждать подкреплений, самих преображенцев слишком мало.

Солдатам так и не было ничего объяснено, не следовало это делать чересчур заблаговременно, чтоб их энтузиазм потом не остыл. Да и сложна, неловка была сама форма призыва к солдатам, она выходила за пределы военной команды, и такого навыка не было ни у кого.

Солдаты потаптывались, курили, между собою тоже о чём-то разговаривали, тоже как-то понимали своё стояние здесь и вот этот шум и дым слева,— а как?

Но и *перестоять* — тоже была опасность. Декабристы всё потеряли, перестояв чересчур долго.

Розеншильд напомнил офицерам, что в т о т декабрьский день здесь, на Дворцовой, тоже стягивались войска, но — верные Николаю.

Так что в их стояньи, да ещё при хабаловском приказе, сквозила большая двусмысленность.

Но и Дворцовая площадь может стать Сенатской. Лишь бы собрать силы, стянуться.

Странно, что и Хабалов не присылал больше никаких распоряжений.

Две роты, стоящие в бездействии посредине пустой оснеженной площади, конечно привлекали внимание — и за их спиною, на тротуаре у Зимнего, начали собираться любопытные, среди них несколько полковников и старых генералов. Они претендовали подать совет. Генерал-инспектор запасных войск обращал внимание офицеров, что их батальон не может представлять собою истинный Преображенский полк, это дерзость.

Тут появился, на панели, и генерал-адъютант Безобразов, бывший командующий Гвардейским корпусом, смещённый летом прошлого года,— и гвардейцы-фронтовики говорили, что за дело, что бессмысленно погубил тысячи людей на Стоходе (а говорили и так, что его Брусилов гнал). Но сейчас, видя тут преображенцев и как бы без старшего командования, генерал Безобразов вздумал пройти перед их строем, здороваться и узнавать своих знакомых. Это было бестактное желание, делавшее их стояние смешным. Однако капитаны не могли отказать бывшему корпусному.

Какое-то время прошло ещё и на эту церемонию — отдачи „смирно", других команд, обхода и здорованья. В поисках знакомых генерал-адъютант не преуспел, потому что солдат он никогда не запоминал, да и почти все тут были новые, запасники, ещё никогда не сражавшиеся ни под преображен-

скими знамёнами, ни под какими другими. А после обхода в беседе с офицерами генерал высказал, что надо бы им идти в атаку на Таврический дворец, голова гидры — там. Но по неловкому молчанию понял, что не попал в тон. И посоветовал привести кухню сюда и накормить людей горячим. И постепенно ретировался.

Не повеселели офицеры. Всё меньше они сами понимали, зачем стоят и зачем так долго.

Хотя солнце наконец прорвалось и победно заискрило нетронутым снегом площади, зазолотилась тут близко Адмиралтейская игла, а подальше насадистый купол Исаакия,— всё это не выглядело как весна, и теплом не веяло, но забирал обычный морозец короткого зимнего послеполуденья.

И забирал пальцы в сапогах. И руки, если всё время винтовку держать, хоть и в перчатке.

И солдаты потаптывались, постукивали нога об ногу, и перекладывали винтовку из руки в руку.

И капитан Скрипицын предложил сходить на разведку в хабаловский штаб, в градоначальство, ведь до него всего полплощади, да Невский пересечь.

Через полчаса он вернулся. Рассказал, что штаб удивительно беспорядочный и растерянный, начать с того, что с улицы кому угодно вход свободный, не проверяют. Что у полицейских генералов перепуганные лица, а Хабалов — кусок теста. Скрипицын сам с ним говорил, и, не высказывая офицерского замысла, предупредил, что настроение солдат таково: вряд ли будут они стрелять, даже наверное не будут. Да и вообще успокоить питерский народ можно только справедливыми уступками, а не пальбой. Хабалов мямлил и ничего решительного не мог возразить или приказать.

От стояния настроенье упадало. Два раза, однако, поддержалось приходом на площадь небольших отрядов егерей, потом роты Петроградского полка. Но они тоже не имели никаких ясных распоряжений из хабаловского штаба, только прийти сюда. Пристроились к левому флангу преображенцев.

Солнце уже только могло спускаться.

Солдаты подмерзали. Да и офицеры.

Непонятно, что же нужно было делать этой кучке?

И с другой стороны, от мятежного гула, вот уже скоро два часа — ничто не накатилось, не приблизилось, не объяснилось. Мятеж происходил в каких-то кварталах сам в себе замкнуто, отдаваясь наружу только гулом выстрелов и дымом пожара.

И чтобы понять — что же он: побеждает или проигрывает? что именно там кипит и творится? — офицеры по очереди бегали к себе в собрание и звонили знакомым в тот район, узнавали.

И вдруг! — с той стороны, от Марсова поля, с другого конца Миллионной — раздались звуки военного оркестра! Да, кажется. Да, именно. И вот даже можно было различить: это — павловский марш, снова и снова играемый.

Это шли — павловцы! Сюда!

Они шли с музыкой, значит, не враждебно. Ряды преображенцев сами подбодрились, подтянулись, и без команды. А тут — отдали и команды. Все по местам, в струнку!

Преображенцы не догадались взять на площадь свой оркестр, да не столько и было их,— с тем большей жадной надеждой разипулись они на приближающуюся музыку.

А павловцы, переходя Зимнюю канавку, обрывом сменили свой марш на марш преображенский! — и так выходили на площадь, вытягивали длинный свой строй — да весь батальон военного времени, это несколько тысяч! — несколько тысяч курносых, круглолицых — и вытягивали, и выпячивали на площадь — и с приветственным маршем смешивались ура из двух строёв! Всей долготой своей протянулись мимо преображенцев — и стали уже западнее их, правофланговее, заворачивая голову своей колонны к Главному Штабу.

Как бы прочерчивая начало декабристского карре.

105

И провинившаяся „походная" рота павловцев на Конюшенной площади и остальные роты при Марсовом поле — все, конечно, знали, что ночью 19 зачинщиков отвезли в крепость. По всем ротам так ощущали, что эти зачинщики взяты как бы от них,— и наказанье ляжет на всех. Ещё и командир батальона, хотя не павловцем раненный, посторонним,— но умирал в госпитале, своею смертью отягчая судьбу походной роты.

Поворот настроения нескольких тысяч, доступный объяснению, если уже знать результат, и вовсе же непредвиденный, правда: эти несколько тысяч павловцев, не лучше и не доглядчивей содержимые, чем все остальные запасные в Петрограде, вчера к вечеру причастные к первому немыслимому шагу военного бунта,— сегодня с утра, когда военный бунт вываливался на смежные улицы, кричал, стрелял и жёг,— не рванулись ему навстречу, не пытались растечься и разбежаться, не взорвались в каменных казармах — но смирно, угрюмо сидели, без лишних движений, необычно не выведенные на Марсово поле заниматься,— и только через простор его хорошо могли видеть в окна грозно и торжественно расползающийся под облаками дымный гриб большого пожара.

Кажется: павловцам-то и продолжать бы? Кажется — в том наглядно лежало спасение всех обвинённых и выручка остальных от вины,— только прибиться к мятежу, и вины как не бывало? Кажется, им-то бы ярее всех и помогать бунту?

Нет, воскресный мятеж их остался без последствий. Не он совершил революцию.

О запасных солдатах, сбродном батальоне, не предположить, что вызрело у них понятие чести полка,— вероятно, только чувство совиновности, при извечной привычке подчинения,— продержали их в угнетённости полдня. Но офицеры, даже свеженабранные прапорщики, как Вадим Андрусов и друг его Костя Гримм,— по тревожному времени все ночевавшие в казармах, никто не был отпущен,— уже понимали, что на звонкое дерзкое имя павловцев лёг как бы траурный перечёрк, что с 26 февраля — и стрельбою в толпу, и восстанием — павловцы уже не те, что были второе столетие.

Заснули и проснулись в сквернейшем настроении.

Может быть, вот это ночевание офицеров в казарме, не так как у волынцев, определило угрюмую сдержанность павловцев в то утро.

А уж спал ли и во мраке каком провёл эту ночь капитан Чистяков, заменивший убитого командира? И так уже смозжилась на нём вся полковая тягота, а с утра начался за Фонтанкой в десятке кварталов отсюда — бунт, затронувший сразу три батальона, а потом больше. Очень быстро усвоил капитан, что командование Округом совершенно растеряно, глупеет от опасности и ничего не может ему указать. Решение он должен был найти сам. И не видел решения хуже, чем дуреть от казарменного сиденья, в ожидании, что случится.

Был капитан Чистяков — офицер отъявленный, весь вменённый в свою службу, ввёрнутый, вмазанный в уставы. Просто ли он стоял, сидел, ходил,— он, движеньем и недвиженьем, высказанным и невысказанным, прежде всего постоянно — служил. И солдаты очень это чувствовали, даже самые новички. Могли не любить его за пронзительный взгляд, за беспощадность,— но не могли не поддаться, не подчиниться этому оживлённому сгущению уставов и команд.

Эти месяцы капитан лечился, левая рука его была поднята постоянной перевязью, но даже такая инвалидность, кажется, не нарушала, а ещё отчётистей выражала его подвижность, стройность и службу.

Обезнадёжась в хабаловском штабе (где и не желали от павловцев большего, чем сидели бы в казармах, не шевелясь), Чистяков телефонировал и телефонировал знакомым офицерам в другие батальоны, советуясь, что делать. Он выбирал-то испытанных, ч т о делать они все понимали одинаково — давить бунт, только не знали как, и не были уверены в своих солдатах из-за множества новобранцев — во многих батальонах уже было неспокойно.

И после солдатского обеда, собрав на совет своих офицеров, выслушав, каким они воспринимают солдатское настроение (никто не высказался слишком безнадёжно),— капитан Чистяков приказал: весь батальон (кроме „походной" роты) в боевой амуниции строить на Марсовом поле, лицом к казармам.

По ротам раздались уверенные звонкие команды. И солдаты проштрафившегося батальона спешили с обмундированием, получали кто и винтовки и боевые патроны, толкались на лестницах, выходили. Удивляясь, осветляясь, радуясь.

Становились в четыре шеренги на привычных местах рота за ротой. А впереди — музыкантская команда. И небо светлело, вот и солнце.

Понимал батальон, что он не виновен более, что он прощён, и наказанья не будет.

Разбирались, равнялись по последним командам, винтовки (у кого есть) — „к ноге", а все „смирно",— капитан Чистяков с подвязанной рукой в подхваченной по фигуре шинели, победно расхаживал перед строем, не упуская ни мелочи дальнострельными глазами — ведь неучи ещё.

Все ждали речи, напутствия, а он только крикнул:

— Пав-лов-цы — мо-лод-цы! Царь Государь ждёт от нас выполнения долга! —
и скомандовал на всё поле: напра-во! и оркестру — марш!

И колонна с весёлой уверенностью повернула, грянул в трубы павловский марш,— и через марш растя до своего знаменитого полка, под тянущую, подымающую музыку, удваивающую человека, в радости этих победных звуков — пошла! пошла, офицеры на своих местах, пошла! вдоль Марсова до угла Миллионной, а там —

— Правое плечо вперё-од!
и, заполняя Миллионную музыкой, шагом и своими тысячами — к Дворцовой площади!

Какая бы в городе ни была революция — но все дороги открыты полку, идущему под музыку.

106

Час назад очень мало касалось генерала Занкевича всё это происходящее в столице — и как бы ни кончилось оно. В могучих крылах Главного Штаба с парадно-высокими окнами на Дворцовую площадь шла ежедневная тихая бумажная перекладка, связанная единственно только с Армией, воюющей и тыловой, со снабжением, организацией и назначениями. Поглядывал Занкевич, что на площадь пришла и стоит часть Преображенского батальона, красные канты, но это его не касалось. Хотя Занкевич был и смел, и боевой, но не скучал и не томился на своей неслышной работе, потому что вела она его блистательной дорогой, и был он хороший служебный тактик, и весьма рано по своему возрасту вот стал три недели назад начальником Генерального штаба вместо Беляева.

Этим же Беляевым внезапно вызванный теперь в градоначальство, он уже по вызову почувствовал, что дело неладно. За пять минут, пересекая Невский, уже приготовился, что сейчас его тряхнёт. *Мёртвая Голова* из пустоты глазниц продиктовала ему новое назначение и указала, что у здешнего командования нет идеи, нет инициативы и почти все неопытны.

Всё так! Один вид растерянных тут лиц подтверждал, что — так. О Хабалове ясно было, что он — дурак и недотёпа. А за Балком была сестра Занкевича, так что — свой. Идея, допустим, сейчас родится — но где же войска? И где расположен неприятель?

Неприятель нигде не был расположен, двигался неизвестно где, пребывал в неизвестных количествах в северо-восточной части города, но и у Занкевича могли быть только те, кто сейчас соберутся,— а кто из полутора десятка батальонов не пожелает прийти, останется в казармах — то пусть и остаётся, так спокойней.

Так что? Преображенцы. По роте измайловцев и петроградцев. Пулемётная полурота. Две батареи без снарядов (в артиллерийских училищах тоже снарядов не оказалось, из Петергофа батарея отказалась грузиться). Да ещё, обещано, что-то пришлют из гвардейского экипажа? Редковато.

А между тем, приняв назначение, надо же действовать энергично, не кваситься, как этот Хабалов. Пока не назначен — служилый офицер может только в окно поглядывать, что там делается. Но назначенный — он должен всех поразить предприимчивостью и натиском.

И тут сообщили по телефону из Зимнего, что на площадь входит — с музыкой, со знаменем, с офицерами — весь Павловский батальон!

И сердце Занкевича стукнуло по-наполеоновски. А он-то — кто был, если не павловец? Он-то — коренной офицер Павловского полка, когда-то и не мечтавший подыматься выше. А совсем недавно на фронте он был — и командир Павловского полка! И в запасном батальоне бывшие раненые все его и знают, конечно!

Сердце стукало: знаменательное совпадение! — он назначен командовать, а павловцы сами пришли! От таких совпадений происходят великие дела! Час назад ни к чему не готовый, десять минут назад в сомнениях,— вот, он уже бесповоротно решился уложить свои силы в этот день!

Он схватил пролётку, дежурившую у градоначальства,— и понёсся — не прямо на площадь, нет, но к себе домой, совсем недалеко — надеть полный павловский мундир, белые канты, зимнюю форму. Он терял на этом ещё десять минут — но то был эффект!

И на той же пролётке он вылетел рассчитанным курсом из-под арки Главного Штаба — и парадно-красивой дугою помчался к строю павловцев, к правому флангу их.

И — встал во весь рост в пролётке, руку под козырёк.

Там раздались торопливые команды, батальон принял „смирно",— и когда генерал поздоровался — ему ответили в три тысячи дружных глоток.

И остановясь перед своими павловцами, генерал Занкевич звонко прокричал короткую речь, слышимую и преображенцам. Что если бунт победит — от этого выиграют только немцы. Что их, героев гвардейцев, он зовёт послужить России, царю и доказать верность гвардейским традициям!

— Тут многие знают меня? Мы вместе кровь проливали на фронте!

— Так точно! — кричали павловцы.— Так точно! — восторженно.— Рады стараться! Постараемся! — самозабвенно из рядов.

Превосходно! Так по-наполеоновски: прямо и наступать на Литейную часть, на выручку Кутепову! Только ещё подождать подкреплений, гвардейского экипажа.

Триумфатором Занкевич проехал дальше. Сошёл, стал прохаживаться перед строем преображенцев. Подозвал к себе господ офицеров, спрашивал — „ну, как?".

И вдруг он воспринял не только тот восторг, вырванный из солдатских грудей,— но рассчитанную осторожность? или сомненье? или даже глухую неприязнь? преображенских офицеров.

Что такое, как? Расщупывал офицеров глазами, вопросами.

И услышал. Господа офицеры *не надеются*, что их солдаты пойдут против Государственной Думы. Как бы они не увеличили собою численности противной стороны. Да это было бы и противоестественно — идти против Государственной Думы. Соотношение сторон отнюдь не представляется так просто.

Молодые офицеры смотрели отчуждённо, а то даже и возмущённо. Никак они не походили на защитников правительства.

И Занкевич быстро стал охладевать и опадать. Он увлечённо поддался взлёту своего настроения — и просто не успел подумать, что неприятеля — никакого нет. За бегающими бунтарями — стоит Государственная Дума, общественное мнение. А с ними — генерал Занкевич и не думал бы и не хотел бороться, это — не путь возвышения генералу.

Талантливому человеку — надо и действовать осторожнее вдвое. Проявлять ли рвение или не проявлять — ещё надо приглядеться. Наступать — а на кого?..

107

Воротясь с прогулки и оставшись у себя один, Николай тотчас перечитал телеграмму Хабалова. Да, волынцы взбунтовались в составе более чем одной роты — и им удалось увлечь ещё какую-то одну роту, лишь неясно: Литовского или Преображенского батальона. Не так много, три роты запасных, — но какой несмываемый позор для гвардии! Однако вот что: Хабалов просил прислать надёжные части с фронта — *немедленно.* „Немедленно" — это словцо как-то скользнуло мимо глаз, когда Государь читал телеграмму в первый раз, на лестнице.

Но три роты запасных — настолько ли дело серьёзно, чтобы снимать войска с фронта?

Государь замялся. Собственно, он совсем не знал этого генерала Хабалова, не знал его качеств. Этот генерал был не фронтовой, он состоял последнее время губернатором Уральской области, и запомнилось, как приезжал приветствовать Государя во главе уральских казаков, а уральцев Николай очень любил, они приятно молвили, да ещё привозили всегда в дар вкуснейшие икры и балыки. Так при этих огромных балыках ему только и помнился Хабалов. А затем как-то полуслучайно, по чьей-то рекомендации, он был переназначен на Петроградский военный округ, да округ был несамостоятелен, лишь вот недавно выделился из Северного фронта. Что сейчас надо было думать о его „немедленно" — такая ли острая нужда? или растерялся?

Всё стало бы ясно Николаю, если была бы свежая телеграмма от верной Аликс. Но — не было ничего, это успокаивало: Аликс всегда на страже и не пропустит опасного. Уже сколько раз всегда и обо всём она предупреждала его вовремя, её письма никогда не были женской болтовнёй, но со многими деловыми сведениями и энергичными советами.

Впрочем, последняя её вчерашняя телеграмма и была такова: „очень беспокоюсь насчёт города".

Однако, если б стало хуже, она прислала бы сегодня ещё.

Конечно, хотелось бы хоть строку успокаивающую от надёжи-Протопопова. Но не было. Впрочем, при его находчивости и проницательности это могло быть как раз свидетельством благополучия.

Что же: надо что-то предпринять или нет? Мучительный как всегда вопрос, — но при всей большой свите не было у Николая ни одного делового советчика, светлой головы. Всего истомительней сердцу и было, что в эти дни Николай не мог быть вместе с Аликс, а всё переживать и решать самому.

Только — начальник штаба. Но — служебный человек. Хотя и хорошая душа, и благочестивая, — а всё-таки не свой.

Да вот он и спешил в царский дом, трудолюбивый старательный Алексеев. И нёс свежие телеграммы.

Первую подал — от Беляева. Ага! Она была часом позже хабаловской и совсем короткая. Сообщал военный министр, что начавшиеся с утра в некоторых войсковых частях волнения твёрдо и энергично подавляются оставшимися верными своему долгу ротами и батальонами. Подавить бунт ещё не удалось, но твёрдо уверен в скором наступлении спокойствия. Принимаются беспощадные меры. Власти сохраняют полное спокойствие.

Тут было противоречие с Хабаловым: никаких войск на помощь не просилось, справятся сами и быстро. А Беляев занимал пост выше, обзор имел лучше, да и телеграмма часом позже. И если сопоставить, что в эти же часы Дума, главная подстрекательница, уже прервана в занятиях, — то скорей всего и можно было ожидать спокойствия.

Только что-то процарапало. Да, вот: „оставшиеся верными роты и батальоны". Странно выражено, если гарнизон почти весь в руках.

По характеру своему, по складу, по отношениям с Алексеевым, не мог Государь запросто сказать ему: „Михаил Васильич, что-то очень тревожно на душе и неясно. Что ж нам делать?"

Он только потрогал ворот, посмотрел на генерала открытыми глазами с молчаливым вопросом.

Но глаза Алексеева самим устройством век постоянно были прищурены, полузакрыты, нельзя было досмотреться до душевного состояния.

А ещё же — он держал вторую телеграмму и с неизменным, кисловато-занятым выражением подавал теперь её.

Как, опять от злосчастного толстяка Родзянки? Но в этот раз без манёвра с главнокомандующими, прямо на имя Государя. А по времени — как раз между теми двумя, между хабаловской и беляевской, тоже сегодняшняя полуденная.

Но — что? но какую невообразятицу он нёс?! Опять: что правительство — бессильно. (Но это и всегда они уже кричали, много лет.) Что на войска — надежды нет. (Как будто он ими командовал и хорошо знал.) Что началась и разгорается — гражданская война! В запасных батальонах убивают офицеров и идут, видимо, громить министерство внутренних дел и Государственную Думу!

И Думу? Картина была, однако, значительная.

А дальше — дальше не докладывал, не просил, а приказывал, сумасшедший Самовар, приказывал своему Государю: повелите немедленно то-то и то-то. Немедленно восстановить занятия Думы. Немедленно создать новое правительство — такое, как он настаивал во вчерашней телеграмме, — и безотлагательно возвестить эти решения манифестом, иначе движение перебросится в армию, и неминуемо крушение России и династии.

Эк, куда хватил! Когда с такими угрозами и требовали возвещения манифеста о сдаче власти — слишком болезненно это напомнило Николаю другую обстановку, другого Манифеста, — и данного тогда совершенно зря, по испугу.

Не только тоном своим, но этим требованием немедленного манифеста — отвергал Родзянко государево сердце от своей телеграммы.

А что ещё в конце? Толстяк, конечно, просил „от имени всей России" — и настал де час, решающий судьбу и родины и самого императора, а завтра может оказаться уже поздно.

Что он, с ума сошёл? Откуда это бралось в его медвежьей голове, ни у кого больше? Рёв отчаяния и страха, как защемили бы лапу его. Крик — не по мере.

Своим напором, тоном он окончательно отвращал от себя. А ещё же подразумевалось, что в главу нового правительства он навязывает самого себя. И при этом дерзал угрожать, что решается личная судьба Государя!

Это закрывало путь какого-либо отзыва.

Ещё — и третья телеграмма, от Эверта. И больше половины — повторенье вчерашней родзянковской, — всё тот же обходный манёвр. А от самого Эверта: он — солдат, в политику не мешается, но не может не видеть крайнего расстройства транспорта и недовоза продовольствия. Надо принять военные меры для обеспечения железнодорожного движения.

Это он мог и просто по службе донести. Но при чём тут Родзянко.

Посмотрел на Алексеева. В его остробровом, остроусом прихмуренном лице знал он это не жалобное, не жалостливое выражение, а какую-то кисловатую, косоватую пробранность, задетость.

— Вы хотите мне что-то сказать, Михаил Васильич?

Вдруг почему-то в этот момент, никогда раньше не приходило в голову, показался ему Алексеев чеховским человеком в футляре: в своём мундире, в фуражке, за усами, за очками скрывался осторожно, без надобности сам не высовывался — и по спросу тоже с осторожностью, фразами лишь предположительными:

— Ваше Величество... Быть может, обстоятельства этого момента... Быть может, разумно было бы уступить настояниям общественности? И общественность наилучшим образом нашла бы выход из всех кризисных положений? Сразу все бы успокоились...

И без помех продолжалась бы тут штабная работа.

Простяга Алексеев и отдалённо не понимал, какой величины вопроса касался! — и какой продолжительности. Он служил полтора года начальником штаба Верховного, но никогда костями своего черепа не ощущал на себе обручного давления и тяжести шапки Мономаха. На его плечах двумя дла-

нями не тяготела традиция столетий — и он сам два десятка лет не измучивался вопросом: о смысле, пределах и долготе Самодержавия, об ответственности перед предками, перед потомками, перед народом. Что это мистический грех — передавать толпе вручённую от Бога власть. И — о неготовности народа ко всякой иной форме правления.

„Требования общественности"! Настроение крикливых, беспочвенных, безответственных интеллигентов, сошедшихся в кружок в Таврическом дворце или на московском съезде. Им казалось это так просто для царя: взять и ввести, чтобы министры отчитывались не перед ним, а перед Думой. А это была — переломка всего принципа.

Да разлаживать всякий привычный порядок — всегда опасно. Легкомысленное новшество может в недели развалить вековое здание. А перестраивать государственное управление — да в такую войну? Всё сразу расстроить. Подходит решающий год войны — и как же бессмысленно говорить о реформах.

Но всё это — как было высказывать Алексееву? И зачем? Он должен бы — из вида Государя, из глаз его понять.

Промолчал.

Поняв молчание, Алексеев высказал буркотным своим голоском:

— Но дозвольте, Ваше Величество. Если не давать ответственное министерство, то тем более необходимо назначить диктатора тыла.

Ну да, это было его предложение прошлого лета: единого верховного министра — по вопросам топлива, транспорта, продовольствия, военных заводов, по всему хозяйству, как Верховного Главнокомандующего на фронте. Но отвергнув его в своё время — теперь ли было его принимать в таких необычных обстоятельствах? Тем более надо было подумать.

Промолчал.

Государь бы думал скорей: не послать ли на помощь сколько-то войск, как просил Хабалов? Но Алексеев не выказывал такой взволнованности и не предлагал сам. Да и, зная его: он, конечно, против такой меры — ослаблять фронт, снимать полки.

И неудобно было первому высказать, как будто бы испугался свыше меры. Алексеев — об ответственном министерстве, а Государь — о подавительных войсках?

Но и чувствовало сердце, что надо что-то предпринять.

Со стеснением перед щёлками глаз начальника штаба Государь вымолвил:

— Михаил Васильич... А может быть, всё-таки... подослать кого-нибудь? В Петроград. Конную часть какую-нибудь.

Готов был и отступиться. Но Алексеев не слишком удивился. Морщил лоб.

— Можно. Например, из-под Новгорода, из Селищенских казарм, конную бригаду.

— Подумайте, Михаил Васильич,— сразу полегчало Николаю.— Распорядитесь. А сегодня вечером еще посоветуемся, какие-нибудь известия добавятся.

Полегчало. Нельзя было ничего не сделать!

Алексеев ушёл, головой уёженный в плечи, нездоровится.

Пора была идти к вечернему чаю.

Тут и почту принесли с поезда, от Аликс письмо — вчерашнее, да большое! (В этот раз не надушенное, не до того.)

Николай поцеловал его и стал читать.

108

К отряду Кутепова подкрепления всё-таки не переставали откуда-то прибывать. Подошла команда разведчиков, человек пятьдесят, и единственный там офицер доложил, что это — из Царского Села, из 1-го стрелкового Его Величества полка. Почему именно 50 разведчиков, а не боевая рота? — это не у кого было спросить. Ещё не дозвучал рапорт офицера, а взгляд Кутепова уже определил, что вид команды неважный. Тотчас и подтвердилось: полковник

поздоровался с ней — она ответила весьма вяло,— а в ответе на приветствие, в том его и смысл, первей всего сказывается настроение солдат. И сразу же после ответа кто-то, скрываясь, выдал из строя: „Мы ещё сегодня не обедали". Такую команду хоть и не брать. Кутепов велел офицеру узнать, кто это сказал, а команду отвести в ближайший двор и там упорядочить.

Не успел распорядиться с ними — подъехал эскадрон, оказывается — гвардейского кавалерийского полка. И ротмистр его, ещё не дождавшись приказания от полковника, тут же доложил, что лошади плохо кованы, люди не ели, устали от большого перехода и нуждаются в отдыхе. Всё это могло быть так, но не с первого слова и не перед строем должен был о том докладывать офицер. С презрением, громким голосом Кутепов ответил, что удивляется его словам и отрешает от командования, не в такой обстановке просят отдых. Командовать эскадроном тут же назначил поручика — и велел ему двигаться через Симеоновский мост к цирку Чинизелли, далее выяснить обстановку в районе Марсова поля и в случае необходимости действовать решительно.

Тут, на Литейном, тесно было для кавалерии, да и кавалерия не хороша. А висел неотменённый приказ Хабалова двигаться к Дворцовой площади, вот и будет попытка такого движения. За четыре прошедших часа Хабалов не изменил и не повторил ни одного приказания, не подтвердил получения ни одного доклада — Кутепову приходилось действовать, как если бы никого в столице старше его не было.

Так что подкрепления не шли в подкрепления, войск продвигаться не было, заднюю роту преображенцев снимать с оцепления Кутепов не решился, чтоб не обнажить тыла. Передняя рота их и полурота кексгольмцев действовала справа на боковых улицах, и было донесение, что рассеивают военную толпу, бесчинствующую у казарм жандармского дивизиона. И всего лишь с полуротой кексгольмцев Кутепов продвинулся до Дома Армии и Флота.

Но тут усилился обстрел по ним. Не только от Орудийного завода, но очевидно и с колокольни Сергиевского всей артиллерии собора (дым от горящего Окружного Суда, всё ближе и гуще, мешал хорошо видеть). Неопытные солдаты, не бывавшие под огнём, стали прятаться в воротных углублениях и бросились в сам Дом Армии. Продвижение прекратилось.

К счастью, тут же на Литейном, в доме графа Мусина-Пушкина, помещалось одно из отделений Красного Креста. Кутепов попросил их немедленно принимать раненых. К раненым кексгольмцам поднесли и двух раненых с площади Преображенского собора.

Нашли годный пулемёт, и Кутепов установил его так, чтоб обстреливать угол Сергиевской и Орудийный завод.

Послал распоряжение преображенской роте справа действовать решительнее.

Бой вполне можно было вести и даже перерезать Литейный мост и теснить восставших в мешок, образуемый Невою,— только втрое и вчетверо бы сил, да снабжённых, да накормленных.

Тут подошла новая рота — 4-го Стрелкового полка из Царского Села. И одновременно же пришло донесение о новой какой-то толпе, которая движется мимо Летнего сада к Пантелеймоновскому мосту. Удачно! пять минут назад вовсе нечем было защитить левый фланг — теперь эту новую роту Кутепов и послал туда, налево: на углу Пантелеймоновской и Моховой встретить толпу огнём.

Едва отправил — сообщили спереди, что на Сергиевской за углом собирается много автомобилей, видимо для атаки. Современный стиль войны! Важный момент! Кутепов ринулся вперёд, изготовлять кексгольмскую полуроту на разгон автомобилей. Едва расставил и объяснил — с Сергиевской вылетели с заворотом на Литейный один за другим несколько автомобилей, облепленных и снаружи рабочими с винтовками и красными лоскутами. Они погнали прямо сюда, беспорядочно стреляя на ходу, не успевая выбирать цели.

Приготовленная полурота — от стен, из подворотен — открыла огонь, и все автомобили в минуту были подбиты, остановились, а один ещё продолжал гнать по Литейному, теряя на мостовую падавших, потом с визжанием

завернул, подстреленный, с разбитыми стёклами, видимо раненным шофёром, и скрылся в Сергиевскую обратно. Остальные, побросав автомобили и убитых, убежали туда же.

Хорошо отбили, кексгольмцы! Молодцы!

Задалась новая работа: куда-то убрать убитых. Уже известен был пустой каретный сарай в одном из домов, стаскивали туда. От убитых сильно пахло спиртом.

Эти автомобили надо было бы завести и приспособить.

Литейный проспект уже привык к высокой фигуре полковника, не взятого ни одною пулей.

Кутепов подумал: а неплохо! Несколько критических моментов он уже перешёл, удерживаясь, укрепляясь и даже продвигаясь. В отчаянные минуты приходили и подкрепления.

Вдруг слева, с Пантелеймоновской, показался бегом ротный последних царскосельских стрелков — бледный штабс-капитан с одним оборванным погоном.

Остановился и через тяжёлое дыхание доложил: он довёл свою роту до угла Моховой, но там его солдаты смешались с толпой, из толпы оторвали его шашку, пытались избить, он бежал.

Вот тебе и подкрепление...

Да, у мятежников тут был большой перевес численности.

109

Бывают читатели, которых и землетрясение не оторвёт от книги, они удержатся за неё и в тот миг. Такие милые всем известные чудаки присутствовали и сегодня в Публичной библиотеке на своих известных местах. А в остальном были пусты сумрачные залы и вестибюли библиотеки, как если бы был праздник, пришедшие с утра — поспешно ушли, и только сами служащие оживляли тишину и пустоту залов: то смотрели в окна на Садовую и на Невский, то спешили к телефонам узнать новости дальние, то друг ко другу — поделиться ими.

Вера же сперва не вскакивала и не ходила смотреть, сидела у себя глубоко за полками, откуда окошко было обращено на Александринский театр и не давало большой пищи. Что бы ни случилось снаружи, а работа сама не сделается, были заказы, были обещания. Но возбуждённые радостные сослуживицы подбегали к ней с новостями — увлекли и её. Новости, действительно, были сотрясательные, хотя неизвестно, какое продолжение получат. Восстания целых батальонов ещё же не происходили никогда! — это могло быть началом чего-то совсем небывалого. И Дума! — распущенная, отказалась расходиться! — и не где-нибудь в Выборге, а в самом Таврическом дворце. Это уже было как располощенное знамя революции над столицей. Все покинули последнюю работу и даже вовсе уходили со службы. Возбудилась очень и Вера. Неужели именно нам довелось быть современниками?.. А впрочем, всё это может быть и смазано в час-два приходом карательных войск.

При открытой форточке всё слышней и ближе была стрельба. И приходили слухи о пожарах, об убийствах полицейских и — офицеров!

Ах, хотелось, чтоб эта заря пришла как-нибудь иначе — зачем же поджигать здания и — убивать? И что начнут с убийства армейских офицеров, воюющих за Россию,— никогда не воображалось такое, что за ужас?

Вера очень порадовалась, что отправила брата вчера. Он непременно во что-нибудь бы встрял и мог бы попасть в число этих несчастных.

Хотя ещё и непонятно, как бы ему вмешиваться. Бунтари-то — свои, кровные, если Шингарёв среди бунтарей — то как же?

Тут её позвали к телефону. И только трубку взяла, как ни искажал телефон голоса — что-то сильное тёплое сразу приложилось к сердцу.

— Да, здравствуйте...

Сослуживицы стояли рядом, ожидая, что будет сообщение новостей. Но по первому же голосу Веры поняли, что — нет, и отошли.

Это звонил Дмитриев! Боже, как она обрадовалась! Телефон, протянувший голос через провода, сжавший его, убравший окраску, передавал некий другой голос, условно считаемый за истинный,— а всё же интонация вся оставалась, умедления, растяжки, паузы или быстро-громко — и Вера слушала их.

Он звонит — просто так, никакого дела нет. Узнавши о событиях, звонит потому, что беспокоится о ней. Она ведь не знает, что такое беспорядочная стрельба, и эти бессмысленные невидимые пульки, которой одной достаточно. Одним словом...

— Вера Михайловна, я звоню — попросить вас... чтобы вы сегодня не были на улицах.

Боже, почему он просит? какое право он имеет просить! (Не сказала.)

— Но как же мне иначе перелететь домой, Михаил Дмитрич?

Ну, только домой — это совсем близко, пересечь Невский. Но сегодняшнее общее увлечение может утянуть в дальние прогулки,— так вот... не надо.

Вера растерялась, не нашлась ни пошутить, ни ответить серьёзно. Почти смолчала.

А он, пока ждал ответа, естественно молчал.

А она — неестественно.

Тогда он ещё: он просит прощения. Но он хочет, просто для *своего* спокойствия, чтобы Вера Михайловна ему пообещала, что никуда сегодня не пойдёт.

И Вера — ответила согласно, единственно как почувствовала:

— Хорошо.

И оттуда, пониженное:

— Спасибо.

Но так неловко сложился разговор, она теперь звонко:

— А что у вас? Откуда вы звоните?

И тут же мелькнуло, что вот это как раз и нельзя, что именно она его меньше могла спрашивать, чем он её, была такая целая заштрихованная неоговариваемая область.

Но нет, всё обошлось хорошо. Звонит он с Обуховского завода.

Разве не бастуют?

Да, конечно, все бастуют, разошлись, никого нет. Но два литейщика согласились с ним поработать. Тут маленькая отливка, пробная. И — как странно всё выглядит на пустом заводе, в пустой литейке.

Описал. С медленностью, как всегда он.

Слушала, слушала.

Когда положила трубку и шла — спросили, что нового?

А Вера — ничего не могла сказать. Они поговорили, так и не сказав друг другу никакой новости.

Но — как это ново было! Но как она была ему благодарна!

Через весь город протянул охранительную руку и сказал: будь дома.

И хотя он не был свободен так говорить, но Боже, как хорошо, что он так сказал, ведь он же не придумал, ведь значит он так думал.

И она согласилась покорно, радостно. Будет дома.

Она и всё равно пошла бы прямо домой — а всё-таки это совсем иначе. Она как будто получила запрет. Она как будто потеряла свободу движений.

Как хорошо.

Последние часы её работы косо скользило солнечное в проход между театром и библиотекой. И день показался потеплевшим, весенним.

А когда вышла на улицу — ого, морозец как есть.

И весь Екатерининский сквер был наполнен народом, а Невский — и по тротуарам и по мостовой — весь залит толпой, никем не управляемой, не останавливаемой,— ни полиции, ни войск, ни экипажей. Солдат много и большими кучками, но даже неприученный Верин взгляд различал, что это — не обычные солдаты, они как-то свободно, не в строю держались, кто с винтовками, а больше без винтовок. И — масса гимназистов. И студенты — некоторые тоже уже с винтовками, а один — в косой опояске пулемётной ленты.

Издали где-то и стреляли, но здесь — никто, очень мирно, дружественно. Вера шла без помех и только рассматривала лица, лица.

Было какое-то единое счастливое состояние — как будто облако счастья снизилось и всех их окутало, охмелило. Были лица растерянные, и любопытные (больше всего любопытных, так и рассматривали все друг друга, будто видели первый раз), были экстазно-счастливые. Но больше всего — простой обмен хорошим дружеским настроением, повсюду перекличка голосов, оживлённый говор,— это всё незнакомые разговаривали друг с другом, так много не бывает знакомых.

В толпах верующих у церквей, после праздничных обеден, Вера такое встречала — но необычно было увидеть сходное братское чувство у сухой петербургской толпы, никогда и ничем не спаянной.

Все едино знали, что теперь-теперь-теперь будет так хорошо и светло жить!

110

Как началось это всё с утра — Ободовский в военно-техническом комитете продолжал, конечно, сидеть и работать,— но стало его изнутри всего растрёпывать, растеребливать.

После того что вчера стреляли на Невском и, казалось, волнения подавлены,— он уже сам себя упрекал в своём двоении: как он мог в предыдущие дни колебаться, разделиться сочувствием, подумать: войну-то важнее кончить, а уж потом... А потом-то ничего и не добьёшься! Кроме Нуси он ни с кем так не поделился, и никто не мог его упрекнуть, а как будто он своим усумнившимся чувством накликал поражение.

Но когда сегодня притекала весть за вестью, как расширяется по столице военный бунт, Ободовский очень быстро, своим опытом Пятого года, определил, когда другие ещё не смели назвать: р е в о л ю ц и я! Она!

И вот уже — ни его никто не упрекал, ни он никого — Она разливалась, и её победа захватывала сердце: всё равно Она уже текла, и что ж упрекать и подсчитывать, на чём отразится? — только бы теперь не сорвалась! только бы дотекла! Это — момент, которого ждут столетия, это — момент, которого нельзя откладывать ни ради чего! — он потом опять два столетия не повторится.

Другое: как мы, напряжённо годами её ожидавши и веря,— всё равно не приготовились и не угадали, что она пришла? Все эти дни — ведь не угадали.

И ещё другое: почему — так легко? Стояла, стояла стена — и вдруг так легко, так почти без усилий свобода прошла через неё? Неужели эта мощь была такая слабая? Ну, да она себя ещё покажет.

С Обуховского звонил Дмитриев: ему удалось сговорить двух рабочих и продолжать сегодня бронзовые отливки. Ну, молодец! Ободовский и сам сегодня продолжал, продолжал.

Но иногда откидывался на спинку стула и зажмуривался.

Или через форточку слушал выстрелы.

Или новость по телефону.

Или в окно смотрел на промелькнувшие красные клочки на одеждах.

Уже забирало его. Ещё работал — но уже забирало. И когда позвонила Нуся, что на Петербургской стороне ничего нет,— он рассказал ей, что́ чувствует и предупредил: может быть, не придёт обедать, может и ночевать не придёт, пусть не беспокоится.

Нуся понимала: если это революция — то какой там сон!

Раза два Пётр Акимович выходил наружу, и на проспект. Там уже всё более забурливало этой людской перемесью всех званий, состояний и возрастов, поздравления от незнакомых, совсем как на Пасху, иногда слёзы на глазах — набегали и у самого,— этим нарастающим, всех покрывающим братством. Какое дивное чувство, какая широта души, и что за чудо революция? — ещё вчера эти же самые люди друг ко другу ничего такого не испытывали? — откуда ж оно берётся и заливает сладко без берегов?

Можно бы толкаться так и часами, смотреть освобождённые лица и слушать освобождённые голоса,— но ничто при этом не продвигается, а фронт ведь воюет, а в окопах сидят...— и Ободовский возвращался к себе и продолжал с бумагами и с чертежами.

Ужасно, что это во время войны! Но чего не простишь революции за её ослепительность! Революция — как эпидемия, она не выбирает момента, не спрашивает нас.

А другой раз вышел — увидел большое военное шествие с оркестрами и с красными знамёнами, правда — нестройно в рядах, без офицеров и формы сбродные,— но беспрепятственно! такой поток солдат! — голова не вмещала.

Потом — уже не было шествий. Прорывались эффектные бестолковые автомобили — видно, что без цели поездки, тратящие только бензин. И — стреляли, стреляли из винтовок, всё в воздух, всё без толку, и чаще подростки, нахватавшие откуда-то револьверов и с ними плясавшие вокруг толпы.

Безумные! Ведь завтра-послезавтра придётся оборонять Петроград против царских войск, через две недели, может быть, против немцев, если им откроют фронт,— но сотни патронов вылетали в воздух зря.

А офицеров — обезоруживали. Ободовский губы закусывал, как если б это оскорбляли его самого. Он представлял, что офицеру — такого оскорбления пережить невозможно. А некоторые — отдавали шашки и улыбались?..

Он засел за телефон — звонить, искать помощников, сотрудников, сообщников: около Арсенала, около патронного склада Орудийного завода и где ещё разграбили или могли разграбить,— что можно ещё спасти? Есть ли возможность выставить караулы?

Но не заставал он на местах и гражданских чиновников, а уж где было найти и организовать стройную воинскую охрану.

Революция — не может без хаоса и разрушения, это её отличительная черта. Но спасая её же самоё — надо было хорошенько дать ей по святым рукам!

А сил — не было! Никто был Ободовский, и тем более не военачальник и вообще не военный, никто ему не подчинялся, можно было надеяться только кого-то случайно уговорить и обратить. Но почти никого не было на местах! — все дали себе льготу сбежать или отправиться на улицу зрителями.

Несколько часов Ободовский нервно просидел за телефоном, мало чего добившись,— а между тем с каждым получасом, он чувствовал это остро,— революция сползала-сползала-сползала, а из-за войны — и вся Россия вместе с ней!

Ужасно, ужасно, что это во время войны,— и поэтому надо с первой же минуты ставить загородки и даже заборы против Желанной, не давать разрушать, а только перестраивать в дело!

Никто был Ободовский ни при заходящем царе, ни при восходящей революции,— не министр, не начальник, не генерал, не выборный,— но он был человек действия, и, никого не спросясь, мог и должен был сам найти себе место. Уже здесь, в военно-техническом комитете, сидеть ему дальше было неразумно — огненная война перекинулась на сам Петроград.

Где же мог быть центр, где станут собираться добровольно другие люди действия и можно что-то спасти, организовать, перенаправить стихию в разум?

Очевидно, при Государственной Думе, никакого другого места в голову не приходило, хотя из Таврического, кому он там дозванивался, второстепенным, никто ему толком ничего не ответил. Вот туда и нужно было идти сейчас, с рабочего дня на рабочую ночь.

Но тут он ещё раз позвонил в ГАУ — Главное Артиллерийское Управление, куда несколько раз за день звонил,— и оказалось, что уже и последние разошлись, и господа офицеры, и служащие, швейцар вот один остался и ничего поделать не может: буяны ворвались и ящики тащат, топорами открыли ящик с буссолями, а тут и ковры и зеркала, а полиции нет.

Ах, мерзавцы! ах, мерзавцы! — рванул Ободовский пальто и шапку. Новые буссоли тащить? За буссоли он им сейчас покажет, сколько б их там ни было, хоть тысяча человек!

И журавлиными шагами, не замечая ничего на улицах, понёсся к ГАУ.

111

* * *

Кто и когда поджёг Окружной суд — свидетелей нет.

В самый разгар пожара толпа не пожелала допустить пожарную команду, та уехала. Стояли, глазели, одобряли. На пожаре ликовал Хрусталёв-Носарь, двумя часами раньше освобождённый из тюрьмы. Соседние гимназисты утаскивали папки, для забавы. Тащили „дела" с фотографиями осуждённых. Стоял молодой человек из судейских и, смелея, громко стыдил толпу, что горит нотариальный архив, и какая это беда, и для чего он нужен. Мрачный мастеровой сплюнул и выматюгался:

— ...так и так тебя с твоим архивом. Дома и землю без архива разделим.

Заодно против суда разгромили редакцию „Русского знамени", в мелкие клочья на мостовую рвали их черносотенную газету, их брошюры.

Когда в суде уже выгорели окна и провалились потолки — допустили пожарников. Приехало сразу несколько частей, выдвинули несколько лестниц. Но поздно.

Теперь лезли мешать пожарникам пьяные, но уже публика их отымала, умиряла.

* * *

По Суворовскому проспекту мчался из первых автомобиль, полный вооружённых солдат. Из боковых Рождественских улиц выбегали на него смотреть. В кузове, в переднем ряду молодой унтер, с красным лоскутом на штыке поднятой винтовки, кричал:

— Ура-а-а! Долой тира-ана! Долой всякое господи-инство!

— Молодцы волынцы! — кричали им с тротуара.

А старухи крестились в испуге.

* * *

Владимир Васильевич Перфильев, молодой адъютант сводного лейбгвардии казачьего полка, крупный, преогромной силы, оказался в отпуску в Петрограде. 27-го шёл мимо чьей-то казармы — увидел на улице десятки бездельно бродящих, распущенных растерянных солдат. Стал сильно кричать на них — и всех загнал в казарму. Изругал часового, настрого приказал ему никого больше наружу без отпускной не выпускать.

И пошёл дальше. (Дома мать узнала, в ужас пришла, и самого не выпустила из дому неделю.)

* * *

На углах Бассейной, Жуковской, Надеждинской стояли солдаты кучками, с вышедшей домашней прислугой, рассказывали и матерились.

По Кирочной разъезжало верхом несколько штатских в котелках и фетровых шляпах, опоясанных саблями сверх пальто,— на лошадях, уведенных из казарм жандармского дивизиона.

* * *

Солдат, поставив винтовку прикладом наземь, пожелал прикурить у прохожего офицера. Тот остановился нехотя и нервно, левой рукой держит папиросу на прикур, правая в кармане. (Револьвер?)

Солдат прикуривает неторопливо.

* * *

Пассажиры с поездов не находят на вокзалах ни носильщиков, ни транспорта, где — опрокинутые извозчичьи дрожки. Кто ищет санки для клади, а кто достаёт рогожный куль, на него свои вещи и потянул по снегу.

Близ вокзалов все магазины закрыты, у витрин никого.

* * *

А на Садовой — обычный вид, магазины и лавки открыты, на Апраксином и Щукином рынках — толпы покупателей, приказчики зазывают, разносчики с лотками перекрикивают друг друга, шутят, смеются.

* * *

Ещё и после полудня ходили люди в банк. А генерал Верцинский, в отпуску в Петрограде, до двух часов дня умудрился ни на Невском, ни на Гороховой не столкнуться ни с чем. Только издалека, из Литейной части, слышал перестреливание.

* * *

Конный городовой несётся крупной рысью и размахивает шашкой в обе стороны попеременно. Народ невольно разбегается — и он проскакивает, в подхватисто перепоясанной шинели, в фуражке. Стреляли вослед — не попали.

* * *

Как начали грабить Арсенал — за день похитили 40 тысяч винтовок и разбили много ящиков револьверов.

* * *

По Суворовскому — снова грузовик с солдатами. Густой гудок непрерывно ревёт — и толпа сбегается. Из кузова выбрасывают на ходу на сторону — винтовки, сабли. Молодёжь подбирает, потом ладит, как привесить. А подростки — беснуются от радости, первее всех хватают.

Мальчуган лет 12, опоясанный тяжёлой саблей, чертящей по земле, визжит: „ура-а-а!".

Стройно, строго идёт полурота во главе с прапорщиком. Но — ничего красного. В толпе:

— Это что ж, против народа?

— Да не.

— А пошто ж они не вопят?

* * *

У подворотен, у подъездов набираются любопытные — жильцы, чиновники, барышни, а то и офицеры с дамами. И опасно смотреть и интересно. То кучки двинутся вперёд, в толпу — лучше посмотреть. То — бегут назад, и офицеры под руку с дамами тоже.

Обыватели бродят по улицам с любопытством и жутью. У встречных узнают, что делается там-то, и можно ли пройти.

* * *

Литовский замок — женское исправительное арестантское отделение, кто-то добивался атаковать ещё в воскресенье вечером: кучки народа сходились в темноте, перебегали, постреливали. Все дома вокруг перепугались и свет потушили.

Но только в понедельник после полудня появился бронированный автомобиль и отряд солдат. Поднялась пальба, летели стёкла, прошибли двери. Защитного караула не нашлось. Начальник тюрьмы, не отдававший ключей, был избит и уведен окровавленный.

Стали выпускать арестанток. Потащили всякое разное, что нашлось в складах.

Откуда-то снизу, как из подвала, стал подыматься рыжий дым. (И перешёл в трёхдневный пожар.)

* * *

За этот день разгромили семь тюрем. Кроме Дома предварительного заключения (откуда освободили финансиста Рубинштейна, за ним сразу пришёл автомобиль), Крестов (откуда освободили Гвоздева и всю Рабочую группу) и Литовского замка — ещё Женскую тюрьму на Арсенальской набережной, Военную тюрьму на Нижегородской улице, Пересыльную тюрьму и Арестный дом близ Александро-Невской лавры.

На улицах арестанты и каторжники, в халатах, в тюремном, прогуливались весело, целовались друг с другом и с солдатами.

Всех до одного освобождали, не расспрашивая. Вместе с политическими вышли на свободу (много больше их) и все уголовные. И в тех же часах начались по городу грабежи, поджоги и убийства.

* * *

Через форточку запертого Михайловского училища юнкер Лыкошин, сын генерала, крикнул на Нижегородскую улицу:

— Товарищи! Мы — с вами тоже! Но нас отсюда не выпускают!

Тогда юнкер Юрий Собинов, сын артиста, закатил ему пощёчину.

* * *

Рабочие разоружили охрану Финляндского вокзала и захватили его. Порвали семафоры, и движение поездов прекратилось. Сестрорецкие оружейники тоже заняли станцию Белоостров.

* * *

Путиловские рабочие захватили оружейные магазины и с оружием разогнали последние полицейские наряды близ завода.

* * *

На улицах стали повсюду разоружать офицеров, мирно: шашку, револьвер отдай — и идите, ваше благородие.

В этом отъёме есть и самооборона: обезопасить себя, мятежных, от *них*.

Офицеры по людным улицам продолжают ходить, друг другу козыряя,— а шашек ни у кого и нет: или ножны пустые или ничего. (Спрятал, дома оставил?..)

* * *

Двое штатских, интеллигентных, в хороших пальто, идут, оживлённо разговаривая,— и каждый с обнажённой офицерской шашкой в руке. (Сами отобрали? Переняли у того, кто отобрал?)

* * *

По телефонам слухи: создано ответственное министерство с Родзянкой во главе, Протопопов назначен диктатором, генерал Алексеев — военным министром.

* * *

Винтовки так часто, много везде стреляют — будто сами собой.

Грузовые автомобили — всё чаще на улицах, и откуда берутся? — три года война идёт, никогда столь частых не видели. Они движутся среди толпы как большие ощетиненные животные. На солдатах — пулемётные ленты наискось через грудь, свисая с плечей, в опояску, на дулах винтовок в обвив. На лицах — радость, нетерпение и прорыв ненависти.

— Ура-а-а-а! — непрерывно кричат они толпе. И толпа приливает к ним навстречу с красными клочками, лоскутами:

— Ура-а-а!

* * *

Солдат верхом и с револьвером в руке подъехал к офицеру и целится ему в лицо.

* * *

В Пажеский корпус (на Садовой, в Воронцовском дворце) неделю назад набрали юных новичков, готовить ускоренно на офицеров. Не умеют ещё и винтовку держать. Днём стало известно о бунте — стали срочно учить их стрельбе. Одну команду рассыпали по снегу во дворе — против ворот.

Унтер-офицер Шестопалов, лучший пулемётчик, обучавший всех пажей, сказал, что стрелять в восставших не будет.

Но — и не напал на них никто.

* * *

На Невском разгромили охотничий магазин. Всё оружие растащили начисто.

* * *

Могучий броневик „Ахтырец", не только с пулемётами, но и с пушкой, грохотно катит по Невскому. На его стальном корпусе — красный флаг.

* * *

Через толпу на Знаменской площади хочет пройти военный автомобиль, правит офицер, даёт гудки. Но толпа не раздаётся.

— Стой, мотор! Проезду нет! Вылезай!

Студент подошёл и положил руку на руль:

— Мы конфискуем ваш мотор.

Офицер резко:

— Кто это — мы?

— Восставшие. Прошу не раздражать толпы и не вызывать нас на насилие.

Капитан вышел, растерянный.

В автомобиль набилось молодёжи, и тот студент,— и они помчались, непрерывно наяривая сиреной.

Но капитану не дали отойти. Другой студент:

— Теперь вы должны отдать нам шашку.

Капитан потемнел багрово, вскинулся:

— Нет! Это лишит меня чести!

— Но нам необходимо оружие,— аргументирует студент.

Капитан смеривает его и ближних окружающих, наступивших:

— Тогда — убейте меня! Но шашки я не отдам.

Протискивается здоровый солдат и одной рукой упреждает молодёжь:

— Братцы. Ежели офицер отдаст вам шашку — он лишён офицерского звания. Одна шашка вам не пособит, а человек пропасть должон?

— А ты что за заступник?

— Я — сам противу начальства! А офицера в обиду не дам.

Отбил, отпустили.

(Далеко ли?)

* * *

На Суворовском какие-то солдаты подошли к офицеру и сорвали с него погоны.

Он отошёл несколько шагов в сторону — и застрелился.

* * *

В преображенском дворе Иван Редченков со своим земляком Митькой Пятилазовым слонялись, выходили через ворота на Суворовский проспект — но там и вовсе гуляла воля, куда хочу туда стреляю.

Целый день никто их не кормил, повара разбежались да и полк растёкся, без команды, кто куда, а новобранцы идти боялись. А морозик за полчаса не брал, а за полдня очень разбирал. А в казарму идти, сказано, нельзя: будто ежели кого там бунтари захватят, то прикончат.

Тут один офицер преображенский, уже с красной повязкой на рукаве, сжалился над ними двумя и отвёл их в подвал, где была сапожная мастерская, а сегодня тоже никто не работал. С улицы и сюда доникал грохот свободы.

Тут согрелись друзья, только в животе сильно занывало. Поговорили про свои родные мещерские места, делать нечего — хоть и рано, легли меж сапожных заготовок на полу, кожу под головы — и заснули.

* * *

Дежурный офицер Измайловского батальона у ворот ответил подошедшим взбунтованным солдатам, что в помещение батальона входить нельзя. Его — закололи тут же в два штыка, стряхнули на землю. (Потом раздели — и голым бросили в чулан.)

* * *

Юнкера Инженерного училища, гоня занятия с утра и до ночи, почти и не заметили волнений всех этих дней. Стоит Инженерный замок на мысу, на разлиянии Фонтанки и Мойки. Сегодня по ту сторону их обеих много ходили и бушевали с красными бантами и тряся винтовками, разгромили дом министра внутренних дел. Толпились. Пришёл слух, что на училище идёт сапёрный батальон — брать замок и *присоединять* юнкеров. Юнкерам раздали винтовки (да по два патрона к ним, не оказалось патронов или начальник выдать не хотел), выстроили по всем сторонам против окон.

Сапёры остановились не близко, и в атаку не пошли. У них для атаки не было ни порядку, ни командиров.

112

На Петербургской стороне весь этот день прошёл как лёгкий мирный праздник, всеобщий праздник в будний день. По телефонам через Неву известно было, что происходит, а по мостам не пускали. С Литейной стороны перекинулось на Выборгскую, а сюда ничто. За Невой и за Большой Невкой там всё решалось, стрелялось — а здесь только гуляли большие городские толпы, передавали слухи, а полиции нигде не было видно, и Гренадерский батальон — только у мостов.

Алексею Васильевичу Пешехонову, одному из лидеров партии народных социалистов (партия была теперь такая маленькая, что состояла сегодня почти из одних лидеров), надо было бы непременно писать статью для „Русских записок", с которой он сильно опаздывал, но и дома никак не сиделось, и он то и дело покидал свою статью, надевал шубу с меховым воротником, выходил и прохаживался в публике.

Настроение у людей было возбуждённое, делились сведениями и слухами, охотно заговаривали с незнакомыми — от переполнения большою общею радостью. И Пешехонов делил эту радость несказанно. Думал ли он дожить до такого счастливого дня! Все свои пятьдесят лет он только и делал, что шёл и шёл в народ — учителем, земским статистиком, потом и членом Крестьянского (но городского) союза, всё с лозунгом „хлеб, свет и свобода!". И вот — что-то начиналось, наконец? Проснулся народ?

Но вместе с тем его и огорчало, что публика — такова уж наша публика! — только и ограничивалась этим общим любопытством и радостью. А никто не делал никаких попыток прорваться через оцепленья на мостах, присоединиться к восставшим, либо начать решительные действия тут, на Петербургской стороне.

Наконец, в которую по счёту прогулку, уже на закате, увидел Пешехонов на той косой площади, где сходятся Архиерейская, Большая Монетная и Малая Вульфова улицы,— кучку народа человек во сто из рабочих парней, девиц и ребятишек, которая, кажется, возмерилась что-то совершить. А вот что: они подступали, подступали и хотели бы прорвать цепь гренадер, преграждающую путь к их казармам и дальше к Гренадерскому мосту на Выборгскую сторону.

Какой-то молодой рабочий вынул из-за пазухи кусок красной материи, нацепил её на палку и — поднял! и стал звать за собой остальных, кричать и руками махать.

А молодёжь ещё переминалась и не решалась.

Алексей Васильич ни минуты не колебался: он ощутил волнение того священного момента, который так знаком старым свободолюбцам и который не так часто выпадает на нашу долю. Не сгибаясь под тяжестью шубы, твёрдо ступая в галошах (левую, спадающую, он к счастью распёр бумажкой в носке) — он перешагнул, перешагнул пустое пространство — и уверенно стал под красное знамя рядом с молодым рабочим.

Вид ли его — пожилой, почтенный, но и простоватый, подействовал, или достигнута была раскачка,— но половина кучки тронулась, и Пешехонов в первом ряду!

Однако кто-то и на месте остался. А кто-то — метнулся за угол, опасаясь, что вот тут-то и грянет стрельба.

А хоть бы и грянуло, не обидно погибнуть за народную свободу!

И Пешехонов, гордо запрокинув голову в бобриковой шапке, не отставал от флагоносца, так они и шли рядом, вдвоём.

Всего-то пройти надо было сажен сорок, и не стреляли, даже враждебных движений не было в цепи гренадер,— а кучка растаяла, чувствовалось спиной и косым зрением. Около знамени осталось несколько человек. О, проклятое наше российское рабство!

Пришлось возвращаться, и подбодрять и смелость вдувать в этих молодых людей, и пристыдить. Пешехонов произнёс им небольшую речь, указывая на их гражданский долг.

Гренадеры слышали, не мешали. Они „вольно" стояли, разговаривая в цепи, и с улыбками кивали друг другу на демонстрантов. И молодой офицер прохаживался мимо цепи, ничего не командовал.

И даже такую цепь эта молодость не решалась прорвать! О tempora, o mores! О, как же низко упал боевой дух поколения!

Уже не так знаменосец, как Пешехонов повёл этих молодых рабочих второй раз, и третий, и четвёртый,— и каждый раз отставали, пятились, сворачивали, не выдерживали. Уже все его тут узнали и звали „батей".

Наконец он предложил такой манёвр: несколько смелых, которые всё время доходили, пусть составят руками цепь позади робких и так поведут их и удержат от бегства.

Увы, и это не помогло: прорвали не впереди, а своих позади и разбежались. Не могли выдержать приближения к вооружённому строю!

Уже солдаты пожалели Пешехонова и при его близости шептали ему: „Да пусть идут!.. Мы препятствовать не будем... У нас и ружья не заряжены!"

Но — тщетно... Уже и красный флаг куда-то убрали.

Всё это так надоело Пешехонову, так глубоко оскорбило его, что он, уже никого не дожидаясь, ни на кого не оглядываясь, пошёл просто один, через строй, даже отчасти и желая мучительной смерти, чтобы горько устыдить струсивших.

И что же? Гренадеры не шевельнулись, и Пешехонов беспрепятственно прошёл сквозь их цепь — и дальше, дальше, мимо старинных желтокаменных казарм с колоннами — и даже до самого Гренадерского моста — и никто его не задержал и не окликнул.

И вот он уже стоял перед самым мостом, а перед ним — новая цепь гренадер, которая, может быть, тоже бы его пропустила.

Но — горько ему стало, он увидел во всём этом случае рельефный символ, в нескольких фигурах выражающий всю русскую историю.

И он повернул назад.

А близ казарм уже была часть его демонстрантов — по его стопам и они решились. И тут уговаривали гренадеров бросать казармы, идти на улицу.

Там был часовой у ворот, но он не препятствовал демонстрантам войти во двор. С любопытством и Пешехонов туда пошёл. Во дворе была масса солдат, и сновали офицеры при оружии — и никто не выражал враждебности к вошедшей кучке, хотя она опять развернула красное знамя.

Тогда Пешехонов набрался смелости, возвысил голос — и потребовал освободить всех узников полковой тюрьмы.

Офицер кивнул унтеру, тот повёл гостей в карцер — и освободил оттуда одного солдата без пояса.

Но идти на улицы гренадеры отказались:

— Не. Командиром мы довольны, уж вы нас не содвигайте.

113

Но и создание этого комитета, уже одобренного частным совещанием, совсем не была лёгкая задача. Сам-то комитет составлялся нетрудно: те же почти старейшины фракции, сидящие тут. То есть, взять бюро Прогрессивно-

го блока, направо вплоть до Шульгина, да добавить слева Чхеидзе и Керенского, да пожалуй этого крикуна Караулова, он покою не даст,— а возглавить, естественно, Михаилу Владимировичу. Получалась и цифра хорошая, 12 человек (нарочно подогнали, чтоб не 13).

Но и все старейшины и пуще всех Михаил Владимирович не понимали: для чего же этот комитет будет служить и, стало быть, как ему называться?

(Перервали, постучали думские социал-демократы: можно ли им в 13-ю комнату, бюджетной комиссии, пригласить освобождённых из тюрем партийных товарищей, позаседать с ними. Мысли как-то не отвлекались,— кому, зачем. Сказал Родзянко: ну что ж, заседайте.)

Названье сложили как по складам, подсказками всех: „Временный Комитет Государственной Думы для поддержания порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами". Сколько мудрости и осторожности было вложено сюда! Временный! — и для поддержания порядка! — самая законопослушная задача. И всего только для сношения — отнюдь не для действий и не для управления. И учреждения — могли быть только законны, это не революционные партии.

Кажется, нельзя было назваться осмотрительней и лояльней.

И всё равно, смутным сердцем ощущал Михаил Владимирович, что уже и это было незаконопослушно, что и на такой комитет Дума не имела права,— и это уже был акт революционный. Как неразумных детей хотел Председатель широким объятием удержать своих думцев от пропасти — а они его туда и тащили.

Но успокаивало, что осмотрительный Милюков, так упиравшийся на частном совещании,— вот соглашался на такой комитет, не видел в нём слишком дурного.

И потом же уговорились на частном совещании, что такому комитету думцы будут безоговорочно подчиняться,— и таким образом хотя бы в Думе в этот опасный час будет создана единая твёрдая воля. Для порядка — это важно.

Объявили оставшимся членам Думы, неуправляемо бродившим по залам. И вот — Комитет существовал.

А Родзянко ушёл в свой кабинет в одиночество, чтобы справиться с бурными мыслями, с новыми раздирающими новостями из города, одуматься и понять. Он пытался снова звонить князю Голицыну и домой, и в Мариинский дворец,— но без успеха, не нашёл его.

Родзянко чувствовал себя королём Лиром, когда всё вокруг терялось, гибло и ревела буря. Он чувствовал себя мощным кораблём, но что-то слабеющим от этих ударов.

Он ходил по кабинету и мысленно разговаривал с неразумным слабым Государем. Он повторял ему слова своих телеграмм и ещё более сильные внушения, убеждая, что не мог поступить иначе,— но что и Государю не остаётся иного, как уступить. Он хотел вообразить ответы Государя, но ответы никак не доносились отчётливо до ушей, они, как всегда, были уклончивы.

Ах, почему, почему Государь ему не ответил на две отчаянных телеграммы?

Вдруг — позвонил телефон. И раздался, даже в телефоне различаемый, мягкий, ласковый голос великого князя Михаила Александровича. Он осведомлял, что уже в городе.

Ах, какое облегчение! Да как же он добрался? Легко?

Довольно просто: из Гатчины поездом, а от Варшавского вокзала на своём прибывшем автомобиле, и проехал по улицам довольно свободно. И теперь на частной квартире ожидает указаний Михаила Владимировича.

Он даже покорно разговаривал, милый великий князь! Он всегда очень прислушивается к Председателю — и это давало надежду сейчас! Государь был недостижимо далёк и глух, но единственный брат его — вот здесь, в мятежном городе, и может быть использован как великий рычаг.

Но — к а к? План ещё был неясен и самому Председателю. И тем более нельзя разъяснять по телефону: на станции услышат барышни — разнесут. И даже встретиться нельзя им в Думе, потому что многие здесь тянули сами

в пропасть, а задача Родзянко — спасти Россию! Надо встретиться, но не здесь, а лучше всего — в Мариинском дворце, в главной резиденции правительства, потому что этот план не может быть решён без правительства, там наконец разыскать и министров, если они не совсем ещё задремали и умерли.

И уговорились с великим князем: встретиться там около восьми часов вечера, это будет через два часа после темноты, к этому времени толпы обычно успокаиваются и расходятся, легче будет проехать.

И никому не сказал Родзянко о встрече, кроме заместителя своего Некрасова да секретаря Думы Дмитрюкова, которых предполагал взять с собой.

Но через полчаса ему принесли, что ходит по думским залам слух, будто великий князь Михаил Александрович сегодня в девять приедет в Таврический дворец и будет провозглашён императором. Тьфу!

А другой упорный слух уже час гулял по Думе: что близ Зимнего дворца стягиваются войска, верные правительству.

О-о-о, дело осложнялось. Конечно, правительство не бездействует. И вот они через несколько часов установят порядок в столице,— а Дума-то! Дума-то! — непозволительно перешла границы.

И — раскаялся. И усумнился во всём сделанном. И вчетверо встревожился Председатель.

А тут — стал снаружи доноситься большой шум, крики, проникающие даже в глубину толстостенного дворца. И прибежали думские приставы доложить, что снаружи подошла отчаянная вооружённая орда, и ни Керенский, ни Чхеидзе не могут её успокоить, а требуют они Председателя Государственной Думы! — иначе сметут сейчас все караулы и ворвутся.

Заколыхалась великанская родзянковская грудь. Это была опасность, но это был и долг — спасение Думы!

Не выйти было нельзя. Уже приближённые думцы подсказывали Родзянко, что всё выходит к толпе Керенский — надо его оттеснить, поставить на место. Народ должен видеть настоящего хозяина Государственной Думы!

Выйти — да. Но что говорить, выйдя? Нельзя произносить мятежных речей, льстить толпе мятежными обещаниями,— но и чем-то надо эту толпу насытить. Ведь это, очевидно, представители восставших частей.

Счастливо сообразя, Родзянко взял черновые бланки посланных телеграмм. Наросла обида: почему же Государь молчит на родзянковский честный призыв? Пожаловаться наконец самому народу, своей России? Прямо сказать о своём ужасном положении, они поймут! Пристав поспешно подал ему пальто, фамильярно-заботливо обмотал ему шею шарфом. Так и пошёл Председатель незастёгнутый, без шапки, с шаром темени едва не лысым,— шагом крупным, озабоченным.

И вышел на крыльцо, под внешние колонны, на этот рёв, прямо лицом к этой действительно орде, всей ощетиненной винтовками, да так, что штыки по неумелости торчали во все стороны,— тут было кроме солдат много вольных — и студентов, и мастеровых, и подростков, и черни, и даже двое в арестантских халатах. При выходе Родзянко они взревели ещё, и не очень почтительно, может быть даже угрожающе,— но это-то он мог перекрыть
25- своим могучим голосом, лишь бы штыком ему не пропороли живота. Его и, ворвавшись, остальных думцев эта орда могла переколоть и перестрелять в пять минут, а защищаться было некому и нечем: не было правительственных войск, не было жандармов. Положение было исключительно опасное.

И Родзянко правильно прибег к своему козырю: что Государственная Дума всегда стояла и продолжает стоять на страже народных интересов. И вот какие телеграммы он послал царю (хотел сказать почтительно „Государю", но в угоду толпе сам язык вывернулся „царю"). И стал читать. Громко вслух. Стал читать, не соразмерясь, не повторив про себя текста,— и вдруг эти фразы, написанные от сердца и вполне же допустимые в обращении к Государю,— тут прозвучали страшным набатом, таким революционным грохотом, как будто первым мятежником был не вот этот размётанный полубезумный матрос гвардейского экипажа, а сам Председатель Государственной Думы:

— Волнения принимают стихийный характер и угрожающие размеры... Полное недоверие к власти, не способной вывести страну из тяжёлого положе-

ния... Правительственная власть в полном параличе и бессильна восстановить порядок... России грозят унижение и позор... Промедление смерти подобно... Убивают офицеров... На войска гарнизона надежды нет... Гражданская война разгорается... Если движение перебросится в армию — крушение России и династии неминуемо...

Он в ужасе несколько раз хотел остановиться! Но его несло с горы как на санях, он почему-то не мог обежать даже единой фразы, будто должен был тогда раскрошиться, как обо встречный столб.

— От имени всей России... Час, решающий судьбу родины, настал... Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца.

И сам вздрогнул от силы прочтённого. (Эту последнюю фразу — он послал или не послал?)

Так он всё это ужасное, первый раз увиденное им самим, громко прочёл, кинул этим шинелям, бушлатам, курткам, халатам — рвать на клочки...

И — действительно насытил их. Они заревели, заревели уже без угрозы, уже дружелюбно — и штыки опали, и никто не целился пропороть ему живот.

Так Председатель отбил эту орду и спас Думу, и воротился внутрь дворца, спасённого от разгрома. (Впрочем, какие-то неизвестные плохо одетые субъекты, не имеющие отношения к Думе, по пути там и сям попадались ему. Стояли малыми кучками, пошёптывались, приглядывались.)

И вдруг Родзянко почувствовал, что он — как бы какое предательство совершил. Что не надо было и брать с собой телеграмм на крыльцо, какая несчастная мысль! Не надо было их читать.

В стыде и подавленности он вернулся в свой кабинет. Он рассмотрел в большом зеркале — из окон всё меньше было света, день кончался — глыбу своего тревожного, рельефного и постаревшего лица. Стал расхаживать — то прямо на огромное зеркало, то поворачиваясь к нему крутой спиной. Расхаживал, чтоб успокоиться, но вспомнил этих субъектов в дворцовых переходах и опять встревожился, и вызвал старшего пристава (похожего на себя, тоже крупного, широколицего).

Тот доложил, что — да, какие-то социалистические деятели и ещё освобождённые сегодня толпой из тюрем, караул их пропустил, а у пристава нет сил выгнать — это может вызвать скандал.

Да-а... Да-а... Приходилось мириться... Сейчас скандалить нельзя.

Родзянко остался в кабинете — ходить и думать, поджидая дурных вестей.

Так и случилось, пристав прибежал с новыми: привели арестованного Щегловитова!

Как?? Кто это мог?? Председателя Государственного Совета? — другой такой же законодательной палаты, как Дума? — арестованным? Невероятно! Родзянко вскочил во гневе и побежал выручать.

В купольном зале Щегловитов был без шубы и без шапки, в простом домашнем сюртуке, с головой почти облысевшей и красной от холода — это он не разделся здесь, а так его привели по морозу? Дерзкий низкорослый студент с револьвером и саблей на боку возглавлял конвой, и два дюжих солдата держали сзади винтовки наперевес, не шутя.

Вокруг невиданного зрелища стягивалась толпа — и публика, и откуда-то немало солдат, уже внутри!

Высокий Щегловитов, с редкими начёсами седых волосиков, а усами тёмными густыми, был смазан из своего обычного делового выражения, без выдающихся черт лица, тяжело дышал. И молчал, завидя и Родзянко.

— Ива-ан Григорьич! Что-о с вами? Что-о за недоразумение? — басисто зарокотал, развёл руками Родзянко, намереваясь легко отобрать арестованного (однако не подал на рукопожатие).

Но студент сделал предупредительный жест — не подходить. И солдаты не потеснились.

Тут сбоку раздался вносчивый петушиный голос Керенского, как закатился от торжественного значения:

— Иван Григорьевич Ще-гло-витов?!

Щегловитов смотрел напряжённо-растерянно и как бы не слыша крика. Большие усы его лишь пошевельнулись:

— Да.

Продержалась пауза лишь столько, сколько Керенскому набрать нового ликующего голоса:

— Именем революционного закона вы — арестованы! — чрезмерно звонко и очень подготовленно, без неожиданности, объявил он. — Вы будете иметь пребывание в Таврическом дворце!

Да что в самом деле? Да с каких пор, почему он здесь держался как первый? Родзянко вновь радушно развёл руки, одновременно подотталкивая Керенского:

— Иван Григорьич, пожалуйте ко мне в кабинет.

Но студент поднял нетерпеливую руку.

— Нет! Нет! — вскричал Керенский пронзительно. — Он здесь не ваш гость, и я отказываюсь его освободить!

Да почему — он? Он так говорил, будто он и арестовал, или был генеральным прокурором?

Генеральным прокурором — то есть министром юстиции — тут и был 9 лет, но — Щегловитов. А сейчас — таков же по статуту, как Родзянко! И — как преступника...?

Спеша не отдать жертву, Керенский возгласил:

— Вы — тот человек, который может нанести самый опасный удар в спину революции! И мы в такой момент не можем вас оставить на свободе!

Родзянко со слоновой высоты посмотрел на этого мозгляка, противоречащего ему тут, в Думе!

И вдруг — осел мешковато. Вдруг понял, что прежняя его тут власть — кончилась. Уже и приставы его думские тут были ничто.

Какой-то рослый унтер-преображенец с маленькими глазками, с русой бородой по раздатой челюсти, пристроился и уже толкал Щегловитова под бок — идти дальше, в Екатерининский, поняв, куда взмахнул лёгкой рукой Керенский.

И сам Керенский пламенной птицей кинулся перед ними вперёд.

Зашагали и два революционных студента, и солдаты с винтовками наперевес.

Со всех сторон испуганно смотрели на шествие. Члены Думы все знали Щегловитова.

Но его привыкли знать или ненавидеть как покрытого бронзой. А вот он шёл понуждённо, никому не кивая.

114

По одному пробравшись неузнанными через растревоженную столицу, министры снова собрались после трёх часов дня, уже в Мариинском дворце.

Здесь была рота солдат, скрытая в помещении близ швейцарской, да перед дворцом — два полевых орудия, а на самой Мариинской — пока никаких мятежных передвижений.

Из малого зала совета министров на втором этаже открывался на площадь прекрасный вид — один из вечных видов Петербурга: за обширной просторной частью, скрывающей под собою Мойку,— удалённая изящная клодтовская фигура Николая Первого, в спину, а дальше — величественное замыкание Исаакиевским собором, на куполах которого на короткое время заиграло солнце. Сколько раз видели эту устойчивость — и привыкли, и не ценили так остро, как сегодня — когда она грозила пошатнуться. Собирались, бывало, министры и в плохих настроениях и казалось им, что плохо идут дела, а теперь: о, если б только как раньше, когда послушная столица мирно текла по тротуарам, в извозчиках, в трамваях,— а на перекрестках незыблемо стояли городовые!

Тот же был, с торжественными портретами и люстрой, тёмно-красный зал, тёмно-бордовый бархат кресел и такая же скатерть до полу на большом столе (сегодня этот красный цвет, хотя и приглушённый благородною темнотой, приобретал враждебно-победительный смысл). Тот же простор пройтись по

залу, подойти к окнам, поговорить уединённо по двое, по трое. Здесь не было ощущения, что кабинет министров спрятался, как на квартире Голицына, и здесь они были как будто в привычной безопасности, сюда и собрались полнее, чем туда.

Однако — проредились их ряды. Кроме больного Григоровича — почему-то не было Риттиха, такого всегда непременного,— и не предупредил, с утра не звонил, и дома его нет. И цветущего прокурора Синода не было.

Ответственное и нервное натяжение. Что-то они должны были решить — немедленно, сделать — немедленно, но абсолютно непонятно — что? Военное подавление мятежа ведалось без них, Беляевым, он и поехал в градоначальство давать указания. А остальные министры — что ж делать могли во время мятежа?

Сохранялась телефонная связь с Таврическим дворцом. А там сидел дежурный чиновник канцелярии совета министров и сообщал о событиях. Так что министры всё время знали, что делается в центре бури, и поверить нельзя было даже воображательно.

Самовольное частное совещание членов Думы... Самозванный Комитет по установлению порядка...

А— что же правительство?

И — зачем они тут собрались? Может быть, надо было сидеть по своим министерствам?

Все были не в себе, но нервнее других, ломая пальцы, с лицом усталого проигравшегося игрока — всем коллегам тягостный и даже ненавистный Протопопов. Все так и ощущали, что из-за него-то и идут ко дну: ведь главная ненависть Думы бьёт по нему, и это он их топит. И это он не мог наладить порядка в столице. И теперь он потерял свой искусственный, победно-заносчивый вид, свою мину особого значения и знания, перестал казаться и притворяться, но открыто показывал, что изнемогает наконец.

Именно ему позвонил начальник Охранного отделения генерал Глобачёв с Петербургской стороны: ещё ничего не произошло, но как же быть с сотрудниками? с бесценными сверхсекретными архивами?

А — что мог ответить Протопопов? Никто из министров внутренних дел, его предшественников, не попадал так — ни каменный Плеве, ни железный Столыпин. Уничтожать? — может быть рано. Рисковать оставить? — может быть поздно. Ждать.

И Протопопову же звонил сюда градоначальник. И каждое спрашиваемое решение вытягивало из Протопопова последние нервы. Он — не знал. Пусть распоряжается генерал Хабалов... Пусть остаётся как есть...

И ему же подали записку, что дом министра внутренних дел разгромлен, возвращаться домой ему нельзя, жена же его спаслась у смотрителя здания.

Всё обрушивалось сразу вместе!.. Протопопов не удержал болезненного стона и обеими руками взялся за лысоватые темена. Взор его вращался.

На него обернулись — он охотно пожаловался вслух.

Два-три соболезнования промычали,— или это передавался общий страх за себя у каждого: ведь и их министерства могут вот так каждую минуту.

Заседания — всё не начинали, всё не начинали, всё переходили друг мимо друга, обмениваясь короткими фразами. Для заседания нужно было не только дождаться Беляева, но и уяснить же, о чём именно должно быть заседание. Слишком дряхлый министр просвещения сидел в кресле как застигнутый перепугом или даже с отнявшимися ногами. Государственный контролёр был слишком молод для советов. Седой министр юстиции — слишком правый по убеждениям. Покровский с опущенными потерянно усами и лысый беспокойный Кригер-Войновский по своей близости к думским кругам, пожалуй, были сейчас наиболее надёжными советчиками. Но мнение Покровского было известно: всем — в отставку. С кем же премьер-министр, сам потерянный и едва удерживая спину несогбенной, мог бы держать совет? Никогда ещё так въявь не открывался ему его кабинет столь пёстрым, несобранным, расчуждённым.

Ближайшие мнения были: что надо решиться известить Государя о проигрыше столицы. (Но разве она уже проиграна?) Признать, что бóльшая часть

войск перешла на сторону революционеров. Что генерал Хабалов никуда не годится, а нужен популярный генерал с диктаторскими правами. И что... и что... следовало бы получить право вступить в переговоры с Думой. То ли слишком сбитое этой же Думой с ног, то ли слишком преданное престолу (а куда он так отдалился, престол?!), правительство не ощущало за собой такого явного права: разговаривать со своим парламентом.

Министр финансов Барк — вот кто был сейчас главный решительный и прагматический советчик. Он говорил: не успеют обернуться никакие телеграммы, нечего ждать никаких ответов — надо всё решать сейчас здесь самим.

Но этот состав бессилен был решать!

Наконец вошёл маленький искусственный темноокий — нет, зловеще-тёмный — Беляев. Так хотелось верить в его силу, что он — генерал, но кукольность его была наглядна. Так хотелось услышать от него каких-нибудь, может быть, победных вестей,— но он их не произнёс. А отошёл с Голицыным в сторону и стал ему толковать полушёпотом.

Толковать, что единственный выход спасти правительство и всё положение — это отделаться от Протопопова, исключить его.

Да князь Голицын разве думал иначе? Но не было у правительства права исключать своего члена: министры назначались и отрешались только самолично Государем. И даже самовольно уйти в отставку никакой министр не мог.

Протопопов как почувствовал, что говорят о нём, да они и покашивались невольно. И впился в них красиво-страдальческими, совсем уже неуверенными глазами. Ну что ж, стоило начать обсуждение общее. Сели за стол.

И князь Голицын голосом мерным и со всею сдержанностью великосветского обычая стал говорить о тяжёлом общем положении, в котором они почти бессильны. А для единственно возможного спасения правительства кто-то из членов должен принести себя в патриотическую жертву и добровольно уйти в отставку, не ожидая государева решения.

И всё не называл — к т о, всё кружился в околичностях, но, кроме может быть полуглухого министра просвещения, с первого слова всем было до такой степени ясно, что все и смотрели откровенно на Протопопова — с отвращением к нему и с надеждой спастись самим. Его отставка — может быть спасёт их всех.

И Протопопов вспыхнул огнём, хотя вялая кожа его не была склонна к румянцу, и стал дико озираться в круговой осаде, которой не ждал. До сих пор, кажется, не говорили так, что дело в ком-то одном, только одном, но — в положении общем? в роковом разногласии с Думой?.. И вдруг все, как сговорясь, смотрели на него изгоняющими взорами.

Да он сам их терпеть не мог! Да он сам их презирал! Но отступили в немоту и сумрак все покровительственные фигуры,— и вот Протопопов сидел незащищённый, бессильный среди своры ничтожных людишек, желавших спасти себя за его счёт. И так сразу стало одиноко до воя, так стало жаль свою красивую жизнь, свою великую карьеру, не доведенную до зенита,— он как будто отыграл трагическую роль перед раёшной публикой.

Но не облегчил министрам — и не подсказал свою фамилию.

Тогда слово перешло к чёрной совке Беляеву. Маленький, с оттопыренными ушами, он мрачно смотрел из глубины глазниц через заставку пенсне и произносил без голосовой силы. Он извиняется перед Александром Дмитриевичем за свою военную прямоту. Но он видел сегодня нескольких видных лиц (не назвал — где, кого, но этот приём всегда производит впечатление достоверности), и все они заявили: беспорядки происходят от общей ненависти к Протопопову. Если он уйдёт — всё успокоится. И нельзя медлить ни минуты. Нельзя дразнить толпу, она наэлектризована.

Протопопов горел — и задыхался. Он даже не мог им ответить достойно. Он был более всего — оскорблён.

И тогда князь Голицын вежливо и торжественно обратился к Александру Дмитриевичу с *просьбой* от имени всего совета министров: принести себя в жертву, оставить пост,— и это вызовет успокоение раздражённой толпы.

И, тронутый этим тоном, Протопопов ответил, что он и сам давно бы ушёл, и сам просил об этом Государя — но тот никогда его не отпускал. А — как можно уйти без воли Государя?

А они — тоже не имели права исключить его.

Тут услужливые голоса напомнили, что есть такая статья — об экстраординарных решениях совета министров. Или если б, например, считалось, что он заболел... Отчего он не может объявить себя заболевшим?

Никто не смел его заставить! Он мог сопротивляться! Но нервное горение, державшее его эти дни, вдруг вышло всё. Протопопов сник, уронил голову — и его добивали уже таким.

Что он — должен заболеть. Что его обязанность — тотчас заболеть и этим спасти правительство России.

И — не было ничьих глаз, ничьей души в поддержку! Ни — Барк, ни — Шаховской. Да кто тут? — тут же не было высоких душ! А в одиночку Протопопов уже не мог устаивать дальше. Он поднял голову в отчаянии, ему хотелось или захохотать или разрыдаться:

— Что ж, господа, извольте! Что ж, если это вам так нравится, я могу объявиться больным!

И — не ужаснулись его жертве, не содрогнулись от своего предательства,— но все облегчились явно. Для них — распутывались все проблемы.

И от этого Протопопову стало ещё обиднее, горько сжало горло.

— Ах, какие вы злые-нехорошие! — выговорил он свою постоянную шутку.

А князь Голицын сказал:

— Я очень благодарю вас, Александр Дмитрич, от имени совета министров, что вы приносите себя в жертву.

Протопопов еле сдерживался от хохота-плача. Он вскочил с закинутой головой, чтоб не видели глаз его, и, тяжело дыша, проговорил:

— Я даже могу для вас кончить самоубийством! Мне только и остаётся — застрелиться!

И вышел из зала.

Все вздохнули освобождённо, и никто за ним не поспешил. Не поверили.

Правительство было спасено. Заседание продолжалось.

Но хотя Протопопов и открыл им выход — этот выход никак не открывался. Что же было, всё-таки, делать?

Даже объявить об отставке Протопопова — не было у них видимого способа.

Вернуть столицу они не могли без внешней помощи.

А этой помощи — могли ли они дождаться?

Да и надо же было назначить заместника министру внутренних дел. Парадоксально всё же: в такую минуту остаться без министра внутренних дел!

Но ещё парадоксальней: никто не подготовил и никто не мог придумать никакой кандидатуры, даже самой временной. Голицын предложил энергичного генерала Маниковского, интенданта,— на него замахали руками. Главного военного прокурора?.. Секретаря Государственного Совета?

Стали телефонировать и предлагать — никто не соглашался.

Тем временем свой чиновник звонил из Таврического дворца с новостями. Что Керенский и Родзянко произносят поджигательные речи.

Покровский противительно откинулся в кресле:

— Не могу поверить, чтобы Родзянко, камергер, стал во главе революционной шайки. Что-то не так!

Но и всего-то могли они — сидеть в креслах и вести вялые, беспорядочные, бесцельные обсуждения. Под ними вымывало, уносило столицу, твёрдую почву, дворцовый пол — а они ничего не могли придумать. Отчаяние и бессилие.

Князю Голицыну доложили, что толпа подходит к его особняку на Моховой, кажется, с намерением громить.

Вот — и у него уже не было выхода! И у каждого могло не стать через минуту!

А — зря они не объявили осадного положения. Ещё вчера вечером было не поздно!

Объявить теперь? Осадное положение тем удобно, что снимает всякую ответственность с правительства, всё передаётся военным. Но — как объявить уже мятежному городу? Даже, неожиданная проблема: кто и где напечатает такой приказ? и дадут ли развесить его по городу?

Сообщения из Таврического прекратились, чиновника видимо удалили от телефона.

Но вошёл в смятении Стишинский, старый видный член Государственного Совета, и объявил им: председатель Государственного Совета Щегловитов — арестован с квартиры и увезен в Государственную Думу!

Это ударило их как громом. Человек высшего государственного поста — и арестован? Одна законодательная палата арестовывает другую?! Что ж это будет? Это — и *их* могут, значит, тоже?..

Ломали пальцы. Тут кто-то кого-то вызвал за дверь и от правых Государственного Совета конфиденциально предложили: дать команду лётчикам, стоящим в Царском Селе: лететь на Таврический дворец и забросать революционное гнездо бомбами.

Предположительно осмелились повторить за столом заседаний, но все отшатнулись. А ухастый маленький Беляев сказал, что как военный министр ни за что такой команды не допустит.

Но просили самого Беляева возглавить военный округ, сместить Хабалова, последняя надежда!

Нет, чем дальше, тем больше видели министры, что положение неспасаемо тут, изнутри.

Нужен — диктатор извне, с войсками.

Слать Государю телеграмму с просьбой о войсках.

Но позвольте, господа, напоминал Покровский, но Дума требовала нашей отставки взамен на её роспуск. Нечестно нарушать условия.

Да, правда... Да и разумней всего, да и легче всего им было бы уйти в отставку и ни о чём больше не заботиться.

Но они не могли все сразу заболеть, как Протопопов. Значит, они должны были просить Государя о коллективной отставке правительства.

Далёкого молчаливого недостижимого Государя.

Послать ему такую телеграмму.

Покровский и Барк уже составляли её готовно и поспешно.

Совет министров дерзает представить Вашему Величеству... с объявлением столицы на осадном положении, каковое уже сделано... Ходатайствует о поставлении военачальника с популярным именем... В настоящих условиях совет министров не может справиться с создавшимся положением и предлагает себя распустить, назначив председателем лицо, пользующееся доверием общества...

Князь Голицын убеждённо подписал.

115

Но и через Литейный мост воротясь — Кирпичников своих не собрал, все куда-то подевались. Всего-то народу кипело тьма, не то что утром, сейчас все смелые,— а вот своих не было. Утром, сколько ни было — он вёл, всю ораву, а сейчас были тысячи-тысячи, а его не только не слушали, уже не замечали, что за унтер такой идёт, щупленький.

Да ведь когда Арсенал на Симбирской разбили — одних браунингов набрали, наверно, несколько тысяч — и все у мальчишек, и все стреляют. И не отымешь, мальчишка — он хуже любого пропащего солдата: на него и гавкнешь — не слушает. А к чему это — в воздух палить, когда надо свободу добывать?

То и дело на них орал.

Утром Кирпичников с друзьями думал: как бы только не отказались со склада первый ящик патронов отпустить, не начать же с голыми пальцами.

А сейчас — все и вольные, кто только захотел,— с винтовкой, и патронами обгружен.

А от пожара на углу — огнищем пышет, и гарь, а повыше дым.

На Литейный проспект вывернулся какой-то отряд, хоть не стройный, не вовсе упорядливый, но всё ж отряд, и Кирпичникова фельдфебельское сердце обрадовалось: всё же строй понимают!

И — закричал он всей публике здесь, всем одиночным солдатам и всем вольным, кто с винтовкой, кто без, закричал привычную команду и даже надрывая голос:

— На — кра-у-у-ул!

И всё — зря. Взяло — может несколько человек, а больше никто не послушал. Так с утра народ распустился.

Что ж оставалось? Со своей новой небольшой кучкой примкнул Кирпичников к ихнему строю сзади. Пошли. Но впереди — стреляли, и строй разбежался быстро. За Фурштадтской дальше стояли кексгольмцы развёрнутым фронтом против свободных войск.

И свободные все забоялись, никто идти не хотел.

Кирпичников-то сделал сегодня больше всех, ему бы и не лезть. Но обида горела, что этак всё пропадёт, один раз остановись — и всё ведь пропало.

И вернулся он собирать-убеждать вперемежку солдат и вольных, что всем идти плотной толпой и не стрелять, а руками, шапками махать и уговаривать — нипочём тогда в них стрелять не будут.

Кого убедил, а больше — толпа поднапирала, изо всех улиц стекалось, толпы столько напирало и по Кирочной — что двигалась она на эту цепочку как туча.

И так — махали бараньими шапками, фуражками, кричали им, уговаривали — и пододвигались.

И прапорщики велели стрелять — а кексгольмцы не стали.

И как толпа надвинулась — так этих прапорщиков из револьверов тут же и убили. А строй кексгольмцев — рассыпался.

И потекла толпа дальше по Литейному, без удержу.

А тут, сказали вольные, направо во дворе, за железными дверьми, полуроту завели, с ней подпрапорщик и два пулемёта.

Э-эй, грохай по железу! Ат-крывай!

Верно вольные сказали: там сидели. За шиворот тех людей вытаскивали, да по шеям костыляли, подпрапорщик всё же унтер, свой брат, не застрелили его. И два пулемёта взяли.

А ещё передали вольные, что за церковью стоит засада Семёновского полка, и там будто 8 пулемётов.

А ещё передали: тут, в чайной, засада — и ещё 2 пулемёта.

И растекались люди кто куда, не управишь: то ли засады брать, то ли тикать от них, то ли просто по улицам болтаться.

А Кирпичникова гвоздило: пока ещё не темно, надо на Марсово поле идти и павловцев присоединять.

И скричал себе кой-какую толпишку, уж их не построишь,— идут, и хорошо.

Пантелеймоновский мост перешли, но дальше вольные разубедили: на Марсовом, мол, большая засада, всех перестреляют.

И — опять кто куда рассыпаться. Часть повернула по Садовой к Невскому, и Кирпичников среди них: он ли их вёл, или они его, уже ничего не понять, никто никого не слушает.

А что-то же делать надо.

Уже темно стало — и исправно засветились по всем улицам столицы ряды фонарей, как будто не было никакой суматохи.

Только те не светили, какие пулями рассадили.

116

Туда, на Пантелеймоновскую, где толпа обескуражила царскосельских стрелков, полковник Кутепов быстрыми крупными шагами отправился сам, хотя и не придумал и придумать не мог, что ж он будет делать один против смешанной вооружённой толпы. Просто — никого он не мог снять ни из одной цепи, а ничего не предпринять тоже не мог,— и оставалось пойти самому.

И ещё раз ему повезло (собственно, весь день сегодня ему везенье, если по-военному прикинуть расположение сил и средств): на углу Пантелеймоновской подошло к нему ещё две роты подкреплений — лейб-гвардии Семёновского батальона с двумя молодыми прапорщиками, Соловьёвым и Эссеном 4-м, и лейб-гвардии Егерского, та самая рота, которую Кутепов напрасно дожидался с утра.

Егерям он велел идти к артиллерийским казармам и там ждать. А семёновцев поворачивал на Пантелеймоновскую, чтобы сам туда их вести,— как доложили ему, что на Литейном подстрелен прапорщик Кисловский, преображенец, который шёл к нему с донесением о действиях по ту сторону Преображенского собора.

Однако же и это не было быстрей, чем на войне, вполне фронтовой темп, Кутепов успевал и соображать и без колебаний решать, хотя перевес неожиданностей склонялся к противнику. Он велел семёновским прапорщикам продвинуть роту по Пантелеймоновской, перегородить, а в случае появления враждебной толпы — открыть по ней огонь. Сам же услышал за спиной за два квартала, где была кексгольмская полурота, громкий крик:

— Не стреляй! не стреляй!

и, небрежа своим званьем и высоким ростом, побежал туда.

И ещё издали увидел на Литейном тоже высокоростного офицера, который это кричал,— а на груди у него, на шинели — крупный красный бант.

И кексгольмцы, действительно, не стреляли, как завороженные,— ведь офицер! А тот приближался.

Кутепов, подбегая, резко крикнул открыть огонь.

Тогда и офицер побежал, скорее достичь кексгольмской полосы — но, подстреленный, рухнул.

Держались расставленные, разосланные Кутеповым роты, держали с дюжину каменных кварталов — но уже не могли продвигаться. И со всех сторон доносили, что следующие кварталы насыщены полувооружёнными бесчинствующими толпами рабочих и разрозненных солдат. Огонь со всех сторон усилился.

А между тем день кончался. Проглянувшее после полудня солнце опять заволоклось, да и должно б оно было уже уйти за стены Литейного каменного ущелья. Света всё убывало, день шёл к сумеркам и к концу.

Что же должен был Кутепов делать дальше? Ни одного связного с приказанием или разъяснением так за весь день не прислал к нему Хабалов, и посланные Кутеповым не вернулись, и почему-то на телефонные звонки совсем не отвечало градоначальство. Кутепов и сам пошёл в дом Мусина-Пушкина телефонировать — и никак не мог дозвониться. С центральной телефонной станции ему заявили, что последний час градоначальство и вовсе никому не отвечает, не берут ни одной трубки.

Так что ж — градоначальство разгромлено?

Телефонистки не знали, хотя близко от них. А их самих на Морской улице охраняла и пехота и кавалерия до сих пор, и боёв не было тут никаких. А ещё что они знают вокруг? А ещё знают: на Дворцовой площади какие-то части строились, но потом уходили, некоторые и сейчас стоят. А за кого эти части? Телефонистки не понимали сами.

Послан был Кутепов — и забыт. И все роты его забыты. И вот уже смеркалось. Но ещё освещались сумерки пожаром Окружного суда.

Не успел Кутепов кончить телефонных осведомлений, как в самом доме услышал большой шум. Он кинулся по лестнице вниз — в дверь вбегали, теснились напуганные семёновцы, потом внесли на руках одного за другим смертельно раненных прапорщиков Соловьева и Эссена 4-го.

А затем теснились и преображенцы, все с винтовками — и дом быстро наполнялся вооружёнными солдатами, Кутепов не мог остановить их, как ни кричал,— и сам был в беспомощном положении, не мог выбиться в дверь против потока.

Вся оборона его на проспекте — рухнула.

Когда он вышел на Литейный — было уже темно.

Весь проспект был заполнен толпой, хлынувшей из поперечных улиц. Толпа бежала, кричала — и стреляла в фонари или метала в них чем, чтобы разбить.

Среди криков Кутепов слышал и свою фамилию, сопровождаемую площадной бранью. Но самого его не различили.

Его отряда — больше не существовало.

Он вошёл в дом Мусина-Пушкина, приказал запереть двери. И накормить поровну всех, кто тут есть, тем ситным хлебом и колбасой, что купили утром по пути в лавке.

117

В такой день, замкнутый в бездействии и бессилии, Кривошеин и нуждался в близком собеседнике. Такого не было в его семье, и сам никуда он сейчас не пошёл бы в эту бурю,— и никто не мог придти лучше Риттиха. Давний, многолетний помощник в министерстве земледелия, до деталей помнящий всю эту долгую структурную терпеливую работу, всю традицию, по полуслову отзывчивый, как строилось, делалось, расширялось в «министерство Азиатской России», и как боролись с Коковцовым за финансы, и как в позапрошлом году Кривошеин уволился, так рано по замыслам работы, а Риттих, перебыв при двух случайных министрах, наконец вот и сам принял пост. Для Кривошеина Риттих и был — он сам сегодня бы: не сломись его карьера так несчастно, это сегодня он, Кривошеин, должен был бы тянуться на заседание ничтожного бесправного правительства, или идти перекрыться у кого-то надёжного, а у самого бы теснились в памяти цифры вагонов, вагонов муки — прибывших, в пути и на погрузке на разных дальних станциях, и успокоительный итог, если цифры все осуществятся и дадут им разделиться на число едоков, и досада и отчаяние, что этой стрельбой, беготнёй и криками разделиться им не дадут.

Да, именно этим была занята и сейчас тщательно причёсанная, министерски представительная голова Риттиха, и Кривошеин приобнял его покровительственно за плечи:

— Как Риттих верный оставался...

У Риттиха ещё не остыли в горле отчаянные всклики его вынужденного красноречия перед Думой, как он, всего лишь на той неделе, безнадёжно призывал *их:* выйдет ли на кафедру кто-нибудь из них, не партийный оратор, но человек, до самозабвения любящий Россию?.. (И не вышел.) И в последней речи последние слова сложились у него — не пророчески ли: „Может быть последний раз рука судьбы подняла те весы, на которых взвешивается будущее России"?

Теперь прихватывал озноб, что может быть — пророчески?

Теперь — и особенно — казалось Кривошеину, что он всегда так и предсказывал: э т о в с ё крахнет! Что он всегда предчувствовал: самоизолированный от своей страны монарх не может не пасть. Даже он точно вспоминал одну чудесную пароходную прогулку — такой момент, из каких и состоит прелесть нашего бытия: в мае Четырнадцатого, перед самой войной, был ужин на Островах для узкого круга: великий князь Павел Александрович со своей очаровательной морганатической супругой, только что приехавшие из Парижа, граф Витте с женой, Щегловитов,— а после ужина в белую ночь поехали на пароходе с цыганским хором на прогулку по Финскому заливу. И так же ли внезапно, как сейчас Риттиху на трибуне, в грудь Кривошеина вступило пророчество, или очень был красивый момент жизни и красива княгиня, и тянуло что-то высказать,— он сказал ей на палубе: „Вы жили так спокойно в Париже, зачем вы приехали в Петербург? Надвигается война, и она не кончится благополучно, будет взрыв, быть может трагический для трона".

Впрочем, это всё впечатляюще для предсказаний, но сейчас нет оснований думать, что уже и произошёл взрыв, трагический для трона. Всё это петербургское волненье могло так же легко и замириться в день-два.

Но вот они сидели в кабинете час за часом, иногда смотрели в окно на шумливое необычное пробеганье вооружённых групп (и разве Кривошеин не предупреждал о нелепости массового набора лишних солдат?), а больше по телефону получали сведения из разных мест,— хорошо хоть телефоны служили безотказно: что там делается и какие меры принимаются,— и все известия были, что побеждает мятеж. И как будто по всей столице с первого часа не было и следа никакой государственной власти — будто власть оказалась призраком петербургского сумеречного света.

Но даже если это должно было случиться — то почему именно сегодня? от чего? ведь не было никакого события. И — на несколько часов опережая роспуск Думы, и Дума ни при чём.

Устойчивое тридцатилетнее жильё, полжизни здесь, в тяжёлых рамах развешанные крупные картины фламандских и ломбардских мастеров, и русские пейзажи, и старинная русская люстра (Кривошеин любил допетровскую утварь), округлённая мягкая мебель и послушные ковры под ногами,— неколебимый шестиэтажный дом с мраморной лестницей и лифтом, неколебимый быт,— Кривошеин любил всё хорошее в жизни и умел устраиваться, и умел сочетать петербургскую квартиру, дачу и поездки за границу, всему свой час. И не так уж близко — два с половиной каменных квартала до подожжённого Окружного суда, невероятно, чтобы пожар достиг, хотя огненный присвет виделся в воздухе и сильно тянуло дымом,— но колебался дом вместе со всем, что заколебалось, и если могло рухнуть *Оно,*— то почему не этот дом?

И вот они, два государственных мужа, старший из них не раз предрекаемый в главу российского правительства,— были они здесь, на четвёртом этаже, два штатских беспомощных обывателя с телефоном — и не могли подействовать ни на что, но сами в любую минуту быть ввержены в этот огонь.

Риттих был уверен, что начнутся аресты министров.

Аресты? Ну, не так уж! Кривошеин не хотел этого допустить.

А пока, в промежутке между сведениями и стаканами чая — сидеть? расхаживать?

Риттих брался за свою голову, гладко уложенную до волоска:

— Мне — стыдно, Алексан Васильич. Мне стыдно, что я член такого правительства.

И не сегодня он это понял. Он тяготился коллегами ещё от своего назначения в ноябре. Он последние заседания кабинета еле высиживал. Все дни он был там лишний, слишком деятельный, и сейчас не раскаивался, что не искал их мёртвого безвольного спрятанного заседания.

Да разве уж такое ничтожное правительство? Да там трое министров ещё продолжали быть из тех, кто работали и при Кривошеине. Да вот и Риттих работающий министр.

А вот в чём ничтожное: неподготовленной пустотой на месте премьера. Затаённой пустотой на месте военного министра. И истерическим кошмаром Протопопова. Да и министр иностранных дел не годится. И это всё — в сочетании, и в такие дни!

Протопопов — как будто отвёл всем глаза, пробрался к власти как бледная нежить. Да ведь и Кривошеин его когда-то рекомендовал в товарищи министра...

Да, малокровная власть. Нерешительная. И со связанными руками.

— Да-а-а,— вбирал Кривошеин седую голову в пальцы.— Вот до чего они довели, сопротивляясь каждому шагу, каждой реформе!

— Но, Алексан Васильич, и не с пеной же у рта добиваться реформ, как они.

Говорили о разных „них".

Очень прислушливый к суду общества, Кривошеин сколько мог привлекал к обсуждению министерских дел представителей земств и городских управлений (оплачивая их из бюджета), тем вдвигая министерство в общество.

А Риттих суда общества над собою не признавал. Довольно было ему напрячься с продовольственным снабжением, как распространили слух, что он — немец, германофил и искусственно создаёт продовольственные затруднения.

Если сейчас — пошатнётся, и общество потребует его к ответу,— Риттих не признаёт суда такого общества. Он не пойдёт на их суд.

Но к такой крайности и не шло. Волнения в Петрограде — это ничто, вся армия вне. Городские волнения не означают падения государственной власти.

Риттих думал не так. Хуже.

Их понимания дальше расходились.

Но нужно было ждать дальнейших известий. Длились, тянулись мучительные часы. А пока, между двумя новостями... Вспоминать опять Коковцова? Даже — русско-германский договор 1904 года, исключительно невыгодный для русского хозяйства. Небывалый случай, когда великая страна добровольно надевала на себя экономический аркан. Неудачи нынешней войны во многом тянутся оттуда. И — как Коковцов много лет задерживал развитие России, сберегая мёртвое золото.

И, конечно, Столыпина вспомнили. Чем дальше от него отодвигались годы — тем выше он выступал. Кривошеин внутренне считал себя более государственным человеком, по интеллекту, по охвату обстоятельств. Но такой силы духа, такой силы духа — да, занять бы!

Впрочем он заметил, что рассуждал сейчас много более государственно и отвлечённо, чем встревоженный Риттих. И, хотя не ждал такого худого, но понял и предложил:

— А что, верно, вы, Алексан Саныч, оставайтесь-ка у меня сегодня ночевать. Ко мне не явятся, а к вам домой, смотри, пожалуй...

И Риттих сразу согласился.

Смеркалось — и ярче отдавались в воздухе грозные отблески пожара. И дым тянуло над Сергиевской.

Как конец света.

Уговорил гостя — уже сейчас пойти и прилечь. Понадобятся ещё и силы и сон.

А сам — ходил и ходил по кабинету диагональю, промеченной по ковру. То стоял завороженный перед пожаренным окном. То опускался в угол дивана.

А не больше ли всех и виноват он сам? Почему он не брал премьерства, когда протягивал царь? Ведь он всё понимает и умеет лучше других — отчего же не брал? Вот и вывел бы Россию. Всё в колебаниях — брать, не брать — упустил приложить свои руки к ходу колеса. Сам себе расчистил дорогу — и не взял.

И — сожаление сжимает, что не направил сам.

И — облегчение, что сорвалось не при нём.

А сейчас, сколько можно охватить, наступала минута неповторимая. Царь — будет вынужден сейчас назначить сильного премьера, настоящего. И Дума — тоже нуждается в таком, но у неё — такого нет.

В этом январе у Кривошеина были тайные сношения с Василием Маклаковым и ещё кое-кем из Блока. И — ясно, что они согласны будут на Кривошеина. И газета Рябушинского вот недавно опять прорвалась: „мы бы согласились на Кривошеина!".

Да, Риттих прав, аппетиты общественности бывают и невыносимы. И кадеты никогда не могли простить Кривошеину, что он на практике так легко и дельно показал вздорность кадетской земельной программы. И всё-таки! Вечное это противостояние — „мы" и „они". Надо когда-то прорвать эту пелену непонимания. И — соединить две стороны русской энергии.

Кажется — этому и пришёл момент.

И Кривошеин, вот, клялся себе, что сейчас, если предложат — уже не будет страшиться, а — возьмёт.

И бремя, и горе, и радость ответственности! — как говорил Столыпин.

После отставки жизнь как остановилась. Эти полтора бездеятельных года были окостенением. Но — есть ещё силы! Есть! И вот — он готов.

И, видит Бог, не для себя, хотя приятно иметь вес и влияние.

А — для России.

Соединить, наконец, „мы" и „они".

Дым и отсветы огня страшно отдавали по Сергиевской.

На письменном столе наклонно стоял портрет Государя, подаренный при

увольнении Кривошеина,— в рамке из карельской березы, с серебряными украшениями от Фаберже.

Десять лет незабвенной благосклонности.

Но с того дня, как Кривошеин предложил отставку — и Государь не мог скрыть своей радости,— они не виделись больше. В прошлом году ожидался Государь в Минск, в штаб Западного фронта — и Кривошеин уехал из своего Красного Креста, чтоб избежать фальшивой встречи.

А — каково ему сейчас?

Государь, Государь! Зачем вы так отделились?.. Зачем вы ушли в могилёвскую тишину?

118

Как только Гиммер пришёл утром на службу в своё туркестанское управление по мелиорации, чтоб оно засохло, так тут же и прилип к общему телефону, уже никому говорить не давая, да и кто мог узнать столько, сколько он! Он совершил круговую по десятку номеров и снова круговую, и снова, и его нетерпение переходило просто в бешенство, когда телефонистки вяло равнодушно отвечали „занято", „занято"...— неужели у них самих кровь не горела!

Узнал, что Дума распущена — и не разошлась по роспуску. Да это одно уже составляло какой революционный шаг! А то, что Литейная часть, средоточие казарм и военных учреждений, бастион правительства,— оказалась первым революционным районом?!

Да не наступил ли тот решающий час, для которого работали поколения?..

Все служащие, побросав работу, обступили Гиммера в кабинете начальника (начальник был в отъезде) и жадно хватали головокружительные новости, которые он им бросал в перерыве между разговорами.

Но обзвонены были все, кто только можно,— и пребывать дальше за служебным столом казалось просто издевательством. И так, не начав никаких занятий, Гиммер пошёл бегать, смотреть революцию.

Однако на Петербургской стороне — и сцен-то никаких не было, только люди в избыточном количестве слонялись по тротуарам и присматривались. И Гиммером овладело томление духа от этого жалкого положения оторванного не-соучастника великих событий.

Вернее всего было бы прорываться через мосты. Но слишком явно слышалась стрельба — и в такую минуту озверелые солдаты не пощадят и на мосту. А переходить Неву по льду еще опаснее — издали подстрелят на снегу, явную цель.

Да разве Гиммер предназначен был идти стрелять или просто драться? Его назначением, его вожделением было — отдать себя революции как силу литературную и как мощного теоретика. Ведь люди, ведь ограниченный потрясённый обыватель, даже если и когда узнают сами события и весь ход,— они всё равно не сумеют их понять и истолковать.

Он думал: что, если сагитировать каких-нибудь солдат захватить типографию — и выпустить бюллетень для всей столицы? Но он не мог быть уверен, что удастся агитация солдат, ещё и самого возьмут на штыки.

Да и не знал он событий с фактической стороны, а они там, за Невой, всё происходили и происходили каждый час.

А вот что! — лучше всего опять отправиться к Горькому: уж у кого-у кого, а у него все новости сойдутся.

Так и есть: и Горький был дома, ещё несколько человек, сидели в столовой, ходили по комнатам, обсуждали, предполагали — и звонили, звонили, звонили за новостями.

Узнали про Временный Комитет Государственной Думы, про захват Выборгской стороны,— а так всё клочки, клочки, эпизоды, ничего цельного, кто там что из окон видел, в центре.

Так что ж, надо самим туда идти? Пойдёмте, Алексей Максимович? А что ж, и пойдёмте, он в усы, неразборчиво.

Но тут пришёл такой слух: пешком через мосты никого не пропускают, а только в автомобилях военного образца. Вот такой, значит, нам и нужен!

Стали звонками требовать себе, для Максима Горького, автомобиль из ближней автомобильной роты. Но как раз автомобили и оказались все в разгоне. Обещали попозже.

Пребывали в удручающе томительном ожидании.

Из одного окна от Горького открывалась хорошая панорама, освещённая солнцем, часть Невы, также и Петропавловская крепость. Вот ещё Петропавловская крепость. Там собраны большие силы. Она очень угрожала — могла в любую минуту обрушиться огнём своих пушек на революционную толпу!

Кто-то принёс слух, что с Петропавловки уже обстреляли некоторые автомобили у Троицкого моста.

Вот так и езжай на автомобиле.

От большого пожара на той стороне тянулись клубы дыма над Невой.

Автомобильная рота так и не дала автомобиля, до конца дня.

Да что же, в конце концов — остановим первый попавшийся?

Рискованное предприятие.

Тем временем пришел Шляпников — пешком с Выборгской. Он побывал в разных местах Петербургской стороны, посещал товарищей, везде движение свободное. Хотел на Васильевский, но на Биржевом мосту солдаты не пропустили, долго препирался, пропускают только чиновников всех ведомств и рангов.

Что ж он сразу с Выборгской стороны да не пошёл по Литейному мосту туда, в пожар, зачем же такой круг?

А Шляпников ничего не знал, поразительно! — ни что мятеж перешёл на Выборгскую, ни что Дума распущена и не разошлась, ни что создан Временный Комитет, вот темнота! Ну посмеёшься над этими большевиками, тетерями.

Ну так что, пошли в Таврический, что ли?

Уже смеркалось.

Пошли, Гиммер со Шляпниковым.

А Алексей Максимыч не пошёл никуда, не пустили его друзья и семейные: ещё погубим нашу литературу!

119

За Николаевским мостом Вероню и Фаню сразу ожидала другая жизнь: за спиною они оставили дремлющий ненавистный царский город — тут вступили в город революции! Как она выглядит, революция, что это такое, революция,— ещё не было понятно, ещё же никогда они и не видели! — ещё на стенах домов и заборов висели те же воззвания командующего Хабалова с призывами к порядку и угрозами — но только что объявление, а нигде не было его ощетиненных полчищ, не охранялись ни другой конец Николаевского моста, ни набережная, ни Благовещенская площадь,— нигде полицейской охраны, редкие их патрули, а в вольно-снующей публике с пестротою озабоченных и радостных лиц было пожалуй повышенное число солдат без строя и команды и много выздоравливающих из госпиталей, в возбуждённом говоре и помахивании повязками.

Но не было прямо ни митинга, ни красного флага — и девушки хотели свернуть скорее в центр, ближе к событиям. Однако перед собой, чуть поправее, увидели густые клубы дыма — и сказали им, что это горит Литовский замок, освобождают тюрьму. Ура! туда-то девушки и побежали — освобождать женскую тюрьму!

Но прежде чем добежали, перед Поцелуевым мостом на Мойке встретили процессию уже освободившихся арестанток — вереницу человек в 20-30, все в арестантских халатах и в туфлях — и так шли по снежной улице, хотя и не крепкий мороз — Боже! их же надо где-то переодеть, накормить, согреть! — Вероня и Фаня кинулись к их веренице, возбужденно и сбивчиво: ну как? ну что? чем помочь, женщины, товарищи?! Но арестантки или еще не очнулись от освобождения или уже достаточно отвечали по дороге — даже голов к ним не

поворачивали, брели безучастно, в затылок передним, никто ничего не ответил, а только одна послала их мужицким матом.

Вероня и Фаня, как ударенные, замерли, сробели, пропустили всю вереницу. Вероятно, они были одеты слишком хорошо и тем оскорбили арестанток.

Теперь они застеснялись идти к тюрьме. А идти в центр их отговорили симпатичные прохожие с революционной радостью на лице: что там царствует власть, а надо лучше идти в рабочие и армейские районы. И девушки отправились за Фонтанку.

Ожидания не обманули их. Уже скоро начали слышаться выстрелы. Это несколько подростков пробежало мимо них, стреляя в воздух из чёрно-блестящих новеньких пистолетов, и тут же из карманов на ходу снова заряжая их, откуда-то уже научились!

Скоро увидели они и митинг: на твёрдую груду снега взобрался студент, перепоясанный офицерской саблей,— и очень хорошо говорил о свободе, хотя партийное направление нельзя было определить, может быть наш, а может быть и эсер. Слушали его десятка два совсем случайных — раненых солдат, мещан, один чиновник. Девушки могли остаться и тоже говорить, и может быть поспорить со студентом, но теперь, когда они всё равно уже покинули свой остров и свой долг,— им хотелось больше видеть, вбирать в себя и двигаться!

И они дальше, дальше пошли.

Была сценка у дома: стоял какой-то бледный в штатском с белыми руками, прижатыми к груди,— против него — кучка с десяток людей, разных. И кто-то крикнул: „Да берём же его, товарищи!" А дама спросила: „Но вы поведёте его в Государственную Думу?" „Уж знаем, куда поведём!" — крикнули ей. А пока говорили — этот бледный кинулся в подворотню, во двор. И вся куча, с криками, за ним. И там раздался выстрел. А дама на тротуаре объяснила девушкам, что это переодетый молодой полицейский, живущий у них во дворе.

И девушки сжались: первую смерть — почти видели они.

А тут кричали:

— А-а-а, пришла-таки на вас расплата, фараоны, гамзеи!

Шли дальше. За Фонтанкой стало ещё живей. Был ещё митинг — с выпряженной ломовой телеги, и уже несколько ораторов. Но девушки не останавливались: то, что здесь говорилось,— они знали и сами, им хотелось — видеть и даже действовать.

А вот радость! — из мануфактурного магазина выносили свёртки кумача, уж ясно что не купленный,— и прямо с порожка бросали свёртки в публику, так что они над головами летели и разворачивались, а потом падали кому-то на плечи или на мостовую. И все бросались на кумач и раздирали его как если б он был дороже хлеба. Кто уносил целыми кусками дальше раздавать, остальные драли тут же, кто-то и булавки вынес из галантереи.

Как же это-то девушки не догадались раньше? Теперь они себе большие крупные розетки сделали на грудь, на пальто. Кто делал бантики, кто ленты. А Фанечка ещё оторвала длинную широкую ленту и перевязала через плечо наискось, как царские сановники носят ордена, смеху!

А кто-то брал на флаги, а кто — делал красные кокарды на фуражки, а кто-то схватил лоскут и нацепил солдату на штык — и тому понравилось, так и понёс, громко все кричали.

С этого места, с раздачи красной материи, когда зацветились сами и все люди вокруг, и никто не преследовал красное и не рушился с нагайками,— как будто запело всё вокруг, радостно переменилось.

Заметили девушки, что они уже не вздрагивают от близких выстрелов, а даже весёлым толчком отдаётся каждый. Тем более, что никто и не падал раненный.

По Троицкой площади нервно, быстро шёл офицер, ни на кого не глядя. Ему пересекли путь два студента, два рабочих, все с красными бантами.

— Господин офицер! Сдайте оружие! — властно крикнул один студент.

Офицер вздрогнул, посмотрел по сторонам, никого на помощь не увидел, посмотрел перед собою на этих, полминуты колебался, боролся или решал-

ся — вынул шашку резким дёргом — и эфесом протянул студенту. Тот брал, а другие кричали:

— И револьвер! И револьвер!

Пошли через Измайловские роты. Девушки не знали, как отличаются измайловцы от других солдат, но какие-то солдаты группами свободно бродили по улицам, почти все с винтовками, никаким строем, ни командами, а кучками.

Проезжал солдат-кавалерист, с красным в гриве и на уздечке, а сопровождала его буйная куча подростков, кто за стремена держался, кто рядом вприпрыжку.

Толпа на глазах становилась всё красней от приколотого красного, всё многочисленней и оживлённей.

Вдруг раздался непрерывный тревожный автомобильный гудок, как если бы сталкивались, он наезжал или хотел передать опасность. Все расшарахнулись со средины улицы — и он показался, легковой, открытый. Шофер был в автомобильных очках и кожаной куртке, строгий, недоступный, в самом автомобиле сидело несколько солдат, штыки кверху, и тоже молчаливые,— но самое страшное, что на передних крыльях с обеих сторон полулежали, ногами на ступеньки, ещё по-одному солдату, а ружья держали вперёд и всё время целились в кого-то, кто им помешает.

Вселяя ужас, грозный автомобиль промчался, неизвестно куда, неизвестно зачем, но очень быстро.

От этого автомобиля — ещё что-то вспрыгнуло и изменилось в настроении, ещё красней, ярей и веселей.

Фанечка сказала:

— Хочу стрелять!

Вероника изумилась:

— Да в кого?

— Ни в кого, просто стрелять! Стрелять в воздух — это и значит, что народ стрелять не будет, народ великодушен, не как царские сатрапы!

Тут раздался громкий шум и овации вдоль улицы. Ехал опять автомобиль, на этот раз грузовой, ехал не страшно, без гудка, медленно, ни в кого не целясь,— а через кабину вперёд у него вывешивался большой красный флаг, в кузове же стояли тесно человек двенадцать — солдаты с красными флажками на штыках, и студенты и рабочие с винтовками же, и одна сестра милосердия,— и все они сразу махали руками, красным и шапками, во все стороны кричали и призывали, но так как все сразу, то понять их было нельзя — и люди с тротуаров отвечали, кричали им тоже все сразу, ещё меньше можно было понять, ни слова, а — ликование! ликование!

И Вероня с Фанечкой, подбрасывая руки, тоже кричали им, махали, и потекли за многими другими по мостовой вослед медленному ходу грузовика, собирающего толпу.

И так они вытекли на площадь перед Технологическим институтом — а уж тут-то была толпа! тут-то был огромный митинг, масса студенческих фуражек, и рабочие в обычных чёрных одёжках, но сколько красного на всех! — и ещё десяток больших самодельных флагов над толпой, большие куски кумача, только что нарванные и насаженные на случайные палки. Боже, вот где был народный праздник! Вся толпа колыхалась как жидкая глыба — и туда вливался кипящим потоком Забалканский проспект.

Вероня трясла Фанечку за руки, чтоб им обеим поверить, что это — явь.

— Фаня! Неужели дожили? Фаня! Неужели это всё правда? И кровь не льется! И так легко досталось? Да разве это можно теперь повернуть назад?

Разрывалась грудь от невместимого, неразделимого ликования, уже дальше и больше нельзя было быть счастливыми!

А по Забалканскому полз, окружённый вопящим народом, ещё один автомобиль — в этот раз большая грузовая платформа, грохоча цепями передач. А на платформе стояло человек двадцать пять, но эти ещё на третий лад, как замершие статуи, не приветствуя толпу, а показывая себя, как статуи: весь передний ряд, наклоняясь над спинами шоферов — с винтовками на изготовку. А дальше — кто с красным флагом, кто с поднятою высоко винтовкой без штыка, и потрясывая ею, кто со штыком без винтовки, кто с косынкой, красным платком,— и так медленно ехали, застывшие, приветствуемые со всех сторон толпой.

Вся площадь сливалась в долгий вопль торжества.

— Хочу на автомобиль! — крикнула Фаня на ухо.

Уже сумерки были. А пока девушки пробивались через площадь и пока струи толчеи вынесли их на Загородный проспект — уже и зажглись фонари. Но в движении девушек ничто не изменилось — куда-то, зачем-то их несло всё дальше и дальше.

Разбивши витрину аптеки и дверь, тащили оттуда бутыли. Наверно, спирт искали.

В переулке куча молодых била одного старика, сказали — что дворника. Небось доносил, теперь получай.

У царскосельского вокзала встретился им растяпистый солдат, один шёл и очень уж нехотя нёс винтовку без штыка.

— Солдатик! Дайте мне винтовку! — вдруг выдумала Фаня.

Он посмотрел бельмовато:

— А стрелять умеешь?

— Научусь! — бодро выкрикнула Фанечка.

— Ну, на! — без колебаний протянул ей. Она схватила, хотела идти.— Погоди! — Расстегнул пояс, снял тяжёлый подсумок.— А стрелять чем будешь? На! — И ещё протянул ей, кожаный, такой тяжёлый неожиданно, еле в руках удержала.

Сунула в карман — перекосил ей всю шубку.

Но и винтовка оказалась такая тяжёлая, не знала Фанечка, как и нести. Стала просто тащить её за дуло, а прикладом она волочилась по бугоркам утоптанного тротуарного снега.

Всё меньше было понятно, куда они идут под нечастыми фонарями, темно — а всё интересней! Хотя они ничего сегодня не сделали — но чувствовали себя настоящими участниками великой Революции! И самое главное — ещё должно было свершиться, ещё было впереди! Они сознавали, что вот так и наступает, и наступила новая эра. И теперь все люди будут братья, все равны, и все счастливые.

А тут с Семёновского плаца выезжал грузовик, на нём несколько человек. На выезде приостановился — и оттуда крикнули:

— Товарищ Мария!

Вероника взрогнула, давно так не звали, посмотрела и при фонаре узнала: Кеша Кокушкин, с Обуховского.

А он-то скалился всеми зубами:

— Садись с нами! Товарищи, это партийный работник! Возьмём её!

А там — никто и не спорил, раз место было — отчего не взять, хоть и не партийного. Протянули руки — и вскинули наверх и Веронику, и Фанечку с винтовкой.

А там — и Дахин, оказывается, стоял, и были у него шальные, злые глаза.

И поехали!

И с этого момента началось для девушек ещё что-то новое, необычное, уже самой высшей ступени. Под их ногами всё дрожало, и урчал мотор. На ходу их кидало, то склоняло вперёд, то откидывало назад, то валило на бок,— и удержаться можно было только за борта или друг за друга — за незнакомых, случайных спутников, но вот уже соединённых, в общем зачарованном движении и в общем великом деле. И эти касания и эти сжатия рук передавали всю могучую силу поднявшейся массы. Тут было несколько рабочих, несколько солдат и опять же два студента — но и со студентами не было охоты, ни времени перемолвиться, искать знакомых, узнавать. Если в чём был смысл, то не в тихих словах, но в громких криках, какими не разразишься, если идёшь по тротуару, а отсюда, с грузовика, они рвутся сами, срывая с души весь избыток восторга. Как только дорога становилась ровней, ход равномерней, их не кидало — освобождались руки и вскидывались сами, и махали направо и налево. И так они поздравляли всех-всех-всех идущих по улице, а те снизу поздравляли их!

Куда они ехали — это мог знать один шофёр, но это было и неважно. Зачем — и вообще не было у них вопроса, сама езда и была *зачем.* Только быстрая колёсная езда, только она и могла сравняться с ходом событий и выразить весь восторг! всю победу! В кузове грузовика не разговаривали друг с другом, но едино дружно выражали общий восторг до охрипа, а если кто кому что и говорил — то тут же и пропадало.

Они сделали излом — а, это было на Владимирский, они вымчались на Невский чуть не давя разбегающихся людей,— а на Невском чуть не столкнулись с таким же грузовиком, идущим от Московского вокзала. Но не столкнулись — тот попридержал, а наш поехал быстрей — и в знак радости, что не столкнулись, и посылая друг другу революционные приветы — наши студенты оба выстрелили из револьверов в воздух — и выстрелами ответил тот грузовик.

И ехали уже по Литейному, и солдаты тоже стали палить из винтовок — в воздух или под верхние этажи высоких домов,— а Фанечка хватала их за плечи, сразу и держась и крича на ухо:

— Хочу! — стрелять! — научиться!

А винтовка её валялась под ногами.

Один студент протянул ей револьвер и показал: она зажмурилась, выпалила и завизжала! Но револьвер пришлось отдать.

Да только выстрелами и можно было передать наружу, кинуть улице свою необъятную радость — уже горла не хватало, Вероня петь затягивала —

Вперёд, без страха и сомненья,
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья...—

ничего не вышло, не подхватили, или слов не знали. А просто — кричали, кто что горазд.

На Литейном было много народу, солдаты бегали кучами, ехать пришлось помедленней. Тут проехали мимо большого выгорающего пожвра, раскалённые обвалины и уцелевшие стены светились и пышели, так что и на средину улицы доставало жаром. Тут они впервые друг друга хорошо увидели как днём, своих товарищей по поездке, спутников по этой сверхсчастливой безумной езде,— и все друг на друге увидели неописуемую радость освобождения — и взмыло ещё большей радостью. И промчавшись дальше как бы во тьму, между рядками фонарей — они ещё докрикивали друг другу что-то, и Дахин пожал руку Веронике и тоже кричал.

Дорогу они уже и не замечали, её знал шофёр. Куда-то свернули, а, по набережной, зачем-то остановились, а — перед Троицким мостом. Подбежали к ним какие-то трое дядей и стали доказывать, что они важные революционеры, их нужно отвезти в Таврический — смех один. Какие уж такие важные, когда всё победило? И что могло быть важней общего торжества и вот этой их поездки? Все, в четырнадцать или в пятнадцать глоток сразу, они сверху объяснили революционерам — а тем временем шофёр опять затарахтел и поехал.

А пока стояли — один солдат научил Фанечку стрелять из винтовки. А ещё к ним залез один казак. И потом они пронеслись через Троицкий пустынный мост — а навстречу другой автомобиль, и фары бьют в фары, и можно столкнуться, а разминясь благополучно — кричат и стреляют в воздух те и другие,— и понеслись по Петербургской стороне, никто не понимая, куда они теперь едут. Тут картина стала еще фантастичней — то тьма, то набегающие фонари, то набегающие, то отбегающие косяки людей, то повороты автомобиля — повороты целого города, с его набережными, огнями, и пожарами,— не езда, а танец счастья, счёт которого отбивали в воздух револьверы и винтовки, а казак неистово крутил и вертел саблей над головой, чудом никого не проткнув и не отрубив никому головы.

120

Едва только начались сегодня на петроградских улицах уже самые серьёзные волнения — бьющиеся сердца стали стремиться найти то важное место,

где смысл событий должен будет сосредоточиться и направиться. И чьи-то сердца может быть и ошиблись, и повлеклись в орущую, стреляющую, полубезумную толпу, а ведь ясно, что единственным управляющим центром событий могла стать только Дума.

И социал-демократы — Франкорусский, всесторонне инициативный человек, и Шехтер-Гриневич, интернационалист-инициативник, и даже левый инициативник,— независимо друг от друга, в разных частях города, это осознали — и добрались до Думы из первых, часам к двум дня, и порознь проникли внутрь, обойдя стражников разными предлогами,— а уже внутри счастливо встретились и опознались.

Опознали они радостно, что ход рассуждения их верен, и что надо делать что-то — тут. Но пока чувствовали себя здесь — робко, в этих пустых залах с наблещенными полами. Стали в Екатерининском зале позади колонн и тихо разговаривали. Очень легко их могли отсюда и вытурить.

Потом к ним присоединился бундовец Эрлих, с тем же ходом рассуждения. Уже стало веселей.

Потом — экономист Громан, не депутат, но видная фигура в думских кругах, узнал их, подошёл, поговорил. И они чувствовали себя всё более легально.

Затем, отделяясь от общего депутатского движения, стали подходить социал-демократические депутаты, обсудить новости и перспективы. Уже стали пришедшие и вовсе к месту.

И разрастался большой принципиальный разговор: что в том переполошенном смутном состоянии, в которое попадает город, нельзя ожидать инициативы цензовой буржуазной Думы, да и доверить ей нельзя эту инициативу. Что раз, правда, уже началось что-то настоящее, то надо и действовать самим решительно, в духе славных традиций 1905 года. А одна из самых дерзких инициатив того времени, Троцкого и Парвуса, была — Совет рабочих депутатов. Ничто лучшее, более яркое и более уместное, сейчас и в голову не приходило. Замечательно было бы такой Совет рабочих депутатов сейчас и восстановить.

Правда, самих рабочих — где раздобыть? — они там бегали по улицам, но тем более обязанность социалистических интеллигентов была — представить здесь рабочие интересы. Да и как бы можно избирать депутатов от заводов, пока длится всеобщая забастовка, на заводах никого нет.

Нет, вот их собралась инициативная сознательная группа, вот им и объявить себя Советом рабочих депутатов. Хотя бы пока временным.

Надо дерзать, в этом пафос великих моментов!

И лучше всего объявить Совет не в каком-то случайном помещении, которого никто и знать не будет, а именно здесь же, в Думе, куда все будут приходить и интересоваться!

Эврика!

Инициативная группа подбодрялась, уже говорили громче, и не гостями стояли. А тут увидели — валит к ним пополнение: освобождённые из тюрьмы члены Рабочей группы Гвоздев, Богданов, Бройдо и внефракционный интернационалист Кац-Капелинский, тоже освобождённый из тюрьмы, куда посадили его позавчера вечером, с кооператорами.

Гвоздев, правда, был в ошеломлении, и простецкое лицо его выражало, что он не успевает схватить момента. А остальные — уже бодро проворачивались.

Так замечательно! — Рабочая группа! — вот с ними и будет безукоризненный Совет рабочих депутатов! А ещё почётно прибавить Чхеидзе и Скобелева, вот и всё.

Идея стремительно воплощалась.

Пошли к Чхеидзе просить благословения, и добыть им комнату в Таврическом дворце.

Обременённый Родзянко отмахнулся, разрешил им занять в правом крыле комнату бюджетной комиссии.

Да можно было свободно занимать, и не спрашивая: такая наступила в Таврическом неопределённость или растерянность, как-то сразу не стало

хозяина, куда-то делись приставы и служители, а какие были на местах — те не вмешивались.

Да тут даже не одна комната оказалась, а две соединённых: 13-я — председателя комиссии, 12-я — самой комиссии, ничего, весьма просторная. С приятностью расселись вокруг большого дубового стола.

Стали рассуждать, с чего начинать. Бумага, чернила, карандаши, телефон — это всё у них теперь было, досталось вместе с комнатой. Но надо было придумать, как им отличаться от цензовиков. Ясно, что — красным революционным цветом.

Да вот что: добыть в хозяйственной части простой красной бязи, рвать её — и вязать себе повязки в банты.

Хор-рошо! Пошли за бязью.

Так, бумага есть, чернила есть — надо писать воззвание к народу?

Но прежде добавить бы сюда ещё кого-нибудь, от самых главных заводов? Или просто подыскать подходящих рабочих депутатов: где-нибудь на улицах? Но не расходиться же им для этого из занятого помещения — да в полную неурядицу, суматоху и стрельбу? Личные проходки можно заменить во-первых, телефоном, во-вторых, вот этим самым Воззванием — и рассылать его со второстепенными лицами.

Итак: „Граждане! — (И зазвенела Французская революция!) — Заседающие в Государственной Думе представители рабочих..."

— И солдат!

Да что уж стесняться? „...и солдат..."

Солдатские массы надо спешить привлечь, да. Они продолжают держаться на улицах революционно — но это пока не проголодаются. А тогда из движущей силы революции могут обратиться в серьёзную для неё опасность. Если же они отправятся питаться к себе в казармы, то это будет распад революционного фронта, да и не попадут ли они там в ловушку? Но и Совет рабочих депутатов не имеет средств и организации, чтобы кормить восставших солдат. (Ещё самим-то успеть сбегать в буфет, он в конце коридора...) А вот что: составить ещё и второе воззвание к населению, чтоб население позаботилось кормить солдат, оказывающихся близ их домов. Отлично?

Для создания такой прокламации, массовой напечатки её, разброса по городу — молодой Совет выделил из себя Продовольственную комиссию, под председательством Франкорусского: если продовольствие вызвало народный взрыв, то чтоб оно его не погасило. Франкорусский пошёл искать ещё свободную комнату, и занял её уже без разрешения.

Тут, откуда ни возьмись, ворвалась комичная фигура: расхлябанный седой мужчина в штатском пальто, свисает кашне, а сверх наискосок, на ремне — офицерская шашка.

Не успели рассмеяться, как узнали — да он сам радостно вслух назывался:

— Я — Хрусталёв-Носарь, не узнаёте?!

И бил себя в грудь.

И ясно было, зачем он пришёл: возглавить их Совет. Ведь он и был — до сих пор не сменённый председатель разогнанного Совета рабочих депутатов Девятьсот Пятого года. И его явление означало, что он претендовал председательствовать тут.

Но это было уже слишком! — вовсе он тут не нужен, и с какой стати, и откуда он взялся? Да он разве не за границей? Да, он 10 лет провёл в Париже, в революционном отношении вёл себя сомнительно — а полгода как вернулся, и печатался в „Новом Времени", сел по уголовному делу,— а сегодня, значит, освободили, и вот явился.

Ну нет, ещё чего! Новые советчики просто игнорировали, просто не замечали и не приглашали Носаря к столу.

Но кто ещё появился, тоже удивив,— Нахамкис-Стеклов! Удивив, потому что последние военные годы он совсем отошёл от революционных интересов: оторвался ото всех связей с товарищами, служил в Союзе городов спокойно, под своим именем, жена его держала на Большой Конюшенной институт красоты, сам, как цензовый обыватель, расхаживал в лучших костюмах — и сейчас в таком, и в пальто модном, вот не ждали его здесь сейчас. Он был

дороден, высок, крупноголов, широк в плечах, рыжебород, красив, держался гордо — ему в Таврический и прокрадываться было не надо, его конечно пропустили как члена Думы.

И вот — нашёл тут их. И не ворвался носарёвским шальным порывом — но вступил основательным хозяйским шагом, основательно оглядел присутствующих, и по углам, не затаился ли где кто,— прошагнул к дубовому овальному столу, сел — и сразу его место стало как бы председательским:

— Так, товарищи. И что же решаем делать? — Голос тоже у него был сильный, сочный, в подлад к его дородности.

Тем временем Капелинский мыслил остро-революционно: надо думать прежде всего о военных действиях! Надо собирать Штаб Революции, тут же, при Совете рабочих депутатов. А для этого надо найти хотя бы двух-трёх если не военных, если не офицеров, то хотя бы... И судорожно перебирали кандидатуры.

Ба! Да Масловский, он же Мстиславский! Известный даже и властям эсер, на время реакции устроился служить библиотекарем Академии Генерального Штаба. Правда, не офицер, но по роду работы почти как офицер. Да вообще отлично мог бы догадаться и прийти сам, ведь Академия в трёх кварталах от Думы. Но не заявляется.

Сперва телефон долго не отвечал, но Капелинский всё крутил ручку. Наконец — там взяли. Он! И Капелинский, почти подпрыгивая перед настенным телефоном, и — туда, в трубку:

— Сергей Дмитрич! Ну, дождались?! Кажется, дождались? Скорей, скорей идите к нам! Таврический, комната 13! Или хотите — пришлём за вами автомобиль? У нас уже и автомобили есть!..

ТЫ МНЕ ДАЙ ТОЛЬКО НА ВОЗ ЛАПКУ ПОЛОЖИТЬ,
А ВСЯ-ТО Я И САМА ВСКОЧУ

121

Ото всего, что творилось вчера и сегодня, Вадиму Андрусову собственная жизнь стала казаться каким-то головоломным спектаклем. До вчерашней стрельбы на Невском была просто служба, к которой за последние месяцы он как-то всё-таки привык. Вчера эта несчастная стрельба всё сдвинула: весь вечер потом в батальоне и отлучавшись в город ему пришлось оправдываться, что павловцы не первые начали стрелять в воскресенье, что их вынудили лукавой пулей,— но кто полностью ему поверил, был только друг его Костя Гримм. (Так и Косте же надо было встречно поверить, что он в субботу обедал у сумасшедшего Протопопова — так-таки и сидел за столом!) Эта обожжённость от неспособности оправдаться уже сдвинула в Андрусове все чувства.

Ночевал он в своей казарме, в учебной команде, на Царицынской улице, позади Марсова поля — и ещё неизвестно было, не взбунтуется ли ещё раз 4-я походная рота по соседству, в Конюшенных казармах, не придётся ли ночью или утром в понедельник против неё выходить.

Но и ночь и утро прошли спокойно, хотя утром слышалась пальба с Литейной стороны. А потом Андрусова вызвали — и приказали срочно: идти на гауптвахту и освободить узника барона Клода, да и всех, кто там сидит. Гауптвахта была по ту сторону Марсова поля, всё пересечь, близко к мятежным кварталам, потому наверно и освобождали. Барона Клода Андрусов немного знал со стороны и понаслышке, вид его был совсем не баронский и даже не гвардейский, мозглявый, чёрный, корявый, а известен был даже в Павловском полку выдающимся пьянством и сейчас сидел на гауптвахте за дебоширство.

Хотя уже близок был шум и стрельба, караул гауптвахты держался взаперти. Скомандовал Андрусов всё распахивать и выпускать. Открыли четыре карцера и всех выпустили. Солдаты, пришедшие с Андрусовым и кото-

рые тут раньше толпились несколько,— подхватили барона Клода на плечи, сами же смеясь, ибо всё понимали, а кто-то подкрикивал, что он жертва царского ре́жима,— и так пронесли его шагов двадцать, потом ссадили.

Один эпизод за другим как будто рассвобождал в голове какие-то скрепы, стяги, запреты, и это освобождение с гауптвахты тоже, ошеломившее караульную команду, но и самого Андрусова. Ото всех сдвигов и беспокойств он как будто стал пьяноват, хотя ничего не пил, как-то ногами облегчённее шлось, и облегчённее мыслилось.

Потом несколько часов провели в казарме, почти обычных, только без учения,— а потом спектакль возобновился, когда Павловский батальон без 4-й роты, вдруг был торжественно построен с оркестром — и под музыку пошёл на Дворцовую площадь. В музыке и была главная ирреальность, когда, кажется, всему городу было никак не до музыки.

И на Дворцовой площади было всё торжественно — сперва. Вылетал в санях генерал Занкевич, держал горячую речь, и это тоже было как продолжение спектакля. И такое было настроение, что сейчас куда-то и двинутся.

Стояли преображенцы, измайловцы, ещё какая-то рота.

Затем подошла в своём чёрном рота гвардейского экипажа.

Подошло немного егерей.

Подъехало две батареи.

Собралось войско большое, но с тех пор как уехал Занкевич — ни один офицер больше не подскакивал ни с каким приказанием. Собралось войско на снежной площади, в полукарре вокруг Александровской колонны — и вот, стояли на морозе за получасом получас. А солнце всё спускалось.

Офицеры-павловцы похаживали, спрашивали у соседей и друг другу передавали — что же к чему? И отвечалось совсем непонятно и вразнобой: будет ли действие и какое? И какое нужно?

И нападать — тоже на них никто не нападал. Ниоткуда не высовывался ни враг, ни друг, ни даже из тысячи окон Главного Штаба не смотрели на них, может быть только досужие лакеи из Зимнего дворца.

И вдруг — гвардейский экипаж, что-то узнав или решив и никому не сказавши, с матросским презрением к сухопутью — повернулся, вырвал свою чёрную колонну из карре — и ушёл через Невский, на запад, туда, в свою сторону.

И все ряды как-то замялись: холодно, не кормят, чего держат? Солдаты ворчали почти вслух.

Но не доводя до беды, пришёл приказ батальонного. Павловцы повернулись, изогнули левым плечом вперёд и, уже без музыки, пошли в раскрытые для них решётчатые главные ворота Зимнего дворца. Андрусов и это воспринял как продолжение необыкновенного спектакля.

По размаху дворца ворота казались совсем узкими, даже непонятно было, куда они вберут три тысячи павловцев. Но, не торопясь, входили, входили и все исчезали там.

И Андрусов, как несбывшееся дитя искусства, обрадовался, что сейчас их поведут какими-то дивными залами, всегда закрытыми для публики, и он увидит интерьеры, не доступные даже для профессоров Академии Художеств.

Интерьеров таких не открылось ему, однако. Уже и двор был домовый, а не дворцовый, и тем более — сводчатые толстостенные широкие коридоры, по которым дальше их повели (а как натоплено здесь хорошо!),— и даже простые солдаты умеряли шарканье сапог в уважение к значимости этих камней: и последний простачок понимал, что допущены они в жилище самого царя!

Но недолга была их заманчивая проходка по первому этажу: завернули их вниз по лестнице, хоть и мраморной, но уже простой домо́вой, и ширины её не хватало соблюдать строй, все смешались.

И опустились они в огромный подвал — тоже тёплый, но полутёмный, окошки малые кое-где наверху по бокам, а своды окутаны мрачноватыми тенями, и редкие тусклые электрические лампочки. Подвал этот был почти пустой, редко где скамьи, а так — более ничего (и ни винных бочек), только капители поддерживающих столпов.

Раздались, отдаваясь сдавленным эхом, призывы-команды по ротам, затем по взводам, шаркало множество сапог, гудели голоса, пристукивали винтовки,— а что дальше? Не стоять же было тут, хоть и „вольно",— значит, садись, на чём стоишь. Впрочем, и камни здесь были не очень холодные, через шинель сидеть можно.

Сели. Необычная такая сиделка — в огромном темнеющем подвале три тысячи солдат, курить не приказано, говорить — и само громко не говорится, а только одно хорошо, что тепло, на этом и отошли. Говорили сдавленно.

В оконца снаружи уже никакого света не шло, а лампочки подвальные редко, и так — много чёрных теней по-за столбами и вдоль стен.

И Андрусова не покидало его сдвинутое полупьяное состояние, и он в шутку обдумывал, как бы ему дерзнуть да пойти бродить по дворцу, посмотреть архитектуру и лепку.

Но вот и ему стало передаваться общее стеснение и угрюмость: от низких сводов, от толщины непробиваемых стен, от темноты закоулков, а больше всего — от самих пригнетённых солдат. Сперва, когда сюда пришли, всем казалось хорошо: тепло и сидеть можно. Но посидели полчаса, посидели ещё полчаса — и ничто не менялось, и еды не несли, и не представлялось, чтоб сюда, в эту подвальную тесноту, могли её принести. Надземные окошки стали совсем чёрные, снаружи тоже стемнело. И наверно в солдатских сердцах стал рождаться страх ловушки: что ж, и ночевать тут? Зачем же в эти казематы загнали их? — и держат без смысла и без приказа?

Да не на погибель ли? Да не в отместку ли за вчерашний бунт 4-й роты? Да может, тут их водою затопят? камнями задавят? пулемётами не выпустят? Теперь-то и ребячий ум мог сосмыслить: вчера за бунт — ничего, а сегодня с музыкой сюда — и в казематы загнали как глупеньких, значит — весь батальон сразу в темницу?

Где-то сшепталось, передалось, погромчело — и вдруг объяло всех с несомненностью:

— Братцы! Завели нас!

— Братцы — на погибель!

— Порушат!

— Подушат!

И — кричал ли какой офицер поперёк (Андрусов не кричал) — уже его и не слышали. Поднялся гомон и крик в тысячи глоток — и вскочила вся масса, стукнув прикладами,— и попёрла по памяти, откуда пришли,— душась и отталкивая, выскочить бы первыми. А голоса отчаянные надрывали:

— Завели-и-и-и!

— На убивство!

И началось — месиво выталкивания, его не то что удержать — а как бы самого не сплющили.

И теснились, и давились, и протискивались павловцы в толпяном страхе: ах, пошли Бог только в этот раз вырваться! Ещё разик в ненаглядные наши казармы вернуться — а уж там мы знаем, что делать!

122

Командир Самокатного батальона полковник Иван Николаевич Балкашин в момент нападения толпы не был в батальоне и прибыл позже, когда раненые уже были отвезены в госпиталь и там Елчину вынимали кортик из спины.

В батальоне было 10 рот: две уже сформированных, готовых к отправке на фронт, четыре боевых на формировании и четыре запасных. Они располагались тут по баракам (всё расположение, и бараки и забор, были деревянные, простреливаемые), и тут же было 6 пулемётов, а ещё 8 — на батальонном складе. Неудобство и уязвимость расположения была та, что оружейный склад, все гаражи батальона и канцелярия его находились отсюда больше чем за версту, в начале Сердобольской улицы у станции Ланская.

Балкашин стал обходить роты на занятиях. Уже все знали о нападении и кипели, и не было надобности много убеждать, что толпа действует как нельзя лучше на руку немцам. В каждой роте Балкашин просил, что надо

поддержать порядок, и все в один голос кричали: „Поддержим! Поддержим!"

Да и его самого любили, он знал.

Тотчас он назначал две роты дежурными, приказал им выйти и стать поперёк Сампсоньевского проспекта, фронтом в противоположные стороны — но стараться удерживаться от открытия огня, а улаживать мирным порядком.

Каждые два часа он эти роты сменял.

Долгое время толпа больше не подступала. Балкашин имел время получить много патронов с Сердобольской улицы, вооружить всех и особенно пулемётную команду.

Правда, из высоких фабричных корпусов понедалеку хлопали иногда одиночные выстрелы, на которые трудно было отвечать, неизвестно куда.

Первые часы ещё была телефонная связь со штабом Округа, но оттуда Балкашину не могли решительно ничего приказать, ни посоветовать. Что делать верно — он должен был сам тут, по обстановке, понимать.

А понимал Балкашин, что его маленькая часть, заброшенная в самую глубь и даль рабочего района, да ещё находясь в деревянных бараках, при всём своём боевом духе не могла принять бой со здешними десятками тысяч, уже значительно вооружённых. Он мог только стараться продержаться дольше до подмоги, а для этого больше угрожать, чем стрелять.

К концу дня из штаба Округа никто не отвечал вовсе, когда и была связь с другими телефонами.

Потом прервалась — перерезали? — и всякая телефонная связь с городом. Самокатный батальон, ещё утром в столице своей родины, вдруг оказался окружённым десантом в неприятельской стране.

Перед темнотой огромные толпы двинулись на батальон с двух сторон Сампсоньевского. Они напирали на дежурные выставленные роты, кричали, агитировали, но не стреляли — и тем более не могли стрелять в толпу самокатчики. Им доставалось только отступать.

Тогда, чтоб не допустить толпу ворваться во двор, Балкашин выдвинул на оставшийся кусок проспекта ещё одну роту и стал стрелять залпами в воздух.

Толпа остановилась.

Но и держать так роты дальше и в темноте становилось бессмысленно. Он постепенно завёл всех во двор, оставил за воротами дежурный взвод, а во дворе против входа поставил пулемёты.

Теперь толпа свободно соединилась, разлилась и двигалась по Сампсоньевскому, а самокатчиков трогать остерегалась. Однако зубоскалили, кричали, агитировали убивать офицеров.

А попозже должна ж была толпа разойтись — и так надеялся Балкашин с батальоном перебыть ночь.

Готовил он двух разведчиков из учебной команды — выпустить их, когда станет поглуше и темней,— чтобы шли через взбаламученный город в штаб Округа и получили бы указание, что делать дальше.

Поодаль на проспекте толпа разводила костры и ставила, видно, заставы.

Но рано успокаивался Балкашин. Задами, через снежные пустыри, задворки и переулки, пришли писаря с Сердобольской: нахлынула толпа туда (а он рассчитывал — не найдут, охранить — не имел двух сил), смела часовых, разгромила гаражи — и увела все грузовики и мотоциклеты! (Да ведь как ухитрились увести! ни один мотоцикл по Сампсоньевскому не прошёл, тут бы заметили, догадались.) А денежного ящика там толпа не нашла и до оружейного склада не добрались.

Ничего не оставалось, как послать и туда около роты.

Вызвал поручика Вержбицкого и двух подпоручиков.

123

А в Москве ничего особенного не происходило. И московские газеты были самые обычные. И не вывешено никаких чрезвычайных агентских телеграмм. Но редакции газет, то одна, то другая, получали сногсшибательные частные телефонные сообщения из Петрограда — и тотчас каждый такой телефон

размножался по Москве двадцатью передачами к знакомым, а те звонили дальше или им звонили из других мест, а тем временем из Петрограда подоспевали ещё новые сообщения — и всё это закручивалось в живительно-будоражащий клубок. Даже если не верить половине этих телефонных известий, то и то было сверхдостаточно!

А Сусанна Иосифовна, утром посещая знакомых больных, потом среди дня в магазинах,— сперва долго ничего этого не знала, нигде в городе не было никаких признаков. Потом перехватила новостей у знакомых — взяла извозчика скорей домой, вернулась к четырём часам. Давида дома не оказалось, от горничной узнала, что он давно прекратил приём посетителей, и не поехал в банк, много сидел у телефона, а теперь уехал в адвокатский клуб, не обещав и к обеду вернуться точно. Звонил и сын из университета, что — новости! новости! — они со студентами обсуждают, и его тоже пока не ждать.

И радостное это ожидание великих событий, может быть падения извечных цепей? — опалило Сусанну! И она — тоже прильнула бы теперь к телефону, если бы горничная не доложила ей, что ещё утром звонил полковник Воротынцев — и будет звонить после четырёх.

Что делать? Обязательство было взято, кто же мог предвидеть, что так всё взвихрится? Надо было принимать полковника, и даже сразу сейчас, пока Давида нет, Давида этот визит будет раздражать. Так что и телефона надолго занимать неудобно, вот горе.

Сердечные законы не слушают общественных событий. Они — настойчивей. Вот-вот придёт — и надо сосредоточить чувства, окунуться в разлад этих супругов. Такой разговор — это сложный тактический бой, и за свою доверительницу Сусанна должна провести его наилучше.

Хотя её тяготила избыточная доверенность к ней Алины и вся эта возложенная миссия — но сама Алина как незрячая, всё невпопад, и как не помочь ей в такую тяжёлую минуту?

А как — помочь? Все эти семейные посредничества — совершенно ведь бесцельны: ни один случай не похож на другой, и никакого безошибочного совета не может дать сторонний человек. Да на советах и не выкарабкаться, это всегда долго, сложно, в сердечных крушениях только сами тонущие могут себя спасти. Уж если не мудрость нужна, так хоть ясное видение,— Алина же и всегда повышенно сосредоточена на себе, а сейчас — только всё упорствует, что муж её боготворит, всё отсылает к его письмам. А в них-то и поражает, будто написаны не живой, своей женщине, а женщине вообще. Да не только. В ту встречу осенью Сусанна перехватила взгляды тревоги его или неловкости за реплики жены. Но есть и противоречие между видом его нелакированным, схваченным боями, видом решимости и быстрых глаз,— и расслабленным поведением во всей этой истории. Как будто не укреплён новой привязанностью.

Впрочем Сусанна знала за собой тонкие щупальцы чувств, опережающие то, что прямо высказывается,— она надеялась хорошо разглядеть собеседника.

Однако он всё не звонил и не звонил. И Сусанна Иосифовна с облегчением поняла, что и не позвонит.

И когда на руке её, на часах-браслетике (такие входили теперь в моду) показало без десяти пять — Сусанна прочно села за телефон, заглатывая, заглатывая новости, пусть противоречивые, и потом сообщая их близким знакомым.

При всех противоречиях — совершалась в Петрограде некая поэма! И уже назад, без следа и без рубца, не могла так просто схлынуть!

И — не заметила, сколько просидела — может быть час, может быть два. Сына всё не было, а Давид вернулся — дико-радостно возбуждённый — как ураган внёс с собою! Что творится! Что творится! Обедать? — ну давай наскоро.

Сусанна надавила грушу звонка кухарке.

— В Петрограде — революция, вот что! — отрубливал ладонью Давид.— Государственная Дума — отказалась разойтись, это гениально! В Петрограде революция, Зусенька! — и обнял её, целовал.

И тут же покинул, что-то ища, она за ним в кабинет.

— В общем — до каких пор будем рабски ждать? История не делается помимо нас, а только нами! Допустимо ли бездействовать, когда другие совершают за нас? Неужели мы их не поддержим? Неужели мы не взорвём нашу глухую Москву?!

У них решено: сегодня вечером в городской думе собираются гласные, не все конечно, но прогрессивное крыло,— так вот с ними и другие прогрессивные деятели Москвы, с известными именами. И Давид — идёт! Конечно, раскачать на поддержку всю городскую думу — невозможно, слишком много болота, реакционный избирательный закон сказывается. Да и эти, кто соберутся,— мастера горячо поговорить и разойтись, это тоже ничто. А надо — как-то себя конституировать в виде зачатка новой власти, явочным порядком. Конечно страшно! В ещё ничуть не изменившейся Москве по одним только телефонным сообщениям из Петрограда — перешагнуть и объявить себя революционерами! Но к этому шло развитие десятилетий! Комитет? Очевидно. Но сейчас начнут трусливо предлагать: общественный комитет, временный комитет, какие-нибудь самоуничижительные названия. А надо набраться смелости — и перейти рубикон невозвратно. И Корзнер решил произнести речь и полыхнуть предложением:

— Комитет Общественного Спасения!

Его глаза сверкали неукротимо. Приподнял руку в кулаке.

Мужество, мужество! — вот что любила Сусанна.

124

В 1-м и 2-м кадетских корпусах в эти дни была корь, а в морском корпусе Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича — не было, и на субботу-воскресенье юных кадетов-гардемаринов отпускали, как обычно, в город. В воскресенье вечером, когда они вернулись из отпусков и уже спать легли — прозвучал горн и созвал их на построение в зал. Им объявлено было, что Государь повелел прекратить городские волнения, и тут же стали назначать караулы для охраны от толпы их огромного здания на Васильевском острове между Невой и Большим проспектом. Караулы получали винтовки и настоящие патроны, которых большинство ещё не держало и в руках. Вахт, сменяемых по 4 часа, потребовалось так много, что ставили и малышей.

Однако ночью не случилось вообще ничего. И день понедельник долго проходил спокойно: на улицах вблизи не видно было никаких толп, и наряд Финляндского полка перегораживал Николаевский мост. Но после трёх часов дня кадетик Горидзе со своей вахты на набережной стороне с ужасом увидел, как целые чёрно-серые толпы вооружённых людей пошли сюда — сперва по льду, а потом и через мост. И из первых же зданий по набережной стоял Морской корпус.

Караулы кадетов вошли внутрь.

Пытались ворваться в ворота и в парадные двери. Кричали, что отсюда в них стреляли пулемёты. Снаружи раздались и выстрелы. Кое-кто из кадетиков ответил тем же. Толпа поняла, что здесь без боя не возьмёшь.

Тогда заявили, что хотят прислать парламентёров.

Для парламентёров отперли дверь — вошла куча солдат и матросов, ударили по голове прикладом вице-адмирала Карцева и схватили его. А в открытую дверь вваливалась и вваливалась толпа.

Учителя и ротные поспешили спасти младших мальчиков, винтовки покидали в холодные печи, ещё куда,— а самих рассадили по классам, будто идут занятия.

Чужие бегали по этажам, искали пулемёты. Разявили рты на артиллерийские модели столетней давности. В картинной галерее штыками выкололи глаза всем императорам и всем адмиралам. Били, где что попадётся.

И полностью разграбили кухню.

Ушли.

Что ж, стало нечего есть и училище разграблено, и увезен в плен вице-адмирал. По всему видно, что не учиться завтра — и кадетов распустили по домам, без палашей, но в форме.

Горидзе и его приятель К * пробирались через Благовещенскую бушующую площадь, на погонах — вензеля наследника, и развевались ленты с бескозырок: «Его Императорское Высочество». Одна мещанка увидела — и изблизи плюнула мальчишке в лицо.

К * утёрся.

Не знала та женщина, а К * только втайне мечтал, что ещё придётся ему в этой стране стать — адмиралом.

125

У всякой Революции видимо есть такое загадочное свойство: она и придя — не в первую минуту открывает нам всем своё прекрасное лицо. Она может придти в маске будничности — так что ходит уже по нашей обычной жизни, а мы не узнаём, что Она пришла.

Так было и все предыдущие дни: ну хлебные волненья, ну громят лавки, ну задирают полицейских. Хотя и весело, а только как счастливые эпизоды. Так и вчера, после стрельбы на Невском — хотя и спёрлось гневно в груди, хотелось бить в морду даже не какому-нибудь отдельному начальнику, а самому режиму, и даже вслух обещал не простить им этого,— а к а к „не простить''? Что надо делать? К вечеру казалось, что вот и опять всё впадает в обычный подлый порядок, вот и подавили.

И вчера вечером Саша, как ни в чём не бывало, пошёл к Ликоне на именины — а там обречён был, среди совсем чужих, быть лишним, и оттого как бы неуклюжим, неудачным, и совсем не нужным Ликоне. Унизительно себя чувствовал. Пытался Ликоне напомнить, какой трагический день,— ей ничего не передалось. Пытался спросить — к а к же будет между ними? — она вдруг откровенно ответила: „Саша, я — плохая. Ты так и знай, что я — могу изменить''.

Эта открытость — и была приобретение вечера. Эта открытость его поразила, ведь так никогда не говорят! Но это признанное скольжение к измене — не отвращение к ней возбудило у Саши, а ещё больше раззарило: совладать с нею! завладеть ею!

Чем невозможней...

А утром — с таким осадком унижения проснулся,— лучше б не ходил туда вчера!

И потащился, как обычно, в своё окостенелое Управление, высиживать нудные часы над бумажками.

И когда по телефону вдруг стали узнаваться первые новости — ещё и тут не в минуту и не в час Саша разглядел, что Революция наконец срывает маску со своего вдохновенного лица.

Но всё-таки он понял это — раньше других. И при обеденном перерыве, не убирая бумаг со стола, выскользнул из своего учреждения, чтоб сегодня в него уже не возвращаться. А может быть — и никогда.

И откуда вдруг — такая нежданная сила народа? И почему вдруг оказался так слаб враг?

И — что теперь делать на улице? Как это — д е л а ю т революцию? Надо было что-то громить — лучше всего полицейские участки, как самые верные гнёзда режима? Или кого-то присоединять, ещё не восставших? Саша угадывал, что революция — это прежде всего темп, сколько новых сторонников она успеет присоединить к себе за час.

Сердцем, порывом — он был готов, уже ничего не боясь, переступая Рубикон. Но — шинель, погоны, шашка? опять отрывали его от сокровенного? В глазах всех он сейчас на улице — пёс режима. Что делать? Мчаться к себе на Васильевский и переодеться в штатское? Но мчаться пешком черезо все эти волнения невозможно, да и опасно, во что-нибудь и влипнешь по дороге всё равно. Опять не пускала его военная форма в настоящую жизнь? А нет — увлечь и её туда! Вот так, как он есть — прапорщиком и с шашкой кидаться в революцию.

А бежало несколько возбуждённых парнишек и несли каждый по винтовке и револьверу. У одного винтовка уже по тротуару волочилась, хоть брось,— прапорщик его и облегчил, перенял. И почему-то поняли они, что он — не *против*, и за то дали ещё и револьвер, но без патронов.

А дальше он увидел дюжину солдат без унтера, бредущих как попало по мостовой, винтовки у всех по-разному, шинели раздёрганы (и карманы огружены патронами, и ещё в руках по цинку),— и молодые парни, и постарше, и видно, что растерялись, куда и зачем. Чужого молодого офицера они пропустили глазами как ненужность — а он по вдохновению крикнул им! Крикнул — и первый раз не узнал ни манеры своей, ни голоса, откуда сразу так сложилось легко и звонко, как будто он и вырос на командовании — да дело-то было родное:

— Ребята! Куда? Пошли штурмовать!

Он крикнул как имеющий право спрашивать и приказывать — и вдруг сразу поняли и подчинились, отозвались готовно. И первый раз за всю свою военную жизнь Ленартович почувствовал себя настоящим офицером и даже может быть прирождённым.

И весь день потом это личное чувство росло в нём рядом с общим ликующим ощущением Революции. Его изумляло теперь, как он четыре года не знал себя и не догадывался о себе. Даже усумневался прежде, не трус ли,— он забыть себе не мог, как перепугался насмерть, роя лицом картофельные борозды под Найденбургом. Он всюду тогда избегал и уклонялся опасности, в чём мог, да, а потом уловчил и убраться с фронта, но внутреннее чувство всегда говорило, что — нет, не трус, он внутренне знал, а просто — не погибать за чужие интересы, но сберечься от чужой войны к своей. И только сегодня среди свиста бессмысленных ненаправленных пуль и направленных, когда в окна и двери отбивались полицейские, Саша не забыл радостно перед собой, что вот же он нисколько не боится! что он даже весел в этой опасности и ему даже не будет обидно пораниться или убиться в этот весёлый красивый день.

Солдаты быстро стали звать его „наш прапорщик" и слушались так охотно и отзывно, как не слушаются унылых принудительных команд. „С нами прапорщик!" — кричали другим солдатам или публике, и это вызывало крики восторга, и команда их прибывала. Если Саша ошибался в распоряжениях — старшие солдаты не замечали тех команд, сами догадывались, как сделать лучше,— а он всё более ощущал себя подвижным, сообразительным, смелым, усотерённым на свою команду.

Сперва, чтоб увлечь их верно, он позвал их куда было ближе, куда он знал — на полицейский участок на Лиговке возле Чубарова переулка. Это, конечно, было не главное место в Петрограде, достойное атаки, но на это было легче собрать гнев людей. А впрочем, неглавных мест не было — в каждом совершалась великая работа Революции. За каменное здание пришлось вести бой, рассыпаться от оконных выстрелов, прижиматься к стенам, отбегать за угол и стрелять так много,— патронов хоть засыпься,— что изрешеченный дом загорелся от выстрелов. Потом брать штурмом лестницу и драться на ней. Потом торжество над фараонами, наказание их, их умоления, отвод куда-то, и кажется же — не поджигали бумаг, никто такой мысли не высказывал,— а бумаги загорелись, загорелись, передаваясь через двери, через занавески, из комнаты в комнату и выкуривая победителей. Но и выкуренный, Саша стоял на улице в дерзкой весёлости, любуясь пожаром.

Так он начал сегодня мстить за дядю Антона! и за повешенных народовольцев! Так во многих местах Петрограда сразу, друг другу неведомая, но друг друга подкрепляя, торжествовала Справедливость сразу за несколько поколений. Час всеобщего возмездия.

А какое упоение он видел рядом на солдатских лицах!

Какой-то привязчивый интеллигент в шубе и в меховой шапке уговаривал Сашу двинуться на семёновские казармы: что этот упорный вышколенный царский полк никак не хочет присоединяться к революции — и надо его снять, хоть и силой.

Это было недалеко, и взять на себя ораторство хоть перед батальоном Саша

чувствовал себя вполне способным, и верил в силу своего убеждения. Но всё же сообразил, что отряд его на случай сопротивления слишком малочислен и несоединён.

И другие прохожие давали разные противоречивые советы, куда идти и что делать,— а Саша и любимые его отрядники, которых он не знал ни по лицам, ни по именам, а просто те, кто держались рядом,— стояли и любовались, как горит.

То был символ уничтожения старого и обновления, и гордость наполняла грудь и голову до состояния пьяной малочувствительности, когда тело не чует царапин, ушибов, не боится ран.

Присоединилось к ним несколько рабочих — в картузах, бушлатных куртках и с винтовками, взятыми на ремень. И они уговорили Сашу идти освобождать Пересыльную тюрьму — тоже не так далеко, и они тут знали дорогу, хотя и необычную: перелезали через железнодорожные заборы, пересекали пути — и вышли прямо к тюрьме, даже две их там было рядом, но Арестный дом уже освобождали без них.

Биться не пришлось: тюремная охрана сразу сдалась, распахнула двери, ворота и пошла отпирать камеры. Но самый этот процесс освобождения, состоять освободителем и видеть радость, приплясывания и ругательства освобождаемых узников — доставляло несравненный подъём.

И братья меч вам отдадут.

Не ждал себе Саша такой почётной, радостной роли.

Задержались, потому что некоторые освобождённые мстили тюремному надзору, кого-то били и разнесли тюремные вещевой и провиантский склад. Впрочем, последнее было не без пользы и Сашиной команде, все изрядно проголодались — и охотно поели.

А потом повалили переулками к Старо-Невскому — и ещё очень вовремя пришли к разгрому Александро-Невской полицейской части, здесь ещё не кончилось взятие и только начинался пожар. Соседние пожарники отказались присоединиться к революции, за что подожгли и их каланчу,— она очень эффектно горела, высоко и долго, ещё и в вечер, нельзя было дождаться конца.

Так Саша побывал как будто на периферии событий, он не видел ничего центрального, но и он оказался для Революции существенный работник. А главное — сам в себе он испытывал такую окрылённость, такое поющее чувство,— может быть это был самый счастливый день его жизни!

С каждым часом и каждой новой победой всё больше убеждался он, что Революция несомненно берёт верх: да нигде не видели они сопротивления каких-нибудь войск и не слышали о таком.

Теперь, когда день кончался, уже темнота наступила, захотелось Саше попасть на какую-то более центральную революцию. И он решил пробираться к Думе, там кого-нибудь встретить, узнать лучше новости, чем они узнавали на улице от зевак и прохожих. Его команда может быть и переменилась и перемешалась, и растеклась вокруг пожара Александро-Невской части; но всё ж ещё оставалось человек двадцать, которые звали его „наш прапорщик",— и они пошли с ним. И после разных приключений и остановок с десятком из них дошёл до Думы — и оставил их дожидаться на случай новых действий, а сам как офицер сумел проникнуть внутрь.

126

Сегодняшний как будто тихий одинокий день был для Воротынцева потрясением. Он так неразрешимо растревожился, пришёл в такую растравленную непонятность, такую тревожную неоконченность — что и просто уехать из Москвы сейчас не мог.

После такого письма от Алины — уже и к Сусанне идти было незачем.

Подумал: вот мама с отцом так много лет жили в разладе — можно ли вообразить, чтобы мама написала такое письмо? Вот так — хлестала?

Наверно — никогда.

Наверно, мама бы сейчас поняла это его потрясение. Эту внезапную пустоту.

На маминых похоронах Калиса плакала в голос.

А давне́й, давней — двор на Плющихе, и синеглазая девочка, лет на пять младше, в тулупчике и пуховом платке, садилась на санки то к брату своему, то к нему, когда съезжали с ледяной горки. Её дразнили — она никогда не плакала, не обижалась.

Они были дети хозяина дома, где тогда квартировали Воротынцевы, и куда Георгий потом наезжал в молодости. Калиса росла, дородностью будто старше своих лет, добродушная, приветливая,— как освещала всякий раз улыбкой и просторечным московским говором, мама её любила. А лет девятнадцати её выдали замуж за пожилого купца в Кадаши, Георгий уже кончил училище, служил не в Москве.

Но было и очень неловкое воспоминание. За год до японской войны Воротынцев, тогда уже командуя ротой, приехал в отпуск, в конце ли февраля, то ли в марте, таяло. А Калиса как раз, по дальнему отъезду мужа, жила у родителей. И как-то вечером, встретив Георгия во дворе, позвала его на пирог с вязигой, только что испекла. Пошёл к ней, говорится пирог, а полный стол был постного, шёл пост, засиделся, и всё вдвоём, родители её в гостях. Как будто ничего общего не было между его офицерским миром и её купеческим, и разговаривать бы не о чем, но она без затруднения журчала, журчала, и он слушал благодушный её речитатив. Глядел на её беложавое лицо, мягко круглые плечи, она не толста была, но тельна,— и вдруг бесстыдное, безумное, забытое пламя овладело им: вот — сейчас! и — даром, что замужняя! И — пошёл на неё, она испугалась, уже за плечи обхватил и внушал нетерпеливо, а она забилась, просила отпустить! — и тут незвано-нежданно вошла прихожая монашка. И всё порушилось.

Потом японская война, женился, жил в Петербурге, в Вятке, а в 14-м году перед самой войной встретил её в Москве, в трауре. Муж её, напившись, угорел от печи, вполне русская смерть, Калиса осталась в мужнем доме в Кадашах, бездетной вдовой, а всего за тридцать, и даже в пущем цветении. И опять война.

А сегодня, когда сидел, выжженный, и память шарила по родной Москве — вдруг вспомнил Калису. С ней бы даже и говорить просто, а то ведь язык не провернуть в гортани.

Посыльный принёс от неё ответ круглым почерком, что — рада, дома, и ждёт его ужинать к семи.

В назначенный час он был. Особняк в глубине двора, при садике. Прислуга открыла — но и сама Калиса Петровна, в синем бархатном платьи с кружевным воротником, встретила его на пролёте лестницы. А он поцеловал ей руку. Она застыдилась, но не умолкла говорить и вела его в столовую.

Тут стоял большой старинный буфет с зеркалом и с резными грушами и виноградом на боковых дверцах. Квадратный дубовый стол с восемью тяжёлыми дубовыми стульями вокруг. Над столом спускалась махина пудовой висячей керосиновой лампы из фигурного розового стекла, но по цепи приплетена и электрическая лампочка, она и горела. (На стенах ещё в запас — двусвечники, заправленные свежими свечами, электричеству тут не верили.) Был и граммофон у стены, с огромною трубой, массивный. А ещё в стороне было особое кресло — с полого откинутой спинкой, наверху к голове оно имело кожаную подушку, покрытую ещё белой застилкой. И Калиса Петровна сразу заметила:

— А вы усталый-усталый какой, Георгий Михалыч! А садитесь-ка в это кресло пока, до стола. Отдохните.

И правда, угадала: он ведь ужасно устал. Ему именно отдохнуть надо было, первее всего.

В глухой тишине слышались даже мелкие звуки, поскрипывание его сапогов, призвякивание шпор.

Сел. Откинулся. Расслабился.

Он был разбережен, как болен. То ли что-то неповоротливое, невмещаемое наполняло его — то ли, напротив, вышло всё и ничего не осталось. Но — мешало жить и что-нибудь делать. Но как хорошо угадал: тут и говорить не надо. Калиса Петровна расспрашивала о войне — как и не расспрашивала, сама рассказывала: что где с кем случилось, на войне ли или тут в Замоскворечьи, рядом.

И не пытался скрыть своё удручение. Дал ему волю выразиться — в постаревшем лице, в плечах.

А Калиса, дохлопатывая у стола и ни о чём его не спрашивая, одними перепевами голоса уже как будто угощала.

И как будто не было ничего неестественного, что он пришёл отдыхать в чужой дом и, откинувшись, вот молчал.

Не курил, представляя, что она не любит этого запаха в комнатах. Да даже и перестало нутро требовать горячего дыма, лекарства нервности, вот что.

Если бы пришлось объяснять, зачем же он пришёл,— он не мог бы. Но к счастью — и не надо было. А успокоение, что пришёл в правильное место. Никуда не пойти — он тоже не мог.

Вот — никуда и не надо идти. Хорошо.

А Калиса Петровна уже приглашала к столу. Она видела его сокрушённое состояние — но деликатно ничего не спросила, не коснулась. Приглашала к столу.

А на столе — заливная осетрина. Огурцы золотые со смородинным духом. Грибки маринованные разных сортов. Расстегай стерляжий розовый.

К ужину не идёт, а не хочет ли Георгий Михайлович и снетковой ухи? Есть, хороша.

И вот когда ощутил Воротынцев, какой он голодный, да весь день ничего не ел. А что, и ухи! Ну, и старки рюмку, мол вы из боёв. Ещё рюмку. Хозяйка пригубила тоже.

И всё он стал одно за другим есть, оживая. А Калиса — непринуждённо, но и не поспешно, журчала о московской жизни, не присиливая его к отзыву. Уж не знала, как ему и польготить.

По этой старомодной столовой, и по угощению, и по глухой здешней тишине,— не доносилось ни звука с городской улицы,— как не было этой трёхлетней войны, и всеобщего упадка, стоял нерушимый замоскворецкий быт, и будет стоять ещё тысячу лет.

Отдохнуть, да. Смотрел в её синие полносочные глаза, с приемлющей добротой. Освежел.

Да вот что. Этой чужой доброй женщине он почему-то вполне мог и рассказать, как ему сложилось тяжело.

Но смотрел больше, больше на её полные плечи в синем бархате, на белую шею с монистом из гранёных прозрачных медовых камней,— и вдруг сказал, не отрывая глаз от глаз, через угол стола, как они сидели:

— Калиса Петровна, а вы знаете, зачем я пришёл?

Смотрела простодушно.

А он волнуясь, и вспоминая прежнее волнение:

— По пирог с вязигой.

— Ой,— всплеснула ладнями.— Нету сегодня, не догадалась.

А он смотрел, углубляясь в беззащитные мягкие глаза.

Она покраснела, отвела лицо:

— Ой, какой вы незабывчивый...

Он встал, шагнул — и десятью пальцами взял её выше локтей, за оба мякотных предплечья.

Пальцы вошли — и оторвать нельзя.

И сказал, сверху вниз, глухо:

— Калиса, голубушка. Я ведь у вас останусь сегодня.

Она опустила, опустила голову, открывая ему затылок и густой накрут золотисто-тёмных волос.

И выдохнула:

— Ах, грех какой, Георгий Михалыч: ведь оба раза — на посту, на третьей неделе...

127

Этот Шляпников, хотя и писал иногда по несколько абзацев, но не был, конечно, никакой литератор. Уровень его был примитивный, из-за деревьев своей партийной техники он совершенно не видел леса революционной политики. Вот уж, наверное, приводил в отчаяние своих лидеров в Швейцарии.

Но приходится работать с тем людским материалом, какой есть. Так или иначе, но сейчас в России был единственный член большевицкого ЦК — Шляпников, и приходилось искать понимания с ним, особенно при таком горячем повороте дел.

Да Гиммер уже несколько раз искал случая хорошо объясниться с ним, но тот не приходил по приглашению — или избегал, просто знал за собой неспособность к теоретической беседе. Однако откладывать было, вот, невозможно, использовать надо эту случайную встречу. И чтобы добиться координации действий с большевиками, Гиммер всю дорогу до Таврического добросовестно разъяснял Шляпникову создавшуюся конъюнктуру.

Впрочем, условия для разъяснений были неблагоприятны: они всю дорогу шли почти бегом, стараясь поскорей миновать опасные места. Сперва — мимо Петропавловки.

Толковал ему Гиммер: на первых порах власть и должна стать буржуазной, потому что без подготовки пролетариат не способен создать государственную власть. Для изолированной революционной демократии, да ещё в условиях войны, непосильна техника государственной работы.

Совсем стемнело, возможны всякие эксцессы. Шли и подбегали. Троицкий мост был свободен, всех пропускали, но довольно пустынен.

Опасность именно в том, чтобы буржуазия не отказалась от власти. Если она откажется — она одним своим нейтралитетом погубит революцию. Буржуазию надо именно заставить взять власть даже помимо её воли. Конечно, отдавая себе отчёт, что создание Временного Комитета Думы это вовсе не солидарность думско-буржуазных верховодов с атакующим народом, но попытка спасти династию и плутократическую диктатуру. Они хотели бы вести линию борьбы с революцией, но мы должны их втравлять во власть — и так заставить служить на мельницу революции.

Быстро проносились, и всё навстречу, автомобили — легковые и грузовые, во всех вооружённые люди с криками. Шляпников несколько раз кидался останавливать их, один раз остановил, догнал и что-то говорил.

— Что вы им говорили?

— Чтоб они ехали занять охранку.

— Ах, слушайте, это всё хорошо, но мы не можем так задерживаться. Нам, наоборот, надо бы подловить автомобиль да подъехать скорей в Таврический.

Бежали дальше, к концу моста.

Возложить на буржуазию и все задачи ведения войны — а зато нашу позицию это сделает значительно свободной. Вплоть даже до того, что как-то временно — ну, пригасить, что ли, антивоенные лозунги?..

Самое опасное место конъюнктуры — Шляпников промолчал. И то хорошо. Ну, правда, и бежали.

Повернули налево по набережной. То и дело раздавались близкие непонятные ружейные выстрелы: кто стрелял? зачем? куда? где пролетают пули? — ничего не разобрать. Так и вонзится, где не ждёшь.

Один революционный автомобиль почему-то остановился около английского посольства. Кинулись к нему, Гиммер отрекомендовался как известный социалистический литератор и просил подхватить их, подвезти к Таврическому дворцу. Но в ответ получил нечленораздельный, возбуждённый общий гвалт, эти люди были как сумасшедшие, они не понимали даже самих себя. И тут же автомобиль рванулся — и умчался.

Мимо Летнего сада добежали до Фонтанки и решили с набережной свернуть, чтоб миновать Литейный мост, так спокойнее пробраться.

Шляпников оказался, конечно, со всем подряд не согласен — да наверно на всякий случай, не могло быть у него собственного понимания, но по крайней мере составилось у Гиммера впечатление, что у большевиков нет решения разнуздывать стихию. Во всяком случае нет у них ни готовых лозунгов, ни готового плана.

Тем лучше, передовые внефракционные социалисты сумеют их опередить и направить ход событий.

Бежали мимо кирпичной стены Орудийного завода, прямо на пожар Окружного суда. В его пламенном свете на Сергиевской стояло несколько пушек, но все дулами в разные стороны и без прислуги, так что не получалось боевого впечатления. Стояли и снарядные ящики, к ним свален экипаж, две бочки, отломанная стенка какой-то будки, несколько досок, набросано мебели и хламу,— всё наподобие баррикады, но защитников у баррикады не было. А стоявшие там и сям на перекрестке группы солдат — никак к ней не относились.

Какой-то солдат один громко распоряжался, кричал на всех прохожих, чтобы шли вот так, а не иначе — но никто его не слушал.

Пожарники тщетно боролись с огнём. Толпились любопытные, но никто не помогал. Кое-где уже обрушились стены, держались арочные окна. Мостовая широко вокруг была в лужах от потаявшего снега.

Пересекли перекресток — и помчались дальше по Сергиевской. Непонятные выстрелы продолжались и здесь, но ни одна пуля не зацепила.

На углу Шпалерной и Потёмкинской стоял пулемёт на грузовике, наш. А дальше большое оживление, чем ближе к дворцу. На тротуарах и на мостовой толклась смешанная толпа штатских и разрозненных солдат, много молодёжи, но пройти было свободно можно. Митингов среди толпы не было.

У самого дворца, перед сквером и в сквере, стояли, заводились, фырчали, останавливались и трогали автомобили всяких видов и типов, в одни впрыгивали вооружённые люди, с других спрыгивали, и почти в каждом были женщины. Всюду мелькали, торчали штыки винтовок. На один автомобиль грузились какие-то ящики, а с другого, наоборот, сгружались съестные припасы. Царил страшнейший беспорядок и крик, и почти все приказывали, и никто не повиновался. Вступить в разговор ни с одним автомобилем было невозможно.

Ну ладно, хорошо хоть целыми добрались. Теперь внутрь? Не так просто — стоит караул, а пропуском распоряжается какой-то гражданский цербер.

Но оказался — знакомый левый журналист, узнал Гиммера — и впустил их.

128

Всегда считалось достаточным освещение и на Шпалерной и перед фасадом распластанного Таврического дворца с широко раскинутыми одноэтажными крыльями. Но не для таких событий, как сегодня! Фонари на Шпалерной казались редкими, улица не ярка, а сквер перед дворцом для такого столпления даже полутёмен, хотя горели фонари на колончатом крыльце и были освещены все окна. А над двухэтажной серединой дворцового тела светился как мреющая голова отдельно возвышенный среди темноты загадочно тусклый матовый купол. И впечатление было — притемнённости, скрытости, тайны: что здесь творится сокровенное. И хотелось туда проникнуть.

Ещё по контрасту напоминали о яркости необычные для города багровые зарева с разных направлений, хотя и заслонённые скученностью каменных кварталов. Близко, за Таврическим садом, горело на Тверской жандармское губернское управление. Недалеко же, но противоположно, Окружной суд. А между ними в третьей стороне и подальше — Александро-Невская часть.

А в сквере перед Таврическим всё сгущалось и накоплялось публики самой разношерстной. Много солдат, или группами, друг друга знающие, или разрозненные,— странный непристроенный сброд именно тех существ, которые никогда не пребывают без строя и команды. И первые уже матросы из экипажей. И всё больше молодёжи — студентов и курсисток, молодых рабочих и работниц, и даже гимназистов. (Уличных подростков не было, потому что у дворца не стрелялось.) Всё подъезжали и спирались без дела автомобили, легковые и грузовые.

Наверно — никогда.

Наверно, мама бы сейчас поняла это его потрясение. Эту внезапную пустоту.

На маминых похоронах Калиса плакала в голос.

А давнёй, давней — двор на Плющихе, и синеглазая девочка, лет на пять младше, в тулупчике и пуховом платке, садилась на санки то к брату своему, то к нему, когда съезжали с ледяной горки. Её дразнили — она никогда не плакала, не обижалась.

Они были дети хозяина дома, где тогда квартировали Воротынцевы, и куда Георгий потом наезжал в молодости. Калиса росла, дородностью будто старше своих лет, добродушная, приветливая,— как освещала всякий раз улыбкой и просторечным московским говором, мама её любила. А лет девятнадцати её выдали замуж за пожилого купца в Кадаши, Георгий уже кончил училище, служил не в Москве.

Но было и очень неловкое воспоминание. За год до японской войны Воротынцев, тогда уже командуя ротой, приехал в отпуск, в конце ли февраля, то ли в марте, таяло. А Калиса как раз, по дальнему отъезду мужа, жила у родителей. И как-то вечером, встретив Георгия во дворе, позвала его на пирог с вязигой, только что испекла. Пошёл к ней, говорится пирог, а полный стол был постного, шёл пост, засиделся, и всё вдвоём, родители её в гостях. Как будто ничего общего не было между его офицерским миром и её купеческим, и разговаривать бы не о чем, но она без затруднения журчала, журчала, и он слушал благодушный её речитатив. Глядел на её беложавое лицо, мягко круглые плечи, она не толста была, но тельна,— и вдруг бесстыдное, безумное, забубённое пламя овладело им: вот — сейчас! и — даром, что замужняя! И — пошёл на неё, она испугалась, уже за плечи обхватил и внушал нетерпеливо, а она забилась, просила отпустить! — и тут незвано-нежданно вошла прихожая монашка. И всё порушилось.

Потом японская война, женился, жил в Петербурге, в Вятке, а в 14-м году перед самой войной встретил её в Москве, в трауре. Муж её, напившись, угорел от печи, вполне русская смерть, Калиса осталась в мужнем доме в Кадашах, бездетной вдовой, а всего за тридцать, и даже в пущем цветении. И опять война.

А сегодня, когда сидел, выжженный, и память шарила по родной Москве — вдруг вспомнил Калису. С ней бы даже и говорить просто, а то ведь язык не провернуть в гортани.

Посыльный принёс от неё ответ круглым почерком, что — рада, дома, и ждёт его ужинать к семи.

В назначенный час он был. Особняк в глубине двора, при садике. Прислуга открыла — но и сама Калиса Петровна, в синем бархатном платьи с кружевным воротником, встретила его на пролёте лестницы. А он поцеловал ей руку. Она застыдилась, но не умолкла говорить и вела его в столовую.

Тут стоял большой старинный буфет с зеркалом и с резными грушами и виноградом на боковых дверцах. Квадратный дубовый стол с восемью тяжёлыми дубовыми стульями вокруг. Над столом спускалась махина пудовой висячей керосиновой лампы из фигурного розового стекла, но по цепи приплетена и электрическая лампочка, она и горела. (На стенах ещё в запас — двусвечники, заправленные свежими свечами, электричеству тут не верили.) Был и граммофон у стены, с огромною трубой, массивный. А ещё в стороне было особое кресло — с полого откинутой спинкой, наверху к голове оно имело кожаную подушку, покрытую ещё белой застилкой. И Калиса Петровна сразу заметила:

— А вы усталый-усталый какой, Георгий Михалыч! А садитесь-ка в это кресло пока, до стола. Отдохните.

И правда, угадала: он ведь ужасно устал. Ему именно отдохнуть надо было, первее всего.

В глухой тишине слышались даже мелкие звуки, поскрипывание его сапогов, призвякивание шпор.

Сел. Откинулся. Расслабился.

Он был разбережен, как болен. То ли что-то неповоротливое, невмещаемое

наполняло его — то ли, напротив, вышло всё и ничего не осталось. Но — мешало жить и что-нибудь делать. Но как хорошо угадал: тут и говорить не надо. Калиса Петровна расспрашивала о войне — как и не расспрашивала, сама рассказывала: что где с кем случилось, на войне ли или тут в Замоскворечьи, рядом.

И не пытался скрыть своё удручение. Дал ему волю выразиться — в постаревшем лице, в плечах.

А Калиса, дохлопатывая у стола и ни о чём его не спрашивая, одними перепевами голоса уже как будто угощала.

И как будто не было ничего неестественного, что он пришёл отдыхать в чужой дом и, откинувшись, вот молчал.

Не курил, представляя, что она не любит этого запаха в комнатах. Да даже и перестало нутро требовать горячего дыма, лекарства нервности, вот что.

Если бы пришлось объяснять, зачем же он пришёл,— он не мог бы. Но к счастью — и не надо было. А успокоение, что пришёл в правильное место. Никуда не пойти — он тоже не мог.

Вот — никуда и не надо идти. Хорошо.

А Калиса Петровна уже приглашала к столу. Она видела его сокрушённое состояние — но деликатно ничего не спросила, не коснулась. Приглашала к столу.

А на столе — заливная осетрина. Огурцы золотые со смородинным духом. Грибки маринованные разных сортов. Расстегай стерляжий розовый.

К ужину не идёт, а не хочет ли Георгий Михайлович и снетковой ухи? Есть, хороша.

И вот когда ощутил Воротынцев, какой он голодный, да весь день ничего не ел. А что, и ухи! Ну, и старки рюмку, мол вы из боёв. Ещё рюмку. Хозяйка пригубила тоже.

И всё он стал одно за другим есть, оживая. А Калиса — непринуждённо, но и не поспешно, журчала о московской жизни, не присиливая его к отзыву. Уж не знала, как ему и польготить.

По этой старомодной столовой, и по угощению, и по глухой здешней тишине,— не доносилось ни звука с городской улицы,— как не было этой трёхлетней войны, и всеобщего упадка, стоял нерушимый замоскворецкий быт, и будет стоять ещё тысячу лет.

Отдохнуть, да. Смотрел в её синие полносочные глаза, с приемлющей добротой. Освежел.

Да вот что. Этой чужой доброй женщине он почему-то вполне мог и рассказать, как ему сложилось тяжело.

Но смотрел больше, больше на её полные плечи в синем бархате, на белую шею с монистом из гранёных прозрачных медовых камней,— и вдруг сказал, не отрывая глаз от глаз, через угол стола, как они сидели:

— Калиса Петровна, а вы знаете, зачем я пришёл?

Смотрела простодушно.

А он волнуясь, и вспоминая прежнее волнение:

— По пирог с вязигой.

— Ой,— всплеснула ладнями.— Нету сегодня, не догадалась.

А он смотрел, углубляясь в беззащитные мягкие глаза.

Она покраснела, отвела лицо:

— Ой, какой вы незабывчивый...

Он встал, шагнул — и десятью пальцами взял её выше локтей, за оба мякотных предплечья.

Пальцы вошли — и оторвать нельзя.

И сказал, сверху вниз, глухо:

— Калиса, голубушка. Я ведь у вас останусь сегодня.

Она опустила, опустила голову, открывая ему затылок и густой накрут золотисто-тёмных волос.

И выдохнула:

— Ах, грех какой, Георгий Михалыч: ведь оба раза — на посту, на третьей неделе...

И многие напирали, стараясь проникнуть в главные двери, а наружный караул оттеснял и окрикивал. В этой толпе напирающих штатских попадались и солидные мужчины, иногда в дорогих шубах, они устно доказывали проверяющим, почему им надо войти, а кто совал и документы.

И некоторое время строго проверяли, ходили осведомляться в комендантскую комнату, приносили разрешение на впуск. Потом толпа напирала сильней, отталкивала часовых — и вламывалась, кто успевал. Потом часовые брали верх, занимали прежние места, и снова начинался строгий контроль входа.

А внутри — и тепло, и в залах — уже света доподлинно на народный праздник. И так необъятны были внутренние помещения дворца, что и все эти волны прорвавшихся вместе с допущенными растекались, дробились, поглощались, и хотя во дворце становилось людно, а никак не толпяно. Но в два часа была утеряна вся чинность и парадность дворца, как могли оценить только члены Думы.

Почти они одни только и были без верхней одежды, сдав её ещё утром, как всегда, швейцарам. Так и ходили в сюртуках, сверкающих манишках, среди посторонних набравшихся — шубяных, пальтовых, шинельных, бушлатных, картузных, папашных. Да членов Думы уже и недосчитывалось многих, и оставшиеся тончали до затерянной примеси уже не привычных хозяев этого дворца, прекрасности и простора которого они не ценили прежде. И не показывались лидеры, чтобы властно распорядиться. И поисчезали служители Думы и приставы. Во дворце не стало никакого хозяина.

А ворвавшиеся — чаще не знали, что делать дальше: бродили в сапогах (оставляя снег и грязь на паркете, так что и поскользнёшься) и рассматривали залы. Праздные солдаты собирались ещё робкими кучками, негромко толковали. Но потом смелели, глядя на снующих, торопящихся образованных господ и студентов, начинали и сами сновать-рыскать, в конце одного коридора обнаружили буфет — и стали там потчеваться, не спросясь и не платя. Дознались новые солдаты — и буфет опустел вмиг, рестораторы не смели им препятствовать.

Екатерининский зал был с иную городскую площадь, и одни группы никак не мешали другим. Кто сновал по делу с важностью, кто изнывал от неопределённости, кто ждал чего-то терпеливо, нетерпеливо. А молодёжь собиралась своими кучками. Кто-то взлез на стул и начал малый митинг.

А в Купольном зале появился длинный стол, и за ним несколько человек сели, а другие стали к ним толпиться, наклоняться. Там выписывались какие-то пропуска и кому-то что-то разрешали, а кого-то куда-то посылали.

Через двери вестибюля всё чаще вводили арестованных — в полицейских мундирах, но больше штатском, разных возрастов и видов. Их сопровождали со штыками наперевес, с поднятыми револьверами, с обнажёнными саблями или кортиками — рабочие, солдаты, матросы, обыватели. Народ в вестибюле, залах и коридорах смотрел на этих арестованных с жадным любопытством: именно то и притягивало и вызывало злорадство, что не полиция схватила, а её схватили, или других каких-то злодеев, прежде недоступных! Глазели на них во все глаза.

Уже знали, куда таких вести — в комнату финансовой комиссии. Там под председательством лихого пронзительного Караулова заседали несколько членов Думы — Аджемов, Пападжанов, Мансырев. В присутствии приведшего конвоя они снимали с приведенных поспешный допрос — и тут же вынуждены были выносить и выносили мгновенное и окончательное распоряжение о судьбе арестованного: отпустить ли его или заключить под стражу. Куда отводить арестованных, уже тоже было избрано: комнаты на втором этаже близ хор. (В министерский павильон Керенский такой мелочи не принимал.)

Приведшие всегда были с оружием — одни они с оружием тут, и горели огнём лихорадочной справедливости, и гордились, что это они догадались, схватили и привели. Из-под таких штыков и револьверов отпустить — было почти невозможно. Хотя схвачены были люди всего лишь за то, что этим вооружённым не понравился их вид, или за неугодно сказанное слово, или не пускали к себе в квартиру на обыск,— благоразумнее было пока арестовать, в расчёте отпустить завтра, а конвоиров благодарить и хвалить за то, что они трудятся для закрепления революции.

Ещё в начале этого вечера члены законодательной палаты были поражены произвольным арестом Щегловитова. Но прошло несколько часов — и вот уже думцы как будто примирились, освоились, и вот взяли на себя тоже суд и ряд, не имея на то никаких законных полномочий, попирая их вослед за Керенским. Он всех их увлёк за самозаконство.

Позже вечером с большим шумом вошёл в Купольный зал крупный конвой, приведший сразу человек тридцать — в форме жандармских офицеров, в полицейской форме и штатских. Командовал конвоем седой старик на костылях, натянувший форму поручика — вероятно старую свою, долголежалую. Посередине Купольного зала он громко возвестил, что просит доложить о себе — *руководителю революции депутату Керенскому.*

И хотя Керенского тут не было и близко — по такому вызову, откуда ни возьмись, он появился!

В Керенском быстро открывалась — да всегда в нём жила! — манера эффектно и благородно держаться перед революционной массой. Вот он подходил — не медленно (чтоб это не выглядело чванно) и не быстро (чтоб не угодливо). Он остановился перед стариком с горделивой выпрямленной осанкой — но и с большим вниманием, чуть приклоня голову.

Инвалид, сколько мог на костылях, пытался стать во фронт и приложить руку к козырьку. Отчетливо отрапортовал, давая неистовую пищу первым революционным газетам:

— Имею честь доложить, что мною схвачены, обезоружены и приведены тридцать *врагов народа!* Головы их — отдаю в ваше распоряжение, господин депутат!

И Керенский ответил звонко, с пониманием и одобрением, как будто только и ждал этого рапорта и этого инвалида:

— Благодарю вас, поручик! И рассчитываю на вас и впредь.

Он — не спросил, кто такие, за что взяты, при каких обстоятельствах. И не отправил их в уже известную ему комиссию для допроса. Но выше всего блюдя свою осанку и неповторимость момента, тоном революционного омерзения негромко скомандовал, неизвестно кому, кто подхватит:

— Уведите их.

И удалился с важностью, не быстрой и не медленной.

Конвой перетаптывался. Поручик задумался: они как будто уже довели, что же теперь?

И тогда через конвой кто-то от натянувшейся толпы кинулся стукнуть врагов народа кулаками.

Другие — прикладами. В кровь.

Вступил избивать и конвой.

Враги не сумели защищаться. Одни кричали о пощаде, кто упал под ударами.

Затем отвели их в арестные комнаты, на хоры.

129

А на Охте днём получилось затишье. На Большом проспекте Охты, где все дни народ густился,— теперь почти никого не было. По льду тут напрямик не пойдёшь. Мост перегорожен. В городе стреляют, в городе кипит, воп и пожары взялись, а что там — никто не знает.

И кто к тому делу поерзливей — повалила братва большим крюком по Полюстровской набережной да на Выборгскую. А остался на Охте народ покойный и сидел больше по домам, коли уж забастовка.

Но и — городовых на постах не было, ни патрулей. Они собрались по своим участкам — и сидели, и только из окон выглядывали, фараонские рожи.

И всё стреляли, стреляли в городе — а на Охте спокойно.

И день кончился.

А к вечеру подвалили молодые охтенцы назад, да кто Арсенал погромил — те и с винтовками.

И там, сям собирались: да что ж мы у себя-то фараонов не выведем? Ведь их везде покончали, к ним помощь уж никакая не приспеет.

Стоит на Охте 1-й пехотный полк — не восстаёт. Посылали к ним наших мальцов — отвечали: „На кой нам ляд?" Вот уж кислая шерсть.

Ещё посылали, солдатам сказать: уже весь питерский гарнизон поднялся, чего ждёте?

Наконец, кажись, и восстали, уж кажись почали и забор ломать — а по улицам всё нейдут, ни к нам на помощь.

Ну, не ждать! На полицейский участок повалили сами, гурьбой, фонари разбивая. (Как зазвенит да как потухнет — лихо на сердце!)

На углу Георгиевской и Большого подвалили к участку — а те окна раскрыли — да и пальнули.

Ат-вал!

Но никого не поранили. (Может, в воздух били.)

Завалили подальше, в боковые улицы, стали ждать.

Стали ждать — 1-й полк пришлёт грузовик с солдатами.

Не шлёт.

А в городе всё — стреляют, стреляют. И зарева — ярко видны по темноте. От зарев — так и разбирает душу: эх, развернуться! да чем же мы хуже! Там, на Питерской стороне, ребята себе волю добудут — а мы так останемся?

Да что робеем, ребята? Да соберёмся! Да все сразу?

Именно сразу, а то ежели мы попрём, а с заугла не повалят?

Послать сказать: по свисту — и все разом!

Свист! — ят-те-дам! режет чище всякого выстрела! Свист — Соловья-Разбойника!

И — побежали со всех сторон! И — прихватили городовых — не успели те ни выстрела сделать, а уж вот мы, к стенам прилипли, окна побили им — камнями, лёдом, и двери высаживаем, чем ни попадя.

И — внутрь толпой! А — чего толпа не сделает? Да у них-то сердце — давно в пятках, да куда им деться? Никуда не денетесь, ваши все далёко!

Не стреляли.

Схватывали их, одного по пятеро, тут же по морде били для началу, но — лишь для началу. А потом с руками извёрнутыми, выломанными — да вытаскивали их наружу, где простор для боя легче. Одни кричали, ругались, другие стонали, третьи просили.

Нет уж, у нас теперь не упросишься! Нет уж, дорвались! Много вы над нами поцарствовали, а теперь мы над вами!

— Братики!.. Ради Бога!.. Дети остаются...

Бей, кромсай их в мясо, не слушай! Ишь ты, дети! Добивай, чем схватил — палками, прикладами, штыками, камнями, сапогами в ухо, головы в мостовую, кости ломай, топчи их да втаптывай, да поплясывай!

Ещё от кого последнее:

— Бра-атики...

А как нас хватали — тогда не братики были? Эй, кто своих добил, дохрипел — иди нам помогай, доплясывать!

А бумаги ихние — на улицу вышвыривай!

Да почто? — поджигай да вместе со стенами!

Эх, вот когда наша жизнь начнётся — только теперь!

Не хотим боле с полицией жить — хотим жить по полной слободе!

130

Итак, дом графа Мусина-Пушкина на Литейном был заперт на крепкие свои дубовые двери, а в нём — набившиеся семёновцы, преображенцы и кексгольмцы, кто успел вбежать, и раненые, кого успели подобрать и внести.

А кто остался снаружи — теперь на перелицовку перед толпой, под мятежников.

Если за день перебывало под командой Кутепова две тысячи, то вот раненых набралось человек шестьдесят.

Управляющий и врачи лазарета просили полковника хотя бы всех здоровых солдат вывести из дому.

Да, приходилось.

И собрать, построить их на прощанье было негде — такого помещения или даже коридора. Полковник собрал их на лестнице, сам стоя на средней площадке, у изгиба чёрно-лакированных перил, и говорил то вниз, то вверх, не видя их всех сразу.

Не так многих он успел запомнить в лицо, а уже кой-кого и запомнил. Были у него на фронте сотни преображенцев, с которыми он прошёл все поля смерти, а эти — случайные полусолдаты, ещё не готовые к войне, почему-то ни одного выздоравливающего знакомого, и сам он здесь случайно, и бой у них был суматошный, раздёрганный, почти и на бой не похожий, — то вдруг проняло Александра Павловича, что перед этим сегодняшним боем может быть не стоили все его предыдущие, и будет он его вспоминать всю жизнь. А — проиграл.

И звучно сказал набитой плечами лестнице:

— Солдаты! От имени Государя императора... и от имени России... я благодарю вас за вашу честность и стойкость сегодня. Я — всех наградил бы вас Георгиями... но не имею возможности даже представить... Враг делает лютое дело: наносит нам удар в спину в середине Великой войны. Я вынужден всех вас сейчас распустить. Пойдёмте по улицам, вернетесь в казармы, не можете сопротивляться — хотя б не помогайте врагу!.. Сейчас — все винтовки, все патроны отнесите, сложите на чердак. Потом сами разделитесь на небольшие группы, со своими унтер-офицерами — и идите. И благослови вас Бог!

Тепло-неразборчиво замурчала лестница, как не отвечают никогда солдаты. Да ведь они ж и не настоящие солдаты были. Да ведь они ж и не в строю.

Всё остальное произошло без Кутепова — его позвали к прапорщику Эссену 4-му.

Молоденький, он умирал. И, вцепясь в руку полковника, просил удостоверить его родных и его полк, что в первом испытании он вёл себя достойно и не посрамил бессмертного Семёновского полка.

Кутепов встречно сжал его руку. Записал адрес. Погладил по потному бледному лбу.

А другие раненые все замерли, слушали. Они были все здесь давние, лежалые, некоторые по три месяца как с фронта.

Тогда Кутепов пошёл разыскивать, где положили прапорщика Соловьёва. Его уже отсоборовали. В нём не осталось живости, как в Эссене, он лежал на спине, вытянутый, неподвижный. Но полуоткрытые глаза ещё выражали сознание, а на губах улыбка — ещё до Кутепова и при нём, совсем лёгкая молодая улыбка. Только застывающая.

А снаружи кипела возмущённая толпа, кто ещё не рассеялся и помнил, что враги заходили в этот дом. И кричали угрозы полковнику, кулаки поднимали и винтовки.

Если б на доме не было большого полотнища Красного Креста, уже давно стреляли бы и в окна и в двери.

Чета хозяев, опасаясь за свой дом, но не высказывая этого, несколько раз предложила полковнику, уговаривала полковника переодеться в штатское и так уйти.

У Кутепова, если присмотреться, было своеобразное и постоянное выражение лица — как будто он хотел осклабиться, но остановил движение черт и ярких губ между чёрными жёсткими усами и бородой. И эта остановка черт и густые глаза выражали как бы печаль, укоризну — или удивление? или обречённость?

А ранен он был, считая с японской, уже пять раз.

Кутепов взял их обоих за руки, как умирающего Эссена:

— Господа, не склоняйте меня к недостойному маскараду. Я ещё никогда не стыдился русской военной формы. Как только будет возможность — я оставлю ваш дом.

Двух унтеров из ещё оставшихся он послал разведать снаружи всю обстановку и нет ли какого нестерегомого выхода.

Через полчаса один вернулся и доложил, что у всех возможных выходов стоят команды вооружённых рабочих и особо ждут именно полковника, все и фамилию уже знают — Кутепов.

Что ж, отпустил и этого унтера, остался вовсе один. В отведенной маленькой комнатке часто тушил свет и подолгу наблюдал, что делается на Литейном с его сквозным шумным движением, уже и автомобильным.

Поздно вечером пробрался в дом преображенский ефрейтор, хорошо известный полковнику, и принёс от своего фельдфебеля узел с солдатским обмундированием. Уверял, что сейчас не сторожат так пристально и в солдатском можно выйти.

Александр Павлович поколебался: своё же, преображенское.

А потом: нет! всё равно маскарад противный.

Услал его.

131

Действия Балтийского флота в зимние месяцы были стеснены ледовыми пространствами, дредноуты и линейные корабли на зимней стоянке пришвартованы в Гельсингфорской гавани, на мёртвом якоре, лишь миноносцы ходили далеко в море, охраняя подступы. Но из-за льда и противник не мог нагрянуть сюда. Так и на рейде в Гельсингфорсе шла только вахтенная служба на судах, обычный ровный распорядок, да с несколькими учебными часами в день,— наильготное время для матросов. И для офицеров если когда и выпадает время беседовать, читать и думать — так вот теперь.

И капитаны 1-го ранга князь Михаил Черкасский, Иван Ренгартен и капитан 2-го ранга Фёдор Довконт на „Кречете", штабном судне командующего, этой зимой установили между собой регулярные собеседования на политические темы. Они были почти полные единомышленники, морские „младотурки". Они любили свой флот и себя в этом флоте как людей, могущих со властью направить его к славе,— умных, отзывчивых на события, с твёрдыми решениями, лёгкими движениями. Но выше всего они ставили — что́ надо для России. И если бы кто-то знал и верно сказал любому из них в любую минуту, что его смерть нужна для спасения России — каждый из них был готов в ту же минуту и умереть.

Как светлая любимая боль это вырастает в душе от юности вместе с нами: Россия! Беспредельная страна, великий душевный народ — и слезами омытый, и ограбленный, и во тьме, в невежестве, и почти всегда в руках недостойных правителей. С молоком всосанный долг — отдать народу всё, в чём мы его лишили несправедливо. Сокровенный завещанный порыв: декабристы! Герцен! И вереница народных страдателей, просветителей и самоотверженных бунтарей. Сколько сделано для народной свободы! — и неужели всё зря? Святую освободительную традицию минувшего века каждый из них троих горячо любил, и был в долге и чувствовал себя в силе — продолжать!

А по службе они сошлись и возвысились в окружении командующего Балтийским флотом: Миша Черкасский был теперь флаг-капитан по оперативной части, Ваня Ренгартен — начальник разведки. И недавним назначением молодого вице-адмирала Непенина в должность командующего — значение их постов и обещание их возможностей ещё более возросло. Хотя *Адриан* — как звали они адмирала между собой — и не был так последовательно развит в традиции Освобождения, но кого из образованных русских людей она не осенила своими крылами? У Адриана же натура была — нетерпеливо-прямая и честная, он благородно отзывался на всё благородное. И так они трое с постоянной радостью знали, что и адмирал думает сходно с ними. И с тем большей смелостью и успехом открыто высказывали ему свои мнения, стараясь ещё тесней объединиться.

На своих тройственных тайных беседах, однако с протоколами, они обсуждали этой весной общие вопросы возможной программы Великой России. И, конечно, с подробностью вопрос о проливах, который вовсе не есть имперское стремление, но жизненная необходимость,— и для взятия нами проливов впервые за два-три века создалась благоприятная обстановка. Обсуждали и текущие вопросы, вроде Аландских островов и переговоров со Швецией. Но больше всего, конечно, нынешнее внутриполитическое положение и как вывести Россию из него. Понималось это едино:

— Мерзавцы, что они делают с нашей родиной?

Вся эта нескончаемая распутинщина-штюрмеровщина-протопоповщина, может быть государственная измена, сношения с неприятелем,— как вырвать родину из этого грязного месива? Из возможных решений напрашивается самый радикальный и верный путь — устранение Полковника (Николая II), а тем самым устранится и вся клика. Сидя на кораблях, они не могли бы участвовать в этом непосредственно, но могли подавать идеи, связываться, влиять своею позицией. Таково решение было — не их одних, однако все не приходило ни к какому акту, где-то запутывалось в избытке сочувствующих и в недостатке реальных заговорщиков. А вот последние дни и особенно сегодня хлынули события в Петрограде — растущие волнения, вызванные явной провокацией правительства. Весь этот бунт искусственно создал Протопопов — так на него и опрокинуть! Терпеть больше невозможно!

Для связи вызвали маскированной юзограммой своего доверенного старшего лейтенанта Костю Житкова, который побуждал их к действиям ещё раньше и настойчивей. А сами с 6 часов вечера заседали в каюте флаг-капитана. И Миша Черкасский изложил схему действий, как она у него построилась.

Об исторических событиях легко читать как о готовых. Но когда они происходят — совсем не легко выработать простейший план действий. Вот — события приняли грозный оборот, и момент даже уже пропускается. Ясно, что Дума да и все общественные деятели — вялы, мягкотелы и не сумеют использовать возникшей обстановки. Необходимо дать им импульс извне, побудить занять активную роль. Никто из троих не может покинуть своего поста на корабле, но Костя Житков поедет к одному-двум общественным деятелям, убедит их устроить частное совещание и на нём ответственно доложит настроение авторитетных кругов флота. Этим деятелям не миновать избрать из себя видных лиц, послать успокоить фронтовых начальников, чтоб они не вмешивались: задача только, чтоб они не вмешивались, чтобы армия осталась нейтральной,— а зато вот обеспечена поддержка Балтийского флота, это ли не опора восставшей столице?! Внушить общественным деятелям действовать быстро: самовольно, явочным порядком восстановить Государственный Совет в том благоприятном составе, какой был до Нового года, пока Полковник не оконсервативил его. Восстановленный Государственный Совет собрать вместе с Государственной Думой, они составят Законодательный корпус, который и придаст законность перевороту: тут же, ничьего согласия не спрашивая, изберёт правительство, ответственное перед ним. И всё происшедшее просто довести до сведения Полковника: что назначенное им правительство более не существует. Вся высшая камарилья должна быть при этом так же игнорирована и устранена от власти. И — вековая мечта сбылась! И Россия — на новом пути!

План был прекрасен! — если заручиться твёрдой поддержкой Непенина. Но зная его свободолюбивое нетерпимое отношение к камарилье и большое влияние на него Черкасского — очевидно так и будет. Да князь Черкасский — и сам вёл штаб флота.

А флагманы просто подчинятся приказам командующего. Других же офицеров, кто может оказать вред распространению идеи, постараться обезвредить, а кого можно — перевлечь на нашу сторону. И флот — весь наш!

Так они сидели в запертой каюте с двумя иллюминаторами, и хотя не видели ревущего Петрограда — а испытывали на себе тревожащее касание русской истории.

В другой форме, в других одеждах, в другой век — они бестрепетно повторяли неудавшийся подвиг декабристов.

132

И пошло, и пошло! Везде Каюров побывал. И к самокатчикам ходил, там солдаты цепью. Спросил солдат: „Что же вы стоите, товарищи? Почему не

присоединяетесь?" Солдаты нехорошо улыбались, а офицеры грубо предлагали проходить дальше. „Да где ж пройти, когда вы проспект перегородили?"

И к московским казармам несколько раз бегал. Взяли их наконец, залила наша толпа весь двор — и много оружия к нам перешло, да многие солдаты охотно отдавали, а сами — на нары.

И Васька Каюров и Пашка Чугурин теперь имели по винтовке и по патронной ленте через плечо. С оружием ходишь, хотя стрелять не умеешь — а совсем другая сила в тебе, и ноги куда легче ходят.

Ещё ходили, штурмовали и подожгли два полицейских участка, городовиков уложили несколько, остальных избили, арестовали — и в их же кутузку.

День катился — как великий разлив неожиданной революции. Потом и солнышко нет-нет проглядывало. Ходили-бродили массы, поздравляли друг друга, кой-где несознательно лавки грабили: на радостях хотелось людям хорошо закусить, а особенно — спирту достать, но это надо поискать, измыслить, казённые винные лавки уже три года не в заведеньи.

Плясало общее ликование восставшей массы, и только редкие выстрелы ещё где-то засевших защитников режима да непонятное упрямство самокатчиков портили настроение.

А тут принесли готовый шляпниковский листок: „продолжать всеобщую стачку!". Смехота!

А стал Вася Каюров так соображать, посквакивало у него в голове: что теперь ежели революция победит, то умных-проворных много найдётся, все полезут за властью. А нужно нам, большевикам, пока другие партии не расчухались — всех и переперсдить.

Ну — что ж бы такое сделать? Как-то надо во весь голос, как в рупор, да крикнуть — всему рабочему классу, да всему солдатству. Не листок, нет, тут надобно, тут надобно...

Так это стало Каюрова распирать, что пошёл искать товарищей, советоваться.

Велика Выборгская сторона, но кто на ней освоен — тот как в большом дворе, всё знает и всех. Все разошлись-разбрелись, однако стал Каюров толпу прорезывать — и нашёл Хахарева, и нашёл Лебедева. А Шляпникова никто нигде не находил — куда подевался?

И пошли опять на квартиру совещаться.

— Надо нам, братцы,— придумывал Каюров.— В таких случаях царь — Манифест пишет. И нам надо катнуть — Манифест! От большевиков.

Объяснить, что именно мы теперь поведём их всех дальше. А то ведь у нас перехватят.

Так-то так, пожелать — дело ретивое, а вот поди-т-ка составь, напиши. Разве мы учены?

И модельная работа — хитрая, но, знал Каюров: писать — ещё хитрей.

— Эх, как умели в Сормове у нас, помню, в Девятьсот Четвёртом: „Пусть расстреливают нас — и пусть новорожденный царевич купается в нашей крови!" Вот так бы нам, что-ни-ть...

— И Пётр Заломов умел! — вспоминали сормовские земляки.

Сел Хахарев карандашом выводить, а Каюров по комнате ходил — и так складывали.

Но всё приходило в голову прежнее: как подавляется рабочее сознание, как угнетают нас, да как обворовывают. Ну там — царская шайка, революционный пролетариат, восьмичасовой день, конечно. Конфискация монастырских земель.

Нет, поновей: красное знамя восстания! разрушим царство холопов!

Нет, до чего-то главного недодумали.

— Ну, пошли к Митьке Павлову посоветуемся, он пограмотней. А может и Гаврилыч ещё там.

Пошли. Уже темнело.

Митька Павлов тоже был свой сормовский, и даже когда в Девятьсот Втором Пётр Заломов понёс „Долой самодержавие",— то чтоб людям было сподручней читать — Митька шёл рядом и край знамени оттягивал. Потом — на завод не брали, в обществе потребителей так же перебивался, как и Каюров, а на квартире у него готовили взрывчатую массу для бомб. Но после восстания сразу в Петербург уехал и тут уже принялся как свой давнишний, 10 лет, женился, и пошёл аэропланы строить. А его квартира на Сердобольской так стоит — среди пустырей и сараев, филёрам трудно следить. Тут — и явка, и квартира БЦК, и в шахматном столике тайно прячутся бумаги.

Пришли — а в сенях у него сохнет: „Долой самодержавие", „Да здравствует революция",— маляр по кумачу расписал.

А ещё на квартире сидел Скрябин-Молотов мясомордый, из БЦК. Так-таки целый день тут просидел, и только от приходящих узнавал, где что в городе делается. Каюров порассказал, тому не верилось.

Каюров свой Манифест Митьке Павлову дал читать.

Митька добавил:

— Вперёд! Возврата нет! Беспощадная борьба!

А Молотов, маменькин сынок:

— А что такое? что?

Бумагу себе забрал, почитал, руки потирает, как ожегшись:

— А не преждевременно ли, товарищ Каюров?

Обидно стало Каюрову:

— Да нет же! Да не преждевременно! А где Гаврилыч?

Шляпников — тут был полдня, ушёл.

— Не преждевременно! Так всё пропустим! Минуты горят!

А Молотов карандашик достал, ручки потирает — и вычёркивать, и вычёркивать.

133

Это сползло как-то незаметно, обернулось совсем неожиданно: с утра в распоряжении генерала Хабалова был весь город Петроград и все окрестности его, и вся губерния. Затем в течение дня не происходило никаких боёв, кроме неких действий полковника Кутепова на Литейном, о которых так и не прояснилось, и небольшой перестрелки в лейб-гвардии Московском батальоне. И вдруг к концу дня у Хабалова не стало ни губернии, ни окрестностей, ни города, а всего-то мог он ручаться за узкую полоску между Невой и Мойкой — Адмиралтейский остров, да ещё была в стороне, неизвестно что с ней делать, Петропавловская крепость.

Целый день сносились, сносились с разными воинскими частями, в разных частях города. Почти все батальоны оставались верны, только не решались выслать резервы и караулы,— и вся эта верность, и все эти батальоны незаметно как утекли между пальцами — и осталась, вот, полоска между Невой и Мойкой. А обо всём вне этой полосы — поступали только отрывочные сведения, и представить картину было очень трудно.

Да ещё кроме тех всех частей в городе размещались военные училища: два пехотных, Павловское и Владимирское, одно кавалерийское, Николаевское, два артиллерийских, Михайловское и Константиновское, одно инженерное, да школа шофёров, да корпуса — Морской, Пажеский, два кадетских,— это составляло больше двух тысяч штыков, 200 сабель, 16 орудий и 8 бронемашин. И Хабалову несколько раз за день напоминали об училищах, побуждая вызвать их к действиям и уверяя, что юноши рвутся на подавление бунта. Но как-то ему не хотелось, нет. Ведь верных батальонов и без того было полно, и в плане охраны города — не стояло привлекать училища, ничего не упоминалось. И — как потом в обществе будут упрекать за вовлечение молодых людей в политику и междуусобицу!

И за весь день Хабалов не вызвал ни одного училища. Пусть учатся. И школы прапорщиков из окрестностей тоже не управился вызвать ни одной.

Подкрепления и так, сами, приходили время от времени. Около 5 часов пополудни, уже к закату солнца, вдруг прибыла из Павловска вызванная ещё утром гвардейская запасная батарея из 8 орудий, в полном порядке, с 52 боевыми снарядами. Командир её, полковник Потехин, хотя и ходил с костылём, но был весьма проворен и, видимо, его очень слушались.

Неплохо, это хорошая сила. Но — куда ж её в городе применять? Не бросать же снарядами по зданиям.

Да у Хабалова и другие резервы собирались при градоначальстве во второй половине дня: один эскадрон, жандармский дивизион, конная и пешая полиция. А ещё большие силы у него стягивались на Дворцовой площади. Силы были, да,— но тем трудней задача, куда их двигать. А генерал Занкевич, полетевший туда орлом, вернулся совсем мокро-опущенным, что на преображенцев надеяться нельзя. Вот тебе раз.

Тут — разные были точки зрения, и они постепенно вырабатывались между руководительными генералами. (Ещё очень мешало и двоение с Занкевичем: кто же теперь кому подчинялся? кто вёл войска? — непонятно.) Тяжельников предложил так: вовсе покинуть центр города, где нет снабжения войскам, а пробиться на окраину или даже прочь за город. А оттуда потом концентрически наступать. И во всяком случае: чем больше шатких войск увести из города, тем меньше горючего материала останется в нём самом.

Может быть и так. Но куда же пробиваться? На Выборгскую сторону, и дальше на Кушелевку за патронами и снарядами? Так там самая густота мятежников, будет большое кровопролитие, и не может своих патронов на то хватить. В Царское Село, чтобы соединиться с тамошним большим гарнизоном? И там удобно поджидать помощи от Действующей армии. Или укрепиться на Пулковских высотах? Но это значит — вовсе бросить город. А это не было предусмотрено планом охраны, не то поручено было Хабалову. И как же останется Петропавловская крепость?..

А можно — принять принцип прочной круговой обороны, и защищать Адмиралтейский остров.

Принять решение было крайне нелегко, слишком необычно и слишком ответственно. И — головы уже помрачённые, тяжёлые, мысли у всех едва переступали.

А между тем шли часы, кончался и серел день, в который приказал Государь покончить беспорядки. Но это не удалось.

Кончался день, и стали поступать неутешительные сведения с Дворцовой площади. Матросы гвардейского экипажа постояли — и ушли, взятые назад великим князем Кириллом. Преображенские роты ушли ужинать — и не вернулись. Павловский батальон, размещённый в подвалах Зимнего дворца, в панике вырвался оттуда и ушёл в свои казармы. И пулемётная полурота куда-то подевалась. И кексгольмцы. И после этого какие были малые остатки — Занкевич благоразумно взял с площади вовсе, привёл в градоначальство.

Но надо признать, что за эти часы и командование мятежников тоже не предприняло никаких действий против правительственных войск. А по данным разведки — и нигде у них не было скопления, кроме Таврического дворца. К вечеру с улиц толпы постепенно рассасывались.

Так что оставшимися силами можно было промаршировать прямо и к Таврическому дворцу.

Но это тем более не было предусмотрено планом охраны. Как это? — нанести удар по Государственной Думе? Но Государственная Дума не может рассматриваться как противник или как мятежник. Против Государственной Думы никакие войска в Петрограде ни по какому плану не предназначались.

А с другой стороны: если и был какой-то противостоящий центр, то как будто именно Таврический дворец?

Странно. Неясно.

И обсуждали, и обсуждали генералы план охраны города. Да собственно, могли ли они быть уверены, что Адмиралтейский остров ещё весь в их руках? В темноте и при слабой разведке за этим не уследишь. Заведомо им принадлежали лишь несколько зданий: само градоначальство, Адмиралтейство, Зимний дворец. Условно (они его не контролировали) — здание Главного Штаба. Ещё — телефонная станция на Морской, 24. Ещё — казармы лейб-гвардии Конного полка. На одном краю зоны — Мариинский дворец, но на его охрану почти не было сил. И как же правильно построить оборону на ночь? Всего этого не охранить. И если держать целую роту на телефонной станции (к удобству жителей, чтобы телефон не прекращался), то невозможно иметь крепкую оборону ядра. А лучше всего — сосредоточиться в каком-нибудь одном здании и его оборонять.

Какое же избрать здание? Генерал Занкевич предложил Зимний дворец, как символ монархии. А генерал Хабалов, после размышлений, предпочёл Адмиралтейство: оно стоит совсем отдельно, окружено площадями, облегчающими оборону, и от него же открывается три направления к четырём вокзалам — Невский, Гороховая и Вознесенский, которые можно простреливать имеющимися пушками. И близко к градоначальству, не теряем и его.

Уже было темно, когда постановили: переходить всем в Адмиралтейство.

Перевести войска было нетрудно — совсем близко, и нет помех.

Сперва перетянулась артиллерия, объезжая сквер.

Перешла напрямик пехота.

Затем — пешие и конные городовые, жандармы.

Отряд переходил в дрёме и вялости, как и бездействовал целый день.

Трудней было градоначальнику Балку. Сперва он собрал всех своих чиновников, объявил, что занятия прекращаются, следует разойтись по домам. (Спрашивали, приходить ли на занятия завтра? Только если стрельба на улицах не помешает безопасно перемещаться.) С собою он брал лишь нескольких помощников. Градоначальство уже и переставало быть полицейским центром: хотя городские телефоны всё так же безотказно работали — с большинством полицейских участков связь уже прекратилась.

Уединиться было уже невозможно и, не стесняясь посторонних, Балк стал сжигать секретную переписку из ящиков.

Смотрителям здания велел: после ухода всех — запереть градоначальство. И обо всех случаях телефоном доносить в Адмиралтейство.

Не оставалось времени и пообедать. Поехали так.

В городе далеко слышна была ружейная стрельба. Стояли зарева.

Автомобили с начальственными лицами должны были сделать крюк мимо Исаакиевского собора — и там, со стороны примерно Сената, стал работать пулемёт. Неизвестно откуда и в кого.

День — кончался. И не избежать Хабалову телеграфировать донесение в Ставку за этот день.

...Исполнить повеление Его Императорского Величества не мог... Большинство частей изменили своему долгу, отказываясь сражаться против мятежников. Другие даже обратили своё оружие против верных Его Величеству войск. К вечеру мятежники овладели большею частью столицы...

Практически это так. Не какие-нибудь мятежные части, но — наброд мятежников, повсюду. Весь город ими полон.

...Верными присяге остаются небольшие части, с коими буду продолжать борьбу...

134

В клинику Турнера никто не пытался врываться — и капитан Нелидов со своими злосчастными унтерами мог невозбранно пребывать там во дворе и в вестибюле, при запертой калитке.

Но стало ясно, что нет возможности прорваться с ними цельным отрядом в свои казармы, через бурлящие улицы, и с одной ногой.

А тем более закрыто было — вышагивать туда одному.

А батальонный телефон перестал отвечать.

Нелидов стал рассылать невооружённую разведку — по одному, по два. Из разведки представилась ему картина полного развала власти, вооружённые дикие толпы по всей Выборгской стороне и невозможность появиться офицеру.

И о самих казармах батальона узнал к вечеру, что они после перестрелки сдались и открыты толпе.

А тем временем фельдфебель поднёс капитану список всех присутствующих унтеров и ефрейторов.

Зачем?

А: они все просят запомнить их и подтвердить, что ни один не перешёл к мятежникам.

А его — легко отдали на убой. Осмотрительные ж унтеры! Нет, лучше было оставить их говеть.

Не предстояло боя никак. И держаться ли за клинику, и зачем? И как их тут кормить? Надо было их всех отпустить в казармы.

Но в захваченные бунтовщиками казармы Нелидов не хотел отдавать оружия. И он велел унтерам все винтовки разобрать и спрятать тут, в клинике. После чего отпустил их всех.

А сам — остался сидеть в привратницкой. Совсем он не знал, потерял — что же делать? Хоть был бы он подвижен, здоров,— но ведь и перемещаться он мог — еле, шагом.

Семьи, дома — не было у него в Петрограде. Да он только по ранению и оказался здесь — он сросся с полком, его место было — на фронте, кажется ещё не остывшее место, где все ожидали его возврата.

Знакомые, где можно переночевать, были — но по ту сторону Невского. А он даже до батальона не имел возможности дойти.

Но не себя Нелидов обдумывал — он мог хоть тут, в привратницкой, лечь на голую лавку и спать, если не пригласит больничное начальство, а не похоже, они от заставы сторонились. А пытался Нелидов понять эту сумасшедшую неразбериху: столица взбунтовалась во время войны? Да что столица — казаки были за бунтовщиков? Что ж это за невозможное происходит и чем кончится? Очевидно, не было другого выхода, как вызвать войска с фронта и давить. Но — сколько ж это прольётся крови? И какое пятно на Россию. И какой урон для фронта.

И сколько же крайностей и опасностей он прошёл за годы войны — и надо же влипнуть здесь! Досадно и ничтожно.

А ведь несколько их, боевых офицеров, подавали рапорт, чтоб им выдали броневые автомобили и научили обращаться, на всякий случай. Даже раненый офицер в броневом автомобиле — может стоить целой роты сброда.

Но рапорт заглох, но мысль не повязалась у начальства.

И сегодня так ясно было упущение!..

Вместо этого он учил солдат без винтовок, да должен был каждый день проштемпелевать цензурной ротной печатью по триста солдатских писем.

Удручённый Нелидов сидел у привратника — и вдруг вошёл рабочий — в чёрной куртке, в чёрной шапке. И одеждой и каким-то темноватым выглядом, который вырабатывается может быть на фабриках,— типичный рабочий, из тех самых, которые сегодня хватали Нелидова за руки и хотели убивать.

Нелидов подумал: ну, вот! Ну вот, он сейчас и выдаст.

Высокий, худой, хотя пожилой, но крепкий,— а на бритом лице при больших усах была строгая серьёзность. Похож на *тех* — и не похож.

Рабочий поздоровался с капитаном, поклонясь. Привратнику он оказался знакомый, то ли родственник. Сел, разговаривал с ним, а сам посматривал на капитана. И сказал:

— Да, ваше высокоблагородие, на улицу вам нельзя. А что это вы с палочкой? На фронте повредились?

Нелидов ответил.

— На улицу вам никак нельзя,— покачал тот.— Эти бандиты вас сейчас расстреляют. А пойдёмте-ка у меня отдохнёте? Мы без улицы пройдём.

Его протабаченный голос и серьёзный тон вызывали доверие. Да ничего лучшего не оставалось. Пошли. Рабочий сдерживал шаг для больной ноги капитана.

Через заднюю дверь, тёмным двором, и ещё другим двором — и оказались перед домиком рабочего, с задней же стороны. Обыкновенный одноэтажный рабочий домик, в глубине ещё третьего двора, скудно освещённого.

А хозяйка была — широкая, сбитая баба с суровым лицом.

Предложили поесть — Нелидов не мог, еле стоял.

Отвели в маленькую узкую спаленку с одной узкой железной кроватью, комодом, крохотной керосиновой лампочкой и одним заставленным окном.

Двор-то был как ловушка, но хозяева вызывали полное доверие, хотя и поговорить с ними Нелидов почти не успел.

Он заметил, что руки его трясутся, как от новой контузии, а весь он в огне, внутреннем огне, кажется заболевал.

Но хозяевам не сказал. Разделся, лёг, как всегда перетаскивая руками атрофированную ногу.

Думал: так возбуждён, не уснёт. И заснул сразу.

135

После своего подвига против гренадеров Пешехонов вернулся домой. Здесь уже ждало его несколько знакомых, все с Петербургской стороны.

Сели, конечно, пить чай — какой же русский разговор без чая, тут вернулась и жена Пешехонова от визита к больным. В их обычной столовой за розоватой скатертью под розоватым абажуром погрызали пти-фуры, клали в блюдечки клубничное и сливовое варенье—а сами были как заколдованные от светлого нежданного свечения радости. И нельзя было разрешить себе поверить — и нельзя же было пренебречь фактами, отрицать происшедший сдвиг. У них здесь был только праздничный сдвиг настроения — но там, за Невой, настоящие бои, целые поднявшиеся полки,— и отчего ж было не решиться назвать это слово? Да, это была О н а, долгожданная, измечтанная,— хотя бы и ещё раз её свергли в пропасть, обезглавили, повесили — но всё же Она пришла!?

Но и все твердыни ещё у врагов, и радоваться слишком рано.

Так они просидели может быть и часа два — как с улицы через законопаченные окна раздались сильные крики.

Усидеть было невозможно! Покинули недопитые чашки, торопливо небрежно одевались, дрожащие ноги вставляли в галоши, заламывая края, достукивали уже на лестнице — и сбегали, сбегали вниз.

Крики были с площади на Каменноостровском, где Архиерейская переходит в Большой проспект. Поспешили туда.

Маленькая площадь в круговой цепи фонарей была залита радостным народом, который и кричал, махал,— а посредине высились два открытых грузовых автомобиля, в них стояло по десятку людей, ощетиненных штыками и с красными флагами. Были и женщины среди них, но и они потрясали револьверами.

Пешехонов стал проталкиваться к одному грузовику поближе, близ белогрудовского дома с башенками. Галдёж стоял невообразимый, все из толпы кричали сразу, и с автомобиля тоже сразу, почти невозможно было понять. Постепенно всё же усвоил Пешехонов, что революционеры прорвались через Троицкий мост и хотят здесь „снимать" войска и громить полицию. И теперь они спрашивали, где же полицейские участки и где квартируют воинские части, как им ехать. Но оттого что спрашивали все у всех и отвечали сразу все — не могли выяснить уже четверть часа.

И так стало жаль Пешехонову эту наивную добродушную народную массу, без руководства: предел воображения их ненависти была простая наружная полиция, всего навсего охраняющая простой порядок, который и всегда обязателен в любом цивилизованном государстве. А тут, на Петербургской стороне, раз уж они сюда прорвались, сидел ядовитый паук — Охранное отделение, и вот что надо было прежде всего даже не громить, а захватывать! — ценнейшие секретные документы, ключ к разоблачению осведомителей, и обезвредить силу паука! И Пешехонов, неловко цепляясь за борт грузовика, со страстью выкрикивал им, чуть шапка не слетела,— об Охранном отделении, и как это первостепенно важно, и как надо ехать на Мытнинскую набережную! И кто-то даже наклонялся, слушал его — но вряд ли в этой бестолковщине что-нибудь слышал и понял.

Да он сам бы поехал с ними, если бы знал, что он их направит. Он чувствовал, как смелое сердце растёт в его немолодой груди и пренебрегает невозможностями интеллигентского тела.

Нет, не мог он больше сидеть за чаем и обсуждать, как где-то что-то происходит! — он должен участвовать сам! Троицкий мост открыт — и нет оправданий бездействию!

Автомобили куда-то уехали. Ещё потолкавшись в народе, Пешехонов увидел своего гостя, попросил передать жене, что отправляется в Таврический дворец — и пошёл по Каменноостровскому.

Таврический дворец был логически возможным центром движения. Если разгоралось пламя революции — то там.

Тут сошёлся ещё с одним знакомым, направлялся туда же. Пошли вместе.

По Каменноостровскому навстречу им время от времени мчались революционные грузовые автомобили, проносились дикими сказочными видениями, вспыхивая под фонарями, темнея на перегонах. Ах, как красива и грозна являлась Революция! в каком неожиданном лике!

Один автомобиль разбрасывал какие-то бумажки. Подняли такую и тут же, под фонарём, прочли. Это было гектографированное воззвание Временного Исполнительного Комитета Советов Рабочих Депутатов. Ого, куда пошло! уже есть Совет Рабочих Депутатов! а мы тут всё пропускаем! Листовка звала население кормить и приютить революционных солдат, проведших весь день на улице в завоевании свободы.

Но как же с охранкой? Пока охранка не разгромлена — никакая победа не прочна, завтра же возобновит свою деятельность! она даже, может быть, сию минуту работает!

И Пешехонов со спутником уже у Троицкого моста своими слабыми криками, а больше знаками, крупным маханием рук — сумели всё-таки привлечь и остановить один автомобиль. И рядом никто не кричал, теперь они успели объяснить про охранку и как туда проехать,— но те были так возбуждены, как будто вскручены внутренними пружинами, они изнемогали от задержки, они неслись куда-то к намеченной, невидимой несуществующей цели — и рванули, рванули дальше.

Троицкий мост был почти без прохожих, пуст,— а по ту сторону пугающе багровели три пожарных зарева — два слева и одно далеко справа.

На том берегу Невы они ожидали встретить революционное море, весь Петроград на улицах — но ничего подобного, так же пугающе и зловеще пустынно было на Французской набережной, всеми окнами темнели дворцы, только в обе стороны по разу промчались бешеные автомобили.

Свернули на Литейный — и вот где осветился им главный пожар, как они уже и знали: с утра зажжённое, ещё и сейчас пылало здание Судебных Установлений. Окружной суд, баженовская красота, творение бессчастного архитектора, у которого всё или не строилось вовсе или не достраивалось, или гибло. Ещё светился накалённый остов, но уже всё внутреннее выгорело. А тут было чему выгорать: какие склады одних нотариальных актов, какие архивы гражданского судопроизводства, какая библиотека!

Пешехонов с раздумьем смотрел на эти развалины. Несколько раз следователь вызывал его сюда на допросы. И судили его тут, за „Крестьянский союз". Потом и сам он являлся по делам других. В пыльных залах и тёмных коридорах этого здания сколько провёл он — то в нервном возбуждении, то в нудном ожидании. Но вот — увидел раскалённые эти развалины, а удовольствия — никакого не ощутил.

Наоборот — тревогу. Суд — не должен гореть, без суда не стоит общество. А мы начинаем с поджога суда.

Подожгли его, наверно, первые же уголовники, получившие свободу: что ж им и делать, если не поджечь плохо охранённое здание суда?

Весь день прошёл как лёгкий светлый праздник — и только в ночи эти динамичные бешеные автомобили и эти пылающие развалины выдвинулись грозным напоминанием, что революция — не шутка.

Задержались они тут, простояли. Уже было часов девять, когда подошли к Таврическому дворцу.

Здесь, перед решёткой сквера и в сквере кипело, сновало много народа, больше всего солдат, но и гражданских вооружённых. И рычали заведенные зачем-то автомобили.

А внутрь — пропустили легко, хотя часовые стояли.

Пешехонов даже робел глянуть в полные глаза — сразу увидеть кипящий штаб революции.

136

В квартире Керенских как сегодня рано утром зазвонил телефон — так потом не умолкал: довольно было после разговора положить трубку, крутнуть отбой — как опять звонил.

Вчера вечером у них совещались — разошлись на том, что всё кончено, ничего не случится. А сегодня первый звонок был от Сомова, гимназического друга Саши по Ташкенту, потом тоже эсера, теперь тоже адвоката. Требовал Сомов разбудить Александра: среди солдат Волынского батальона — восстание, убили офицеров и шагают по улицам! Но пока Ольга Львовна пошла будить Сашу — телефон опять вернул её: звонил секретарь Родзянки, тот приглашал Керенского срочно в Думу, потому что получен приказ о её роспуске.

Двумя руками за щёки, бережно,— она всё считала мужа больным после прошлогодней операции,— Ольга Львовна будила Сашу, двумя оглушающими новостями с двух сторон. Он проснулся мгновенно и загорелся в минуту, и почти уже не мог завтракать, нетерпеливо блестел, уже сжигаемый мыслями, опережаемый своим порывом, уже не мог и отвечать на вопросы жены.

Последние недели висели тучи над ними — снятия депутатской неприкосновенности, ареста, следствия,— нуждались они в каком-то героическом внезапном выходе! И вот — он пришёл?

Для того и переселились они на Тверскую, рядом с Таврическим садом и первый этаж, чтобы Саше без труда доходить до Думы: операция у него была серьёзная, туберкулёз почек, и могло кончиться гораздо хуже. А уверял он теперь, что совсем здоров,— и правда опять был подвижен как прежде, опять юн и быстр: хотя на два года старше Ольги, он выглядел всегда моложе её, так порывист.

Почему-то остро сжалось сердце, когда она провожала его за порог. Охватила за шею, просила быть осторожным.

Он засмеялся, высвободился, быстро ушёл.

А она осталась с плохим предчувствием. (Дано нам сжаться в предчувствии, не дано нам его разгадать. Кажется: что-то случится с мужем? убьют? не вернётся?.. А он — действительно никогда больше не вернётся в эту квартиру. Но — сам по себе. Вот и предчувствие...)

И всегда так, революционный порыв Саши был неудержим, Ольга лишь поспевала вослед, а покойный свёкор считал во всём виноватой её, начиная со ссылки Александра под отцовский кров в Ташкент. В роду Керенских бывали монахи и священники, старый Керенский был предан монарху и Церкви и не мог понять, откуда бы в их роду вдруг зараза. (Да и Ольга была генеральская дочь.)

А телефон! — телефон уже и за время завтрака несколько раз пронзительно дребезжал, и потом, и потом всё. Одни сообщали, другие спрашивали, весь Петроград иззванивался, исходил телефонами. А больше всех названивал Гиммер — он хорошо знал Ольгу Львовну, потому что иногда ночевал у них для конспирации, очень хорош был с Сашей,— и теперь, сидя у себя на глухой службе, надеялся из их квартиры, как одной из центрально-революционных в городе, узнавать всё самое первое.

Но самое первое мог знать только Саша, а он за весь день так домой и не позвонил. Однако другие звонки приносили известия и потрясающие, и Ольга Львовна передавала их Гиммеру и всем.

И в зареве этих известий постепенно растаяло её дурное предчувствие.

Наконец, и она уже не могла оставаться дома трепетать над телефоном, но сила происходящего вытягивала её наружу. И оставив двух сыновей на прислугу, Ольга Львовна отправилась в Думу сама! Там она больше узнает, увидит и, может, Сашу самого.

По Таврической улице мелькало много людей, но первое, кого она увидела:

разбитную солдатскую колонну без офицера. Солдаты лихо отмахивали руками и шли в заворот на Шпалерную.

Побывав эти годы сестрой милосердия, Ольга Львовна имела простоту с солдатами — подбежала и спросила одного:

— Братец, что случилось? Куда вы?

Всё шумело, но солдат услышал, оскалил молодые зубы и прикрикнул ей:

— Мы теперь — свободны! И идём в Думу!

О, замечательно! И Ольга — туда! Рядом со строем их, не отставая, готовая за руки взяться с этим братцем — во всероссийской, всеобщей, вселенской любви и ликовании! О, замечательно!

Вот они уже и к Думе подходили. Там дальше было сильно запружено — и на мостовой, и на тротуарах. Остановился и солдатский строй. Остановилась и Ольга.

Необъятная толпа, будто в каком-то церковном стоянии, вся лицом к фасаду Таврического дворца занимала и Шпалерную и сквер перед дворцом. Любопытствовали, гудели — и чего-то ждали радостно.

Впереди, то на выступах забора, то с грузовиков, то ещё на чём-то, возникали иногда ораторы. Их слышно было плохо или совсем не слышно сюда, назад,— но виделись взмахи их рук, и всем передавалось ликование.

Было не холодно, и солнце, и на ногах боты — и Ольга Львовна сама не заметила, как простояла тут час, и два, и три, и наверно больше. Да невозможно было уйти с этого вида пасхальной службы! Постепенно происходили переливы, перемещения толпы — и Ольга Львовна тоже стояла уже не в заднем ряду, но её втягивало и втягивало в гущу, затем уже и в сквер.

Перед вечером стали подъезжать то грузовики, то груженые фургоны, телеги — и толпа как-то отсачивалась, пропускала их внутрь. Они привозили, и с них разгружали — или тут же на снег, в сквере, или таскали внутрь через крыльцо — зачем-то боевую амуницию, патроны, бочки со сливочным маслом, мешки хлебных буханок, свёртки кожи, неизвестного содержимого ящики,— всё почему-то должно было быть загружено в Таврический дворец.

Между тем осмерклось, и стало темнеть, а ничего так и не происходило, давление смешанной солдатско-штатской толпы стало ослабевать: одни вовсе уходили, другие пачками врывались внутрь. Ольга Львовна была уже близка к крыльцу — и в одной из таких пачек тоже прорвалась. Хорошо, а то уж замерзала.

Но и внутри дворца был такой же ералашный вид, как и снаружи: пореже, но такая же смешанная безалаберная толпа, не знающая, чем заняться, а у стен круглого Купольного зала было навалено и ещё наваливалось всё это привезенное — и если верно говорили, что часть ящиков с порохом, то довольно было одной брошенной в ту сторону папиросы,— а их бросали,— чтобы дворец взлетел со всей торжествующей массой ещё прежде, чем она узнала свободу.

Около взрывчатых веществ стоял часовой, но еле держал винтовку и чуть не падал. Ольга Львовна подошла к нему и узнала, что он поставлен уже много часов тому назад, но его забыли, никто не приходил сменить.

— Братец! — сказала Ольга Львовна.— Так давайте я за вас постою, а вы пойдите добейтесь, чтобы вас сменили.

Молод был солдат, но своё дело знал, только усмехнулся:

— Нет, сестрица, не имею права уйти без разрешения офицера.

Кругом проливался и вращался невообразимый хоровод, и сотни солдат с винтовками без дела,— но этот солдатик не мог уйти без разрешения офицера!

Ольга Львовна горячо взялась помочь ему — офицера она пошла искать сама. Это надолго её заняло, глаза её стали непраздными и не разглядывали просто так, что творится, а искали дело. Много ей пришлось проталкиваться, много порасспрашивать — но какой-то офицер в конце концов согласился пойти и сменить, и нашёл сменного солдата.

А затем Ольга была награждена тем, что из одного вихря, быстро продвигающегося через толпу, выделился и Александр! — и она успела пересечь ему дорогу и стать перед ним, сияющая.

Разделить с ним нагрянувшую великую народную радость — и в самой таврической гуще! Да просто посмотреть, как он переносит этот день.

Он был струнен, бледен, молод, очень спешил — и сильно нахмурился, вдруг увидав её.

Такое соседство унижало его в историческую минуту? Она вдруг сейчас это поняла и застеснялась.

— Зачем? — спросил он тихо.

— Просто порадоваться! — оправдывалась она.— Просто... дома не могу.

Пожал плечами:

— Ну, как хочешь. Прости, тороплюсь отчаянно.

И уже направлялся дальше.

— Ты когда же домой?

— О, нет! — отчуждённо улыбнулся он.— Мы все здесь теперь пленники. Нет, это исключено! Ни сегодня, ни завтра, не жди.

— А — как же?..

— Тут — на столах, на кушетках,— улыбка стиралась, уже уходил.

— Слушай! Звонили много!

Махнул рукой. Теперь — уже не имело значения, да, телефон устаревал в полчаса.

Ждала встретиться не так, но всё равно была рада. В такой день ни на кого, ни на что нельзя обижаться! Что́ была вся жизнь до сих пор — её, их обоих, всего их круга? — всё дыхание их было в Освободительном Движении.

И вот — оно взнеслось фонтаном!

О Екатерининском зале уже кто-то пустил словцо: Храм Народной Победы. В этом торжественном несравненном зале, где Потёмкин когда-то закатывал немыслимые балы в честь императрицы, между двумя спаренными рядами коринфских колонн, под семью ослепительными люстрами, каждая из трёх светящихся кругов,— и сегодня как будто открылся бал, но уже не вальсировал петербургский высший свет, а — кружился хоровод демократии! Хоровод небывалых тут гостей, не снявших верхнего платья, ни шинелей, не отдавших винтовок, перемесь простонародной солдатни и разночинной интеллигенции, домучившейся, дожившей до самого великого из праздников, какого и этот зал не знал, от взятия Измаила. И сверху, на балюстрадной галерее толкались такие же странные гости, оттуда улыбались и помахивали.

Да как много мелькало знакомых лиц, вся петербургская интеллигенция! Ольга Львовна кое с кем здоровалась издали, не сближаясь, как бы перемещаясь в общем сложном танце тесноты.

И вынесло её снова к дверям в Купольный зал — и там у колонны увидела она только что вошедшего крупного старика в чёрном, с крупной благородной головой,— как он стоял с палкой, ровный, и смотрел на зал в изумлении. Увидела — и сразу узнала его, потому что лично хорошо знала, жена его сына была близкой подругой Ольги Львовны: Герман Лопатин!

Герман Лопатин! И вот кого притянуло сюда! Именно он — здесь! В такой день!

Да он — не больше ли всех заслужил этот праздник? Не больше ли всех он вложил в Движение? Личный друг Маркса и Энгельса! Член Совета 1-го Интернационала! Переводчик „Капитала". Автор отчаянной и неудачной попытки освободить из ссылки великого Чернышевского! И легендарный старший брат народовольцев. И 18 лет каторги! И почётный судья в споре Бурцева и Азефа.

Да кто же тут был сейчас почётнее его!

Ольга Львовна, выбиваясь из танцевального круженья, с радостью направилась к нему, нельзя было быть награждённою лучшей встречею сейчас:

— Герман Александрович!

Сразу узнал и он её, и тоже обрадовался. Впрочем, простая минутная радость не держалась, не могла сейчас удержаться на его великолепно-торжественном прибородом лице. Вполголовы выше толпы и зачарованно глядя на это кружение, так что даже выступил пот на его выкатистом лбу, без шапки,— он даже не просто стоял, но участвовал сейчас в мистическом обряде.

— Ны-не от-пу-щаеши...— сказал он проникновенно, медленно, густо, смотря даже не на Ольгу Львовну, а на кружение этих голов, из которых не всем, не всем дано было понять всё значение акта.

Оказалось: живя за городом и взбудораженный утренними известиями из города, он после полудня тронулся сюда пешком, потому что найти извозчика было невозможно, да он и хотел так, и обязан был так — пешком, не пропустить ни одного шага, ни одного взгляда. И прошёл пешком больше двадцати вёрст, это в 72 года!

Ровно стоял. И всё смотрел через малые на нём очки — на зал, на зал, на собеседницу редко. И говорил тихо, отчётливо, не наклоняясь к ней:

— Вот — день, которому я принёс в жертву всё, с ранней молодости.

Стоял, иногда закрывая глаза.

— Теперь я могу и умереть. Счастливей — я уже не буду.

Ещё закрыл глаза. Открыл.

— Хотя нет. Теперь — хочется пожить ещё немного. Посмотреть, как скоро всё устроится. И Россия заживёт наконец. Счастливой, свободной жизнью.

Расцветёт наша Россия как цветок в прекрасном саду.

Они нашли потом, где сесть, уступили им кресло и стул. И сидели рядом молча.

Переполненные счастьем.

Окончание следует

Александр КУШНЕР

Памяти А. Д. Сахарова

Вот человек, в котором не узнала
Толпа героя, скучно с ним — толпе:
Ни гневных фраз, ни в голосе — металла,
Едва терпела, чуть ли не сгоняла
С трибуны, что ж он все — во вред себе!

Перечеркнув полжизни, как бы снова
Для искупленья дел своих родясь,
Как он стоял, подыскивая слово,
Сбиваясь... В нем узнать бы нам святого!
Ссылали в темень, втаптывали в грязь.

Нет, никогда — при жизни, только мертвых
Любить умея, святость поместив
Во тьму времен, нуждаясь только в твердых
Руках, увы, не в доводах, но в ордах
Слов, лишь на грубый стаей шли мотив.

Еще квасной, подпочвенный в запасе
Имея... Друг, я понял, почему
Чудной старик у Рембрандта в кирасе
И жарком шлеме, жалок и прекрасен,
Во все глаза глядит в ночную тьму...

◆◆◆

Дорогой Александр! Здесь, откуда пишу тебе, нет
Ни сирен,— ах, сирены с безумными их голосами! —
        Ни циклопов,— привет
От меня им, сидящим в своих кабинетах, с глазами
Все в порядке у них, и над каждым — дежурный портрет.

        Нет разбойников, нимф,
Это все — на земле, как ни грустно, квартиры и гроты;
        Что касается рифм,
То, как видишь, освоил я детские эти заботы
На чужом языке, вспоминая прилив и отлив,

        Шелестенье волны,
Выносящей к ногам в крутобедрой бутылке записку
        Из любимой страны...
Здесь, откуда пишу тебе, море к закатному диску
Льнет, но диск не заходит, томят незакатные сны.

        Дорогой Александр,
Почему тебя выбрал, сейчас объясню; много ближе,
Скажешь, буйный ко мне Архилох, семиструнный Терпандр,
Но и пальме сосна снится в снежной красе своей рыжей,
        А не дрок, олеандр.

        А еще потому
Выбор пал на тебя, нелюдим, что, живя домоседом,
Огибал острова, чуть ли не в залетейскую тьму
Заходил, все сказал, что хотел, не солгал никому,—
        И остался неведом.

В благосклонной тени. Но когда ты умрешь — разберут
Все, что сказано: так придвигают к глазам изумруд,
Огонек бриллианта.
Скольких чудищ обвел вокруг пальца, статей их, причуд
Не боясь: ты обманута, литературная банда!

Вы обмануты, стадом гуляющие женихи.
И предательский лотос
Не надкушен, с тобой — твоя родина, беды, грехи...
Человек умирает — зато выживают стихи.
Здравствуй, ласковый ум и мужская упрямая кротость!

Помогал тебе Бог или смуглые боги, как мне,
Выходя, как из ниши, из ямы воздушной во сне,
Обнимала прохлада,
Навевая любовь к заметенной снегами стране...
Обнимаю тебя, Одиссей. Отвечать мне не́ надо.

◆◆◆

Говорю тебе: этот пиджак
Будет так через тысячу лет
Драгоценен, как тога, как стяг
Крестоносца, утративший цвет.

Говорю тебе, эти очки,
Говорю тебе, этот сарай...
Синеокого смысла пучки,
Чудо, лезущее через край.

Ты сидишь, улыбаешься мне
Над заставленным тесно столом.

Разве Бога в сегодняшнем дне
Меньше, чем во вчерашнем, былом?

Помнишь, нас разлучили с тобой?
В этот раз я тебя не отдам,
Незабудочек шелк голубой
По тенистым разбросан местам.

И посланница мглы вековой,
К нам в окно залетает пчела,
Что, быть может, тяжелой рукой
Митридат отгонял от чела.

◆◆◆

Я представить себе не могу, не могу,
Как Мане где-нибудь под зонтом в Тюильри,
А Моне под скалой на морском берегу,
А Сезанн в этот час, обогнув пустыри,
А Ван Гог средь олив, их солдатских рядов,
Ах, и сам, как солдат, он обрит и суров,
А Гоген в тот же день среди черных вождей,
Нет, еще до вождей,— среди арльских жердей,
А еще Писсаро, а еще Ренуар,
А еще лепестковый парижский бульвар,
И глядит их глазами на все под шумок
С ними вместе и с каждым в отдельности Бог.

◆◆◆

На корабле не знают, сколько глаз
Любуются им в светлый этот час,
Когда, как тень, по плоскости покатой
Крадется он, столь белый, мимо нас,
Как если бы пошла одна из статуй.

Как если бы Гермес иль Дионис
С обшарпанного пьедестала вниз
Шагнул и в путь пустился по тропинке
И виден был бы, то за кипарис
Зайдя, то сквозь перила, паутинки.

На корабле не знают, сколько слов
Ему вослед звучит из-за кустов,
С балконов, лестниц, улочек и пляжей...
Боюсь, к такой нагрузке не готов
Он — белый штрих, деталь морских пейзажей.

Земля и впрямь, должно быть, тяжела,
Коль так легка мечта ее, бела,
Бесплотна так, безбытна, мимолетна,
И плохи, видно, впрямь ее дела
И зло к сухой пристало слишком плотно...

Радий
ПОГОДИН

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ

Жена Скачкова уехала в санаторий на Черное море. Скачков тут же подтвердил ее тезис: мужик — дурак, а если постарается — идиот. Он купил книгу за двести десять.

Спрашивается, нужна ему книга за двести десять, если зарплата у него двести пять?

Скачков взглядом очистил кухню, как очищают луковку: змаль, никель, стекло. Снял с полки старинную супницу. При царизме в ней подавали фруктовые супы — сейчас в ее сиренево-фаянсовой утробе лежала сушка. Одна. В холодильнике, зарывшись в снег, ржавела банка кальмаров. И банка майонеза. И все.

Скачков съел сушку с майонезом.

Мысли в его голове возникали, как образы, как формы,— цельно: окорока, батоны, осетры, бутылки. И уходили за желтый горизонт, на синих парусах.

— О-о-о...— застонал Скачков.

Проще всего было позвонить теще, напроситься к ней на ужин и заодно стрельнуть у нее денег. Но покойная Скачкова-мама ребенком пережила в Ленинграде блокаду; ее рассказы о ленинградцах потрясали — ленинградцы были мужественным, гордым народом. Мысль пойти к теще Скачков отринул как антипатриотическую.

Позвонил своему институтскому другу Алоису.

— А не сводил бы ты меня в кабак, Алоис? — сказал он.— Что-то я тебя очень давно не видел.

— Жрать хочешь. А надо было ехать в отпуск вместе со своей женой. Витамины! Море! — орал Алоис.— Поджаристые ляжки. Шашлык-башлык!

— А ты, Алоис, не увиливай.

— Я не увиливаю. Я в гости иду. В один хауз. Там...— Алоис засопел, что-то прикидывая с позиций чести — он чести был привержен.— Пойдешь со мной,— наконец сказал он.— Там кормят.

— За так?

— Ну, не совсем. Сегодня там читают.

— Про небо в клетку?

— Тебе не все равно? Надувай щеки, как умный. Улыбайся, как воспитанный. Баб не лапай...

— Дал бы лучше десятку в долг. Когда-то мы были как братья. Помнишь, Алоис?

На это Алоис ему ответил:

— Крепись...

Скачкову не хотелось в гости, тем более туда, где читают. Ему не хотелось ни вопиющих фактов, ни гражданской отваги, ни порицания Руси. Ему хотелось обонять нарезанную толстыми ломтями колбасу по кличке «Прима», вареную картошку, лук и мягкий хлеб. А также чай грузинский высший сорт.

Скачков ждал Алоиса на Литейном у медицинской вазы. Прошла старуха с корзиной флоксов — воздух стал миндалевым. «Хорошие цветы,— подумал Скачков.— Хорошо сейчас жене в Крыму». И тут пришел Алоис. В темно-синих штанах и голубой рубашке. На голове седина.

Алоис поседел рано. Еще в институте ходил с проседью. Можно сказать, проседь его и в люди вывела — она сильно действовала на романтических дамочек торговой специальности. Алоис был прожорлив — жил с бабушкой и вечно голодал. Романтические торговые дамочки его спасли. Звали Алоиса — Александр. Он долгое время был строен. Одевался со вкусом. И очень тревожно, даже ревниво, верил в начальство. Он говорил: «У них есть все. Зачем им злато?»

Разглядев Скачкова у вазы, Алоис закричал еще издали:

— Прашем пана до борделя! Слушай, старик, я пожевал крупы сечки. Слушай, какая гадость. Твоя кобра когда приедет?

— Через неделю.

— Моя неделю назад уехала. А я уже без денег. Ну, кобра. Гремучая змея. Гюрза. Анаконда. Я, Скачков, купил книгу за сто двадцать.

— А я за двести десять.

— Слушай, старик, неужели они между собой называют нас удавами? Впрочем, это было бы не так уж и отвратительно, в этом есть какая-то гармония. Скачков, какой ты весь стройный. И брюха нет. Где твое брюхо? Над нами, Скачков, небо синее. Мы свободны и неотвратимы. Мы, Скачков, орлы!

— Чего ты орешь? — спросил Скачков.

— Я не ору. Я восклицаю. Озвучиваю отношения. Скачков, когда друзья давно не виделись, надо либо про жизнь рассказывать, либо правду-матку резать, либо восклицать. Последнее лучше — оптимистично и не требует ответной откровенности. А ну-ка сделай умный вид. Ну постарайся. Вот так. Хозяин хауза имеет слабость к умным.

— А может, неудобно? — спросил Скачков.

— Плохо жрать хочешь. Голодному даже воровство прощается. Я уже туда звонил. Там ждут. Отличный хауз. Помню, вернисаж был устроен. Картинки назывались «Отрывание ног у бабочки», «Накалывание майского жука на булавку», «Ослепление крота».

— Зачем крота ослеплять, он и так слепой?

— Иносказание.

Они углублялись в улицы и переулки в сторону Таврического сада. Дома здесь были недавно отремонтированные, чистые, и тротуары чистые. Воздух над крышами опалесцировал. Он был сиренев и перламутров от автомобильной вони.

— Этот хауз одного врача. Молодой, но уже известный. Меценат. Немножко лепит. Музицирует. Немножко пишет. Коллекционер. По-моему добрый. Добрым у нас трудно. Я по себе знаю.

— Ты сечки много съел?

— Горсточку. С водой.

Врач жил в угловом доме цвета пивных дрожжей.

До шестого этажа шел лифт. Потом надо было лезть по узкой лестнице на чердак.

Позвонили в единственную дверь, обитую малиновым кожзаменителем. Им тут же открыли. Баскетбольного вида девушка им улыбнулась, тряхнула искристыми светлыми волосами. На лице у нее были веснушки, как крошки печенья на блюдце.

— Проходите. Мы вам рады. Меня зовут Анна.— И ушла.

— Ноги вытирай,— сказал Алоис.

Поплясав на коврике, Алоис и Скачков вытолкались из тесной и довольно неопрятной прихожей, в которой висело несколько женских зонтиков, в стоп-комнату, как ее назвал Алоис. Красные обои, торшер с красным абажуром, красные кресла. В одном нога на ногу сидела женщина в красном платье. На ней была черная широкополая шляпа, черные перчатки и черные чулки. Она курила длинную черную сигарету.

Скачкова потянуло опуститься в кресло с нею рядом и заглянуть ей в глаза — ему иногда хотелось заглянуть в глаза красивой даме. Женщина же ненатурально засмеялась, поднялась и пустила ему в лицо заграничный ароматный дым.

— Ты принес мне визитку? — спросила она гортанно.— Хочу тебе звонить. Ну давай же. Ну...

«У меня нету»,— чуть было не сказал Скачков. Визитных карточек у него действительно не было, они ему были без надобности. Но он понял, что здесь нельзя нарушать правила игры. Он построил умное лицо. Сказал: «Момент» и полез в кармашек своей записной книжки. С миллионерской улыбкой он протянул красной красавице глянцевый картонный прямоугольничек, на котором по-английски было написано, что он научный редактор научно-популярного журнала Академии наук СССР «Земля и вселенная» Э. К. Соломатина.

— Пятьсот шестнадцатый,— шепнула красная дама, наверное, пароль. Сложила губы хоботком и уселась в кресло, остро выставив колени.

— А где Алоис? — спросил Скачков.

— Хо-хо, Алоис,— сказала дама.

Следующая комната была темная, очень большая. Слева вдоль стены тянулись стеллажи, уставленные пластилиновыми скульптурками. Скульптурок было много, может быть, триста. Они были похожи на отару после стрижки — озябшие и одинаковые. Под стеллажами стояло, может быть, пять музыкальных машин с латунными дисками и барабанами. Тут же стоял рояль. Конечно, все настоящее, но впечатление от них было такое, что это декорация. Особенно рояль. Антрацит на черном сукне. Сотрясение мозга!

Комната широко уходила вправо. Одна стена у нее была отгорожена ширмами, наверное, там спали. В левом углу комнаты кухня: плита, раковина, кухонная утварь и кухонный стол. За столом какой-то хмурый нечесаный мужик ел консервы прямо из банки. Анна нарезáла хлеб.

Потолок терялся в полумраке, а может быть, его и не было вовсе, во всяком случае, ощущение у Скачкова возникло такое, будто он стоит на бугре, на семи ветрах.

Посередине комнаты, может, чуть ближе к роялю, тускло мерцала гладь большого овального стола, окруженного стульями.

За роялем в стене была еще одна дверь. По доброжелательному кивку Анны Скачков понял, что ему нужно туда.

Отчетливо различался голос Алоиса. Он вещал что-то хорошее о Скачкове.

Помещение там оказалось небольшим и очень светлым, освещенным старинной люстрой. Оно было полно людей. Все его, Скачкова, уже знали, все ему улыбались. Мужчина, седой, как и Алоис, и тоже до сорока, в синем костюме и малиновом галстуке, протянул ему руку. Скачков пожал — рука была сильной, привычной к пожатиям. «Хозяин,— подумал Скачков,— Константин Леонардович». И еще он подумал, что врачей нельзя называть по имени, только по имени-отчеству. Нельзя лечиться у Васи, тем более, у Васьки. «„Проходите, Васька вам сделает операцию“,— это невозможно. Константин Леонардович — это да. Уйти бы. Кто тут поблизости живет? У кого бы денег занять?»

Женщин в комнате было больше. Их, наверное, было двенадцать. Разного возраста. Одна совсем молоденькая, бледная, как стеариновая свечечка. Мужчин — без Скачкова и без Алоиса — трое.

У Алоиса по роже было видно, что он здесь свой,— он светился, словно был приобщен к таинству.

Все здесь светились — улыбались. Когда Скачков взглядывал на кого-нибудь конкретно, тот сразу начинал светиться улыбкой. Покрывался улыбкой, как смазкой. Улыбка — сливочное масло. Улыбка — солидол. Касторка...

В помещении оказалась еще одна дверь. За ней винтовая лестница. Туда хозяин пошел, и все за ним потянулись. Скачков, когда жил в общежитии, мечтал поселиться на углу улицы Мира и Кировского проспекта в башне. Он бы сверху на всех смотрел, на всю суету. А это замысловатое помещение,

скорее всего, бывшее фотоателье с башней, каким-то образом досталось врачу. «Наверное, по блату,— подумал Скачков.— Все врачи блатники. Это раньше были врачи: доктор Чехов, профессор Бехтерев... Теперь улыбка — вазелин».

Скачков незаметно, как ему казалось, но цепко, это тоже казалось только ему, приглядывался к гостям доктора. Что-то странное было в них. Кроме улыбок. Что-то в спокойствии глаз.

«И эти его гости все блатные. Вот рыжая — завмаг, как пить дать»,— поглядывая на высокую рыжую, Скачков гадал по какой линии она завмаг. По промтоварной или по продовольственной? А рыжая протиснулась к нему и спросила шепотом:

— Могли мы с вами где-нибудь встречаться прежде? На Тихом океане?

— Не знаю,— сказал он.— А вдруг могли...

Рыжую прижали к Скачкову. Она была мягкая, как бы бескостная. Глаза спокойные, как вода в подвале.

— Меня зовут Регина,— сказала она.— Святых тут было меньше. Где-то новых купил. Он богатый. У него частная практика. Он талантливый. И что-то видит кроме. Таких бы побольше.— Она повернулась к Скачкову спиной и прижалась, словно он был печка, а она с мороза.

Башня была увешана иконами, колоколами и прибитым прямо к дощатым стенам скорбным хламом, уцелевшим после пожара. Куски обугленного карниза, ходики, деревянные ложки — даже обугленный валенок висел тут, как распятие.

— Это не культовое помещение,— сказал Константин Леонардович Скачкову.— Такая музыкальная комната. Иконы поддерживают звук колоколов. Создают в нас лично наше внутреннее эхо. Все это служит для подавления поля независимости, сугестивного протеста или социальной иронии. Короче — для формирования фоноформ нашей души. Фоноформ очень важен, очень. Наш протест никогда не будет сформулирован, пока звук его не обретет форму. Душа жаждет колокольного звона. Но сегодня она не воспринимает его. Звон не имеет зрительной поддержки. Душа опалена, душа в смятении. Для этого иконы — для упорядочения.— Константин Леонардович ударил в большой колокол. Звук меди вошел в Скачкова — он, конечно, распрямлял сморщенные стенки его души, но радости от этого процесса Скачков не испытывал, только неловкость.

— Смотрите на иконы, на углище и успокойтесь,— сказал ему хозяин.— Теперь вступает челеста.— И заиграл на челесте, продолжая трогать колокольные нити.— Пожар, колокола, иконы и челеста. Скерцо...

Тут все захлопали.

— Углище привезено с настоящего пожара. Это не подделка.

Тут все еще громче захлопали.

— Если вы думаете, что я продавщица, то вы ошибаетесь,— сказала Скачкову Регина.— Я ихтиолог.

— Но я вовсе... Но почему...— начал было Скачков на пределе правдивости.

Регина засмеялась:

— Ладно. Про меня все так думают. Виновата моя сильно ослабленная сензитивность. Но я умею угадывать желания и что-нибудь для вас сейчас устрою.— Регина оттолкнулась от него и пошла вниз по лестнице. Константин Леонардович подождал, пока под ее ногами отскрипели ступени, и заиграл новое сочинение. Для пожара, икон, колоколов и челесты.

— Андантино.

Когда все спустились в люстровую и расселись, Алоис — возле женщины, цветом одежды и гримом напоминающей свежий синяк, Константин Леонардович показал коллекцию вееров, которую он выменял на коллекцию игральных карт. Он доставал веера из комода. Все стали их рассматривать.

— Эх, Андрюша! — выкрикнул Алоис. В руках у него было два веера.— Мы неотвратимы! Мы орлы! — и укрылся в бело-розовой веерной пене.

Скачков воспринял его выкрик как призыв о помощи, шагнул было вперед, но кто-то тихонько потянул его за рукав — это была Анна. Рядом улыбалась Регина.



Рис. Ю. Шабанова

— Тс-с,— Анна приложила палец к губам.— Следуйте за мной...

В большой комнате Анна сказала:

— Регина уверяет, что вы умираете — есть хотите. Регина не ошибается. Ей бы в уголовном розыске работать, а она морских червяков потрошит.— Анна намазала кусок хлеба маслом, положила на него толстый кругляш колбасы.— Ешьте. Да не смущайтесь. Я медсестра. Помогаю Константину Леонардовичу. Сегодня литературный день. Как правило, тихий. На литературном всегда больше женщин. Чаще читают сказки. И про любовь. Бывает ничего. А когда музыка, как ни странно, больше мужчин. На пластических формах — там парни. Там иногда дерутся. Константин Леонардович смотрит — кому нужно, прибавляет лекарств, кому назначает поделать уколы. Кому психотерапию, гипноз. Если пугает клизмой, значит, в порядке.

— А Регина-то чем больна? — со вкусом чавкая, спросил Скачков.

Анна посмотрел на него усталым взглядом прачки. Убрала прядку со лба.

— Регина очень хорошая. Ей-то, глупой, все равно, а вот вы, мужики, сразу начинаете относиться к ней хуже. Сволочи вы.— Из кастрюли побежала вода, на плите варилась картошка. Анна отвлеклась на кухонные свои дела.

«Психушка какая-то,— подумал Скачков.— Еще не поздно денег занять и в ресторан вскочить». Он бы смылся. Он даже двинулся к выходу. Но в дверях красной комнаты встала красная женщина. Она ждала, улыбаясь улыбкой жужелицы. Скачков подмигнул ей и, дожевывая бутерброд, подошел к роялю. За роялем сидел тот мужик, что ел консервы из банки. Мужик ткнул пальцем в клавиш «соль».

— Идут,— сказал.

— Кто?

— Тихие. Я им пьесу читать буду. А вы «каменный гость»?

— Почему «каменный»?

— Тут так говорят: или «каменный гость» или «колун».

— Вообще-то я инженер...

Оба они с доверием подмигнули друг другу. «Эх, Алоис, Алоис,— опять подумал Скачков,— продал меня, как барана. Ну, ничего, я тебе тоже что-нибудь такое устрою».

Из люстровой, обмахиваясь старинными веерами, вышли дамы. За ними обособленно шел мужик с головой то ли быка, то ли борова. Скачков прозвал его Свиноцефалом. И еще один, напоминающий что-то морское, но нехорошее. Алоис и доктор шли последними. Скачков для себя отметил, что Алоис в этой компании выглядит импозантным и умным, и это ему нравится.

К Скачкову подошла Регина, спросила, заморил ли он червячка, уселась за стол, посадила его рядом с собой. Взяла его за руку. Пальцы ее были теплыми, мягкими и тоже бескостными. И нещекотливыми волосы.

— Читать он будет наверняка ерунду, фуфло. Все-таки хорошие вещи пишут профессионалы. А он — то ли слябинги, то ли тюбинги. Что-то толстое, железное. Но рецензенты тутошние мне нравятся. Борются, как за свое. Ты слово скажешь?

— Жратву отработать?

Регина засмеялась бескостно. Скачков отметил, что все здесь легко улыбаются и очень легко смеются.

— Ты уже отработал. В присутствии «колуна», а ты, безусловно, «колун», мы острее мыслим, импровизационнее. Ты для нас подсознательно как бы начальник отдела культуры. А мы, тоже подсознательно, как народные артисты.

В дверях красной комнаты все еще стояла красная дама — черно-багровый ее силуэт.

— Старая девушка,— сказала Регина.— Мечтает отдаться и сохранить девственность для следующего раза. Причина ее болезни в том, что она не может выбрать, с кого начать.

— То есть... Ты хочешь сказать, что все здесь собравшиеся...

— Психи,— сказала Регина.

Скачков почувствовал острую кисло-сладкую изжогу. Кто-то засмеялся. И все засмеялись. Смеялись долго, может быть, пять минут.

Усевшись за стол, Константин Леонардович поправил малиновый галстук, пощелкал пальцами, призвал своих гостей успокоиться, расслабиться, но все же сосредоточиться.

— Постигать продукт литературного озарения следует так же, как мы постигаем все явления природы: реки, скалы, деревья, лошадей — во всей их цельности, с восхищением и трепетом. Пожалуйста, начинайте.

— Гений и Дурак,— сказал автор.

— Гений кто? — спросила девушка-свечечка.

Автор повторил:

— Так называется: «Гений и Дурак». Драма. Вернее, экспликация к драме. Не нужно объяснять про экспликацию?

Мужик Свиноцефал оскалил крупные зубы.

— Ты объяснял давеча.

— Тогда начинаю. «Гений и Дурак». Экспликация. Картина первая.

Сожженная земля. Все вокруг багрово и огнедышаще. По острым камням идут двое — Гений и Дурак. Идут с трудом, можно сказать — влачатся.

Д у р а к *(подняв скучное лицо к небу)*: Боже, скажи, я есть? Если я есть, скажи — зачем?

(Бог наверху молчит.)

Г е н и й. Ему не до тебя. Он заливает свой позор кагором. Он Бог — а человек произошел от обезьяны. Теперь это доказано. Если бы люди произошли от Бога, они бы себя не истребили. Но, может быть, и Бог произошел от обезьяны?

Д у р а к: Не богохульствуй! Боже, скажи мне, кто ты?

Б о г *(сверху)*: Я связь начал. Я формообразующая мысль. Я импульс. Вакуум. Желание...

Г е н и й: Нету тебя! Нету-у!

Д у р а к: Боже, ну что он так орет?

Г е н и й *(раздраженно)*: А нет его. Он дезертировал. Он физики не знает.

Б о г *(сверху)*: Есть штука посильнее физики. Ловите, как доказательство моей всемудрой воли.

(На землю с небес падает куча разноцветного тряпья.)

Г е н и й: Баба!

Д у р а к: Маруся...

Г е н и й *(подняв глаза к небу)*: Старый пошляк. Не можешь без толпы. Тебе какие предпочтительнее — от Гения или от Дурака?

Б о г *(сверху)*: Валяйте оба. Она всех усреднит.

Регина заломила Скачкову пальцы своими мягкими пальцами. Он чуть не вскрикнул от боли. Регина вскочила.

— Вы только посмотрите — похож на банщика, а туда же: Бог, Гений, Женщина, Дурак. Да что ты в этом понимаешь?

— А то, что человек произошел от обезьяны, от макаки,— сказал автор.— Стоит только послушать, как наши дамы выражаются.

— Я тебя ударю.

— Лучше укуси.

Скачков усадил Регину, прижал к себе. Она затихла и прошептала, впрочем громко:

— Могу поспорить, он назовет их пупсо-люди.

Константин Леонардович бросил на нее взгляд и постучал костяшками пальцев по столу.

— Мы отвлеклись. Олег Васильевич, читайте дальше.

Автор прокашлялся.

— Картина шестая. Напоминаю — это экспликация. Некоторые картины еще не разработаны.

(Когда розовые пупсо-люди овладели знаниями, они стали этими знаниями баловаться. Сцену озаряют вспышки. Слышны взрывы, крики «Ура!».)

Д у р а к: Ты научил их воевать. Ты утверждал, что инфантильному уму, незрелым чувствам война полезна, как упражнение на взрослость. Когда же наши дети созреют для мира?

Г е н и й: Похоже, что, когда они созреют, им уже нечего будет жрать. Они

же плодятся, как термиты. Тринитротолуол не опрввдал себя как противозачаточное средство. А ты что скажешь, Бог?

Б о г *(сверху)*: Божье дело — первотолчок.

(Подходит пупсо-человек. Теперь он черен от щетины. На рубахе надпись: «Мы впереди».)

Ж и т е л ь: Женщины просят голоса. Я — за. Я воевал, чтобы женщина сравнялась со мной. Чтобы стала на одну доску. Для женщины, я полагаю, в этом благо.

Г е н и й: Ну, коль она согласна, валяйте — стойте на одной доске.

(Общее ликование. Звуки медных труб. С этого момента женщин от мужчин ни по лицу, ни по одежде не отличить. Все курят. Все грубо хохочут.)

Д у р а к: А как же *это*?

Г е н и й: На ощупь.

(Над сценой на аэростате поднимается лозунг: «Любой стыд — ложный!».)

— Олег, нет в тебе бога,— сказала Регина и всхлипнула.

Автор кивнул.

— Нету. Христос не воскресает дважды.

Мужик Свиноцефал коснулся автора плечом.

— Отныне он язычник. Я тоже. Язычество — религия царей.

— Ты царь?

— Я был царем. Ты меня назад сманила. Теперь вот человека сманиваешь.— Свиноцефал ткнул пальцем в Скачкова.— А человек не ведает. Жалко, в пьесе нету лошади. В эту пьесу надо лошадь. Гений, Дурак и Лошадь...

— У художника свой Бог, созданный по образу и подобию,— сказала женщина-синяк. Глаза у нее были такими большими, какие не защитить даже слезами.

Регина посмотрела на автора.

— Ха-ха,— сказала.— По его подобию получится вот такой божок: прыщавый, худосочный и жадный. Такие боги на счет женщины в ресторан ходят.

Константин Леонардович снова постучал пальцами по столешнице.

— Картина седьмая,— сказал автор не дрогнув.— Появляется компьютер. Жители дерутся за места у экранов. С этого момента они все похожи на японцев.

Я п о н е ц: Алигото.

Я п о н к а: Сенсей...

Я п о н е ц: Карате...

— Здесь у меня будут японские фразы,— пояснил автор.— Читаю дальше.

С развитием технических знаний и распространением учения дзен количество людей на Земле сильно уменьшится. Этому же будет способствовать импотенция, самосозерцание, лечение зубов гамма-лучами, противозачаточные средства, которые начнут выпускать в красивых фантиках с ягодками, птичками, зверушками. Компьютерные игры снизят половое влечение, что, в свою очередь, отразится на рождаемости. Теперь жители даже не черные — они зеленые, как японцы в хаки.

Д у р а к: Когда-то они были розовые. Несли в себе добро. Сейчас, помоему, только навоз.

Г е н и й: Они всегда стремились к скупке краденого.

(К разговору прислушивается лохматый житель.)

Ж и т е л ь: Но среди нас имеются великие мужи.

Г е н и й: Чтобы прослыть великим, достаточно дубины.

Ж и т е л ь: Но почему же? Но...

(Дурак с подозрением приглядывается к жителю. Хватает его за грудь.)

Ж и т е л ь: Что вы делаете?

Д у р а к: Девица! Если ее помыть и причесать, будет хорошенькая. Душечка. Солнышко. Запомни, крошка, единственное стоющее занятие — любовь. (Увлекает Девицу в кусты рододендрона.)

Г е н и й: Я же говорю — дурак, а умный...

(Гений заглядывает за кусты. На траве разостлана скатерть. На скатерти бутылка и закуски. Причесанный Дурак и причесанная Девица сидят в обнимку со стаканами в руках. Поют: «Парней так много холостых, а я люблю тверезого...» Гений присаживается к «столу». Разглядывает бутылку.)

Г е н и й: Кагор...

Д у р а к: Спасать их надо. Верни им ветчину, вино и медленные танцы.

Г е н и й *(пьет из горлышка кагор)*: Шекспир с глубокого похмелья, вылезши из борделя, где пребывал неделю или месяц, создал Ромео и Джульетту. Все замечательное — с перепоя.

Д е в и ц а: «У любви, как у пташки, крылья...»

Г е н и й *(смотрит в горлышко бутылки. Сунул туда палец)*: Дыра — начало всех начал. Дыра и точка. И взрыв!

Б о г *(сверху)*: Не надо взрыва.

Г е н и й: А ты заткнись. *(Бросает бутылку вверх.)* Лучше выпей. Вино есть колыбель и кладбище богов.

Б о г *(сверху)*: Не глуп, но алкоголик.

Д у р а к: О, боже, он придумал вещество, способное к самопознанию. Какую-то пластмассу — дрянь какую-то...

Д е в и ц а: «Любовь никогда не бывает без грусти...»

Б о г *(сверху)*: Самопознание все приведет к нулю.

Г е н и й: Врешь. Я бога сотворю.

Б о г *(сверху)*: Зачем тебе два бога?

Г е н и й: Не два! Всем-всем по богу! Всем — и японцам.

Б о г *(сверху)*: Не утруждай себя. Они уже придумали забаву.

(Компьютеры, у которых сидит и дергается все зеленое человечество, вдруг взрываются с чудовищным грохотом и вонью.)

— Но почему японцы? — спросила женщина-синяк.

Ей ответила девушка-свечечка:

— Даша, европейский суперэтнос имеет тенденцию к свертыванию, он выработался. Зато азиатский суперэтнос на подъеме. Двадцать первый век будет принадлежать азиатам во главе с японцами.

— Как страшно,— прошептала женщина-синяк.

— Картина восьмая,— громко объявил автор.— И вновь сожженная земля. Все багрово и огнедышаще. По острым обломкам бредут в изнеможении двое — Гений и Дурак.

Д у р а к: Опять мы одиноки. Я говорил тебе — будь добрее.

Г е н и й: Кричи. Пусть голос Дурака пустыню оживит.

Д у р а к: И закричу. Она была прекрасна-а!

Г е н и й: Аннигиляция? О, да. В ней все слилось: и жизнь, и смерть, гармония, и хаос...

Д у р а к: Ты сам дурак. Я говорю о ней.

Г е н и й: Заткнись. Услышит этот старый хрен, что наверху, опять Ее подбросит.

Б о г *(сверху)*: Кайся.

Г е н и й *(неохотно и мрачно)*: Каюсь...

Вскочила Регина. Опираясь на плечо Скачкова, спросила:

— Ну почему? Почему ты все время пытаешься унизить женщину? Ты импотент, в чем ты каешься?

— Как — в чем? — спокойно сказал автор.— Это конец. Каюсь для точки.

— Ни в чем ты не каешься. Ты не любишь ни Бога, ни женщину. Только самого себя — мания величия.— Щеки Регины горели, как факел чести и справедливости.— Весь этот хлам написан ради самовыпендрежа. А что касается Гения — не трожь! Чего нет в нас, того, естественно, не может быть и в нашей пачкотне.

Автор смотрит в темноту потолка. Страстный выговор, можно даже сказать — топор Регины, его не тронул.

— А я говорю — где лошади? — сказал Свиноцефал.

«Он и свихнулся на сходстве то ли с боровом, то ли с быком,— подумал Скачков.— Ему все на это намекали, он и завернулся сам в себя».

— Непременно лошадь. Я тебе говорю, Олег, вставь лошадь на бугре.— Свиноцефал повернулся к автору и заставил автора повернуться к себе.— А ты, Олег, возвел на бугор себя. Регина права: сейчас центр нравственно-

сти — конь, а не японец. Надо, чтобы на всех буграх стояли кони. И Берию введи для достоверности. В пенсне.

Автор погладил его руку и критик затих.

Но оживился моряк. А может, не моряк. Но что-то в нем было морское, но нехорошее. Было похоже, что лицо этого человека состоит из матросских пуговиц. И каким-то образом на эти пуговицы застегнуто что-то морское. Моряк сверлил всех, особенно Скачкова и Регину, взглядом.

— Я записал тут несколько мыслей. Мысли я зачитываю стоя.— Он встал.— Мысль первая: «Наконец-то мы взобрались на тот пик невежества, с которого уже можно разглядеть далекую ниву культуры». Второе: «Бог — лишь прибавочный элемент к опыту, накопленному гением». Третье: «Невежеством способна управлять только религия». И еще, касается женщин: «Даже сто красавиц не заменят нам одного Бога». И пятое: «Цель всякой жизни — смерть».— Моряк посопел, как бы стравливая пар.— И в заключение маленькая притча, написанная мной только сейчас, по ассоциации:

«Стоят два столба: старый и новый. „Ты гнилой“,— говорит новый столб старому. „А ты бетонный“,— отвечает старый столб новому». Спасибо за внимание.— Моряк свел брови в линию, сел и долго возился, наверно, застегивался на все свои пуговицы. Должно быть, они у него торчали по всему телу.

Всем нетерпелось что-то сказать. Но все смотрели на Скачкова. Причем, с огромной силой порицания и любопытства. Они даже ерзали на стульях. Даже Алоис.

Скачков почувствовал себя одиноко, словно в чужой языковой среде.

Регина опять сжала ему пальцы. Но Скачков мог бы поклясться, что и она, как и все тут, склонна считать, что беды на земле происходят от людей, которые мнят себя нормальными.

— Может быть, вы что-нибудь скажете? — предложил Скачкову Константин Леонардович.— Не стесняйтесь, у нас просто.

— Мне думается...— начал Скачков, покраснев.— Современно ли это, аллегория?

— Чихать! — Автор смотрел на него в упор и моряк тоже. Между ними сидела женщина гололобая и круглоглазая. «Ей бы челку носить»,— подумал Скачков и вдруг сказал, даже не ожидая от себя такого ума:

— «Гений и Дурак» — название слишком сильное для этой вещи. Ждешь каких-то сверхпоступков.

— Дерьмовый снобизм,— ответил автор.— Бог беспомощен.

А гололобая женщина улыбнулась, как учительница младших классов. Она как бы погладила Скачкова по голове бедовой, но пустой, и теплым манным голосом сообщила:

— Видите ли, дружок, Гений и Дурак — это нравственные конкреции — демоны, или кристаллы, от свойств которых зависят Дух и Гармония.

Все закивали. Женщина-синяк, прижавшись к Алоису, сказала:

— К черту! Чего тут не понять? Дерьмо это, а не литература. Нет любви. Когда нет любви, то о чем жалеть?

Автор взорвался.

— Не тронь святое! — закричал.— Драма как раз и есть о растворении любви в дерьме цивилизации. А мне категорически претит!

Нестриженые волосы гуляли по его черепу, как пампасовая трава. Скачков подумал, краснея от чувства своей здесь ненужности, что автор похож на ошпаренного ежа или на подгулявшего девятиклассника, попавшего под дождь.

— Она про Бога,— сказала девушка-свечечка.

— Про Бога? — Автор тут же успокоился. Подышал немного носом и выбросил перед собой три растопыренных пальца с обгрызанными ногтями.— Тут, понимаешь, триединство: Бог, Гений и Дурак. Как говорила Софья,— он кивнул на гололобую женщину,— три демона, связывающие Дух с Истиной.

— А Демон любви? — Женщина-синяк уставилась своим синеглазьем на Скачкова. Ее глаза были очень похожи на елочные украшения.— Вот вы. Вы мне скажите: любовь — Демон или гормональная недостаточность?

— Я думаю: любовь — это любовь.

— Весьма наивно, дружок,— улыбнулась Скачкову гололобая женщина.

— Не наивна только подлость! — крикнула Регина.

Гололобая уставилась на нее, она даже облизнулась быстро, как перед укусом.

— Кто сказал?

— Мой первый муж.

— Тебе?

— Своему начальнику.

— Прелестно. «Не наивна только подлость». Как это сделано... Прелестно... Наверное, он был смелый человек...

— А что такое человек? — спросил моряк-пуговичник, глядя на Скачкова.

— Пошли их куда подальше,— посоветовал Скачкову Свиноцефал.— Человек на коне не мог быть винтиком. Поэтому коней истребили.

Моряк все сверлил Скачкова.

— Вульгарные материалисты полагают, что человек стал человеком, когда взял в руки примитивное орудие труда. Регина, ты именно так думаешь. Я знаю.

— Не трогай мою подругу,— сказала женщина-синяк.— Ты ее всегда ревнуешь.

Гололобая ей возразила:

— Пусть трогает.

Остальные закивали. Константин Леонардович тоже кивнул.

— Однако! — сказал моряк.— Человек стал человеком, когда осознанно, понимаешь, подчеркиваю — осознанно ограничил свои инстинкты. Обуздал желания! Отсюда первое: Бог — есть ограничивающая функция разума; второе: совесть — есть контрольная функция разума; третье: стыд — есть реакция крови на победу разума над ненасытным драконом наслаждения, сопровождающаяся выделением адреналина.

— Совесть и добро — явления социальные,— робко сказала девушка-свечечка.

Моряк улыбнулся.

Все его существо было застегнуто на все его морские пуговицы. Они желваками выпирали под кожей.

— Отсюда нравственное превосходство будущего над прошлым. Продуктом совести является высокоразвитая цивилизация, прогресс и правовое положение человека.— Улыбка моряка была, как шарикоподшипник.

— Дерьмо! — сказал автор драмы.— Человек желает вернуться к доброму барину. Японцы это поняли. Груз социальной ответственности, конкуренцию и соревнование они переложили на феодала-технократа. Промышленный феодализм. Японцы дерьмо.

— Ты чего, Олег, ополчился на японцев? — спросил Алоис.

— А я не ополчился. У японцев нет гениев. У китайцев гении были, а у японцев нет. Синхронные ребята. Синдром пирании. В рот палец не клади.

— А нобелевские лауреаты?

— Я про гениев, а ты с лауреатами...

Тут вскочила женщина-синяк.

— Девочки, я знаю, что нужно делать, чтобы, наконец, изменить эту нашу собачью жизнь. Нужно, девочки, рожать японцев!

— Перерыв! Перерыв! — прокричала Анна, уловив какой-то знак Константина Леонардовича.— Доспорите за чаем.

— Лишь технократ может покончить с бюрократом. Он его, гниду...— рычал автор.

— Остынь.— Анна поставила на стол блюдо с толсто нарезанной колбасой.

«Свежая,— подумал Скачков.— „Прима“». Он помнил времена, когда во всех ленинградских гастрономах стоял сытный вкусный дух настоящей «Любительской» колбасы, розовой и прохладной.

Анна поставила на стол хлеб, масло.

Мужчины пошли курить в люстровую. А Скачков по многолетней привычке пошел все же на лестницу. Жена всегда просила его выходить курить на

лестницу. У них с соседом на лестничной площадке и банка для окурков была подвешена к перилам.

Обернувшись, он увидел Алоиса — тот стоял в дверях люстровой комнаты, ждал, чтобы кивнуть.

Кивнул.

Анна и Регина ставили на стол чайник, вазу с конфетами, тарелки, чашки, блюдца. Анна торопилась, дважды глянула на часы. Что-то похожее на обиду шевельнулось в душе Скачкова. Никому он тут не был нужен. Он прошел в красную комнату. Красная женщина поднялась ему навстречу.

— Ты мой,— сказала она.— Ты им не верь. Они все врут. Совесть — это любовь. Я позвоню тебе. Я жду. Иди ко мне...— Но в ее словах не было призыва, не было конкретности. Они были обращены к кому-то другому, но скорее всего эти слова означали прощание.

Скачков, кивая и жалко улыбаясь, вытолкался на площадку. Красная женщина вслед за ним не пошла. Она сгорала, освещенная красным торшером, словно ее принесли в жертву красному Богу.

На площадке Скачков вытащил из кармана сигареты, но не закурил, а зажав пачку в кулаке, помчался вниз. Он закурил только на улице, когда успокоилось дыхание. «Вот попал!» — хохотал он над собой, но хохотал, чтобы обмануть самого себя, а на самом деле душа его скулила. «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!» — восклицал он, а душа его на самом-то деле плакала по Алоису. «Совесть» — есть функция разума! Во дают! Но какого черта тут делает Алоис? У него же было развито чувство юмора, он же нормальный мужик. Мы с ним были как братья...»

Анна вылетела из парадной прямо на Скачкова.

— Ой, извините,— сказала.— Вы ушли. Правильно. Нечего там нормальным людям. Больные — они же не цирк. Правильно говорю? Проводите меня до «Ленинграда», там меня муж ждет.— Не дожидаясь согласия на свою просьбу, Анна отдала Скачкову сумку с провизией.

— Зачем тут Алоис? — спросил Скачков.

— Как — зачем? Он у нас два месяца лежал. Бывало, стоит в коридоре и смотрит в стенгазету. Любил в стенгазеты смотреть. Час стоит, два. Иногда падал... Это у него от гласности. Депрессия. Он по натуре верующий. Причем — глубоко верующий. Константин Леонардович говорит: если снова открыть монастыри, душевнобольных станет меньше. Особенно женщин.

«Странно,— подумал Скачков.— Алоис — верующий. А впрочем... Жил с бабушкой — старой комсомолкой. Наверное, наше зубоскальство по поводу наших порядков его в общем-то ранило». Скачков вспомнил, что Алоис всегда морщился, когда при нем рассказывали политические анекдоты. Оправдываясь, говорил, что чистотой стиля политические анекдоты не могут похвастать, а его утонченную душу это коробит. На самом деле он страдал как верующий,— его совесть взывала к кулакам. Чтобы нам, значит, морду набить. «Может, совесть — функция веры? Черт возьми, прямо-таки четвертое начало термодинамики. Вера тоже находится в системе разума...»

— Да вы забудьте. Они кому хочешь заморочат голову. Регину жалко. Вы ей понравились. Говорит, все мужики, которые мне понравятся, убегают... Спасибо, что проводили, вон мой стоит.— Анна взяла у Скачкова сумку и побежала к кинотеатру.

Под ногами шуршали листья. На той стороне улицы неярко светились окна домов. Они не тревожили сердце одинокого человека Скачкова иллюзией возможного благополучия. Цвет их, даже оранжевый, был с зеленым оттенком. На этой улице свет фонарей, сочащийся сквозь листву, создавал ощущение близкой воды. Место здесь было такое, слегка колдовское, как на южном берегу Тавриды, вблизи гор.

Скачков изучал афишу и не понимал из прочитанного ни слова. Сослуживцы говорили, что фильм Бергмана глубокомыслен и скучен. «Может, мы стали нервными? Может, нетерпеливыми? — подумал Скачков.— Может, нам хочется пойти к психоаналитику? Интересно, привьется в России психоанализ или это будет смешно? Пошел к психоаналитику, а он — баба... Или: муж, жена и психоаналитик. Муж и говорит: „Кто там под кроватью?“»

Небо над городом хоть и потемнело, но все еще опалесцировало. Где-то за домами в заводских районах крутились колеса, урчали шестерни. Там, в таинственных котлах, делали из какого-то мяса колбасу «Прима». «А что, если „Прима“ является причиной участившихся психических заболеваний? Или все-таки что-то другое?..»

Показалось Скачкову, что в его душе затвердевают звуки колоколов и челесты, превращая ее в довольно прочный и вполне приличный фоноформ. «Все мы фоноформы». Но мысль о том, что совесть — есть функция разума, не давала его душе успокоиться и отвердеть. Она его злила. Она его ранила. Чего-то лишала. Он казался себе идиотом, невеждой. Не мог он с этим тезисом примириться, как и с тем, что после смерти уже ничего не будет. Ему хотелось, чтобы совесть была чем-то высшим и обязательным, как желание любви святой. Этаким ангелом-хранителем, белокрылым и миловидным. А тут моряк-пуговичник, женщина-синяк, японцы, гололобая дама.

— Желания духа! При ближайшем рассмотрении все они оказываются желаниями тела.

Скачкову мешала мушка в глазу. Он и мигал, и глаза кулаком тер — не сразу понял, что смотрит на девушку, стоящую под фонарем. Она притягивала его взгляд — усиливала его раздражение. Он чертыхнулся. Вернулась простая и благостная мысль: «Занять бы денег, да сбегать в ресторанчик, полакомиться шашлычком...» Но мысль эта не обладала энергией, какая выбрасывает в таких случаях человека на поиск денег хоть среди ночи. Он снова посмотрел на девушку под фонарем. Что-то в ней было классически трогательное, что-то в фигуре и ногах... «Она похожа на девочку в маминых туфлях»,— вдруг сообразил он. И это сравнение как бы сблизило их, сделало естественной возможность заговорить с ней.

— Скажи, ты согласна, что совесть — есть функция разума?

— Не живота же.

— Тогда цивилизация — продукт совести.

— Если это цивилизация, а не массовый психоз.— На чуть вздернутом носу девушки в маминых туфлях довольно густо сидели веснушки. Смотрела она безбоязненно, может быть, чуть устало.

— Я, знаешь, поел бы чего-нибудь,— сказал Скачков грустно.— Я купил книгу за двести десять. Дома, кроме кальмаров и майонеза, ничего нет.

— А рис?

— Ты имеешь в виду крупу? — Скачков вспомнил, что жена никогда не называла рис крупой.— Есть. Целая банка.

— Можно приготовить салат с кальмарами,— сказала девушка.— Хорошо бы туда крутое яйцо и лимон. По-японски. Но и без яйца вкусно.

Она взяла его за руку и повела...

Он шагал за ней с каким-то щемлением в носу. «Ну, пусть не совесть, пусть что-то другое, тоже очень важное, возродит в нас образ ангела-хранителя, белокурого и миловидного».

Она стиснула его пальцы, и он понял, что кто-то летящий над городом благословляет всех безумных, доверчивых, озябших и потерявших надежду.

НАСТИНА СВАДЬБА

Виктор Иванович сидел в куче песка. Брезгливое удивление — «почему так много пивных пробок?» — отъединяло чистоплотного Виктора Ивановича от нечистой кучи. Дворники наконец-то поменяли песок в детской песочнице. Вывалили использованный здесь.

Определенно, все на этом заднем дворе было бывшим в употреблении — песок, пробки, матрацы. Ярко светились этикетки «Пиво „Колос“». «Почему

они с бутылок сразу отваливаются? Когда же, когда у нас снова научатся пиво варить? „Жигулевское“, „Рижское“, „Портер“. Традиционные марки — это же так ответственно. Это же — черт побери... Это вкусно! О, господи...»

Виктор Иванович медленным взглядом прочертил возможную траекторию полета своего тела от окна на восьмом этаже до асфальта. Окно было в торце коридора. На восьмом этаже Виктор Иванович жил. Выпрыгнул он со второго. Сначала выпрыгнул зять Алик. Имя гладенькое, как обсосанная карамелька. Виктор Иванович видел, как Алик уходит со двора, прихрамывая.

Зять Алик не был солдатом. Он выпрыгнул, чтобы удрать.

Виктор Иванович не имел отношения к нему. Виктор Иванович имел отношение к Аликовой молодой жене Насте. Он был Настиным соседом. Дружил с Настиным отцом. Любил Настю как дочку — в шумные годы детства и юности Настя считалась невестой его сына Сережи.

Сережи нет. Сережа погиб при выполнении особого задания Родины. Виктор Иванович пытается иногда представить себе смерть Сережи. Тогда возникает солнечный день, белые облака и синее-синее море. Сережа выпрыгивает, отстреливаясь, с тридцать пятого этажа отеля Хилтон. В каком-то классически красивом государстве Средиземноморского бассейна. Виктор Иванович не знает, где погиб его сын и как он погиб,— форму смерти и место ее он придумывает. Тридцать пятый этаж. Коридор, отделанный ливанским кедром. На полу темно-зеленый коврал. Из ливанского кедра был построен «Арго». Длинноворсый коврал упруг — на нем не слышны шаги. «О, Господи!» Виктор Иванович неколебимо уверен в том, что сын его не разбился. Он и Насте об этом сказал. Настя, подумав, согласилась с ним. «Не разбился,— сказала Настя.— Он упал на бок. Шел и упал...» Настя тоже придумывает. Но скупее...

Сережа был старше Насти. Когда он погиб, Настя училась лишь на втором курсе.

Люди пребывают в одной из двух фаз: они либо хотят что-то иметь, либо им надо от чего-то избавиться. Виктор Иванович хочет иметь веру. Настя хочет иметь ребенка. Виктору Ивановичу нужно избавиться от материализма. Насте — от привычки ждать и любить Сережу.

Сегодня Настина свадьба. Настя расписалась с Аликом. Ей уже тридцать. «Дядя Витя,— говорила она Виктору Ивановичу.— Я оторва-одалиска. Но не нравится мне эта роль. Я не Фрина, не Таисия Афинская. Я тихая». Выглядела Настя очень свежо, беленькая, мягкая, как пастила. Прежде Виктор Иванович подставлял к ней своего Сережу. Потом многочисленные шумно-спортивные Настины молодые люди Сережу оттерли. Сережа уже не спускался на землю с тридцать пятого этажа отеля Хилтон по таким пустякам, как прогулка с Настей под ручку, он готовился совершить свою безукоризненную дугу в послежизнь, отстреливаясь...

Жена Виктора Ивановича ушла с другим, когда Сережа был еще маленьким. Она прислала великодушное официальное заявление, что на сына не претендует, поскольку способна родить от любимого, а у Виктора Ивановича ни любимых, ни, тем более, детей от них никогда не будет. Собственно, так и вышло. Была у Виктора Ивановича Луиза — чертежница. Он собирался на ней жениться, но выгнал — застал ее со своим приятелем Венькой Шарпом.

Виктор Иванович широко размахнулся и врезал Луизе в ухо. Она побежала в милицию жаловаться и уже не вернулась к нему. Вещи Луизины Виктор Иванович отвез ее подруге Маре. Зла на Луизу он не держал. Она врала ему не разгибаясь, он это знал. И вообще Виктор Иванович умел прощать.

Веньке Шарпу он простил сразу. Венькина дочка Наташка уехала в Израиль, за ней через год укатила жена — Венька нуждался в участии. У него мешки под глазами.

Старый асфальт был порист, покрыт седым налетом: дожди и снега вымыли из него смолу. Старый асфальт был тверд, как гранит. Как надгробье.

Но дыхание земли все же разорвало его, загнуло края трещин кверху и как бы сплавило. В трещинах проросла трава.

Когда-нибудь земля очистится от асфальта. В особых местах, например, на Невском проспекте, люди прикроют ее мрамором. Люди будут ходить по мрамору. А посередине Невского — длинно-длинно — пионы. Люди будут нюхать пионы.

Ближе к домам в специальных мраморных блюдах люди посадят розы.

Будут нюхать розы.

Виктор Иванович вылез из кучи песка, отряхнул брюки и, сутулясь, уселся на поваленный на бок желтый письменный стол — здесь, в тупичке, под брандмауэром, была свалка мебели. В основном, канцелярской. В соседнем доме, в подвалах, располагались таинственные УНРы, КБ, ЦКБ, даже областной центр конного туризма. Видимо, все они перешли на хозрасчет и окрыленные надеждой, но не обремененные совестью, на радостях поменяли мебель. Но откуда взялись матрацы?

Ветер гонял по асфальтовому пятачку копировальную бумагу. Черные трепещущие листки цеплялись за спинки стульев, ножки столов и бесшумно взлетали. Иногда стайками.

Виктор Иванович боялся, что копирки облепят его лицо или, чего доброго, испачкают воротник его белой рубахи.

Устал от одиночества. Мысли одинокого человека тяжелы, как асфальт, удушающий землю. Энергоемки, бесплодны и фантастичны. Они жадно, с хрустом отъедают у человека от отдыха. Неустанно следят. Разрушают сны.

Например, о кресте.

За что молиться на крест? За то, что на нем распяли человека — Иисуса. Лучше уж молиться на копье, которым его закололи — прекратили страдания. Может, и на ту винтовку нужно молиться, из которой так долго расстреливали человека — Ивана... Ивана... Сережу...

Древние понимали форму. Глядя на крест, человек примеривается к нему спиной. Глядя на винтовку, человек становится в позу креста.

Обелиск на Средней Рогатке по кличке Стамеска надобно переделать в Крест. Надо иметь смелость все завершать. Форма требует завершения. Победа дала нам большой кредит, мы давно его израсходовали — теперь живем и ликуем по закладным.

Последнее время, может быть, уже года два, думая о сыне, Виктор Иванович обращается к фантастической странной мысли о безболевом переходе из жизни в послежизнь, минуя смерть. Что такой переход возможен и действует в реальной природе, вытекало из закона сохранения энергии — ведь зачем тогда все: города, театры, моды, спорт, если молодые красивые люди, полные сил, погибают навсегда только потому, что какому-то психу не понравились чьи-то мысли или цвет знамени. Зачем тогда закон сохранения энергии, если самую главную энергию так легко уничтожить?

Навязчивость сомнительной гипотезы, может быть, даже дурацкой, можно было бы объяснить оглупляющим влиянием телевидения. Но телевидение в последние годы круто поумнело. Безболевая дуга изогнулась круче. Виктор Иванович был уверен, что ему каким-то образом дали понять, намекнули на Сережины обстоятельства. Конечно, Сережа был вынужден выпрыгнуть с тридцать пятого этажа, отстреливаясь. И он исчез, не долетев до мраморных плит. Если бы он долетел, был бы в наличии труп. Его прислали бы в цинковом гробу.

Иногда Виктор Иванович делился своими соображениями то с одним приятелем, то с другим. Поведение некоторых побудило его сформулировать мысль, что отношение к Богу и сам образ Бога во многом зависят от порядочности наших приятелей. Чаще всего Бог рогат, большеух, сквернословен. Конечно, безоглядно бестрепетно поверить в Бога, даже прекрасного, Виктор Иванович так и не смог — помешала робость. Но стал он занудой. Подошел к директору предприятия и спросил: «Не сочтите мой вопрос каверзным, но объясните мне все же, чем отличается комтруд от соцтруда?» Директор, тот вспыхнул сильным огнем, окатил его острой струей презрения: «Вы взрослый человек, ветеран!..» И Виктор Иванович объяснил ему, погрустнев: «Высокое

отношение к труду — это и есть вера в Бога. Бог — первый и лучший организатор труда».

«Да что вы говорите?! — воскликнул с иронией директор.— Наверное, вы Гегель!»

А Виктор Иванович: «Склоните ухо к Великим истинам. Пусть всякий человек сам за себя просветившимся разумом изберет себе веру. Свобода и Бог едины».

Глядя вслед Виктору Ивановичу, вернее, в его взгорбленную острыми лопатками спину, директор провозгласил: «Старая черепаха!.. Гнать!.. Правда, и я не Гегель».

Летели листики черной копирки, повисали на проводах, похрустывали, жужжали.

Дом, из которого только что выпрыгнул Виктор Иванович, с прямодушно широкими окнами, что, по мнению сотворителей эпохи, должно было говорить о сближении очага с прокатным станом, и радиоточки с точкой опоры, был цвета желтой охры, но в пятнах — отшелушивались от него все слои последующих ремонтов. Дом не желал молодеть за счет утраты стиля. Дом хулиганил. Хохотал. Кашлял кровью.

Дом состарился быстро, но его старость, похоже, была вечной старостью. Как быстро состарился Виктор Иванович. Как безнадежно.

Войну он закончил в Померании на территории нынешней Польши. Был ранен осколком в голень. Командующий армией посетил госпиталь и, предвидя уже недалекую победу, наградил всех тяжелораненых орденом «Красной Звезды», поскольку, как он понимал, на фронт они уже не вернутся.

Ранение Виктора Ивановича произошло в ситуации уникальной, может быть, даже единственной за всю войну. Причем случившееся так подействовало на него впоследствии, что потихоньку он из пламенного скептика-атеиста превратился не только в зануду, расположенного к богоискательству, но стал адептом аватары и парламентарием от заблудших Нас ко всемудрым Ним. У Них он спрашивал, устав от бесед и величественных откровений: «Ну, а Сережу-то Вы за что? Сына моего... За что?»

Они не знали ответа на этот вопрос.

Сережа ушел из жизни в послежизнь без боли, без страданий в определенной точке своей жизненной траектории, исчез, как исчезает в глазах ребенка белогрудая ласточка, стремительно падавшая на землю,— вот она есть и вот ее нет.

Многие молодые так уходят, но лишь Виктор Иванович осознал это как феномен.

А вот недавно пришла к нему Настя. Сказала:

— Дядя Витя, я выхожу замуж. Будет сын, назову Сережа. Приходите завтра. Можете завтра?

— Могу,— сказал он.

Свадьба гуляла у Настиного отца. Квартира была большая. Гулянье предназначалось только для родственников — главное торжество должно было греметь в субботу, в ресторане «Ленинград», в Голубом зале.

Открыл Виктору Ивановичу Шарп, сослуживец, сосед — морщинистый и пучеглазый, как песчаная жаба,— Вениамин Борисович.

— Витька, привет,— сказал он.— Настя и меня позвала. А что, мы у нее все равно что родственники. Можно сказать, на наших шлепках взросла.

И Виктор Иванович, и Вениамин Борисович, и Настин отец, Олег Данилович, работали на одном заводе. Почти все жильцы дома работали там, вернее сказать — представители почти всех семей. Работа была чистая, зарплата по высшей категории, продукция передовая. Одно было неудобно — ограниченные путешествия в зарубеж. Настя у Олега Даниловича была третьим ребенком. Двое старших — сыновья. Выглядели они сейчас, как чемпионы мира в толкании ядра. Ядро они толкнули далеко, теперь были веселы.

Гости, как и на всякой свадьбе, пенились у зеркала. Ослонялись о стены и косяки дверей. И как на всякой свадьбе, были нарядны, ароматны и певуче-доброжелательны. И, безусловно, интеллигентны. В основном, люди в возрасте. В большинстве своем, женщины, утяжеленные заказной ювелиркой и большим жизненным опытом. Их роднило между собой приятное выражение лица, какое бывает у директора фабрики мехов при виде озябшего кандидата наук с мокрым носом и синей шеей.

Никто ничего не скрывал. Все говорили о высокодостойном, высоконравственном, духовновеликом.

— Эти старухи, все как одна, большие люди,— шепнула Настя.— Все обмирают, хотят иметь портрет от Шилова в золотой овальной раме. Никто из них не пьет снотворного. Их сны и мысли безупречны.

Настя попросила гостей к столу, за которым уже сидели ее ближайшие родственники, пробралась к своему невестинскому месту и помахала рукой в белой нейлоновой перчатке.

— Дядя Витя, дядя Витя, садитесь быстрее. Кричите «Горько!».

После криков «Горько!» и первой, какая подвернулась, закуски Вениамин Борисович и говорит Виктору Ивановичу:

— Как ни крути, Витек, Настя красивая девка. Зять какой-то мрачный, все жрет и жрет. Хоть бы подавился. У него уже была невеста.

— Да что ты говоришь? Ах, наглец!

— Не паясничай, Витек. Твое амплуа — зануда. Тебе паясничать не к лицу.

А у Виктора Ивановича сердце обливалось кровью — видел он рядом с Настей своего Сережу. Он достал валидол из кармашка, положил под язык три лепешки.

— Там, понимаешь, медицинская семья была у невесты, у той. А ему в армию срок. А невеста рыдает: ей вынь да положь. «Уж, замуж, невтерпеж». К тому же солдатиков в Афган посылать стали. И, представляешь, через некоторое время, какой кошмар — наш жених плетет нечто мистическое. Рисует что-то гениальное. Христа с заштопанным ртом. Кишки на березах, наполненные младенцами. Глаза на ниточках, как елочные украшения. Женщину-гусеницу. Сто грудей и она ползет, упираясь сосками в землю. Невестины родственники тут же всей толпой суют жениха в психушку. Там не берут. В психушке процент гениальных художников круто возрастает во время призыва. Все же засунули. Месяц держали — анализировали. Выпустили негениального. И говорят — нервно-слабый, в армию нельзя. Как раз из Афгана первые гробы пришли. Как ты думаешь, сколько это стоило? — спросил Виктор Иванович.

— Много.

— А в той медицинской семье готовят невесту к свадьбе. Моют в жасминовой воде, понимаешь. Натирают розовым маслом — азиатская народность. А жених тихо так, бочком-бочком и смылся. Женился на какой-то девушке из психлечебницы. Потом он с ней развелся. Закончил торговый институт. Сейчас снова женится.

— Что дают за Настей?

— «Жигуля». Ну и квартирка у нее есть кооперативная. Думаешь, из-за квартиры? «Жигуль», конечно,— тьфу! Я знаю мужика, тот подарил дочке на свадьбу «Волгу» прямо с правами. В бардачке лежали. Ездий, дитя, сбивай пешеходов и пешеходиц.

К нам подошла Настя.

— Дядя Витя, пойдем спляшем.

— Иди с Вениамином. Он плясун. Чего тебе с женихом не сидится?

— А не твоего ума дело,— ответил за Настю Вениамин Борисович. И они поскакали в соседнюю комнату плясать.

На фронт Виктор Иванович попал под конец войны. Направили его в комендантский взвод танковой части.

В этом эпизоде мы позволим себе называть Виктора Ивановича Витей. Юн

был солдатик. Сгорал от стыда по любому поводу. Отсюда румянец, полыхающий на его щеках, правильнее было бы назвать — цветомузыкой.

Командир взвода, молодой лейтенант в скрипучих ремнях, в сапогах обжимающе-мягких, крикнул: «Пополнение, смирно!» — и поздравил с прибытием в прославленную гвардейскую бригаду под командованием Героя Советского Союза. «Мы сейчас впереди всех войск. Воюем на острие. Мы — прорыв!» От этих прекрасных слов щуплая Витина грудь стала выпуклой и стальной.

Комендантский взвод располагался в некотором отдалении от города так и не взятого танками. Танки, с приказом ничего не ломать, держали город в кольце. Танкисты ожидали пехоту, чтобы отдать ей этот древний город для закрепления, а самим рвануть вперед.

И уже приближалась пехота на подручных средствах передвижения.

Вите хотелось побежать в город, пальнуть по защитникам из вороненого автомата ППС, но сержант приказал ему заступить на ответственный трехсменный пост и сам отвел его в домик штаба к белой двери с оторванной ручкой. Витя сменил солдата с угрюмым лицом.

— Тут будешь стоять. Тут две бабы. Немки. Никого не пускать. Хоть кто будь. Ясно? Проводишь их, куда скажут. Кухен — кухня. Клозет или аборт — сортир. И никаких разговоров. И чтобы возле них никого! Понял или дополнительно разъяснить?

Сержантово лицо не содержало ничего ободряющего, кроме слов матерного содержания. Витя кивнул головой, и прекрасное волнение от близости фронта и своей причастности к прорыву покинуло его грудь, уступив место смятению и обиде.

К посту подходили солдаты с колодками на груди, с пистолетами и кинжалами на животе, и гранатами по всему поясу. В лихо заломленных пилотках. Говорили ему:

— Привет, Матросов. Закрыл амбразуру.

Сволочи. Даже хуже сволочей. Витя краснел, поджимал живот, словно ждал удара. Отворачивался. Подбородок его дрожал. Они были как фашисты — они ремни из него резали.

Пробегали связистки с затянутыми талиями. Девушкам гимнастерки идут, у них в гимнастерках сильно груди торчат. Проходили пожилые офицеры и старшины из технического и огневого снабжения. Эти сами отворачивались от него, стыдясь чего-то более стыдного, чем он пока понимал.

Может, Витя и пообвыкся бы, может, и понял бы значение своего поста, но тут, как на грех, в помещение вломились два шофера и прямо к нему.

— Где тут бабы?

Витя заледенел.

— Нету тут,— сказал, разрывая онемевшие голосовые связки.

Дверь за его спиной отворилась и, черт бы их задавил, вышли две немки: одна постарше, другая молоденькая.

— Кюхен,— сказали они строго.

Витя покраснел, пожелтел, посинел от прихлынувшего к лицу стыда.

— Вперед, арш! — сказал он грубо и хрипло.— Расступись, говорю!

— Сука! — удивленно пробормотали шоферы.— Жалко тебе?

— Не приказано! — крикнул Витя.

Немки в кухне принялись варить кашу. Старшая сунула Вите кастрюльку, чтобы подержал. Витя кастрюльку ту взял, подержал немножко, затрясся и грохнул ее об пол.

— Официр! — закричала немка. Он наставил на нее автомат.

— Я на посту. Я часовой и нихт кастрюлька! Их бин вам не прислуга.

Немка погрозила ему кулаком. Ее белые губы пробормотали что-то обидное. Шоферы, просунувшись в кухню, скалились.

— Сержанта вызову! — закричал Витя истошным криком. Шоферы пропали из его глаз, растворившись в слезах. Витя глаза вытер — шоферы появились снова. Краснорожие от смеха. От них воняло бензином и табаком.

— Бедняга,— сказали они и смылись.

Харч на столе был поразительный, как на рекламе дорогого ресторана. Вин и наливок много.

Настины братья сняли пиджаки. Сидели, развалясь. Настины золовки полулежали. В улыбках, в красоте сервизов, в аромате дыма — чувствовался во всем достаток.

Настин отец, Олег Данилович, был угрюм. Он любил Настю и не радовался ее замужеству. Крупная голова, короткая челка делали его похожим на Хемингуэя. Лауреатская медаль — скромно — на сером модном пиджаке. Золотистые обои. Импортные.

У него было два спецпиджака: один на День Победы, в орденах и медалях, тяжелый, как набор амбарных гирь; другой — по высшему разряду — интеллигентный, с одной медалькой.

Олег Данилович относился к Виктору Ивановичу снисходительно как старший. Он считал его и Вениамина Шарпа придурковатыми, но доверял. Делился мыслями.

«Критика — это современный способ жить. Для дураков, ребята. Плюйте на все, нужно чаще расшлаковываться. И нечего считать себя венцом творения. И человек, и паук всего лишь форма существования белков. Я бы, ребята, застрелился — имею наган. Но хочется досмотреть это кино до конца. А вдруг Чапаев выплывет...»

«Из всей моей родни я признаю отца и вас с дядей Веней,— говорит Настя.— Я хочу родить Сережу».

А Сережа шагнул в пустоту, отстреливаясь. Последнее, что он видел, было синее море и белые птицы. Белые птицы и белые облака. Белые птицы падают в море. И, не долетая воды, превращаются в черные тени...

Шарп натанцевался. Пришел.

— Славяне,— сказал,— с нервами стало плохо. Если человек кричит на продавщицу, хоть она того и заслуживает, стало быть, у человека уже нету точки опоры.

А какая-то женщина, размером с кабинетный рояль, прислоненный к стене, говорит Шарпу:

— А я? Плевала я на эту точку. Дайте мне Архимеда, и я для него переверну мир.

— Я вам Архимед,— говорит ей Венька Шарп, и они с «роялью» скачут танцевать.

А у Сережи не было точки опоры. Но, может быть, в тот момент Сережа подумал о Насте.

Гости, особенно лысые мужья золоченых старух, улыбались Виктору Ивановичу. Они, разумеется, знакомились на каком-нибудь празднике этого дома. Они желали поговорить, может, даже поспорить об Илье Глазунове, вытеснившем экстрасенсов и летающие тарелочки.

Виктору Ивановичу говорить не хотелось, тем более спорить. Ему осточертело спорить. При появлении оппонента он налаживался соглашаться, настраивался на состояние некоей резонансной эйфории, иначе с первых же слов у него начинал тяжелеть камень за пазухой. А было жаль тратить этот камень на одного хама — Виктор Иванович лелеял булыжник для всего человечества. Он глядел на свадебных гостей через пузырчатое вино — кивал, улыбался. И был одинок.

После каши старшей немке захотелось «аборт». Витя закричал на нее:

— Какой тебе тут аборт?

Она, не стесняясь, объяснила, даже покряхтела и все повторяла: «Официр. Фельдвебель. „Смирна!"».

— Тебе в туалет? — спросил обалдевший от ее натисков Витя.

Немка кивнула.

— Пойдем,— сказал он.— А ты,— он сунул голову в комнату. Молодая валялась на кровати, задрав полные стройные ноги на спинку.— Ты замкнись изнутри. Ключ — ферштеен? Замок! — Он ткнул автоматом в ключ, торчащий в двери.

Уборная в доме не работала, ее захватил шифровальщик за неимением другого укромного места. Действующая уборная была во дворе — сколоченная наскоро будка с двумя дверями. Витя подвел немку к букве «Ж», захлопнул за ней дверь ногой и стал на пост, озираясь вокруг лютым волком.

И сразу же вблизи него возникли двое танкистов. Здоровенный в перемазанном шлеме и разодранном комбинезоне вел под руку раненого. Он спросил голосом водосточной трубы:

— Пацан, где тут фрау? Где они тут ховаются?

— Нету их,— просипел Витя.

Немка тотчас вышла, оправляя светлую юбку.

— Я бы тебя, вошь, танком раздавил,— сказал здоровенный.— Жалко, танк сгорел.

Тут появился сержант.

— Кругом марш,— сказал он танкистам.

— А ты, ублюдок, не кричи. Мы тебе сейчас «кругом марш» устроим.— Танкисты принялись закатывать рукава, но сержант подошел к ним вплотную и объяснил с усталой симпатией.

— Это вы ублюдки. Ты, Вася, раненый, тебе рыло начистить нельзя. А ты, Пошехонцев,— тебя вчера прогоняли? Прогоняли.

— Танк сгорел,— сказал Пошехонцев.— И не ори. Провожу Васю в санбат и зайду пообедать. У вас, курвецов, повар хороший.— Он шлепнул немку по заду крепкой ладошкой. Она взвизгнула, замахнулась на него. Он отбежал, здоровый и громкий, как утренний бык.

Сержант проводил Витю и немку в дом, взял стул и уселся возле двери.

— Ничего,— сказал он.— Не тужи. И это, понимаешь, понимать надо. Такая война. Тут, понимаешь, две бабы застряли, дуры, а солдат в наступлении неудержимый, может, последний час живет. Тем более танкист. Командир взвода командиру бригады донесение сделал по рации. Комбриг примчался на танке — учредил трехсменный пост и все тут. Тут, понимаешь, расстрелом пахло.— И уже уходя, сержант добавил: — Придет пехота, мы вперед рванем...

Сержант отправился по своим делам. Витя остался на боевом посту с неуспокоенной душой. Он глядел в окно на старинный и прекрасный, как ему казалось, город. Витя о себе думал. И о немках. Но больше всего о пехоте.

Свадебные старухи густо напудрены. Сидят сплоченным коллективом — лакомящиеся гиппопотамши. Правда, была одна старушка, худенькая, беленькая — старушка-инженю. Подруга Настиной матери еще по школе. У нее никого не было: ни родственников, ни друзей, ни соседей. Вокруг нее были только тени, как вокруг Виктора Ивановича. Настя эту старушку почему-то терпеть не могла. Ее обожали Настины братья. Олег Данилович смотрел на нее исподлобья. Называл ее шепотом «стальная вошь».

Виктор Иванович опасался ходить близко к светлым стенам домов или светлым заборам, тогда тень его шла рядом, словно посланная за ним. При всей своей привлекательности, напудренности и завитости старушка-инженю имела что-то общее с тенью на белой стене.

Другое дело — тени белых птиц на воде. Там другие законы природы...

Старухи говорили авторитетно. До Виктора Ивановича долетало:

— У меня подруга занимается йогой. Ей восемьдесят четыре. Маразм. И никакого радикулита. Все зубы целы.

— Все равно, американцы уже нас перегнали по нравственности. Они создали фонд, чтобы выдавать премию невестам, сохранившим невинность до брака.

— А нам это на кой? Я за неделю до брака с таким парнем пошла — умереть не встать. До сих пор как вспомню, так молодею. А муж — на хрен надо...

— Тише вы, дуры. Невеста вот... Ах, Настенька. Ах, Настенька...

Невесту старухи встретили, как сладкоежки торт. Стали ей всего желать. Особенно напирали они на приобретение жизненного опыта. Но тут старушка-инженю взмахнула ручками.

— Не нужно, Настенька, тебе опыта. Опыт — это утраты. А ты рожай и никого не теряй. Пусть лучше ты будешь неопытная, но счастливая.

— Да,— сказала старуха, говорившая о йоге.— Для здоровья нужна не аэробика, а хорошая жизнь.

Старухи тихо загудели. В их гудении Виктор Иванович не уловил согласия.

Он глянул на Олега Даниловича. Тот сжимал бокал, как гранату. Он глянул на зятя Алика. Зять сидел в пустом пространстве. Угрюмый.

Он глянул на Настиных братьев. Братья рассматривали гостей сквозь прорезь прищура. И усмехались.

Пришел запыхавшийся Шарп Вениамин Борисович.

— Интересную мысль поведала мне эта рояль. Когда по телеку рассказывают о двадцатилетних футболистах, называют их юниоры, объясняют, что организмы у них хрупкие, психика ранимая. Когда говорят о двадцатилетних солдатах, называют их стариками. Психика — будь здоров. Афганцы — герои. Организмы из нержавейки... Ты бы, Витя, поел. С чем тут действительно хорошо, так это с закусками. Как в мирное время. Вообще, Витя, телек способствует. Смотришь его, видишь чужую жизнь и сам как бы перебазируешься на Каморские острова. А Ленинград этот, хрен его знает где? В какой-то дальней мгле. И жаль тебе этих ленинградцев. Иногда до того засмотришься, что даже крикнешь; «Анисья, пива!» А эта чертова девка Анисья, она же шоколадного цвета... Это, Витя, синдром Сенкевича.

Шарп, наверное, тоже видел белых птиц. Белые птицы падают с неба. Не долетев до воды, исчезают. Остаются их черные тени на синей воде. Тени поднимаются вместе с паром и где-то там, наверху, вновь становятся белыми птицами. Круговорот теней в природе.

Шарп подвинул Виктору Ивановичу севрюгу — все блюдо. Старухи посмотрели на него без порицания, наверное, севрюги было много.

Но тут в севрюгу воткнулась вилка. Три толстенных ломтя перекочевали с блюда в чужую тарелку.

Серебряная вилка в крепкой руке. Загорелая рука в белоснежной манжете. Манжета с запонкой — фионит. Зять! То есть молодой муж в костюме с иголочки. Костюм сверкает металлом — ткань такая.

— Извините, я к вам присоединяюсь насчет севрюги.— Запихал в рот кусок и говорит: — Настин папаша, барин чертов, специально вас на свадьбу пригласил, чтобы меня унизить. Вот, мол, ветераны без севрюги живут, где им взять. Но не халдеи! а ты, мол, дерьмо — халдей. Но, мол, и ты мог бы восстать из трясины. Ишь, рожа у него, как флаг над сельсоветом. А чего ж он эти слова своим сынкам не говорит. Они мафия. Они не наклоняются за трешками. У них пословица: «Мы в Советах не нуждаемся». «Советы», конечно, с большой буквы...

Зять смял ломоть севрюги, как туалетную бумагу. Рожа у него из кожзаменителя. Но глаза с вызовом. Он исподлобья глядит.

— Я бы мог, конечно, прибыть из Афгана с орденом,— сказал зять, вытерев рот севрюгой.— А мог бы прибыть в гробу цинковом. Мог бы и не прибыть. Может, даже лучше было бы — не прибыть. Нет в жизни счастья. И любви тоже нет. Женятся люди так, чтобы детей родить. А может быть, в самом деле дети будут жить лучше нас.

— Куда уж лучше,— Вениамин Борисович Шарп повел руками над севрюгой.— У молодой жены харч, квартира, машина.

— Квартира, машина у меня тоже есть. И харчи есть. Эта севрюга как раз из моего цеха. Из моего ресторана. Настины братья меня за халдея держат.

— А сами они кто? — спросил Виктор Иванович.

— Они двигают ящик,— ответил жених.— Они могут... Они могут... И мне нужно. Я в петле. В психологической петле. Сейчас все пропитано халдей-

ством. От халдея дурно пахнет. Маленьким вонючим зверьком. От тех, кто двигает ящик — зверем разит. От халдея — зверьком. Распутство у халдеев как социальная прерогатива. Я халдейства не переношу. Халдеями, как вы, наверное, знаете, называют официантов. Но этот термин означает большее — он расширителен, он безмерен. Он всеобъемлющ для нашей нынешней ситуации. Халдеи и не могут ничего другого — лишь унижаться и унижать.

— Да, брат Энгельс,— сказал Шарп Вениамин Борисович.

— Да, брат Каутский...

Сытный стол ломился. Сытые гости икали и пели.

Настины братья лениво крикнули: «Горько!» Жених пошел целоваться. Вернулся — продолжил:

— Это ваш результат. Я имею в виду халдеев. Десять ноль в пользу халдея. Когда валютные магазины «Березка» насаждать начали, не это чековое говно, а долларовые, тогда весь народ по шкале нормальных человеческих ценностей и задвинули в третий сорт. Хотя бы только свой народ, но и другие братские страны социализма. Стоят серые угрюмые люди, смотрят сквозь стекла витрин на чужую, недоступную им, разноцветную жизнь... Вы это позволили — за очередную медаль.

— Как? — спросил Шарп, побледнев. У него даже пот на верхней губе выступил.— Ты кого имеешь в виду?

— Да вас, ветеранов.— Зять положил себе на тарелку еще севрюги и целую гору хрена.— Ешьте севрюгу, закусывайте. Пользуйтесь правами...— Глаза зятя презирали и халдеев и ветеранов. Если бы не медицинские родственники его первой невесты, он, может, и не вернулся бы из Афгана. Остался бы лежать там на обугленных скалах.

Шарп Вениамин Борисович взял вилку в правую руку, прицелился вилкой в Аликову боковину.

— Кандагар! Саланг! Пешевар! — заорал Алик и запел: — Вот солдаты идут... Вилку, товарищ Шарп, нужно держать в левой руке...

И она появилась — пехота, царица полей.

Первым пропылил генерал в «мерседесе». За ним полковники в «оппелях». Другое офицерство ехало на «БМВ» и «ДКВ». Следом торопилось войско на лошадях, на велосипедах, мотоциклах. В телегах, каретах, шарабанах, в грузовиках и пожарных автомобилях.

Мчалась пехота, позволяя некоторую анархию против устава в смысле одежды и всяческих украшений, не имеющих прямого отношения к войне.

Против штабного дома танкистов войско остановилось. Спрыгнуло на землю. Быстро подтянулось, как подобает наступающей силе, наладило оружие и, построившись в тугую бросковую колонну, бегом пошло в город. Свои подвижные средства пехота бросила на обочине, оставив несколько человек для охраны.

Немки, сразу обе, выпучили глаза и запросились «аборт». Витя, может, завыл бы от злости и досады, может, начал бы икать или лаять, но тут в городе затрещали автоматы — немки метнулись к дощатой будке и затолкались в нее обе сразу.

Витя бросился вслед за ними.

Взрыв опалил Витины глаза. Расколол голову. Вите показалось, что ноги его вырывают из туловища, как у мухи.

Подняли Витю немки. Молодая повесила себе на плечо его автомат.

Лошади кричали, но успокоились быстро. Лошади на войне привыкают к смертям и взрывам. Они уже жевали хлеб, который совали им их возничие.

От дома навстречу Вите бежал сержант. Связистки и радистки высыпали на крыльцо. «Бляди»,— подумал о них Витя.

Сержант и немки посадили Витю на ступеньки.

— Отвоевался, герой,— сказал сержант.— Голень к черту — байн капут.— И закричал: — Комарова, вызови транспорт из медсанбата.

Немки стояли над Витей и печально кивали. В их глазах было участие. У радисток и связисток участие тоже было, но иронии и почти не скрываемого смеха было больше. Странное дело, но глядя на них, Витя тоже хихикнул. Лишь потом, лишь осознав трагическую всеохватность мирового комизма, он понял, что немки смеяться над ним не могли — только жалеть,— он был персонажем их драмы, писанной в системе некоего скабрезного фарс-фестиваля. Молодая немка положила Витин автомат ему на колени и поправила на его голове пилотку.

И когда Витя в госпитале получал орден из рук маршала танковых войск, немки кивали ему и аплодировали из-за кулис. Даже кинули ему какой-то цветочек желтенький.

Ощущать себя фарс-героем Виктор Иванович перестал, когда военный комиссар города Ленинграда тихо сказал ему в своем кабинете: «И в мирное время офицеры, увы, погибают. Интересы государства... Ваш сын... Разделяю ваше горе...» Дальше шли слова, которые Виктор Иванович вспомнить не мог. Затем комиссар передал ему орден «Красной Звезды», которым был награжден его сын Сережа.

Виктор Иванович повесил Сережин орден в застекленной рамке, как вешают драгоценные экземпляры засушенных бабочек. Орден кроваво мерцал на черном бархате. «А может быть — взрыв? Обыкновенный взрыв по причине чьей-то халатности...» Нет! Обыкновенный взрыв Виктор Иванович с негодованием отвергал. Недаром с ним разговаривал сам военный комиссар города. Вглядываясь в Сережин орден, Виктор Иванович прозревал голубое небо, белые облака, медленных белых птиц и тени, воспаряющие в небеса.

На свадебных старухах ювелирка полыхала, словно закат над ведьминым лесом.

— Что мы имеем? — сожрав севрюгу, спросил зять Алик.— А ничего. Мы имеем лишь то, что можем. А что мы можем? А ничего. Лозунги — валюта не ковертируемая. Так что, товарищи ветераны, могу предложить вам язык телячий, икру черную, икру красную, бок белужий. И знаете — чихал я на вас. И на своего тестя. Он монумент, поставленный на дерьме.— Алик налил себе фужер водки, бросил туда хрену, маслин и хватил разом. Косточки маслин, обсосав, выплюнул и сам себе заорал: — Горько!

Горько было Виктору Ивановичу. Не от дурацких выкриков зятя Алика — вдруг ощутил Виктор Иванович, что вернулись к нему две его комические подруги. Сидят рядом и спрашивают: «Ты еще живой, часовой? Зер гут. Не кривься. Твой орден не хуже многих других орденов. Твой боевой пост входит в первую десятку боевых постов всего мира. И не надо речей. Хватит аплодисментов».

Лист копирки облепил колено Виктора Ивановича. Он посмотрел ее на свет. На копирке было отстукано: «Займу пять тысяч рублей. Через год отдам восемь».

«Этот ловкач схвачен,— подумал Виктор Иванович.— По телевизору говорили».

У старухи-инженю есть деньги. Большие деньги. Она эту семью в руках держит. Ах, Олег Данилович, Олег Данилович. Вы сами своих сыновей ей в лапы пихнули. Насте, конечно, замуж пора. Тридцать лет. Красота уходит.

После Сережиной смерти Настя пошла в загул. «Что-то происходит с людьми, что-то выворотное».

На другую тумбу письменного стола сел Шарп.

— Увезли Даниловича. Тяжелый. Лев...— Шарп заплакал.— Я письмо получил от своей Наташки из Иерусалима. Внук мой, Борька, погиб. В Наблусе. Город такой Наблус... Витька, ты слышишь, я тебе говорю: Борька, мой внук, погиб на войне. Витька, ты помнишь мою Наташку? Теперь седая. Теперь мы с тобой только двое...

Виктор Иванович протянул Шарпу копирку. Шарп посмотрел ее на свет: «Займу пять тысяч рублей...»

Часам к девяти свадьба устала. Золото на старухах потеряло блеск. Завитушки на головах Настиных подружек распрямились. Настины братья, давно снявшие пиджаки и галстуки, расстегнули рубахи до пояса.

— Маленький концерт,— сказал один из них, Михаил.— Сейчас моя дочка Людочка пропоет вам частушки собственного сочинения.

Расчистили место. В лакированный паркетный круг вошла внучка Олега Даниловича, девочка лет девяти, в его победном спецпиджаке. Орденов на пиджаке и медалей было — сплошь.

Людочка обтянула пиджаком свою маленькую круглую попку, повихлялась и запела. Разнуданно:

Нам медали эти дали,
Что воров мы не видали,
Свою землю не жалели —
Громко пили, вкусно ели...

Людочка опять повиляла попкой.

— Кошмар,— сказал Шарп громко.— Она же дите.

Людочкина мама навесила над Шарповой головой свои ароматные наливные груди.

— А правда,— сказала она.— Правда глаза колет. А, Вениамин Борисович, сознайтесь — колет? Сейчас и по телевизору об этом показывают. Даже в «Утренней почте».

— Горько! — заорал зять Алик и принялся стрелять в гостей из пальца: — Ду-дых... Ду-дых...

Старушка-инженю смеялась — дрожала, как кофемолка. Раззолоченные старухи-гиппопотамши отодвинулись от нее, поджали губы. Их ухоженные мужья потупились.

— Сжечь,— сказал зять Алик.

Тут поднялся Олег Данилович, издал звук засорившейся водопроводной трубы и рухнул на стол в севрюгу, икру, языки, белужий бок и фаршированного язя.

Внучка его завизжала. Запуталась в пиджаке. Упала затылком о паркет. Ее мама ногой отшвырнула пиджак в прихожую, подняла дочку и, приговаривая с прихрюкиванием: «Мы их... Мы их...», понесла дочку в соседнюю комнату.

Виктор Иванович подумал тоскливо, что медаль лауреатская, полученная за участие в разработке передатчика на сверхдлинных волнах, лежит сейчас в винном соусе.

Вокруг Олега Даниловича сгрудились сыновья и гости. Шарп командовал: «Осторожно. Инфаркт. Кладем на диван. Позвоните в „Скорую“. Снимите закуски с лица».

Виктор Иванович вышел в прихожую.

На полу валялся пиджак. У телефона стоял зять Алик. Вместо «инфаркт» он кричал: «Кандагар! Саланг! Гиндукуш! Каранты!» Виктор Иванович отобрал у него трубку, объяснил все диспетчеру и назвал адрес. Он погрозил кулаком зятю Алику. Но вместо Алика стояла старушка-инженю. Она с тоской и смирением держала пиджак в руках. Алик, вытянув ноги, сидел на подзеркальнике.

— Сколько лет мы отдали пиджакам,— сказала старушка.

Пиджак шевельнулся. Старушка пискнула, как мышка, выпустил его из своих лапок и шустро выскочила в коридор. За ней выскочил Виктор Иванович. Алик вылетел. Красный, с натрепанными ушами.

Величественно выплыл пиджак. Он был раздут. Он звенел. Требовал почтения к себе. Угрожал чем-то жутким.

Коридор длинный-длинный — ось через весь дом, от торца до торца. Пол дощатый крашеный. Блестит. В тридцатые годы архитекторы разработали эту ось, как символ грядущего рая.

Старушка оттолкнула пиджак кулачком, выскользнула на лестницу. Пиджак надвинулся на Алика. Алик перепрыгнул его головой вперед с последующим кувырком. Помчался по коридору в противоположный торец. Пиджак

надвинулся на Виктора Ивановича. Виктор Иванович поднырнул под него, касаясь пальцами пола, и побежал. Он видел, как Алик выскочил в окно.

Именно тогда он понял, как просто шагнуть с тридцать пятого этажа в спасительную пустоту. Там только вечность. Только свет. Только небо.

Он легко вспрыгнул на подоконник. Будь у него пистолет, как у сына Сережи, он выпустил бы всю обойму в пиджак... И... Смерти нет! Тем более, для молодых. Есть мгновенный безболевой переход из жизни в послежизнь.

Под окном была куча песка. Именно в ней сидел Виктор Иванович. Песок был влажным. Мусорным. Зять Алик заворачивал за угол дома с криком: «Кандагар!» Над Виктором Ивановичем в окне второго этажа стояла Настя в отцовском пиджаке.

— Ну, вы молодец, дядя Витя,— говорила она.— Я бы тоже скакнула. Мне нельзя. Я на пятом месяце.

— Почему ты не возле отца? — сурово спросил Виктор Иванович.

— Я там лишняя. Там сейчас братики. Золовки. Да вы не беспокойтесь. Ничего с ним в данный момент не сделается — его на Гертруду выдвинули.— Она передернула плечами, медали и ордена звякнули разом, будто сомкнулся капкан.

— Борьку моего убили...— плакал Шарп.— Я все не говорил тебе, чтобы не бередить. Уже больше месяца, как Наташка мне телеграмму отбила. Борьку моего...

Виктор Иванович думал: «Наверное, и Борька ушел туда, в белые облака, минуя смерть и боль...»

Иван
ДЕМЬЯНОВ

ИЗ КОЛЫМСКОГО ЦИКЛА

Золото

*Без вины осужденным —
посвящается*

В сновидениях тебя вижу я,
Как ты спряталось глубоко...
Эх, ты золото — сволочь рыжая,
Добывать тебя не легко!
Словно вохровцы — сосны рослые,
Впереди стоят, по бокам...
А двухклювое, горбоносое
Прикипело кайло к рукам!
А по сопкам пурга куражится —
В полной силище стынь-пора,
И ледяшкою солнце кажется,—
Греться тянется у костра!
Рукавицы б лучам, да теплые!..
Ну, а мы вытираем пот!
Сколько золота в сопках скоплено?
Знает лагерный наш народ!
Опустел забой — рядом новые,
Время есть для них — десять лет!..
Гнет в бараний рог жизнь суровая,
Стал черней ночи белый свет!
Аммональный гром взмыл раскатами —
Крошит взрывами горный скат.
Пополнение дай на каторгу —
«Тройки» лжи — по стране летят...
Сколько «дел» на столах навалено!..
Гулок рельс, в лагерях набат.
В этом может быть мудрость Сталина,—
Чтоб безвинный был виноват?!
Эти «тройки» зазря не бегали,
Вьюча стогом свои тома...
И рыдала слезами белыми
Над этапами Колыма!

Тачка

Груз я повозил на ней немалый,
Ручки ее — тесаный штурвал...
Грузовик и лошадь заменял я...
Жилы рвал
для Беломорканала —
Валуны в карьерах разбивал!
Все и не изложишь на бумаге,
Дикие осваивал края
Не на Баме,
нет,
а на Бамлаге,
С тачкою не расставался я.
Под Облучьем насыпь — выше леса,—
Это говорю я без прикрас...
Пассажир летящего экспресса
Вспомнит ли когда-нибудь о нас?!
А на Колыме катать изволил
Вечную в забое мерзлоту.
Затвердели на руках мозоли,
Пальцы сжать досель невмоготу!..
К тачке прямо и шагнул с этапа,
На Сосновом встретились «шоссе»,
По доскам, разложенным — по трапам,
На одном катились колесе!..
С тачкой нам обоим было туго —
Я стонал, скрипела и она,
Лагерная нудная подруга —
Тяжела!..
Но в чем ее вина?!
Были мысли, должен я признаться,—
К тачке зависть все-таки была:
«Если б с нею ролью поменяться —
Тачка бы тогда меня везла!»

◆◆◆

Я столько пней на Клыме оставил
И столько ребер скалам сокрушил!..
Икалось, может, вам, товарищ Сталин,—
«Спасибо» нам один ли говорил?!
Нет, не один, а больше — миллионы —
В седых лесах, горах и под землей —
В глубинах шахт
и в мчащихся вагонах —
Товарняках, облизанных пургой!
В заиндевелых искристых бараках,
«Спасибо» посылалось вам с утра,
Когда на сопку, цепью шли в атаку,
От мата глохла мерзлая гора!..

Кулаки

Я знаю кулаков не понаслышке,
Был сам зачислен в прошлом в эту рать.
В шестнадцать лет
в поношенном пальтишке
Зимой ссылали в дебри умирать.

Уже о том и память на износе,
Те годы поседели, далеки,
Но помнятся иные на допросе
Ломающие ребра кулаки.

Они врагов тех, классовых, почище,
О них не нужно память напрягать...
Да, то не кулаки, а кулачища,
Такими только сваи забивать!

Елена
ДУНАЕВСКАЯ

* * *

Противна запоздалая награда:
Мы были правы, а теперь — пусты.
Пьем чай с черняшкой, и уже не надо
Ни горечи, ни нищей правоты.

Пора слагать и крылья, и вериги:
Мы все сказали, больше не дано.
Мы выжили, у нас друзья и книги,
У них — дележка. Не смотри в окно.

* * *

Неуклюже любили, и безграмотно верили,
И не пели светло и красиво.
На задворках истории, на задворках империи
Незабудки растут да крапива.

А потом подорожники на разломах асфальта
У разболтанных труб водостока
Да котята помойные. И — ни скрипки, ни альта,
Но скрежещет эстетика рока.

А потом захолустье превращается в свалку,
Бомж выходит, оборван и жуток,
И без голоса воет, словно бурому жалко
Той крапивы и тех незабудок.

* * *

На свою на беду, ни на чью на беду,
В Летний сад на прогулку себя поведу,
Время, взятое в долг, промотаю опять...
Может, это свобода — на ветер швырять
То, чем ты не владеешь? Наверно, она.
Но хозяевам сада — иная дана.

Дева села на льва. Нос у девы отбит.
Рядом дева живая шиньон теребит.
В светском обществе статуй крикливый плебей,
Кто-то думал — не думал: «Поди и побей
Этих мраморных тварей затем, что у них
Слишком мало проблем, а верней — никаких.

И за то, что они, разумеется, есть,
И за то, что легка их безглазая спесь,
И куда достоверней их мраморный сон,
Чем твоя беготня, и набитый вагон,
И дареный кусок, и незримый конвой...»
За свободу они заплатили с лихвой.

Но к чему из бедлама работ и долгов
Я твержу этот мрамор богинь и богов
Как любимый предмет, как забытый урок,
И, лопатками чуя незримый курок,
Для чего я прошу их меня подлечить,
И слегка обтесать, и свободе учить?

...Для чего-то... у статуй...

◆◆◆

Здесь оттепель зимняя длится годами,
И все города развезло,
И дети звереют, и звери гадают,
Какое сегодня число.

Здесь камни не помнят, и боги не судят,
И боль не окупит затрат,
И птицы с трудом пролетают, и люди,
Как статуи в ящиках, спят.

1980

◆◆◆

К чему ни притронешься, вещи трещат под руками:
То старая шуба, то дружба, то смысл перевода.
Защитная корка с души облетает кусками,
Как лед ноздреватый, и кажется страшной — свобода.

Но кто это, лом в заскорузлой зажав рукавице,
Над вами работает, голую боль оставляя?
Ведь если нет клетки, откуда же вылетит птица?
И мучает душу погода, погода сырая.

А может, привычка бежать от судьбы и заботы,
Кивать на погоду и сваливать все на давленье...
Стихи — репетиция смерти с дальнейшим полетом,
Верней, репетиция смерти, полет и продленье

Тягучей и тягостной выданной командировки,
И только покажется, что рассчитался с долгами,
Как — в собственной жизни и в собственном теле неловко,
И вещи трещат под руками, и лед под ногами.

◆◆◆

Весна несбыточна, и в воздухе всегда,
И день, похожий на преддверье чуда,
И друзы крупнопористого льда,
И чайки, как архангелы в кольчугах.

Следят стихий неслаженный квартет,
А он то дождик выдает помалу,
То, как фанфары,— сумасшедший свет,
И в смуте город камня и каналов.

И хочет город музыки от тех,
Чей голос оторвется от гортани —
И превращает в колоннаду смех
И в чайку — отрешенное страданье.

ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ САВИНОВ

СТРАНИЦЫ ТВОРЧЕСТВА



Невский проспект



Весна в городе



Лайбы на зимовке



Цветы и книги



За этюдом



Пруд



Портрет искусствоведа В. Домитеевой. *(Фрагмент)*

Михаил
ИВИН

ВОЙНА КОНЧАЕТСЯ В ПОЛДЕНЬ

Спите себе, братцы,
Все придет опять...

Булат Окуджава

КОТЕЛОК НА ДВОИХ

— Кухня!

Ржаво-коричневая двупалая рукавица на миг откинула плащ-палатку и дневной свет, обрызгнув лица полусонных людей, лежащих и сидящих вокруг печки, потух; в землянке вновь воцарился полумрак.

— Выползаем, кроты!

Помкомвзвода Сева Баков, по кличке Кроме, прихватив два котелка, ныряет в лаз.

— Соли не сыпь! — кричит ему вслед Дмитрий Михалев,— опять оставишь меня без хлёбова.

— Перебьешься, учитель, у тебя колбаса и шоколад в посылке,— отзывается уже снаружи Баков.

— Ну и наглец!..

Вчера, вскрыв посылочный ящик, Михалев разрезал три толстые палки сервелата на двенадцать порций и раздал ребятам. Само собой, и Бакову кусок достался. На шоколад тоже поднавалились. В сумке от противогаза — коробка, вместе с маской, конечно, вон выброшена, война все спишет — одна плитка осталась.

Послание от школьных учителей с Петроградской, вложенное в посылку, Михалев, как положено, читает вслух. Оглашение писем, даже самых интимных, одно из немногих развлечений обитателей землянки и никто не отступается от заведенного порядка.

Содержимое посылок раздают всем поровну и сразу. Но их пока что получают только ленинградцы: близко. Петро Стаднюк, сам с Полтавщины, как-то попросил Михалева:

— Напиши в мой колхоз, я потом своей рукой подпишу и от себя пошлю, хай пришлют жареного порося. Просыть невдобно, намек треба зробыть, щоб дошло до их.

Михалев сочинил: «Посылки идут к нам в роту почти что каждый день, но все из Ленинграда. Нас, кто издалека, конечно, угощают. А я рассказываю, как на Полтавщине поросят зажаривают и что это повкуснее ихних дорогих колбас. Так не верят, говорят — пиши, пускай пришлют, испробуем, зима крепкая, не испортится в дороге».

Стаднюк остался доволен — тонко намекнул учитель! Но дня через три после отправки письма Петро Стаднюка, раненого, увезли в госпиталь, и судьба жареного порося осталась неизвестной...

Михалев читает послание учителей: «Вы наш герой, мы гордимся вами!»

— Ох-хо! — заржали так, что песок сыпанулся через щелявый накат струйкой, как от близкого разрыва.

Да и как не ржать: связист-проволочник Дмитрий Михалев, в миру учитель истории, самый толстый, самый ленивый и самый неопрятный боец во всей роте. Про него даже говорят всерьез, что умывался он последний раз месяц назад, когда полк стоял еще на исходной позиции, на левом берегу Сестры-реки. Службист Баков, и тот не может принудить его растопить снег в котелке и смыть с физиономии копоть. «На его рожу сугроба — и то мало»,— смеются во взводе. Толстяк отшучивается: «Моется тот, кому лень чесаться». Вошки у героя тоже водятся. Но тут он не одинок, эти фронтовые подружки всем досаждают. С начала войны рота в бане не мылась.

Настырный Баков, вятский парень, служивший срочную службу, с Михалева спрашивает меньше, чем с других. Должно быть, обезоруживает Бакова непостижимая образованность учителя и его непрошибаемый ленивый скепсис. Иногда помкомвзвода принимается корить Михалева «за нарушение гигиены бойца», на что тот отвечает обыкновенно:

— Мы же собирались отвоеваться за неделю. Я и дал зарок помыться после победы. Не моя вина, что операция затянулась...

Хохот в землянке поутих, и Михалев сказал, что письмо, судя по стилю и почерку, писала его приятельница англичанка.

— Славная бабенка! Я ее обтрагивал иногда.

— Обтрагивал! Интеллигенция! Пользовать их надо, а не обтрагивать! — Это подал голос Петя Корягин. Он не раз похвалялся, будто одерживал десятки молниеносных побед над женщинами. Малый рост и корявое лицо Корягина давали все основания думать, что не так уж падки на него «бабенки», и он попросту травит. Но заводиться с иим — какой смысл. Задиристый, озлобленный, он может кинуться на обидчика. А кому охота ввязываться в драку с недомерком?

И Михалев отмахнулся от Корягина.

Баков выбрал себе в сотрапезники Михалева по причинам, непонятным для взвода. Один любит пересолы, другой — недосолы, а хлебать-то обоим из одного котелка!

Хорош он был, круглый котелок, в те поры, когда солдат, получив в походе пайку мяса и крупы, варил на костре для себя полусуп-полукашу. А кашевар Федя прикатывает из полкового тыла на облучке двухкотловой кухни. В нее впряжена мохнатая обозная лошаденка, от которой пар валит так, словно ее только что помыли в бане. Федя порядок знает — кухню он ставит в укрытое место, изрядно не доезжая до землянок. И уж он не станет ждать, покуда ты, доев суп, придешь к нему с тем же котелком за кашей. Сюда, на командный пункт полка, и снаряды и мины залетают, а Федя к ним непривычен, ибо полковые тылы противник не обстреливает — то ли не достает, то ли боеприпасы бережет. Шмякнет Федя в один котелок по быстрому два половника супа, в другой две порции каши и — давай, следующий!

Говорили, что уже появился кое-где в войсках алюминиевый котелок, уплощенный, легкий, с глубокой крышкой — в нее либо каши положить можно, либо чаю налить, если одно первое привезли. Но те, кто начинал финскую кампанию, призваны были по частичной мобилизации из запаса и котелки им выдали старого образца — круглые, без крышки.

Баков с Михалевым, как и все другие, чередуются: то один пойдет к Феде с двумя котелками, то другой.

Взводу — потеха. Вот, в свой день, тащится с котелками от кухни учитель. Все, кто ждет сотрапезников, топчутся у землянки. Тихо, ни вьюги, ни обстрела, можно поесть, присев на пенек, а то, пока лезешь, сложившись вдвое, в землянку, песок откуда-нибудь непременно в котелок попадет.

Баков, отведав суп, с сердцем:

— Трава! Опять соли не принес. Просят же тебя, как человека,— возьми щепоть, у Феди пачка на виду стоит всегда.

— А в чем нести? Во рту разве? Руки же заняты.

— Да в кармане шинели.

— А там махра. Отличная приправа для супа, конечно!

— Тогда жри сам!

— Попробую. Только тут, пожалуй, многовато даже для моего брюха.

Зато в свой день Баков тешит беса: кипет горсть соли в супный котелок и тут же Михалев, пригубив хлебово, выплевывает пробу, терпеливо дожидаясь, пока можно будет, не опережая сотрапезника, приняться за кашу. Второе блюдо Баков не присаливает.

Как-то вечером, в землянке, когда все сидели у бензиновой бочки, переделанной в печь, Михалев рассказывал:

— Мой знакомый, известный фармаколог, в начале первой мировой войны ушел с четвертого курса на фронт добровольцем. Тогда это называлось — вольноопределяющийся. До отправки в действующую армию он прошел начальный курс солдатской науки в Измайловском полку. Весь день проводил в казарме, а ночевал — дома, это разрешалось вольноопределяющимся. Занятия его не очень тяготили, словесность, по-теперешнему, политграмоту, он, по приказанию фельдфебеля, сам преподавал молодым солдатам. Но есть вдвоем из одного котелка он не мог приучить себя, его мутило. Мать купила ему судки, они только-только начинали входить в моду. В казарме новинкой сразу заинтересовался ефрейтор. Расспросив, что к чему, он крикнул солдату: «Иванов, в обед пойдешь на кухню, скажи, чтобы сюда клали на двоих. Мы из ентой штуки с господином вольноопределяющимся вместе исть будем...»

Землянка дружно грохнула. А Баков даже не улыбнулся.

— Чего ржать-то? Молодчага, ефрейтор, находчивость проявил. Таким типам, как тот студент, мозги вправлять надо. Противно ему с солдатом из одного котелка есть! В армию заразных берут, что ли? А ты, учитель, небось, с намеком байку рассказал. Расплеваться со мной хочешь? Навязываться не стану!

— Что ты, что ты! — протестует Михалев.— Я не брезглив. Да и вообще, считаю за честь хлебать из одного котелка с начальством! Вольноопределяющийся, тот даже ефрейтору не решился отказывать. А ты ведь у нас повыше чином — старший сержант!..

Ели Михалев и помкомвзвода из одного котелка до той поры, пока судьба не разлучила их.

Под Выборгом они вдвоем тянули связь комбату-три, капитану Кожевникову. В трудные минуты Кожевников внезапно появлялся в боевых порядках. Залегших под огнем бойцов он понуждал идти вперед с помощью лыжной палки — лупил, что есть силы, по задницам, выкрикивая: «Вперед, мать вашу, вперед! Перебьют лежачих, как курят!» Никто на него обиды не таил, он никогда никому не угрожал оружием, подобно комбату-два, майору Гринину. Тот не расставался с самозарядной винтовкой, то и дело наставляя ее на своих. Такого не прощают. А лыжная палка — что? Солдатскую задницу ею не пробьешь, она, помимо шинели, защищена ватными шароварами, под ними брюки ха-бе, а под брюками две пары исподнего — фланелевое теплое да летнее. На лыжах в такой амуниции передвигаться невмоготу, их и побросали, топали в мягких валенках...

Баков бежал, оставляя за собой смотаяный с катушки черный, пропитанный озокеритом кабель. Михалев, проверяя на глаз и на ощупь его целостность, иногда приседал, чтобы заизолировать поврежденную оплетку или сделать сросток. И тут впереди — разрыв. Михалев подхватил выпавшую из рук Бакова катушку и успел лишь приметить пробоину с рваными краями на каске лежащего помкомвзвода. Не останавливаясь, тяжелой трусцой, побежал дальше через редкий сосняк. До цели было уже совсем близко. Ничего не ощущал он, кроме тупой тяжести в голове и во всем теле: ни мыслей, ни чувств, ни страха, ни боли за брошенного Бакова. Все придавлено, придушено этим грузом: две катушки, одна непочатая, килограммов на двадцать, телефонный аппарат в неуклюжей деревянной коробке и самое ненужное — кинутая за спину, по-кавалерийски, родная трехлинейная. Не было никакого смысла гадать, убит Севка или ранен осколком. В любом случае Михалев по уставу права не имел, просто не мог задержаться возле сраженного. На то есть санитары либо уж могильщики. В разгар боя помощь упавшему возле тебя другу оказывают только в кино.

Под вечер, когда бой затих, лишь постукивали жестко станковые пулеметы, Михалева сменили на КП-3, и он разыскал своих. Они подчищали котелки, сгрудившись у валуна: Федя все-таки пробился с однокотловой кухней к штабу полка.

— Держи, еще не совсем остыло.— Лешка Фокин протянул Михалеву котелок.— И парочка мерзавчиков тебе.— Он вытащил из-за пазухи два стограммовика с водкой.— Вот кружка, слей.

— Почему два?

— Второй — помкомвзвода. Помянешь... Мы тут — уже...

Михалев неторопливо выпил водку и понюхал обломок сухаря, извлеченный из кармана шинели.

— Ты ведь тянул линию с Севкой? — спросил Фокин.

— Я.

— Подзадержаться возле него не было возможности?

— Думаешь, я бы с уставом посчитался? Кожевников нас уже видел, до него метров двести оставалось. Он мне кулаки показывал, орал что-то. Ты же знаешь, какой я бегун. А когда дотрусил до камня, у которого он стоял, так пока я аппарат подсоединял, он изматерил меня в три господа, чуть морду не набил. Ему артогня надо было позарез, минометная батарея финнов прижала седьмую роту на голом месте и косит, и косит. Но он человек, этот Кожевников. Когда батарейку задавили и рота пошла, сам вспомнил про Бакова, погнал к нему связного. Но уже много времени прошло. Севку унесли санитары или могильщики, связной не знал.

— Ясно теперь.— Фокин помолчал.— Музыканты медальон сдали писарям, мать и вдова похоронку получат. И деньги предъявили — десятку.

— У него двести рублей лежало в гимнастерке, в правом кармане. Мать зачем-то переводы посылала, может быть, думала, что у нас тут походные магазины с деликатесами.

— Я бы весь этот полковой оркестр перестрелял на фиг,— вмешался Андрей Коротков.— Похоронную команду из трубачей и барабанщиков сформировали, а они вон что вытворяют. Одного поймали, при мне разговор был, я в штабной землянке на аппарате сидел. Мародер форменный да еще кретин оказался. Через полевую почту надумал тыщенку переводом послать! Пусть теперь побарахтается в лагере лет семь. Высшую меру за другие дела дают...

Михалев достал из сумки алюминиевую ложку и, придвинув котелок, отведал густое варево.

— Ребята, соли ни у кого нет? — спросил он вдруг просто и серьезно.— Трава-травой этот супешник.

Все молчали, ошеломленные. Лишь алоязычный Коротков как-то странно хмыкнул, но осекся.

БРАТАНИЕ

Англичане говорят: слуги знают все, об остальном догадываются. Так и связисты — новость они снимают, как пенку с молока, никакой слушок мимо них не просочится.

Михалев подремывает, сидя в палатке в ногах у начальства. Справа уютно сопит широколицый, кирпично обветренный командир полка Утенков, слева — худой, верткий, изредка всхрапывающий начштаба Сутугин. Оба — в спальных мешках, белые бурки стоят наготове рядом, вороты гимнастерок расстегнуты.

Михалев спустил концы шапки, завязал их внизу: под них просунуты и плотно прижаты к ушам две телефонные трубки. Правое ухо — штаб дивизии, левое — полковой оперативный дежурный.

В первом эшелоне только одну палатку и ставят изредка на ночь, когда полк в движении. Комиссар Козаченков палатку знать не хочет, хотя спальный мешок имеет. Как ни вымотаны саперы в наступлении, они обязаны на ночь приготовить комиссару одноместную земляночку под тремя накатами. Леса хватает.

Козаченков приводит людей в некое оцепенение, хотя разносов не учиняет, не повышает даже голоса, а только читает мораль. Никто в полку не видел улыбки на его лице, землисто-сером от круглосуточного пребывания в укрытии. Шуток он не приемлет. Он постоянно насторожен, зажат. Комиссар начинен, как фугас толом, мощным зарядом неусыпной бдительности. В блиндаже под четырьмя накатами он не снимает с себя ни каску, ни автомат «Суоми», редкостный трофей, добытый разведчиками еще до штурма линии Маннергейма и тогда же поднесенный командиру полка. Утенков хотел было вернуть подарок разведчикам, кроме пистолета полковник никакого оружия при себе не держит. Но комиссар сказал, что в таком случае он автомат оставляет себе, а разведке дарит свой карабин. Утенков махнул рукой и уступил, не желая по такому поводу связываться с комиссаром, да еще при телефонисте, который изо всех сил старается сделать вид, что ничего не слышит...

Третий час ночи. У моряков это начало вахты дохлой собаки. Короткая приглушенная очередь на правом фланге. Будто сам «Максим», спросонок, без участия пулеметчика, пустил ее в белый свет, спугнув затишье. Голова Михалева тщится упасть с плеч, то вперед, то вбок, телефонные шнуры болтаются в такт.

Зуммер в правом ухе. Голос Димки Коробова, нагловатый, как всегда, но с какими-то необычными нотками:

— Давай десятого!

— Отдыхает.

— Буди! Мой срочно требует!

Начштаба схватил трубку, едва лишь телефонист дотронулся до него:

— А?.. Да... Десятый слушает...— Михалев улавливает каждое слово, произнесенное на другом конце провода: дивизионные связисты изолируют сростки добротно, им под огнем доводится работать реже, чем полковым. Для верности Михалев распустил узел под подбородком, прихватив вторую трубку рукой.

— Сутугин, внимай! — четко заговорила трубка.— Воюем сегодня, тринадцатого марта, до двенадцати ноль-ноль. И — баста. Противник капитулировал. Проследить, чтобы — ни одного выстрела после указанного времени, головой отвечаешь. После девяти ноль-ноль время сверять каждые полчаса.

— Есть, проследить! Поздравляю, товарищ полковник!

— И вас всех — от души, хотя и рановато. Я же сказал — воюем, воюем до двенадцати ноль-ноль. Вопросы есть?

— Да, есть. Мы, выходит, берем достигнутое, то есть граница пройдет по рубежу, до которого пробьемся к полудню?

— Больше возьмем! Не понял разве, что противник уже капитулироаал. Вам до новой границы за день, дай бог, маршем дойти, а не то что с боем.

— Зачем же?..

— Никаких зачем, товарищ майор! Есть приказ! — В трубке зазвучали жесткие нотки.— В двенадцать, после прекращения огня, противник начнет отвод своих сил. К рассвету мой помощник доставит вам карту и разъяснит порядок встречи со старшим офицером противной стороны... Ну, а теперь буди первого, с ним будет говорить хозяин.

— Он уже не спит. Передаю трубку.

— Степан Михайлович, с победой! — Михалев услышал тенорок командира дивизии Балицкого.

— Благодарю, товарищ комбриг. И вас поздравляю!

— Степан Михайлович, ты уже, наверное, слышал, последний день нелегкий. Воюем. Не просто воюем, а ведем наступательный бой в полную силу. Никаких демонстраций до последней секунды.

— Есть, товарищ комбриг! Но обязан доложить, что в батальонах человек по тридцать—сорок. Гринин убит, командиров взводов и рот почти не осталось.

— Знаю. Но мы солдаты, Степан Михайлович. Артподдержка будет мощная. Всем батареям приказано израсходовать полный боекомплект. Снаряды уже подвозят. С рассветом начинайте. Я к вам наведаюсь.

— Товарищ комбриг, я прошу не рисковать, к нам аедь только через дефиле [1] пробраться можно.

— Ну, ну, не запугивайте. Мой начштаба тоже яе велит, но я его как-нибудь уговорю...

Утенков и Сутугин покинули свои мешки.

— Я в первый батальон! — бросил командир полка, надев бурки и полушубок.

Начштаба, прикрыв спину меховым жилетом, сел к раскладному столу, освещенному переноской, питаемой аккумулятором, и зарылся в бумаги, готоая приказ о наступлении.

Спустя час Утенков попросил Сутугина сходить во второй батальон.

— Прихватите с собой начальника инженерной службы и представьте его там кому найдете нужным. Пусть покомандует, больше некому. Я бы, честно говоря, Стукушкина назначил, но ставить писаря во главе батальона неловко даже на один бой.

После ухода начштаба Утенков развернул карту и углубился в нее. В спокойныв часы, когда полк не двигался, его командир иногда любил поговорить с Михалевым. Утенков служил до финской кампании в Ленинграде в крупном войсковом штабе. Будучи меломаном, полковник хаживал с супругой, директором какого-то музея, в филармонию, куда наведывался и Михалеа.

На этот раз в палатке долго царила тишина. Утенков, обложенный карандашами, не отрывался от карты. Михалеа, скорее из простой воспитанности, нежели из чинопочитания, никогда первым не заговариаал с командиром полка на отвлеченные темы. И уж, конечно, связист не полезет сейчас с вопросом, который мучит его и который майор Сутугин так необдуманно пытался задать начштабу: «Зачем же?!»

Теперь, когда вахта дохлой собаки столь неожиданно прервалась и можно было не бояться, что уснешь на боевом посту, Михалев положил трубки на телефонные аппараты, а концы шапки подвернул и завязал сверху...

Утенков оторвался от карты и, обернувшись к Михалеву, вдруг спросил:

— Вы подробности Столетней войны помните?

— Обязвн помнить, товарищ полковник! Средние века — моя специальность как историка.

— Кто-то из Карлоа, их ведь было пруд пруди, занимал в то время трон, будучи сумасшедшим?

— Как же, Карл Шестой, французский. Он и в историю вошел с эпитетом — Безумный. На троне просидел лет сорок, но власти у него было не больше, чем у нынешних европейских королей и королев. Его просто устранили от дел.

— Да, да, он, кажется, даже в плен попадал.

— Совершенно верно. Захватили его бургундцы, союзники англичан. Но потом французы его выторговали и вернули к себе.

— Параноик был, что ли? — задумчиво, как бы про себя, произнес полковник.

— Вряд ли. Какое-нибудь тихое помешательство, скорее всего. Параноики властолюбивы, подозрительны, жестоки; свою власть не уступят и делить ни с кем не станут.

— Верно... Но вот ведь — в средние века умели отстранять безумцев от власти, если не формально, то де-факто. А в наши дни это не получается.

— Вы имеете в виду Гитлера? — не удержался Михалев.

Утенков не ответил и снова уткнулся в карту.

Перед рассветом, когда два степенных старикана из комендантского взвода пришли свертывать палатку, Михалева сменял на КП полка Вася Сапрыкин. Связистов Михалев нашел поблизости, в ложбине среди елей и валунов. Беспроволочный солдатский телеграф уже разнес по всему полку весть о том, что финны сдались. От Михалева потребовали подробностей. Когда он их изложил, то какие-то мгновения царило молчание. Его нарушил Яков Гринблат:

— Скажи, учитель, как это называется, когда людей гонят в атаку ни за чем?

— Логикой войны это называется, милый Яшенька.

— К едрене фене под свисток такую логику! — выкрикнул Коротков.

— А где у твоей Фени свисток?

В другое время пошла бы сразу трепотня. Но тут — шуточкя прочь. Заменивший Бакова младший сержант Сергей Савельев даже и не пробовал утихомирить людей. У него не было в запасе ничего схожего с баковским «Мальчики, кроме!..»

Поток изощренной матерщины прервался с появлением комвзвода, младшего лейтенанта Ларикова, потребовавшего внимания.

Лариков был моложе любого из своих подчиненных. Он получил взвод через две недели после начала финской кампании, придя на фронт прямо из училища связи

[1] Дефиле — ущелье или узкий, тесный проход. *(Прим. ред.)*

и заменив лейтенанта Краскова, раненного при весьма курьезных обстоятельствах.

А дело было так.

Полковой штаб разместился на ночь со своими службами на брошенном хуторе. Редкостная удача. Финские войска, отступая, не просто уводили население, но старались сжечь дотла все постройки, что, по логике войны, вовсе не было бессмысленным делом: днем Иваны наступают, а на ночь мы им вместо крова предоставляем наше холодное небо. Уцелевший случайно хутор или поселок занимали обычно крупные штабы и тыловые части, которым несть числа. Те, кому на утро идти в бой, коротали длинные ночи под звездами. И это — тоже логика войны...

Взводу Краскова досталась крохотная банька. Среди ночи лейтенант выбрался на волю помочиться. И так он был запуган рассказами о ночных нападениях финских разведчиков, бесшумно орудующих ножами, что не выпускал из руки наган, даже расстегивая ширинку, хотя баньку охраняли двое часовых... И вот Краскова с простреленным бедром отправляют в медсанбат.

В полку смеялись. А потом Краскова стали и жалеть: прошел слух, что после излечения бедолага предстанет перед трибуналом за самострел.

В роте связи никто не верил, что Красков мог ранить себя умышленно. Для этого ведь тоже нужна решимость. Как-то, к слову пришлось, Михалев рассказал ребятам историйку. Выбрали его однажды делегатом на городскую учительскую конференцию. По своему обыкновению, он опоздал к началу. Войдя в зал, увидел на трибуне незнакомого ему человека. Отыскав свободное место, Михалев уселся и вполголоса спросил у соседа, кто этот оратор. «А, по-моему, никто!» — невозмутимо ответил сосед.

Андрей Коротков, выслушав рассказ, немедленно заключил:

— Так ведь это наш взводный речь держал тогда! Ты вспомни!..

Быть может, Красков в мирные дни был или казался иным? Никто этого не знал, он появился в роте дня за два до начала кампании. Война как-то прикончила его сразу, не нанеся ему даже царапины. Он стал пикем. Взводом управлял Баков, лейтенант принимал все, что предлагал ему помощник.

Большинство в роте считало, что предавать суду Краскова — жестокость. С упрощенным судопроизводством шутки плохи. Следователь-скоростник, да и председатель трибунала наверняка припрут обвиняемого к стенке убедительным вопросом: «Как вы нам докажете, что выстрел был случайным?» Запуганный, растерянный лейтенант, с которого загодя содрали знаки различия, вряд ли решится задать встречный вопрос: «Почему я должен что-то доказывать? Это вы докажите, что я самострел».

Все это подробно обсуждалось во взводе. А Петя Корягин подкинул еще такой довод:

— Ведь наверняка спросят: «Если выстрел случайный, то почему пуля попала именно в мякоть бедра, а не в половой член, скажем?» Самострелы, и верно, всегда устраивают себе легкие ранения... Вот и попух наш бывший взводный.

Полк ушел вперед и связисты так ничего больше и не узнали о судьбе Краскова...

В честь вождя революции при рождении Ларикова нарекли Владленом. Высокое имя сковывало его с детских лет, как панцирь, принуждая быть, или казаться, образцовым во всех отношениях. Понемногу это вошло в привычку. Он не мог заставить себя матюгнуться, хотя понимал, что без матерщины воевать в русской армии трудно. Его подчиненные, наверное, относились бы к нему менее снисходительно, если бы он обкладывал их в три господа и в душу. А дело взводный знал, без нужды не совал людей в огонь и сам в бою не проявлял ни робости, ни растерянности.

...Потребовав внимания, Лариков объявил:

— Фокин и Гринблат — в первый батальон, Михалев и Коротков — во второй, Савельев и Горшков — в третий. Все батальоны атакуют. Задача полка прежняя. Порывов на линиях связи предвидится много, противник, несомненно, будет вести сильный ответный огонь из орудий и минометов. Вопросов нет? Все. Отправляйтесь...

Сначала глухо ударил из глубокого тыла большой калибр. За ним вступили гаубицы, их снаряды шли над головами с прерывистым шорохом. И вот уже голосисто затявкали полковые пушчонки, эти назойливые артшавки, зататакали станковые пулеметы. Звучность боя нарастает, будто Сатана-дирижер взмахами палочки вводит в дело все новые и новые группы инструментов своего адского оркестра.

Коротков и Михалев устроились с катушками и телефонным аппаратом между двух валунов: один прикрывает их с фронта, второй — с тыла. Примяли телами снег — создалась ложбинка. Быстрый Коротков, пока Михалев подключал аппарат, поработав лопаткой, набросал с боков снежные валики. В этой ухоронке можно спокойно лежать, покамест не скомандуют тянуть линию за наступающим батальоном.

— Вздремнем для начала, что ли,— Коротков завалился на бок, голову положил на катушку.— Мороз, по-моему, не больше двадцати. Против февральских сорока — почти что оттепель. Довоюем как-нибудь, учитель, едри его в душу и в печонку. Меньше четырех часов осталось.

По краю узкой лесистой гряды разбросаны без счета валуны. Сказочный герой засеял это место камешками, выросли из них за тысячи лет громадные каменюги. Еще там, в землянке, Кравцов однажды спросил у Михалева, откуда в Финляндии столько камней. И не поверил, что это куски Скандинавских гор, отщепленные и притащенные сюда ледником: «Брешеть таоя история!» Михалев сказал, что ледниковым периодом занимается не история, а геология. «Ну, дак и яна брешеть!» — стоял на своем Кравцов. Где он теперь, наивный и хитроватый Алесь Кравцов? Мается в госпитале? Отняли ему раздробленную в колене ногу или залатали кое-как, и он уже шкандыбает, опираясь на палку с резиновым наконечником?..

За валунами — не то луговина, не то болото, белое ровное покрывало шириной метров четыреста. По нему надо пройти, проползти на брюхе, пробежать, непременно дорваться до сопочки в сосняке, где загодя укрепились финны. Третий батальон наступает по ту сторону гряды: перед ним белым саваном расстелена такая же луговина. Первый батальон атакует прямо по фронту через лес.

За соседним камнем — комбат до полудня, он же начинж, Волосов и писарь Стукушкин. Уже рассвело. Волосов извлекает из планшета карту. Оба тыкают в нее пальцами, обмениваясь короткими репликами. Потом Волосов, убрав карту, поднимается, придерживая бинокль, делает шаг вперед. «Эй!»,— успевает крикнуть писарь. И — разрыв. Волосов упал. Стукушкин метнулся, прилег рядом, глянул в лицо, заорал, полуобернувшись: «Связной, санитаров! В большой воронке сидят». И к телефону...

— Товарищ полковник, докладывает писарь Стукушкин. Капитан Волосов ранен... Тяжелое осколочное... Бегут с носилками... Бойцов и младших командиров тридцать восемь... Станковый один, ручных три... Но я же, товарищ полковник... Есть, принять батальон! Есть, приготовиться к атаке!..

А батальон спит. Серые фигурки валяются на снегу между камнями, как неживые. Перед каждой фигуркой — снежный валик, на валике — винтарь. Этих дядек привезли из Сибири, в телятниках, прямиком под Выборг. И прямиком — в бой. Четвертое, не то пятое пополнение за три с половиной месяца войны.

...В первый день штурма линии Маннергейма старшина восьмой роты привез из тыла водку. А пить некому, Коротков и Михалев топали с передовой к штабу полка и приостановились возле саней, в леске. Андрей погладил меринка и зло срифмовал, обращаясь к приунывшему старшине:

— Твоя рота полегла у дота. В штыки на бетон шла. А у финна система огня подработана будь-будь. В три слоя. Лежачего подметет, если голова не за камешком. Писарь да вот ты уцелели.

Старшина вдруг всхлипнул и как-то жалостно, совсем по-бабьи, запричитал:

— Ребята, да что же это... Да как же... У меня же тут на весь списочный состав водка и корейка. Утречком, когда уезжал, семьдесят три человека числилось... Эх, в дрезину, в душу мать, провались все! — Он мазнул рукавицей по лицу, смахивая уже ставшую сосулькой слезу, и вдруг сдернул с саней толстую попону. Из ящиков выглянули, словно подмигивая, белые головки сталинских мерзавчиков.— Бери, ребята, кто сколько хочет! Бери, бери! — закричал он раненому, рука на перевязи, спешившему в тыл; тот глянул с изумлением на сани, приостановился было, потом махнул рукой и ускорил шаг.

— Ее, заразу, на морозе пить, себе дороже,— сказал Коротков,— посинеешь, озноб забьет. В теплой хате грамм четыреста дернуть с холода — другое дело... Пошли, учитель!..

Известив сержантов (их осталось трое), что ему приказано вести батальон в бой, Стукушкин велел им готовить людей к атаке.

И тут — ликующий крик наблюдателя:

— Финны идут!

— Ого! Живем, значит! — Стукушкин привстал, глянул в бинокль и — к аппарату: — Живо, хозяина!.. Противник атакует позиции батальона!.. Две роты. На лыжах цепью идут... Есть, отразить, товарищ полковник! Есть, не переходить в наступление без приказа!..

А батальон спит.

— Связной, на правый фланг к Федькину! Не открывать огня из «Максима», пока я зеленую ракету не дам... Эй, вы, мать вашу, подъем! Ну, барсуки! — Писарь-комбат, чуть пригнувшись, заплясал на серых фигурках. Кому — пинка, кому на задницу вскочит, да еще подпрыгнет.— Огонь, огонь, противник наступает!..

Теперь атакующие видны всем. Скользят легко без палок — в бою палки лишь помеха. Чудится, что фигуры в белых саванах плывут над снежной гладью, что это привидения, вызванные из небытия и аявшие оружие, чтобы покарать нечестивых пришельцев...

Связисты выдвинулись чуть вперед из своей ухоронки, приготовили винтари, которыми за всю войну ни разу еще не попользовались.

— Учитель, мы же такого еще не видали! — Коротков передергивает затвор.— Одного не пойму — чего они-то сейчас поперли в атаку? Смерти ищут, что ли?

— Все остальное, значит, тебе понятно? — Михалев, лениво двигая затвором, тоже досылает патрон в патронник.— Может быть, уцелеем. Оборону держим! Умница Стукушкин! Докладывает — две роты, а их человек сорок.

Ружейный огонь мало тревожит атакующих. Коротков успевает истратить четыре патрона, Михалев — три. Но вот зеленая ракета. И сразу — кинжальный огонь «Максима» с фланга. Длинная заливистая очередь, потом, раз за разом, короткие, отрывистые, словно разделенные многоточиями.

Белая цепь распалась, истаяла. Часть фигурок метнулась вперед, к лесистому обрыву, к большим валунам — в зону, недосягаемую для огня; часть повернула обратно; а некоторые залегли, либо полегли.

Стукушкин не спешит докладывать, что атака противника отражена. И его не беспокоят, деревянная коробка телефонного аппарата молчит...

Тем временем Утенков, ввалившись в штабной блиндажик, докладывает комбригу:

— Я из первого батальона. Продвижение незначительное. Большие потери. В третьем — такая же картина. Второму батальону повезло — противник предпринял против него упреждающую контратаку силами до двух рот...

— Мне докладывали, и я, каюсь, усомнился, думал — уловка. Но раз вы, Михаил Степанович, подтверждаете, то верю! А писарь-то ваш, которого вы на батальон поставили, справится?

— Не сомневаюсь, товарищ комбриг!

— Ну, ну... К награде его представьте... Пробовал к вам пробиться, но не вышло.

— Дефиле под прицельным огнем, товарищ комбриг, а на озерах лед взломан, плотину где-то открыли, видимо...

Отразив атаку и не понеся потерь, второй батальон вновь уснул под слитный рев орудий. Бодрствовали, кроме связистов, два наблюдателя — пулеметчик у «Максима» и Стукушкин. Все они были начеку, стараясь без крайней нужды не высовываться из укрытий: финские стрелки, засевшие где-то поблизости и хорошо замаскированные, усилили прицельный огонь.

Коротков вдруг схватился за живот и заныл:

— Приперло, сил нет никаких, придется отбежать назад, вон за ту елку...

— Делай в штаны!

— Да, мать его!..— Он привскочил, волчком развернулся для перебежки и упал навзничь.

И сразу очередь ручного пулемета. И с разлапистой густой ели валится, сбивая снежные комья, белый куль.

— Шевельнулся, приятель! — кричит пулеметчик.— Я давно его высматриваю.

— Санитары! — Михалев бросился к Андрею. Развороченный, окровавленный подбородок. Глаза открыты, взгляд спокойный. Шок. Разрывная пуля, как видно.

Эх, Андрей, Андрей, эх, горячка... В каком виде прибудешь ты после госпиталя в любимую Москву? Было у тебя породистое удлиненное лицо, крупное лицо мужчины хороших кровей. Бабы к тебе лезли, сам рассказывал. А теперь? Признает ли тебя табельщица Валька? Она-то уж как старалась завлечь тебя, убежденного холостяка, на брачное ложе. Но, скорее всего, ты и не вернешься на свой автозавод. Там тебя, такого, с укороченным лицом, жалеть станут. А уж этого ты не вынесешь, в морду готов дать за один только жалостливый взгляд. Пойдешь работать в какую-нибудь шарагу, где никто тебя, красивого, не знал. Цеховому технологу дело найти нетрудно...

С тем и задремывает в своей ухоронке учитель Михалев, приобняв деревянный короб полевого аппарата, положив голову на катушку.

Сначала — рев органа, в капелле на Мойке. А потом — Сочи. Кавказская Ривьера. Волны с тяжким грохотом бьют в стенку. Он сидит рядом с Надей на парковой скамье и разглядывает ее коричневые загорелые ноги, поросшие светлыми редкими волосками. Волоски его будоражат... Надя-медсестра, меряет пульс у курортников, принимающих ванны Мацесты. Когда она появилась в его кабинке второй раз и, вынув из кармашка халата песочные часы, взяла его за руку, он сказал: «Сто двадцать, не меньше!» — «Почему? Всего семьдесят».— «Да потому, что вы меня очень волнуете!» Он повернулся на бок, ему сделалось неловко. «В ванне нельзя ворочаться.— Она отвела глаза.— Лежите спокойно на спине. А вообще я могу присылать другую сестричку, чтобы вы не волновались». Ушла, не оборачиваясь. Потом появлялась еще и еще. Потом они стали ходить в лес, он расстилал свою махровую простыню...

Сильный, рвущий барабанные перепонки, треск пробуждает Михалева. Шрапнель разорвалась в кроне ели, той самой, под которой лежит белый куль. Михалев просунул левую руку под ватные шаровары, извлек из кармашка хлопчатобумажных брюк часы. Без двадцати двенадцать... Еще один близкий разрыв. И еще один. И еще. Неужто и финнам дали приказ израсходовать весь боекомплект?.. У нас бека, «бык» — тысяча снарядов. А у них?.. Поеду в Сочи, отыщу Надю. Как она рыдала, когда я собирался уезжать. Да, привезу ее в Ленинград. С Верой улажено, только развод оформить.

Батальон проснулся от нахлынувшей внезапно тишины. Ее слышно, она давит на

уши. Минута молчания и неподвижности — никто не решается встать первым. И вот робко, озираясь, еще не вполне веря, что живы, еще полуоглушенные, оцепенелые, поднимаются люди в полный рост. А за камнями, впереди, возникают белые фигуры. Уже не тени, а солдаты с оружием. Человек десять. Откинули капюшоны. Лица ясно различимы. Так и стоят, одни серые, другие белые, глядят друг на друга потерянно.

Пригревает солнце. Затутукал вдруг дробно, быстро, дятел, вызвав первые улыбки на лицах. Отсиживался, видно, в дупле, проголодался, страху натерпелся.

Огромные ели простерли свои лапы, нагруженные снегом, осеняя и благословляя заглянувших в ад человечков, белых и серых, верующих и веры не познавших.

Слезы душат Михалева. Зарыдать бы на весь лес, исплакаться бы всласть, но...

Финны пришли в себя первыми. Побросали винтовки в кучу и двинулись вперед. Шагов двадцать сделали, приостановились. Наши переглядываются — начальства никакого, Стукушкин и тот куда-то подевался. Оружие бросать, как эти чудики, негоже. А те стоят, ждут. Один из наших сообразил, приставил винтарь к ели, другие сделали то же. Теперь пошли те и другие, сошлись как раз на середине, стоят опять, разглядывая друг друга в упор.

Михалев подошел не сразу, насилу уговорил связного посидеть у аппарата. Попробовал по-английски — не понимают; по-немецки — тот же результат. Призваны, видно, с каких-то отдаленных хуторов; обмундированы разномастно, один даже в штатском; лишь пьексы у всех одинаковы, добротны, удобны — сунул загнутые носы под тугие резинки, укрепленные на грузовых площадках лыж, и понесся.

— Извоевались! — сочувственно роняет заросший густой щетиной стрелок.— Ентому в поддевке коло пятидесяти будет. А те двое — совсем ишшо пацаны. И то сказать, где им солдат набраться против нас. Это мы хуч год, хуч два, хуч десять можем людишек в огонь подкидывать, как щепу...

Пошла мена — тут языковой барьер не помеха. Деньги — на деньги, кокарды и значки на пятиконечные звездочки с шапок. Розовощекий мальчик протянул Михалеву пару бутербродов, аккуратно упакованных в вощеную бумагу. Учитель, не раздумывая, предложил ответный дар — огромный кусок рафинада. Мальчонка даже было отпрянул, сахар был облеплен махорочной пылью, но потом взял рафинад двумя пальцами и быстро сунул в карман. Другой мальчуган, сияя улыбкой и что-то лопоча, показывает фотографию милоаидной девушки. Показалось даже, что он готов подарить русскому эту карточку. Всё меняли, кроме пукко — ножа, висевшего у каждого финна на поясе. Михалеву очень захотелось заполучить настоящий пукко и он пустил в ход козырную карту — новенькую краснук купюру с портретом Ленина. Не помогло.

— Вишь, они какие! — изумился стрелок, заросший щетиной.— Ружье бросает, как дровину, а нож, значит, его собственное личное оружие. За тридцатку не отдает!

В разгар мены явился Стукушкин со своим приятелем карелом, полковым писарем.

— Давай, переводи, Тойво. Спроси, за каким хреном они пошли в контратаку?

— Говорят, офицер велел всем, кто прорвется к камням, залечь и вести огонь по русским.

— Ну, это мы и сами сообразили,— проворчал Стукушкин.

— Еще говорят, что в атаку пошли добровольно, кто хотел, многие, чтобы не сидеть без дела, ожидая смерти от русской артиллерии. Утром, на их участке тяжелый снаряд пробил накат убежища — погиб почти целый взвод.

— Тоже догадываемся,— обронил тот же стрелок.— Пехота наша шла задешево в распыл, а уж артиллеристы издаля давали им прикурить.

— Ну, хлопцы, кончай базар,— скомандовал Стукушкин.— Мне и так, чувствую, сделают хорошее вливание за эту дружескую встречу... Разобрать оружие, привести себя в порядок, приготовиться к построению...

Финны тоже заторопились. Похватали винтовки, встали на лыжи и усвистали. А вскоре прибежали с лодочкой-волокушей, налегке, в кителях, два солдата; уложили, не сходя с лыж, сбитого с дерева снайпера, не забыв подобрать отлетевшую в сторону каску, и увезли. Михалев разглядел юное лицо, на котором не успела отразиться смертная мука, и рыжеватую прядку, вылезшую на лоб из-под серого подшлемника...

Остатки полка плетутся в тыл. На новой границе встанут молодые, чистенькие, с зелеными околышами. А вояк ждут: походная баня в большой шатровой палатке (пол устлан колючим еловым лапником, две шайки тепловатой воды на брата); вошебойка (пока моешься — прожарят обмундировку); жратва в свое время и, по первости, сон вволюшку. Дальше — переформировка. Пригонят молодых, которым служить срочную, а приписных, отвоевавших, может статься, домой к бабам отпустят. Может статься... А вообще-то, военное начальство, как брать людей, так не мешкает, а увольнять не торопится. Бабы и потерпеть могут. И то сказать — воевать, оно всегда к спеху, а в постели дело делать — успеется...

Связисты шагают в хвосте жиденькой колонны, нога за ногу, растянулись. Вроде налегке идут, но и винтарь уже пуд весит, хочется кинуть его на салазки, где уложены аппараты и катушки. А уж одежка и разбухшие валенки!

— Мы обложены ватой, как недоноски в родильном доме,— стонет Михалев.— Грелок только не хватает.

Обсуждают последние новости. Фокин говорит, что от первого батальона рожки да ножки остались. Комбат Данилов, при котором они с Гринблатом находились неотлучно, получил осколок в бедро, но оставался в строю до конца.

У Гринблата забинтована левая кисть.

— Такие раны плевком залечивают,— прихохатывает Фокин.— А Яшка заставил меня чуть не полпакета извести.

— Во-первых, ты сам вызвался, я тебя не просил, санинструктор был поблизости; и ты схалтурил, вон, видишь, просочилось. Во-вторых, вспомни, я тебе под Лейпясуо перебинтовывал большой палец левой руки, а там и крови почти что не было.

— Сравнил хрен с пальцем! У меня было сквозное, пуля прошла на сгибе фаланги, а тебя чиркнуло по мягкому краю малюпусеньким осколочком... И ты, Яшка, все-таки стерва — на любимую мозоль другу наступаешь...

Под Лейпясуо, при штурме линии Маннергейма, Фокин в течение суток мотался без смены на линии, под многослойным огнем поддерживая непрерываемую связь комбата Кожевникова со штабом полка. Ни один связной не мог пробиться там, где Пашка, уткнувшись носом в снег, устранял порывы и, включая аппарат, бодро выкрикивал: «Я Фокин! Как слышно?» Утенков решил представить связиста к высшей воинской награде, а комиссар заскрипел: «Где тут подвиг? Стихийность. У нас подвиги готовятся. Да и хвосты у него есть, у этого Фокина. Из флота списан за самоволки и хулиганство. Палец у него прострелен — а как докажешь, что он не нарочно руку выставил?..»

— Да, Паша, удружил тебе комиссар,— сказал Сапрыкин.— Даже орденочка никакого не отмусолили.

— Да мне же, Вася, насрать, понимаешь... Жив остался — это получше любого ордена!

— Понимаю, Паша... А сегодня комиссар насчет Стукушкина такой бдеж развел — уши у меня повяли.

— Ну-ка, ну-ка, расскажи,— встрепенулся Михалев.

— Его, говорит, наказать надо крепко за то, что он организовал братание наших бойцов с финнами. Сверху, говорит, таких указаний не было. Командир полка ему — брось ты преувеличивать и нагнетать, ничего он не организовывал, просто финны были близко, ну и сошлись. А тот бурлит, как пшенная каша в котелке. Хочешь загладить... Непринципиально... А ты знаешь, говорит, что финны звездочек наменяли у наших бойцов? Наберет шюцкоровец звездочек и к офицеру — вон я сколько Иванов уложил, давай награду. Это что тебе — шуточки?! Ну, тут Утенков и не выдержал, ушел из блиндажа, дверью так дал, что песок посыпался. Дышать, видно, стало нечем, полную землянку набдил комиссар...

Смолкли. Шагают мимо огневых позиций двухсотмиллиметровок. Пустые зарядные ящики сложены в штабеля, подносчики и заряжающие убирают елки, маскировавшие батарею. Рослые, ладные молодые артиллеристы с сочувственным любопытством разглядывают обшарпанных небритых дядек. У кого шинель прожжена, у кого хлястик болтается, кто винтовку вскинул прикладом вверх, будто ружейный охотник; у одного ушанка наверху завязана, как положено, у другого концы свисают, болтаются.

— Оттуда, с самого передка идут!..

Продтылы. Грузовики, увизшие по ступицу в снегах. Сани, сани без конца. Обозные лошади, жующие у коновязи сено. Кухня. На крышке огромного супного котла, видно, еще теплого, спит, свернувшись, как кот, повар в зеленом ватнике.

— Э, да это же наш! Привет, Федя! Подъем!

Федя сел, похлопал зенками.

— Привет, связисты! А вы финнов живых видели? Говорят, некоторые с ими ручкались и даже лобызались?

— Не ручкались и не лобызались, Федя,— отзывается Михалев.— Сошлись, поговорили, деньгами менялись. Ну и разошлись.

— Ой, да как же, да я бы их, гадов, собственными руками! — Федя спрыгнул с котла и выставил сжатые кулаки.

— Слышь, Федя! — Сапрыкин приостановился, отвернул полу шинели и, оборотясь спиной к повару, похлопал себя по засаленному, отполированному до блеска, ватному заду: — Поцелуй его, финна, вот сюда, в жопушку!..

— За что же это ты меня так?! — румяное лицо Феди исказилось как от внезапного удара хлыстом.— За что? Я — от души, а он...

Но Сапрыкин пошагал дальше, не оборачиваясь.

— Вась, зря ты его обидел, что это на тебя накатило? — с досадой сказал Фокин.

— Болван потому что... Много их тут ошивается, храбрецов!..

— Не такой уж он и болван. Тут, брат, и неглупый ошалеть может...

1975 г.

Евгений КАМИНСКИЙ

◆◆◆

Жизнь все хватаем по кускам...
А где она? — Ни вам, ни нам
она никак не достается —
скользит, как ветер по вискам...
Или дрожит — как из колодца
в ведре — один литой кусок
лица, деревьев, неба, солнца...
и сбоку адавлен волосок.
И вот она струею льется
и разбивается у ног.

Смотри, она совсем сквозная,
несвязанная, но сплошная —
черпаешь — не перечерпать...
К ней припадешь, чтобы напиться
и — хвать!.. Да не за что схватиться —
текучая, рукой не взять.

И сердце вдруг так больно тронет
овчины клок на небосклоне,
и душу повернет вверх дном
картина: взмыленные кони,
взорвавшись брызгами в затоне,
подняли радугу столбом!

Мать

Она приходит каждый вечер.
Ее приход здесь всякий раз
печальным шепотом отмечен
и блеском любопытных глаз.

Она спешит к последней двери,
к палате «40», где давно
больной врачам своим не верит
и больше не глядит в окно.

И вот, в халате не по росту,
устало подобрав подол,
она вытаскивает простынь
из-под него. И моет пол.

А после греет руки сына
в своих ладонях, но огонь
ее шершавых рук не в силах
согреть холодную ладонь...

И до утра, при тусклом свете,
теплом тяжелым надышав,
они молчат над краем смерти,
до судороги пальцы сжав.

◆◆◆

Сойду с опустевшей платформы
и вот затеряюсь во тьме.
Как черное небо просторно!
Довольно и этого мне.

Под шквалом дождя проливного
я встану, всей грудью дыша,—
и канет бессильное слово,
и облаком станет душа.

Елена
БОННЭР

ПОСТСКРИПТУМ

Книга о горьковской ссылке

Посвящается Андрею

Самолет завис в воздухе над серединой Америки — все внизу движется так медленно, что, похоже, стоит. Так же стоит абсолютной голубизны небо — иллюзия покоя исходит от полного отсутствия облаков. Я, пожалуй, никогда не летала при столь ясной погоде, при такой отчаянно полной видимости. Середина Америки — горы, языки снега и ледника, темные обвалы леса, натянуто-прямые ниточки дорог, блестящие блюдечки озер, домики, как для кукол Дюймовочки. Иногда большие пространства без жилья — видно, и Америка не везде обитаема.

Середина моего пути от Сан-Франциско до Бостона — я возвращаюсь. Возвращаются люди домой, а я? Куда? Середина между небом и землей. Как найти точку отсчета, если это называется «небо»? И еще — середина моего путешествия в Италию и США: это уже не в пространстве, а во времени середина. 90 дней мне отпустила Москва, а сейчас — щедрость необычайная — добавила еще три месяца. Итак, 180 дней свободы, и я нахожусь в их середине. Середина свободы. Пожалуй, я никого еще не встречала, у кого точно известно, сколько еще ему отпущено и когда, а у меня все проставлено в главном документе — паспорте — и скреплено печатью. Правда, при этом я не знаю, что́ по возвращении получу в обмен на заграничный паспорт — удостоверение ссыльной или обычный паспорт. Если я ссыльная, то мне на поездку полагалось бы выдать путевой лист и указать, что я отпускаюсь на лечение с временным прекращением исполнения приговора — есть такое положение в законодательстве. А может, я помилована — ведь я подавала прошение, как в старину говорили, «на высочайшее имя». Куда ни глянь — все середина. Начало — середина — конец.

Я написала: середина путешествия. Но это по здешним, западным представлениям путешествие начинается с того, что человек трогается в путь — садится в машину, поезд, самолет, идет пешком. Кстати, а ходят ли здесь — мне все больше попадалась бегущая Америка. Мне кажется, что вся страна — это подросток, бегущий в школу. А у нас «дальний путь» начинается с ОВИРа. Для непосвященных — отдел виз и регистраций; бывает районный, городской, областной, республиканский, всесоюзный — или союзный — не знаю; относится к ведомству, которое называется МВД — министерство внутренних дел. Существует, кажется, с тех пор, что и государство, и только что в Сан-Франциско мне довелось встретиться с одной из давних его клиенток. Родилась в США. В 20-х годах приехала с родителями в СССР строить коммунизм. Подала заявление о выезде в 1937 году. Получила разрешение в 1941 году, перед войной. Сейчас преподает в Беркли.

Итак, я пришла в ОВИР (районный) 25 сентября 1982 года. Дата связана с человеком, о котором сейчас читает в газете мой самолетный сосед,— это не литературный прием, а чистая правда, все читают сейчас о Толе Щаранском. Я специально приехала из Горького, чтобы Толина мама, Ида Петровна Мильгром, могла встретиться у меня дома с иностранными корреспондентами. Мы должны были объявить, что Толя 27 сентября начинает голодовку. В то время родным Толи трудно было найти в Москве дом, где они могли бы это сделать. Я приехала заранее, и у меня оказались свободными два дня, их как раз хватило, чтобы получить и заполнить анкеты, два экземпляра, на машинке, без помарок и исправлений. Фотографии у меня были готовы давно (ух, и страшна же я стала!). А необходимость думать о поездке появилась уже с весны,

---

«Нева» знакомит читателей с журнальным вариантом книги Елены Георгиевны Боннэр. Книга вышла в Париже, под маркой Editione de la Presse Libre, в 1988 г. Подстрочные примечания взяты из этого же издания; некоторые из них уточнены автором.

Текст приложений см. после окончания публикации.

когда после гриппа было обострение увеита в левом глазу, а в правом вновь стало прыгать давление. В ОВИРе все прошло без особых осложнений, так как копия свидетельства о смерти моего отца у меня была с собой. Я знала по прошлым годам, что прочерк вместо указания места его смерти всегда вызывал беспокойство нижнего чина МВД, принимавшего документы. Других несуразностей этого документа он не замечал, а там год смерти был 1939, а запись о смерти сделана в 1954 году — кто хранил это в памяти? И места смерти нет вообще — только прочерк.

Я была довольна, что подала документы,— вроде сделан какой-то шаг. Но, даже предполагая, сколько еще будет трудностей впереди, пока получим разрешение, я все же и представить не могла, каким будет этот путь на самом деле. А сейчас я в самолете над серединой Америки — сосед справа читает газету; скосив глаза, я вижу фотографию: улыбающийся Толя (выглядит неплохо — откормили перед обменом), прислонившаяся к его плечу серьезная Авиталь. Сосед слева дремлет, и на коленях — журнал «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт», на обложке портрет, приспущенные веки, худое изможденное лицо — вот он, Андрюшин путь к моей поездке в Америку. Его письмо президенту советской Академии наук (прил. 9), его надзорная жалоба по моему делу (прил. 10) — это только часть того, что было с нами за три года, прошедшие со дня подачи мною заявления в ОВИР. Все, что не рассказал он, теперь должна рассказать я.

У меня очень мало времени. У меня не очень много сил. Мне не хочется вспоминать — хочу забыть, так отличается от нормальной жизни и вообще от жизни здешней та, которой мы жили там. Рассказ невеселый, и его трудно сделать развлекательным. Это еще не воспоминания — для них все слишком близко и слишком больно. Здесь хорошо бы дневник, но в нашей жизни писать дневник нельзя, обязательно попадет в чужие руки. Это скорее всего хроника. Так как у меня нет времени, чтобы сделать из нее то, что можно назвать книгой, то пусть уж те, кому захочется читать, так и воспринимают. Я же постараюсь быть максимально точной в изложении. Для меня самой это еще и «После воспоминаний», «Post scriptum»,— «Воспоминания» писал Андрей, я же была их инициатором, потом машинисткой, редактором и нянькой. Все, что я сделала как нянька, чтобы они выжили, стали книгой и дошли до своего читателя, стоит других «Воспоминаний» или, может, детектива, но этому еще не пришло время. Андрей поставил дату окончания своей книги 15 февраля 1983 года. Я начну с этого дня.

1

Мы праздновали мой день рождения вдвоем — оба были нарядно одеты, были цветы, Андрюша рисовал какие-то плакаты, я стряпала так вдохновенно, будто ожидала в гости всю свою семью. Было много телеграмм из Москвы, из Ленинграда, от детей и мамы. То, что я наготовила, мы ели три дня. Но пришло время все же пополнить запасы, и я поехала на рынок — день был, по горьковским нормам, теплый и ясный. Когда я вернулась и Андрей открыл дверь на мой звонок, я не узнала его: чисто выбрит, серый костюм, розовая рубашка, серый галстук и даже жемчужная булавка (я подарила в первую горьковскую зиму на десятилетие нашей жизни вместе). «Что случилось?» — а ответ он молча протянул мне телеграмму, она была из Ньютона. «Родилась девочка Саша Лиза девочка чувствуют себя хорошо все целуют». Когда я прочла телеграмму, Андрей сказал: «Это не девочка, это голодовочка» [1]. И всегда, когда из Ньютона приходят новые фотографии детей, Сашу он называет «наша голодовочка».

В прошедшую осень я стала ощущать, что у меня есть сердце. Конечно, сердце иногда болело и раньше, но как-то мимоходом. Ощущать-то я его ощущала, но как-то не задумывалась, да и где тут задумываться. Осень 1982 года. Уже отстучали колеса моих более чем ста поездок Горький—Москва, Москва—Горький, уже уехал Тольц, прошел обыск у Шихановича, арестован Алеша Смирнов, а еще раньше Ваня Ковалев [2], я вожу в Горький каждый раз две сумки с продуктами и еще всякое нужное и не очень, а Андрюша сидит над «Воспоминаниями» и периодически часть их пишет заново — не строгость автора, не ворчание первого читателя, первого редактора и первой машинистки (это все я) — нет! Чужая воля и чужая рука. Они исчезают. То из дома — еще в Москве, то украдены с сумкой в зубоврачебной поликлинике в Горьком, то — в эту

---

[1] В конце 1981 года А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр провели 17-дневную голодовку с требованием дать разрешение на выезд из СССР Лизе Алексеевой, жене сына Е. Г. Боннэр Алексея Семенова.

[2] Друзья и знакомые Сахаровых: Владимир Соломонович Тольц, историк, участвовал в правозащитном движении; Юрий Александрович Шиханович (далее Ших), математик, подвергался репрессиям за участие в издании «Хроники текущих событий»; Алексей Олегович Смирнов, программист, правозащитник, арестован 10 сентября 1982, досрочно освобожден в 1987 году; Иван Сергеевич Ковалев, инженер, член Московской Хельсинкской группы, арестован 25 августа 1981, досрочно освобожден в 1987 году.

самую осень на улице из машины, которая оказалась взломана, а Андрей чем-то одурманен. Каждый раз он пишет все заново. В общем, каждый раз это уже нечто новое — иногда написано лучше, иногда хуже и даже не про то.

На следующий день, после того как в поликлинике украли сумку, Андрей встречал меня на вокзале; он был осунувшийся, как бывает в бессоннице, при тяжелой болезни и от долгой боли. Губы дрожали, и голос прерывался: «Люсенька, они ее украли». Я сразу поняла: сумку,— но сказано было так, с такой острой болью, что я решила: это сейчас было, здесь, на вокзале. В другой раз, когда сумку украли из машины, Андрей шел от нее мне навстречу. У него было лицо такое, как будто он только что узнал, что потерял кого-то близкого. Но проходило несколько дней — надо только, чтобы мы были вместе,— и он снова садился за стол. У Андрея есть талант, я называю его «главный талант». Талант сделать все до конца. Ну, а мне только оставалось развивать в себе талант «спасти», и я развивала, видит Бог, старалась, чтобы «рукописи не горели». Чтобы то, что пишет Андрей, не сгинуло в лубянских или подобных, но уже новых (Лубянка-то старая) подвалах.

Так вот. В сентябре объявила вместе с мамой Толи про его голодовку, в октябре провела сама — одна — день политзэка, в ноябре в Горьком сердце уже не просто ощущалось, а стало гореть огнем. Почти неделю пролежала, ничего не могла, ничего не хотелось, даже не читалось, уж не говорю, что не печаталось — на машинке, на той «Эрике», которая «берет четыре копии» (Александр Галич). В декабре, восьмого, поехала в Москву. В поезде — обыск, поезд отогнали куда-то далеко за город, на запасные пути. Когда отгоняли и я смотрела в окно, а следователь мне читал вслух постановление об обыске, у меня в голове все время стучало: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». И старалась вспомнить, кто же автор этих строк, откуда они. Про этот обыск у Андрея в «Воспоминаниях» все подробно и даже протокол обыска есть, так что я не буду много рассказывать. У меня отобрали большой кусок его рукописи — опять сгорела!

Про сердце. Когда шла по путям, тащилась. А потом лестница была, казалось, непреодолимая, на мост над путями. На мосту плохо стало, и тут вместе с возвращением сознания пришло: «И девушка наша проходит в шинели, горящей Каховкой идет». Господи, да Светлов же это, Михаил Аркадьевич! Мы же под эту песню — патефон, ручку крутить надо — во дворе танцевали. А Михаил Аркадьевич, проходя, говорил: «Ну, ребята, ну, выберите другую какую-нибудь, ну, под Алтаузена танцуйте, что ли, у него и имя подходящее — американское все-таки — Джек». Мы танцевали фокстрот. А уж тогда это было точно — «Америка». Наверно, это «имя американское» говорилось неодобрительно — западное влияние. Но я не знаю: танцевать танцевала, а про «влияния» любые тогда еще не знала — не интересовалась.

То, что в поезде отобрали,— это была уже четвертая потеря. И будут еще, так что не удивляйтесь, что я сама себя талантом называю. Книга ведь будет — или, вернее, уже есть.

После обыска все же добралась до города, дала телеграмму об обыске Андрею и скорей домой, на Чкалова. Я спешила, так как должна была прийти Ида Петровна, я обещала позвать корреспондентов, чтобы она могла рассказать им, что происходит с Толей. Успела только помыться, услышала на лестнице шум. Открываю дверь. Там два милиционера пытаются затолкать в лифт Леню Щаранского. Я кричу ему: «Ждите меня на улице, я сейчас к вам спущусь»,— но сама не знаю, смогу ли выйти. Может, меня не выпустят? Выпустили, смогла, вышла, и решили, что свидание с коррами будет на улице. Пошли в сторону вокзала, там дорога в гору. Чувствую: не могу идти, тошнит, ноги как ватные, стыдно Иды Петровны, Лени. Дошли до остановки троллейбуса, доехали до Цветного бульвара. Там в фойе кукольного театра звонили коррам, ждали, а потом разговаривали с ними на Цветном бульваре про Толю, про мой обыск, еще про многое.

На следующий день я решила, что надо думать про сердце. С телефона-автомата у нашего подъезда, который тогда еще работал, вызвала врача. Пришла доктор — незнакомая, назначила обследование. Академическая поликлиника. Электрокардиограмма. Говорят, изменений нет. Я поверила, решила, что, видимо, все мои ощущения «от нервов», и жить надо, как жила, то есть о сердце, даже если оно все время напоминает, что оно есть, задумываться не следует.

15 февраля у кого, «к сожаленью, день рожденья только раз в году», а у меня два — один в Москве, другой в Горьком. На первый Ших принес книгу Яковлева «ЦРУ против СССР» [1]. Белка [2] очень расстроилась, что он принес, она уже читала, но мне не

[1] Н. Н. Яковлев. ЦРУ против СССР. Изд. 3-е, переработанное и дополненное. М., «Молодая гвардия», 1983.

[2] Бела Хасановна Коваль, знакомая Е. Г. Боннэр.

сказала; это ее всегдашнее стремление — не огорчить. Я взяла книгу в Горький. Я долго ее не читала, не хотелось, было заранее неприятно, и чувства брезгливости не могла преодолеть. Андрей же прочел почти сразу, как привезла, сказал, что обязательно будет писать про это, но не сейчас. В начале февраля он закончил статью «Опасность термоядерной войны» и еще не отошел от волнений, связанных с написанием и с тем, чтобы она увидела свет,— тут и мне досталось хорошо. Снова Андрей ругал меня, что когда-то я не дала ему подать заявление в суд на издающуюся в США газету «Русский голос», там еще в 1976 году началась кампания против меня, которую продолжила сицилийская «Сетте джорни», а Яковлев только расширил и, так сказать, оформил соответственно.

Я не буду касаться писаний Яковлева, как и многого, о чем пишет Андрей Сахаров в своих «Воспоминаниях», позже я расскажу только о своей попытке обратиться в суд за защитой от клеветы. Но Яковлев, конечно, заставил нас волноваться. Вначале — больше Андрея, потом и я заболела этим, а жить в ауре подобной литературы вредно, и не только психологически, но и физически. У Андрея в этом плане была разрядка. 15 июля 1983 года Яковлев приехал к нему — этот человек хотел то ли интервью от Сахарова, то ли еще чего — и получил — пощечину. Об этом своем поступке Андрей рассказывает сам в своей книге. После пощечины Андрей успокоился и был очень доволен собой. Как врач я думаю, что этим Андрей снял стресс — и это было полезно. Как жена — восхищаюсь, хотя понимаю, что вообще подобное не соответствует натуре моего мужа.

Но, в общем, мы жили тем же способом и в том же ритме, как и до этого, хотя сердце все болело и болело. Я треть времени проводила в Москве, где на меня наваливались куча дел и куча людей: чтобы делать дело, надо было гнать людей, а они обижались, хотя дела-то были, а основном, не мои, а их.

Так и сейчас, в Штатах, уже Бог знает сколько обиженных, что я не общаюсь, стараюсь как можно меньше вести разговоров и обсуждений, кто и каков здесь стал, а там, мол, был другим. Мне не хочется, да и невозможно объяснять, что и здесь есть дела, есть обязательные обеды или ланчи (ну, почему, почему все обязательно с едой?), хочется побыть с внуками и даже с детьми. Не говорю о том, что в течение полутора месяцев до операции было по 20 нитроглицеринов в сутки, после операции еще полтора месяца тоже было ох как несладко. Но — не понимают, обижаются. А я? Мне так хочется крикнуть домашнее — хамское: «Вас много, а я одна!». И нет времени и сил не только чтобы писать эти строки, но и на общение с друзьями.

Не вижу, когда же будет день, час, чтобы побыть наедине с каждым из детей. И чтобы он — ребенок мой — был готов хоть на тот день или час, что мы вдвоем, как-то раскрыться, как-то быть со мной. А кто из тех, кому доведется читать эти строки, знает, что ждет меня там, за чертой, за границей, в как уже сейчас от страха все внутри каменеет? Вы думаете, я каменная? Вы прислушайтесь к странному звучанию и понятию наоборот: *заграница — это ведь там.*

В Москве все было так плохо — седьмого числа арестовали Сережу Ходоровича [1], ожидался какой-то дурацкий суд у Верочки Лашковой [2], было непонятно, за что? И как могут (дурацкий вопрос) ее выгонять из Москвы? А в Горьком вовсю шла весна. Я люблю весну, я Андрей тоже. И хоть все плохо, а душа как-то незаметно начинала отходить, оттаивать. Для нас было радостно, что дни длиннее и можно где-то на обочине дороги погулять. Тогда еще можно было ездить в Зеленый город (район Горького), где есть лес, расположено несколько санаториев, детских лагерей и дач. Можно было слушать радио. Теперь этот район для нас тоже стал запретным.

25 апреля утром, после завтрака, я убирала что-то в комнате, где мы спим. Андрей был у себя, работал. Вдруг меня как проткнули чем-то острым насквозь, так что я ничего сказать, двинуться, закричать не могу. Остановилась на вдохе и так стою, потом медленно, почти ползком, по кровати добралась до Андреевой половины — и дотянулась до его нитроглицерина, своего у меня тогда еще не было. Через некоторое время боль чуть-чуть отпустила, и я смогла позвать Андрея, смогла лечь; начался бесконечный нитроглицерин, мази, валидол, анальгин, но-шпа, папаверин, несколько раз инъекции атропина, один раз с промедолом, была рвота, слабость необычайная, давление низкое. Все себе сама делала — и больная, и врач. Испуганный Андрей помчался как угорелый в аптеку. Я все как проваливалась в небытие. На третий день небольшая температура — держалась два дня. Я уже поняла, что это инфаркт. Но, и поняв, подсознанием стремилась это опровергнуть. Первую неделю вставала только до ванной-уборной. Вторую стала выползать и дальше и вообще понемногу начала приходить в себя.

[1] Сергей Дмитриевич Ходорович, программист, распорядитель Русского общественного фонда помощи политзаключенным и их семьям. 15 декабря 1983 приговорен к трем годам лагеря, получил в лагере второй срок, досрочно освобожден в 1987 году, эмигрировал.

[2] Вера Иосифовна Лашкова, бывшая политзаключенная (известный «процесс четырех», янв. 1968). В апреле 1983 лишена московской прописки и квартиры.

Шло это все волнами — то лучше чуть, то совсем пропадаю, а тут пришла телеграмма, что начинается суд над Алешей Смирновым, и 10 мая я поехала в Москву. Встречал Ших. Идти до такси было трудно, но добрались. Вечером у меня были Маша Подъяпольская [1], Лена Костерина [2] и Любаня (мать и жена Алеши), сказали, что суд завтра в 10 утра в Люблино. Я мысленно представила себе лестницу на мост над путями — через него надо перейти, чтобы добраться до здания суда, там уже судили стольких: Буковский, Краснов-Левитин, Твердохлебов, Орлов, Таня Великанова, Таня Осипова и другие. И мне стало плохо — плохо не мысленно, а реально, по-настоящему: закружилась голова, схватило сердце, посинели ногти. Маша спросила: «Что с тобой?» — «Плохо». И потом: «Вы простите, я к суду не пойду. Пусть днем ко мне после перерыва кто-то приедет и расскажет. А я все расскажу коррам. И вечером тоже сделайте так». Мне было очень неудобно перед Леной — у нее сын завтра предстанет перед судом, а я... Но я чувствовала, что иначе не выдержу. Чтобы позвонить коррам, я не могу воспользоваться телефоном-автоматом, который у подъезда: его выключили. Звонить надо идти в сторону Курского вокзала (в гору!) или за мост. Но это уж как-нибудь, потихоньку, без свидетелей, наедине с собой. Так же, как сесть за машинку и напечатать то, что расскажут. Сердце болит и за машинкой. Но это тоже наедине. Я не умею болеть на людях, мне трудно переносить и принимать сострадание и даже помощь. Я как животное: мне надо быть одной, скрыться, уйти в нору.

Суд продолжался два дня. Приговор — 6 лет лагеря и 4 года ссылки. 10 лет — д е с я т ь. Какой Алеша молодец. Как он смог выдержать и битье, и давление следователя, и как безумно жаль его, Лену, Любу.

На следующий день — это была суббота — приехали из Ленинграда друзья, Ира и Лесик Гальперины. Они еще появятся в моем рассказе в связи с тем, как я их чудесным образом «вывезла» из Советского Союза. Мы попили вместе кофе — долго и вкусно. Как всегда, когда приезжают друзья, утренний кофе у нас перерастает в некий ритуал — может быть, лучшее, что есть в нашем общении. И я поехала в поликлинику АН — сердце все болело и болело, с 25 апреля ни на минуту не переставало.

Сделали ЭКГ. Врачи забегали. Посадили меня в кабинете. Пришла заведующая и повела разговор, что она не может меня отпустить домой, а должна сразу госпитализировать: очаговые изменения, инфаркт. По анамнезу получается, что ему немногим больше трех недель. Я была несколько ошеломлена, и это доказывает, что хоть я и поняла после 25 апреля, что у меня инфаркт, но верить не верила: не хотелось. Или боялась. Да и забоишься — любой человек боится, а при нашей-то жизни! Зав. отделением очень волновалась, и, пока она волновалась, я думала и — надумала. Я сказала Марине Петровне (так звали заведующую), что согласна на госпитализацию, если привезут из Горького моего мужа и госпитализируют вместе со мной — ему давно пора. Я сказала также, что в этом случае обещаю ничего не сообщать корреспондентам ни о моем инфаркте, ни о нашей госпитализации, и обещаю, что в больнице нас будут навещать только самые близкие друзья; иначе я 20 мая проведу пресс-конференцию.

Чтобы непосвященному была понятна обоснованность моей просьбы, придется пояснить. Академик в своей поликлинике всегда пользуется привилегией быть госпитализированным с женой и регулярно проходит (в среднем раз в год) стационарное обследование в течение двух-трех недель, обычно также вместе с женой. Андрей с момента ссылки никакой помощи от поликлиники не получал и не обследовался. Потому моя просьба (если считать, что все обстоит так, как говорят академические функционеры: что с Сахаровым все хорошо и он живет, как все академики) вполне обоснована. Если же считать, что Сахаров — ссыльный, то моя просьба, чтобы Сахаров приехал (или его привезли), тоже обоснована, так как кодекс предусматривает, что ссыльный может быть временно отпущен из ссылки, если тяжело болен кто-либо из его близких. Этот момент нашей жизни очень наглядно доказал, что положение Сахарова во всем беззаконно и апеллировать к закону он не может. Марина Петровна сказала, что от нее ничего не зависит, что она передаст мою просьбу начальству, но отпустить меня одну не может — отвечает теперь за мою жизнь, и меня повезли домой на «скорой помощи» в сопровождении медсестры. Мое появление дома с таким эскортом вызвало у Лесика и Иры шок — по-моему, они смертельно испугались оба. А я начала телеграфную переписку с Андреем. Включились в это и физики — у них на 19 мая была назначена поездка в Горький, и они очень старались успокоить Андрея, видимо, несколько введенные в заблуждение академическими врачами. Озабоченность академических врачей моим состоянием столь велика была только в день моего обращения к ним, а потом — думаю, не без влияния со стороны (снова та самая медицина, которую Андрей зовет управляемой) — резко упала.

[1] Мария Гавриловна Петренко-Подъяпольская, правозащитница, вдова члена-учредителя Инициативной группы по защите прав человека в СССР Григория Подъяпольского.

[2] Лена Костерива — дочь А. Е. Костерина, узника сталинских лагерей, а потом защитника крымских татар, сестра Нины Костеривой, дневники которой печатались в «Новом мире» (1962, № 12).

У Андрея и у меня сложилось впечатление, что физикам было сказано, что я вроде бы сознательно обостряю свое состояние, а академик Скрябин [1], как сказал Андрею один из его коллег, просто заявил: «Мы не дадим ей шантажировать нас своим инфарктом». Похоже, что в данном случае он сам себя отождествлял с КГБ, иначе что бы означало его «мы»: ведь не президиум Академии держал и держит Сахарова в Горьком. Со мной тот же Скрябин (по телефону, не лично: он — в своем кабинете, я со своим инфарктом — в уличной автоматной будке) говорил подчеркнуто уважительно и даже не забыл сказать, что мы с ним одного поколения и оба прошли армию. Поэтому мне было чрезвычайно занимательно узнать, что с одной из научных американских делегаций тот же Скрябин обо мне говорил так, как редко кто говорит на коммунальной кухне, да и базарные торговки в наши дни стали хоть «на язык» культурнее.

20 мая, в час, назначенный для пресс-конференции, я услышала на лестнице какую-то возню. Открыв дверь, я увидела милиционеров, заталкивающих корров в лифт. Тогда я вышла на улицу.

Стоя у окна книжного магазина и держа в руке нитроглицерин, с которым теперь уже не расставалась, я рассказала коррам о нашем положении. В западной печати появились сообщения об этой встрече [2]. Но, видимо, все недооценили мое состояние, считая, что раз я вышла на улицу, то, может, у меня и не инфаркт. Одна газета написала «микроинфаркт», другие вообще забоялись серьезных определений. Иногда я думаю, что если бы пресса (единственная наша и правозащитников реальная защита — это гласность) отнеслась к моей просьбе помочь нам серьезней, если б наши друзья во всем мире поняли, насколько трагично было положение в те дни, то, может, не случилось бы всего, о чем я рассказываю дальше.

26 мая у меня дома был консилиум. Были зав. отделом, в котором лечат академиков и членов их семей, доктор Бормотова, зав. нашим с Андреем отделением, доктор, фамилии которой я не знаю,— та самая Марина Петровна. С ними были и двое мужчин. Мне их представили как кардиологов — консультантов Академии, но один произвел на меня впечатление не врача. Судя по описанию Андрея, это те самые доктора Григорьев и Пылаев, которые потом были у него.

С этого дня у дверей моей квартиры постоянно дежурили милиционеры, а у подъезда стояла милицейская машина. Милиция проверяла документы у всех, кто хотел пройти ко мне, и пропускала только советских граждан. Моих друзей, постоянно навещавших меня, дежурные скоро уже знали в лицо и документы у них не проверяли.

Они вновь предложили мне госпитализацию одной; они считали, что, пока сердечный процесс не выравнивается (платная ЭКГ 24 мая показала ухудшение), быть дома мне просто опасно для жизни. Я отказалась, повторив свои условия. Они хотели записать в историю болезни только мой отказ, но я не дала это сделать и сама в историю болезни написала: «От госпитализации не только не отказываюсь, но настаиваю на ней, но госпитализироваться согласна только совместно с мужем академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым и только в больницу Академии наук СССР». После этой моей записи Бормотова заплакала, но не от страха за мою жизнь (как это трактовал Евгений Львович Фейнберг [3]), а из-за того, что не выполнили задание — госпитализировать меня одну. Потом она еще будет приходить и предлагать машину с врачом и медсестрой, чтобы отвезти меня в Горький — там они якобы будут меня лечить. Но это уже был совершеннейший план КГБ — еще тогда запереть нас в Горьком обоих.

«В четверг 26-го была комиссия врачей, доведшая меня до гипертонического криза впервые в жизни. Зав. диспансерным (для академиков) отделом поликлиники не хотела, чтобы в историю болезни вписывали ухудшение ЭКГ и то, что два профессора (их консультанты) сказали, что я нуждаюсь в госпитализации. В результате моего крика и некоей медицинской грамотности все было записано и еще моей рукой вписано: „Не отказываюсь, а настаиваю на госпитализации, но только совместно с мужем, состояние которого требует госпитализации, возможно, даже больше, чем мое..."»

(Из письма детям от 28 мая 1983)

[1] Георгий Константинович Скрябин — ученый секретарь Академии наук СССР.

[2] Отчеты о пресс-конференции Е. Г. Боннэр, состоявшейся 20 мая, появились во многих западных газетах, включая «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост» и лондонский «Таймс». Газеты также сообщали о нападках на Сахарова, появившихся в тот день в «Правде» в связи с провозглашением президентом Рейганом Национального дня Андрея Сахарова. День Сахарова (его день рожденья) был «отмечен» и советской прессой, опубликовавшей 21 мая заявление АН СССР. Академия возмущалась «решением президента США Рейгана об официальном проведении „дня Сахарова"»: «Изображать Сахарова в качестве борца за мир и права человека — это надругательство над правдой, подстрекательство к раздуванию „холодной войны", полное игнорирование мнения советских ученых». (Рейгану, однако, незачем было узнавать «мнение советских ученых»: объявляя День Сахарова, он действовал во исполнение закона, принятого Конгрессом.)

[3] Евгений Львович Фейнберг — член-корреспондент Академии наук, коллега А. Д. Сахарова по Физическому институту АН СССР (ФИАН).

Скрябин в конце мая сказал мне, что к Андрею поедут академические врачи, чтобы решить, нужна ли ему госпитализация. Они действительно были у Андрея 2 июня и дали заключение, что он нуждается в госпитализации, обследовании и лечении. Казалось, проблема решена. Такая, в сущности, простая проблема — госпитализировать двух больных людей в медицинское учреждение той системы, к которой они принадлежат. У нас медицина ведомственная — водников, железнодорожников, МВД, МСМ[1], кремлевская, академическая. Но шар покатился совсем в другую сторону.

Первые дни после визита врачей мы оба — Андрюша в Горьком, а я в Москве — ждали госпитализации, но время шло, я постепенно стала чувствовать себя чуть легче. Мне все время предлагали вначале госпитализацию, а потом санаторий, но одной, без мужа. Я написала обращение к американским и европейским ученым и отдала его на улице корреспондентам.

К АМЕРИКАНСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ УЧЕНЫМ

Я обращаюсь к вашей помощи. Сегодня наше остро трагическое положение усугубилось моей болезнью и нарастающими изменениями в состоянии здоровья моего мужа. 25 апреля у меня в Горьком случился инфаркт. Я лечилась сама. Почему мы не можем лечиться в Горьком, вы поймете из моего письма президенту Академии наук СССР Александрову и из заявления прессе от 20 мая (копии этих документов у наших детей в США).

11 мая я смогла приехать в Москву и с тех пор добиваюсь возможности нам обоим лечиться в больнице Академии наук в Москве. Единственно, чего я смогла пока добиться,— это что в Горький к мужу впервые за три с половиной года были посланы консультанты лечебного отдела Академии. Они дали заключение о необходимости госпитализации, обследования и лечения. Я опасаюсь, что без вашей помощи даже это минимальное требование — лечение у врачей, которым мы можем хоть сколько-то доверять,— не будет осуществлено. Мы не получим необходимого для сохранения жизни лечения — проблема Сахарова будет решена смертью одного из нас или обоих.

В отношении нашего будущего. Даже если мы получим лечение, видимо, после инфаркта миокарда, я не смогу вновь вынести ту нагрузку, которая на меня легла в связи с незаконной депортацией и изоляцией Сахарова. Это будет означать, что Сахаров полностью потеряет связь с внешним миром. Это будет трагично не только в плане нашей личной безопасности и судьбы, но и в общественном плане. Уникальность Сахарова, его единственного и компетентного в среде советских ученых голоса будет потеряна для всего мира и в первую очередь для тех, кто стремится к благополучному разрешению наиболее острых проблем современности — разоружению и сохранению мира. Сегодня советские руководители и советские ученые призывают вас к совместным действиям в защиту будущего всего человечества. Вам самим судить, может ли быть этот призыв искренним, если Сахарова в это время держат в изоляции, лишают права на общественную и любую интеллектуальную деятельность, воруют его бумаги, убивают, оставляя без медицинской помощи. Жизнь Сахарова, защита его права на научную и общественную деятельность, права жить свободно и там, где он выберет,— больше всего зависит от активности мирового сообщества ученых.

В надежде на ваше глубокое понимание я пишу это письмо и прошу вас приложить усилия и использовать свой авторитет для защиты Андрея Сахарова, его жизни и его свободного голоса.

12 июня 1983 г.

20 июня в журнале «Ньюсуик» появилось интервью с президентом Академии наук СССР Анатолием Александровым. Я приведу ту часть этого интервью, которая касается Андрея Сахарова.

— Вы упомянули о желательности большего сотрудничества в области науки. Американские ученые говорят, что одним из препятствий к увеличению сотрудничества является преследование Андрея Сахарова, осуществляемое КГБ. Что Вы можете об этом сказать?

— Он занимался теми же вещами, что и Эдвард Теллер (разработка водородной бомбы). Я думаю, что если б вокруг Теллера наши люди организовали какую-нибудь

[1] МСМ — министерство среднего машиностроения (фактически — атомной промышленности).

систему постоянных контактов — американское правительство не отнеслось бы к этому с большой симпатией, так же как и американские ученые. Вероятно, они попытались бы каким-то способом ликвидировать эту ситуацию. Я думаю, наше правительство действовало очень гуманно по отношению к Сахарову, поскольку Горький, где он живет,— красивый город, большой город с большим числом академических институтов. Академики, которые живут там, не хотят никуда переезжать.

— Прошло 15 лет с тех пор, как Сахаров перестал заниматься секретными исследованиями. Почему он не может покинуть Россию?

— В этой области 15 лет — не такой уж большой промежуток времени. Системы, в разработке которых он принимал участие, существуют и будут существовать. Если, не дай Бог, произойдет военное столкновение, американцы узнают, хороши или плохи эти системы.

— Почему он по-прежнему остается членом Академии, если, как говорит «Правда», вы считаете его пособником международного империализма?

— Мы надеемся, что Сахаров одумается и изменит свое поведение. К сожалению, я думаю, что в последний период его жизни его поведение более всего обусловлено серьезным психическим сдвигом.

Думаю, что это интервью было первым ответом на статью Сахарова «Опасность термоядерной войны», хотя дано это интервью было до того, как статья появилась в печати. Но такие вещи тем, кому нужно, становятся известны заранее и иногда задолго до публикации. Об этом стоит задуматься! Я же думаю, что отсутствие решения о нашей госпитализации было вызвано именно тем, что в тех сферах, где решают, стало известно о статье. Это было первое, что эта статья принесла в нашу жизнь. Напечатана она была в американском журнале «Форин афферс» 22 июня.

Весь тон интервью Александрова был столь немиролюбив, почти агрессивен, что непонятно, почему это интервью прошло почти незамеченным западными учеными, ведущими неправительственные переговоры о разоружении, и прессой. А может, я просто не знаю их реакции? И мне неуютно оттого, что я не знаю ни одного отклика коллег Андрея на слова Александрова. Я же не могла молчать и послала письмо Александрову сразу же, как получила журнал с интервью.

Президенту Академии наук СССР
ак. Александрову А. П.

Анатолий Петрович!

Я обращаюсь к Вам в связи с интервью, которое Вы дали журналу «Ньюсуик» (№ 25, 20 июня 1983). В нем Вы заявили, что (цитирую) «в последний период жизни Сахарова у него произошел весьма серьезный психический сдвиг».

Что дало Вам право произнести эти слова — принципиальные выступления Сахарова по актуальным проблемам современности, не всегда совпадающие с мнением правительства СССР, его лично Вам известная честность и бескомпромиссность?

Вы знаете, что само насильственное поселение и удержание Сахарова в Горьком является откровенным беззаконием и что Академия наук ничего этому беззаконию не противопоставила. Вы знаете, что сегодня Сахаров остро нуждается в госпитализации и лечении больного сердца и что дальнейшая отсрочка может обернуться трагедией. Однако вместо помощи Вы делаете свое беспрецедентное заявление.

Насколько мне известно, впервые в истории Российской — Советской Академии наук ее президент обвиняет действительного члена в психической неполноценности.

И это Ваше заявление, Анатолий Петрович, действительно войдет в историю.

14 июля 1983 года *Елена Боннэр-Сахарова*

P. S. Я адресую это письмо не только Вам, но всем иностранным академиям и научным сообществам, членом которых является академик Андрей Дмитриевич Сахаров.

Когда началась наша горьковская жизнь, Евгений Львович, с одной стороны, и Лидия Корнеевна [1], с другой, оба волновались за Андрюшино сердце и оба рекомендовали в Горьком известную им с чьих-то слов доктора Матусову. Похоже, и тот и другая сердились на меня, что я отмахиваюсь, говоря, что никого, кроме назначенных и обозначенных органами врачей, не допустят до контакта с нами. Ну, что сердился Евгений Львович, понятно: у него академические критерии, и по ним я максималистка. И хоть Яковлев и лжет, но все же! Но Лидия Корнеевна? Наверно, это все-таки непонимание особенностей нашего положения. А мы сами? Когда очень приспичило с моим инфарктом, через Майю (тогда еще пускали к нам трех человек — Ковнера [2] и иногда Феликса с Майей [3]) пытались получить помощь от доктора Матусовой и получили ответ — на бумаге, чтобы ни слова вслух: ничего не может, может только через Майю, если никто не будет знать, посмотреть мои кардиограммы. Ну, а потом мы не имели уже никаких контактов с Майей. В Москве Ших тайно носил мои кардиограммы на просмотр доктору, который был общим знакомым его и Лидии Корнеевны.

Поскольку это были еще «розовые времена», когда милиция дежурила у моих дверей в Москве с девяти утра до одиннадцати — двенадцати ночи, а не круглосуточно, Юра просил этого доктора навестить меня. Доктор пришел через 20 минут после полуночи, но милиционеры были у дверей — похоже, ждали. Его пропустили. Я видела: он очень разволновался от того, что у него проверили документы. После осмотра и недлинной беседы он, смущаясь, сказал мне, что если я еще раз буду в нем нуждаться, то я должна обратиться в Академию и, если они его официально вызовут на консультацию, он будет рад мне помочь. На этом наши отношения кончились — даже и показ электрокардиограмм. А никто его не пугал, не грозил. Это страх. Этот врач свободно лечит Лидию Корнеевну, что не осложнило его служебного положения, и он сам этого не боится. Но мы — другое дело! Когда врач Лидии Корнеевны перестал смотреть мои электрокардиограммы, это стал по просьбе одного нашего приятеля делать другой врач. Он пошел чуть дальше — дважды смотрел меня дома у этого приятеля. Я никогда не называла его фамилии, так как он этого не хотел. Тогда его фамилию назвал ТАСС (см. приложение № 12.— *Ред.*).

Истории с врачами стали сыпаться на нашу семью, после того как в нее вошел Сахаров. Началось с того, что к маме пришел никем не вызванный врач-психиатр якобы консультировать, а на самом деле пугать ее. Потом начались мои истории. В 1974 году возникла необходимость оперировать меня по поводу тиреотоксикоза. По рекомендации Наташи Гессе [4] мы обратились к ее знакомому доктору Б. Он назначил срок операции, предварительно попросив, чтобы мы получили официальное направление в больницу, где он работал. Андрей обращался в Ленгорздравотдел и министерство здравоохранения, и мы получили такое направление. Но, когда я приехала на операцию, он через Наташу передал, что не сможет меня оперировать, так как ему не утвердят докторскую диссертацию. Жаль, что Наташа, давая показания в Конгрессе США о нашей жизни, не рассказала эту историю, в которой была главным свидетелем. После операции тиреотоксикоза возникли острые осложнения с глазами. И я с Андреем вместе пошла к проф. Краснову. Я делала у него свою первую глазную операцию в 1965 году, еще когда не была женой Сахарова, и операция прошла успешно. Еще раньше я много лет была больной его отца. Но в этот раз Краснов отказался оперировать меня. Я легла в Московскую глазную больницу и ожидала операции, когда друзья-врачи сказали, чтобы я уходила из больницы, так как они не знают, «кто и что со мной будет делать». Именно после этого появилась идея ехать оперироваться в Италию, где жили мои подруги Мария Олсуфьева и доктор Нина Харкевич. Меня всегда удивляло и расстраивало, что, хотя мы все это рассказывали друзьям, они с удивительной поспешностью всё забывали. Потом зачастую именно друзья первыми удивлялись — почему мне лечиться пришлось в последние годы не дома, а так далеко. Я же всегда говорила, что, не будь я женой академика Сахарова, мое лечение могло бы проходить в советской больнице. Конечно, все, кроме теперешних шести шунтов, с которыми я и здесь чемпион — еще не видела никого с таким же количеством.

3 июля в «Известиях» появилось письмо четырех академиков (прил. 3). Письмо это подписали А. А. Дородницын, А. М. Прохоров, Г. К. Скрябин, А. Н. Тихонов (говорят, Прохоров жалеет, что подписал: его плохо принимают за

[1] Лидия Корнеевна Чуковская.
[2] Марк Ковнер — Физик, отказник, горьковский знакомый Сахаровых.
[3] Феликс Красавкин и его жена Майя, врач,— горьковские знакомые Сахаровых.
[4] Наталья Викторовна Гессе, литературный редактор, друг семьи Сахаровых, ленинградка, эмигрировала из СССР в 1984 году.

границей; Скрябину, думаю, все равно, как принимают,— лишь бы посылали; ездят ли два других ученых мужа, не знаю). Их письмо вызвало бурю. Советские люди академикам верят, тем паче один — Нобелевский лауреат. А что эти академики постеснялись даже название статьи Сахарова привести в тексте — этого советские люди не знают.

Пошел поток писем — 20 в день, 50 в день, 70, 100, дошло до 132-х в один день, потом постепенно их количество стало уменьшаться, но не прекращалось. Сахарова ругали и клеймили всячески, письма были индивидуальные и коллективные. Когда мне друзья говорят, что они инспирированы, я могу противопоставить этому только свою абсолютную уверенность в том, что это пишет советский народ, у него тоже иногда просыпается некая «социальная активность» — вот хоть в этом. Среди писем — от Володи Чавчанидзе (я его так накоротке называю, потому что он был в аспирантуре одновременно с Андреем и Андрюша так его зовет в своих рассказах о том времени). От одноклассника моей дочери. От одной сотрудницы Андрея, которую он очень по-доброму вспоминает в своей книге. Много священнослужителей, много пенсионеров, большинство — ветераны войны, и все считают, что Сахаров призывает к термоядерной войне. Именно это они вынесли из письма четырех академиков. В июле на подмогу академикам пришел журнал «Смена» (тираж идет чуть ли не на миллионы), где Яковлев повторил и развил то, что было в его книге. Поток писем изменил свою направленность, многие письма стали откровенно антисемитскими, участились угрозы — особенно в мой адрес.

В августе уже не президент Академии, а глава государства (тогда Андропов) в беседе с американскими сенаторами заявил, что Сахаров сумасшедший [1].

А нам угрожают на рынке, и, когда выходишь на балкон, на улице скандалы — было все. Кажется, только не били. И как апофеоз — погром, который мне устроили в поезде 4 сентября, когда я ехала из Горького.

Я ехала дневным поездом. Он выходит из Горького в 6 часов 20 минут утра, в Москву приходит в 13 часов 40 минут. В купе, кроме меня, были еще две женщины средних лет и один мужчина. Одна из женщин спросила: «Вы где живете, в Горьком?» — «На проспекте Гагарина».— «В доме 214?» — «Да».— «Вы жена Сахарова?» — «Да, я жена академика Андрея Дмитриевича Сахарова». Тут вмешался мужчина: «Какой он академик. Его давно гнать надо было. А вас вообще...». Что «вообще» — он не сказал. Потом одна из женщин заявила, что она советская преподавательница и ехать со мной в одном купе не может. Другая и мужчина стали говорить что-то похожее. Кто-то вызвал проводницу. Уже все говорили громко, кричали. Проводница сказала, что раз у меня билет, то она меня выгнать не может. Крик усилился, стали подходить и включаться люди из других купе, они плотно забили коридор вагона, требовали остановки поезда и чтобы меня вышвырнуть. Кричали что-то про войну и про евреев. Я была абсолютно спокойна, прямо как оконное стекло, на котором все время почему-то держала левую руку. Потом проводница куда-то скрылась. Люди в коридоре протискивались мимо купе, заглядывали, что-то кричали. Гнев и любопытство, наверное, были одинаково сильны. Потом проводница вновь появилась и вывела меня в коридор. Мы протискивались мимо людей, и я прямо ощущала физические флюиды ненависти. Она посадила меня в свое служебное купе. Так я доехала до Москвы.

Из дневника А. Д. Сахарова:

«Для Люси с ее чуткой эмоциональностью повседневное столкновение с неприязнью и ненавистью окружающих тяжело (для меня тоже). Старуха, грозящая кулаком, еще что-то в этом роде. Столкновение в поезде 4 сентября было, конечно, спровоцировано несколькими гебистами, но большинство пассажиров, кто по охотке, кто из страха, приняли участие в общем крике... Люся писала мне в фототелеграмме: „Это было очень страшно, и поэтому я была совершенно спокойна“... Ших и Белка, встречавшие ее, сразу по ее лицу поняли, что произошло что-то ужасное. После рассказа Люси Белка плакала».

Толпа, погром, фашизм — как все сходится в нашем мире к одному. Мне все время, пока стоял крик, пока грозили и пока я не увидела на перроне Шиха и Белку, было жаль, что у меня нет желтой звезды нашить себе на платье.

[1] «Отвечая на заявление сенатора Пелла, упомянувшего дела известных диссидентов, Андропов начал с того, что описал Андрея Сахарова как „психически больного человека“, который написал статью, „призывающую к войне“. (Поразительная характеристика недавней статьи Сахарова в журнале „Форин афферс“.)». Из отчета делегации восьми сенаторов о поездке в Советский Союз (сенатский документ 98 16).

Вот еще из дневника А. Д. Сахарова:

«Следующий раз Люся ехала в Москву 22 сентября 37-м поездом. Мы боялись повторения „вагонного погрома", но вечерний поезд вообще менее подходит для такого, а кроме того, Люсе (впервые за три с половиной года) удалось обменять билет на СВ. Она ехала в полупустом вагоне. В купе с ней артист Жженов (это какая-то знаменитость), боюсь только, что он был выпивши. Его провожала шумная компания. Кто-то крикнул: „С тобой поедет очень интересная (или симпатичная) женщина". Люся сказала „Знали бы они..."».

Я уезжала из Горького 22 сентября, был теплый для этого времени года вечер, и мы с Андрюшей долго стояли на перроне, а когда вошли в вагон (в кои веки мне удалось обменять в кассе вокзала плацкартный билет на СВ — спальный вагон), то около нашего — моего, то есть — купе увидели несколько человек, смеющихся, с шампанским и явно не из ГБ. Эти люди нас пропустили, Андрей положил вещи, и мы снова вышли в коридор. Кто-то из них спросил, кто из нас едет. Я ответила. Тогда другой, стоящий рядом, крикнул в глубь купе: «С тобой едет симпатичная женщина»,— после предыдущей поездки, когда был тот погром, это восклицание показалось странным, и я сказала Андрею: «Знали бы они». Мы еще постояли в тамбуре, грустна нам всякая разлука, даже вот так, на несколько дней. И всегда помнятся слова Мандельштама: «Кто может знать при слове — расставанье, какая нам разлука предстоит». Андрей спустился на перрон, поезд тронулся, как в песне «вагончик тронулся, вагончик тронулся» — кинофильм «Ирония судьбы»; это действительно наша с Андрюшей жизнь — ирония судьбы. Мне тут по необъяснимым ассоциациям вспомнилось начало 1971 года. Я что-то делала у Андрея Дмитриевича, для Андрея Дмитриевича, наверно, по просьбе Валерия [1], и почему-то разговор зашел о славе. Андрей Дмитриевич сказал: «Ну, у меня все эти валентности давно заняты». Думаю, это должно было означать: «Большей не будет, и большей, упаси Бог, не надо». Однако вот пришли эти заполнившие дом тысячи писем, которые мы не в силах прочесть. Для них нужен государственный архив, чтобы разобрать их и хранить. Это слава — жена, которую узнают на улице, в поезде и готовы линчевать. Я прошла в купе. Все провожающие ушли. Мой визави несколько старше нас с Андреем, взгляд и глаза хорошие, хорошая большеротая улыбка, правда, с оттенком некоего профессионализма: в общем, то, что называют открытым лицом. Что-то в нем знакомое. Говорит, как хозяин, правда, дружелюбный: «Давайте знакомиться — Жженов Георгий Николаевич» (в отчестве сегодня, когда пишу, не уверена [2]. На Георгия Николаевича Владимова, которого очень люблю, смахивает). И как будто ждет от меня реакции какой-то особой, то ли на фамилию, то ли на дружелюбность его. Это я потом поняла, что он привык, чтобы везде узнавали, чтобы на фамилию реакция была бурная — он народный артист, но я не узнала его. А фамилий актеров вообще, кроме пяти-шести, ничьих не знаю. И я ему тоже по возможности дружелюбно, хотя поначалу на дружелюбие совсем не тянуло:

— Боннэр Елена Георгиевна,— и вижу, он руку не мне, а к двери протянул, закрыл и полушепотом:

— Та самая?

— Да, та самая.

— Никогда не подумал бы.

— Недостаточно страшна для той, о которой читали?

— Пожалуй.

— Перетерпите мое соседство или мне попросить проводника, чтобы перевели в другое купе? — Молчит.— Ну, раз молчите, я останусь, а вы уж как хотите.

На столе стояла наполовину опорожненная бутылка водки и открытая бутылка шампанского. Он налил в два стакана и предложил мне.

— Не пью.

— Совсем?

— Совсем.

— Странно!

— Вам что, где-нибудь наплели, что я к тому же и пьющая,— у Яковлева этого вроде нет?

— Говорили. Ну, а чайку?

— Чай пью.

Он достал из портфеля металлическую коробку с чаем. Любит, видимо, хороший чай. Вышел и вернулся вместе с проводницей, которая принесла все для чая. И начался наш очень долгий разговор — до четырех ночи; чай перемежался у него с водкой, к концу разговора он был сильно выпивши, если говорить мягко. Суть разговора мне хочется изложить — это ответ на частый вопрос: «Как относятся к нам, ко мне люди, верят ли они тому, что писал Яковлев?» На мой вопрос, как он может верить тому, что писал Яковлев, отвечает вопросом:

— А как не верить, на основании чего?

— На основании собственного жизненного опыта. Вам сколько лет?

— 67.

— Дело врачей помните? Журнал «Звезда», Ахматова, Зощенко, космополиты...

Молчит; и потом вдруг, после еще одной рюмки, заговорил о собственном опыте. Вот его рассказ. Учился в Ленинграде в театральном училище и начинал в Ленинграде очень успешно. В 30-е годы посадили. Случайно попал в кино — пришелся на роли солдат не самого юного возраста. С этим вернулся на столичную сцену. Пришел успех, поздний, но тем дороже. Вот такой опыт! И это я ему должна что-то доказывать — при его-то опыте. Он говорит, что думает, что теперь в стране все по-другому, но, когда говорит это, видно: он не меня — себя убеждает. В разговоре с ним все время было у меня ощущение: вот еще немного, совсем немного, и что-то в нем прорвется, перестанет он сам себя утешать ложью. Но — не прорвалось. Я даже его уговаривала с поезда поехать ко мне кофе пить, чтобы посмотрел своими глазами дом, из которого я якобы выгнала детей Сахарова, нашу — мамину — двухкомнатную. А я ему книжку квартплаты покажу, где написано, что квартира была дана маме в 1955 году. Говорила, что милиционеры дежурят только с 9 утра (тогда так было), что он кофе выпьет и уйдет и никто ему этого никогда не вспомнит.

— Нет.

— Но почему, почему нет?

— Боюсь.

— Чего?

— Боюсь, и все.

К четырем часам, уже закончив бутылку водки, руку мне целовал, говорил, что преклоняется перед Андреем и передо мной тоже. Но...

— Боюсь. Б о ю с ь.

Утром старался не глядеть в мою сторону. Как-то мельком, не глядя пожал руку, вышел, сухо бросив:

— До свидания.

На перроне меня ждал Юра Ших.

Он мне сразу сказал: «С тобой Жженов ехал в одном вагоне, хороший артист, я его люблю».

Ших — завзятый кинотеатрал, не то что мы: сразу узнал. А я ему всю эту историю рассказала. Ших почему-то на меня ворчал, считал, что я была недостаточно красноречива, могла бы и убедить, а уж на кофе затащить — подавно. Не прав он: страх ни в чем убедить нельзя и ничем — ни словом, ни делом. Преодолеть страх можно только самому.

Мы решили подавать в суд. Мысль была не моя. Так считал необходимым Андрей, и с ним были согласны многие друзья. Я же понимала, что от меня опять требуется большая работа. Надо писать заявление. До этого собрать какие-то бумаги. Потом подача заявления, наверняка неоднократные хождения в суд, объяснения. Где взять сил, если мне даже сто метров пройти трудно. Если, даже сидя за машинкой, я обливаюсь холодным потом от слабости. Если надо заверить показания Андрея — согласится ли нотариус? Если надо где-то достать адрес Яковлева. И, в конце концов, надо же его внимательно прочесть, а я так и не сделала этого — во-первых, тошно, во-вторых, как вспомню, что написано о Севке, так начинается сердечный приступ.

Но вот все «если» преодолены. И даже есть адрес Яковлева. Его мне дала одна моя приятельница. Она живет недалеко от него и, сообщая адрес, добавила к нему довольно длинный рассказ о личности и прошлой и сегодняшней жизни моего ответчика. Так что если б я была привержена тому жанру, в котором работает Яковлев, то могла бы здесь поместить еще пару десятков страниц.

После двух-, трехнедельной писанины вперемежку с сердечными приступами и ни на минуту не выпуская нитроглицерина из рук, я считаю себя готовой к суду. У меня на руках следующие три документа:

1. Исковое заявление.
2. Мои показания вместе с автобиографией.
3. Свидетельские показания Андрея Дмитриевича Сахарова.

И в дополнение к ним еще журнал «Смена», № 14, июль 1983 года.

[1] Валерий Николаевич Чалидзе, правозащитник, с 1972 в эмиграции.

[2] В отчестве, действительно, неточность: Георгий Степанович.

В районный народный суд
Киевского района г. Москвы
от Боннэр Елены Георгиевны,
прож.: Москва Б-120, ул. Чкалова, 48б, кв. 68
по делу с Яковлевым Николаем Николаевичем,
прож.: Москва, Смоленская наб., д.5/13, кв. 135,
соответчик: журнал «Смена»,
адрес: 101457, ГСП Москва, Бумажный проезд, 14.

О защите чести и достоинства
(в порядке ст. 7 Гражданского Кодекса РСФСР)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В журнале «Смена» (июль 1983) напечатана статья Н. Н. Яковлева «Путь вниз». Статья эта порочит меня. В своем заявлении в суд я не касаюсь общей направленности статьи, искаженных и порочащих сведений о моем муже, моих детях и людях, в прошлом мне близких. Я обращаю внимание суда только на несколько утверждений автора. Перехожу к тексту статьи (все цитаты — журнал «Смена», № 14, 1983).

1. «...Все старо как мир — в дом Сахаровых после смерти жены пришла мачеха и вышвырнула детей... Боннэр поклялась в вечной любви к академику и для начала выбросила из семейного гнезда Таню, Любу и Диму, куда водворила собственных — Татьяну и Алексея...»

2. «Все деньги Сахарова в СССР Боннэр давно прибрала...»

3. «Вооружившись подложными справками, сумела поступить в медицинский институт в Москве», «...ведя развеселую жизнь...»

4. «В молодости распущенная девица достигла почти профессионализма в соблазнении и обирании пожилых и, следовательно, с положением мужчин. Дело известное, но всегда осложняющееся тем, что, как правило, у любого мужчины в больших летах есть близкая женщина, обычно жена. Значит, ее нужно убрать. Как? „Героиня" нашего рассказа действовала просто — отбила мужа у больной подруги, доведя ее шантажом, телефонными сообщениями с гадостными подробностями до смерти. Она получила желанное — почти стала супругой поэта Всеволода Багрицкого. Разочарование — погиб на войне. Девица, однако, никогда не ограничивалась одним направлением, была весьма предприимчива. Одновременно она затеяла роман с крупным инженером Моисеем Злотником. Но опять рядом досадная помеха — жена!! Инженер убрал ее, попросту убил и на долгие годы отправился в заключение. Очень шумное дело побудило известного в те годы криминалиста и публициста Льва Шейнина написать рассказ „Исчезновение", в котором сожительница Злотника фигурировала под именем „Люси Б.". Время было военное, и, понятно, напуганная „Люся Б." укрылась санитаркой в госпитальном поезде».

5. «Боннэр в качестве методы убеждения супруга поступить так-то взяла в обычай бить его чем попало».

Все вышеприведенное порочит мою честь и достоинство и таким образом подпадает под действие ст. 7 Гражданского Кодекса РСФСР. Все это является измышлениями автора статьи, не соответствует действительности.

Я прошу суд выяснить реальные обстоятельства — в соответствии с законом вся тяжесть доказательств лежит на ответчике — и вынести решение, которым обязать гр. Яковлева Н. Н. и журнал «Смена» опубликовать соответствующие опровержения.

Е. Г. Боннэр

26 сентября 1983

В своей статье Яковлев тенденциозно излагает мою биографию. Поэтому считаю необходимым привести краткую биографию.

Я родилась в 1923 г. Мой отец Геворк Алиханов, заведующий отделом кадров Коминтерна, член ВКП(б) с 1917 г., был арестован в мае 1937 г. как изменник родины, посмертно реабилитирован в 1954 г. Моя мать, Руфь Григорьевна Боннэр, член КПСС с 1924 г., также была арестована в 1937 г. как ЧСИР (член семьи изменника родины), реабилитирована в 1954 г., персональный пенсионер республиканского значения.

Я окончила семь классов в Москве и после ареста родителей уехала с младшим братом к бабушке и дяде в Ленинград. Дядя был арестован в конце октября 1937 г., его жена была выслана, и нас у бабушки росло трое — кроме меня и брата, еще двухлетняя дочь дяди. Мы с братом оказались в Ленинграде без всяких документов (метрик у нас не было) и были направлены РОНО на медкомиссию, где мне был определен возраст не 15, а 16 лет; в феврале 1938 г. по определению медкомисии я получила паспорт с годом рождения 1922. В Ленинграде я окончила среднюю школу в 1940 г; учась в школе, одновременно работала уборщицей в домоуправлении, а в летние каникулы после 8-го и 9-го классов архивариусом на заводе им. Тельмана в Москве. В 1940 г. я поступила на вечернее отделение факультета русского языка и литературы Ленинградского педагогического института им. Герцена и работала пионервожатой в школе. Никогда — ни в детстве, ни став взрослой — я не верила, что мои родители могли быть врагами родины, их идеалы и их интернационализм были для меня высоким образцом, и, когда началась война, именно поэтому я пошла в армию (медсестра, курсы РОКК) — добровольно и по велению сердца, если относиться к этим словам всерьез, а не играть с ними. 26 октября 1941 г. я была тяжело ранена и контужена около станции Валя (Волховский фронт), лежала в госпиталях в Вологде и Свердловске. В конце 1941 г. я была выписана в распоряжение РЭПа Свердловска и оттуда направлена медсестрой на военно-санитарный поезд № 122. В 1943 г. я стала ст. мед. сестрой, и мне было присвоено звание мл. лейтенанта мед. службы. В 1945 г.— лейтенант мед. службы. В мае 1945 г. я была направлена в распоряжение Беломорского военного округа на должность зам. нач. мед. части отдельного саперного батальона, откуда и была демобилизована в августе 1945 г. с инвалидностью второй группы — почти полная потеря зрения на правом глазу и прогрессирующая слепота на левом (последствия контузии). Последующие два года я упорно боролась за то, чтобы сохранить зрение, и с благодарностью перечисляю здесь врачей, которые мне в этом помогли: д-р Фридляндская (поликлиника на ул. Труда), проф. Крон (Медицинская академия), проф. Чирковский (1-й Ленинградский медицинский институт), д-р Суконщикова (Институт глазных болезней) — это в Ленинграде; затем я дважды лежала в Институте глазных болезней в Одессе, где моими лечащими врачами были проф. Владимир Петрович Филатов и его жена д-р Скородинская. В 1947 г. мое состояние стабилизировалось, хотя всю последующую жизнь я была инвалидом то третьей, то второй группы, в зависимости от состояния, а в 1970 г. признана инвалидом второй группы Великой Отечественной войны пожизненно. В 1947 г. я поступила в Первый Ленинградский медицинский институт, который и окончила в 1953 году по шестилетнему курсу обучения. С этого времени и до достижения пенсионного возраста я всегда работала, кроме перерыва несколько больше года в 1961—62 г., когда тяжело болел мой сын. Была участковым врачом, врачом-педиатром род. дома, преподавала детские болезни в мед. училище, работала по командировке Минздрава СССР в Ираке. Работу по специальности часто сочетала с литературой — печаталась в журналах «Нева», «Юность», писала для Всесоюзного радио, печаталась в «Литгазете», в газете «Медработник», участвовала в сборнике «Актеры, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны», была одним из составителей книги Всеволода Багрицкого — «Дневники, письма, стихи», сотрудничала как внештатный литконсультант в литконсультации СП, одно время была редактором в ленинградском отделении Медгиза. Отличник здравоохранения СССР. С 1938 г.— член ВЛКСМ, все годы службы в ВСП комсорг, в институте — профорг курса. Ни в армии, ни в последующие годы не считала для себя (внетренне) возможным вступление в партию, пока мои родители числились изменниками родины или, как тогда чаще говорили, «врагами народа». После XX и особенно после XXII съезда решила вступить в КПСС и с 1964 г. кандидат, а с 1965 г. член КПСС. После осени 1968 г. сочла свой шаг неправильным и в 1972 г. в связи со своими убеждениями вышла из КПСС.

У меня двое детей — дочь Татьяна (1950 г. р.) и сын Алексей (1956 г. р.). Их отец, Иван Васильевич Семенов, учился вместе со мной в Первом Ленинградском медицинском институте и работает там до настоящего времени. Фактически мы разошлись с ним в 1965 г. Татьяна осенью 1967 г. поступила в Московский университет, была исключена осенью 1972 года за участие в демонстрации протеста у ливанского посольства в связи с террористическим актом — убийством израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде. В 1974 г. она была восстановлена и в 1975 г. успешно окончила университет, на «отлично» защитив диплом. Алексей отлично закончил среднюю школу, так же отлично учился на математическом факультете Московского педагогического института им. В. И. Ленина, был исключен с последнего курса, формально — как не сдавший военное дело (предмет, не входящий в учебный план института). Мой зять Ефрем Янкелевич закончил Московский электротехнический институт связи.

Мое заявление в суд содержит пять пунктов. По трем из них дает разъяснения в своем заявлении мой муж Андрей Дмитриевич Сахаров. Я остановлюсь на двух остальных — на пункте 3 и на пункте 4.

3. «...вооружившись подложными справками, сумела поступить в медицинский институт в Москве...», «...ведя развеселую жизнь...» («Смена», № 14). Я не поступала никогда ни в какой институт в Москве. Я поступила в 1947 г. в Первый Ленинградский мед. институт, имея аттестат об окончании ленинградской средней школы № 11 (ныне № 239), сдавала экзамены на общих основаниях и была зачислена после успешной их сдачи. Никакими подложными справками не пользовалась. Эпитет «развеселая», отнесенный к моей жизни, обсуждать не хочу, выше изложена моя краткая биография.

4. «В молодости распущенная девица достигла почти профессионализма в соблазнении и последующем обирании пожилых и, следовательно, с положением мужчин. Дело известное, но всегда осложнявшееся тем, что, как правило, у любого мужчины в больших летах есть близкая женщина, обычно жена. Значит, ее нужно убрать. Как? „Героиня" нашего рассказа действовала просто — отбила мужа у больной подруги, доведя ее шантажом, телефонными сообщениями с гадостными подробностями до смерти. Она получила желанное — почти стала супругой поэта Всеволода Багрицкого. Разочарование — погиб на войне. Девица, однако, никогда не ограничивалась одним направлением, была весьма предприимчива. Одновременно она затеяла роман с крупным инженером Моисеем Злотником. Но опять рядом досадная помеха — жена! Инженер убрал ее, попросту убил и на долгие годы отправился в заключение. Очень шумное дело побудило известного в те годы криминалиста и публициста Льва Шейнина написать рассказ „Исчезновение", в котором сожительница Злотника фигурировала под именем „Люси Б.". Время было военное, и, понятно, напуганная бойкая „Люся Б." укрылась санитаркой в госпитальном поезде».

Трагедия — убийство моей школьной подруги Елены Доленко ее мужем Моисеем Злотником (двоюродным братом моей другой школьной подруги, Регины Этингер) — произошла в конце октября 1944 г. Я последний раз видела Елену Доленко в конце 1942 года, когда она вернулась в Москву из эвакуации из Ашхабада. Тогда же видела и Моисея Злотника в доме старшей сестры Регины — Евгении Этингер. Брак между Злотником и Доленко был заключен много позже, осенью 1943 года. Мужем и женой я ни разу их не видела. Об исчезновении Е. Доленко я узнала в канун 1945 г., когда снова была в Москве с ВСП в течение нескольких дней. В конце апреля 1945 г. я была вызвана с санпоезда в Москву на допрос и тогда узнала, что Злотник арестован и что он убил Е. Доленко. Кроме этого единственного допроса, когда меня спрашивали о личности убитой и убийцы и о моих отношениях с ними (Доленко я знала с младших классов, Злотника с 1938 года), меня больше ни на следствие, ни в суд не вызывали. По фабуле этого трагического уголовного дела Л. Шейнин написал рассказ. По литературной версии, Глотник (Злотник) — сексуальный маньяк (по официальной судебной — Злотник совершил убийство из ревности), у которого, кроме жены, три любовницы, одна из них «Люся Б.». Но в рассказе Шейнина, на который ссылается Яковлев, я — никак не подстрекатель к убийству, а скорее жертва. И Яковлев точно так же, как меня (если опираться на рассказ), мог бы обвинить в подстрекательстве к убийству двух других — «Нелли Г.», живущую в Ленинграде, или «Шурочку», живущую в Москве.

Теперь я вынуждена отступить от моего письма в суд и рассказать о некоем предшественнике Яковлева. В 1976 году я получила два письма, подписанных Семеном Злотником, выдававшим себя за племянника Моисея Злотника и требовавшим от меня «6000 рублей и некую сумму за границей», так как он решил эмигрировать из СССР. Эту «просьбу» автор письма подкреплял угрозой «раскрыть мои отношения с его дядей» и вообще мое «темное прошлое». Я на эти письма не ответила. Через некоторое время в Москве, Ленинграде и во многих странах мира, люди, знающие А. Д. Сахарова или меня (академики, писатели, врачи, политические и общественные деятели, наши друзья), стали получать письма из Вены (желтые стандартные пакеты) с фотокопией рассказа Шейнина и письмом, подписанным Семеном Злотником, в которых излагалось мое «темное прошлое». Мы знаем более чем о тысяче таких пакетов. Обратный адрес на них был: Адамбергенгассе 10/8, 1020, Вена, Австрия, отправитель — Сандлер Е. Х. Австрийские корреспонденты выяснили, что ни такого адреса, ни такого человека в Вене нет. На этом история не кончилась. В 1980 г. в газете «Сетте джорне», издающейся на Сицилии, появилась статья со ссылкой на рассказ «бедного эмигранта из России Семена Злотника», где излагается «моя биография»,— в ней не только два убийства и весь клеветнический набор, что и у Яковлева, но еще и цитаты из моих писем и писем ко мне моего родственника из Франции, умершего в 1972 году. (Эти письма прошли нормальный почтовый путь, но каким-то чудом оказались в распоряжении Семена Злотника.) В ней же сказано, что проживает Семен Злотник во Франции. Все выглядело бы правдоподобно, но... никто из семьи Злотников из СССР не выезжал и Семена Злотника — племянника Моисея Злотника — в этой семье никогда не было, это поручик Киже. Не моя задача исследовать, кто сочинил его.

Возвращаюсь к своему заявлению в суд (пункт 4). *Всеволод Багрицкий, сын поэта Эдуарда Багрицкого, не был ни пожилым, ни богатым — он родился 19 апреля 1922 г. в Одессе и погиб 26 февраля 1942 г. недалеко от Любани, не дожив до 20 лет. Мы учились в одном классе и сидели на одной парте, вместе ходили в школу и из школы, и он читал мне стихи. Его отец в шутку называл меня «наша законная невеста», и так меня называла до самой своей смерти мать Севы Лидия Густавовна Багрицкая и его тетя Ольга Густавовна Суок-Олеша. Была у нас с Севой детская дружба, была первая любовь. Потом была общая судьба: мы были вместе, когда арестовали моих родителей, когда арестовали его мать, когда погиб его брат; он провожал в ссылку мою тетю и нянчил ее тогда двухлетнюю дочь. Потом у нас были ночные очереди, чтобы раз в месяц сделать передачи нашим мамам в Бутырки; передачи брали по буквам: день — буква, а нам повезло — мамы были на одну букву. Была разлука, я жила у бабушки в Ленинграде. Были мои приезды в Москву, его каникулы у нас в Ленинграде. Потом война и гибель Севы. Лидия Густавовна Багрицкая из женского Карагандинского лагеря (где тогда была и моя мать) написала мне: «Люсенька, милая, как же мы будем жить без Севки...» Но живые — живут. Лидия Густавовна, реабилитированная, вернулась в Москву. И все годы до ее смерти в 1969 г. моя семья была — моя мама, мои дети, мой муж Иван Семенов (до нашего развода) и Лида. Дети знали, что у них есть бабушки и Лида. Лидия Густавовна болела на моих руках, выздоравливала, и мы собирали «Севкину книгу» — вначале не для печати, для себя. Многие стихи в книге — только из моей памяти, другое я собирала по крохам у друзей, некоторые бумаги после гибели Севы сохранил Корнелий Зелинский. Потом Лидии Густавовне передали Севину пробитую осколком полевую сумку с его тетрадью и документами.*

При жизни у Всеволода Багрицкого было опубликовано лишь несколько стихотворений (см. сборник «Строка, оборванная пулей», «Московский рабочий», 1976, стр. 82). В 1964 г. в издательстве «Советский писатель» вышла книга Всеволода Багрицкого «Дневники, письма, стихи», составители Л. Г. Багрицкая и Е. Г. Боннэр. Книга получила премию Ленинского комсомола, давно стала библиографической редкостью. И все же, читатели «Смены», найдите и прочтите ее. Эта книга — документ истории, в ней нет ни одной сочиненной кем-либо строки. Все написано Всеволодом. Яковлев охотно ссылается на детектив Л. Шейнина, но он не может сослаться на книгу В. Багрицкого. Детектив главного следователя сталинских времен и «детектив» Яковлева внутренне близки. Книга В. Багрицкого Яковлеву противопоказана: нельзя допустить читателя в сложный, чистый мир трагически одинокого юноши 37—42 гг.; надо «повязать» (простите уголовный жаргон) читателя вместе с собой в муть своего повествования.

Я обращаюсь к книге В. Багрицкого (с. 68 — письмо к маме в лагерь от 14 октября 1940 года): «Пока мы работали над первым актом „Дуэли", я успел влюбиться в одну больную девушку (у нее порок сердца) и, поборов сопротивление ее родных, жениться на ней. Прожили мы вместе месяц и поняли, что так, очевидно, продолжаться не может. Семейная жизнь не удалась. Она переехала обратно. И вот сейчас я снова со своей старой Машей (няня Севы.— Е. Б.). Снова могу лежать с ногами на кровати и курить в комнате. Но чувствую, что самое трудное и сложное впереди — нужно еще идти в загс разводиться. Моей женой была Марина Владимировна Филатова[1]*, очень хорошая девушка. Я и сейчас с ней в прекрасных отношениях. До сих пор не могу понять, почему я женился. Все меня отговаривали, даже она сама. А я все-таки женился — глупо! Легкомыслие, наверно, преобладает во мне». И другое письмо — письмо Маши Брагиной (стр. 71, декабрь 1940 г.): «Здравствуй дорогая, милая Лидия Густавовна! Посмотрела бы на тебя, как на солнышко. Долго ли мне с Севушкой пожить? Здоровье у меня очень слабое. Для него стираю, мою, ушиваю и собираю ему кое-что поесть. Кое-что собираю из одежки. Купила ему трое ботиночек и три рубашки. Ваши-то он все износил, а некоторые роздал своим друзьям. И носочки кое-как поштопаю, утяну худенько, да не спрашивает много... Осенью Сева стал скучать и от скуки было женился, но скоро развелся. Девушка была хорошая, скромная, но очень болезненная. А наша законная невеста Люся живет в Ленинграде. Ну, пока ждем вас домой с нетерпением большим. Крепко вас целую, будьте здоровы. Маша». Вот вся история женитьбы и развода Всеволода Багрицкого, изложенная им самим. Если книга не является документом, достаточным для выяснения истины, то сообщаю, что весь архив Всеволода находится в ЦГАЛИ — там подлинники этих писем, там и его паспорт, пробитый осколком авиабомбы. В паспорте есть штамп и о женитьбе, и о разводе — осенью 1940 года. Я никогда не видела М. В. Филатовой, никогда не говорила с ней по телефону. Упоминанием Всеволода, фразой «Разочарование — погиб на войне» Яковлев оскорбил не меня, а всех, у кого погибли близкие, память всех мальчиков, не пришедших с войн. Я в память своего мальчика, не пришедшего с войны, сделала все, что*

---

[1] Со слов друзей Всеволода известно, что настоящее имя Филатовой Маргарита — Мариной она сама себя называла — и что она умерла в Москве в конце 1943 года.

могла: по крохам собрала все, что от него осталось, до последнего дня жизни его мамы была ей ближайшим другом и почти дочерью, научила своих детей любить ее и чтить память Севы.

Мне всегда было горько, что друзья Севы за своими жизненными заботами не проявили к ней внимания, кроме двух встреч по моей инициативе, никогда даже не приходили к ней. Может, теперь они защитят память Всеволода? Я прошу вызвать в суд товарищей Севы по студии, руководителей студии Алексея Николаевича Арбузова и Валентина Николаевича Плучека, писателя Исая Кузнецова, других студийцев, а также писателя Александра Свободина — женитьба и развод Севы были на их глазах, я же в то время жила в Ленинграде.

На этом фактическую сторону моего заявления в суд можно было бы кончить. Но почему Яковлеву нужна моя биография, да еще изложенная так, как сделал он? Потому что в нашей трагической жизни кто-то надеется этой грязной «литературной» стряпней довести двух очень немолодых и очень больных людей до смерти, потому что можно заморочить головы миллионов доверчивых читателей — и ради этого годится творчество в духе геббельсовской пропаганды. Это подтверждается тысячами разъяренных, злобных писем, которые мы получаем, рекомендующих Сахарову «покаяться», «развестись с еврейкой» и «жить своим умом, а не боннэровским». Подтверждается погромом, который мне устроили в поезде Горький—Москва, скандалами, устраиваемыми Сахарову и мне на улицах в Горьком, бесчисленными угрозами расправиться с нами, а то и просто убить нас.

В 1983 г. в одном из самых читаемых (тираж 8 млн. 700 тыс.) журналов «Человек и закон» появилась серия статей Яковлева «ЦРУ против страны Советов». Если в книге «ЦРУ против СССР» и в журнале «Смена» еврейско-сионистская тема преподносится несколько приглушенно, набором фамилий и ссылками на анонимных мифических учеников Сахарова, то в журнале «Человек и закон» (№ 10, 1983) она становится абсолютно явной и откровенной. Цитирую раздел статьи «Фирма Е. Боннэр энд чилдрен», с. 105: «В своих попытках подорвать советский строй изнутри ЦРУ широко прибегло и к услугам международного сионизма... Используется при этом не только агентурная сеть американских, израильских и сионистских спецслужб и связанный с ними еврейский масонский орган „Бнай Брит“, но и элементы, подверженные воздействию сионистской пропаганды. Одной из жертв сионистской агентуры ЦРУ стал академик А. Д. Сахаров. Какие бы гневные слова ни произносились (и вполне заслуженно) в адрес Сахарова, по-человечески его жалко ⟨...⟩ используя особенности его личной жизни примерно за полтора десятка последних лет (о чем дальше), провокаторы из подрывных ведомств толкнули и толкают этого душевно неуравновешенного человека на поступки, противоречащие облику Сахарова-ученого. Все старо, как мир: в дом Сахарова после смерти жены пришла мачеха... Вдовцу Сахарову навязалась страшная женщина». Прошу простить длинную цитату, частично повторяющую изложенное в «Смене», но в ней по контексту однозначно утверждается, что именно я — провокатор из «подрывных» масонских, сионистских и ЦРУ служб и именно я несу ответственность за всю деятельность Сахарова в защиту мира и прав человека, он же — жертва, душевно неуравновешенный человек. Антисемитская направленность статьи Яковлева в популярном юридическом журнале по существу является возбуждением национальной ненависти. В этой связи не могу не вспомнить антисемитское дело «врачей-убийц» и «Почту Лидии Тимашук» — одну из позорнейших страниц истории нашей страны. Читатели Яковлева, возможно, забыли об этом, но ему — профессору-историку — должно помнить.

Чего же хочет от меня Яковлев? Чтобы я предала мужа? Я никогда никого не предавала. Испугать меня судом по статье 64 УК РСФСР (вплоть до смертной казни)? Я никогда не состояла на службе никаких разведок — американских, масонских, сионистских. Все бесчисленные публикации Яковлева вызваны только тем, что я жена Сахарова, да к тому же я — еврейка, что облегчает ему задачу. Но я надеюсь прожить свою жизнь до конца достойно русской культуры и среды, в которой прошла моя жизнь, своей еврейской и своей армянской национальности, и горжусь тем, что мне выпала трудная и счастливая судьба быть женой и другом академика Андрея Дмитриевича Сахарова.

Елена Боннэр

26 сентября 1983 г.

СВИДЕТЕЛЬСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с заявлением в суд моей жены Е. Г. Боннэр об ущербе ее чести и достоинству, нанесенном публикациями Н. Н. Яковлева в книге «ЦРУ против СССР» (3-е изд., переработанное и дополненное, Москва, «Мол. гвардия», 1983) и в статье «Путь вниз» (журнал «Смена», № 14, июль 1983) я хочу и должен по ряду утверждений Яковлева дать нижеследующие свидетельские показания.

1. Ложью является утверждение Яковлева («Смена», стр. 27): «В конце 60-х годов Боннэр наконец вышла на крупного зверя — вдовца, академика А. Д. Сахарова. Но увы, у него трое детей — Татьяна, Люба и Дима. Боннэр поклялась в вечной любви к академику и для начала выбросила из семейного гнезда Таню, Любу и Диму, куда водворила собственных — Татьяну и Алексея». Никто не имеет права писать о чужой личной жизни в таком пошлом тоне и столь лживо, как это делает Яковлев в приведенном отрывке и во множестве других мест своих статей и книг. В недавно опубликованной статье в журнале «Человек и закон» (№ 10, 1983) Яковлев еще более усиливает свои инсинуации: «Вдовцу Сахарову н а в я з а л а с ь страшная женщина». Елена Георгиевна Боннэр не «навязывалась» мне, не давала никаких «клятв вечной любви». Я просил ее быть моей женой. С тех пор она самоотверженно несет эту трудную долю, трагическую судьбу. Это н а ш а судьба, н а ш и счастье и трагедия. Прошу оградить нас от грязного и пошлого вмешательства Яковлева.

На самом деле мои младшие дети от первого брака Любовь Андреевна Сахарова (1949 г. р.) и Дмитрий Андреевич Сахаров (1957 г. р.), проживавшие вместе со мной до моего второго брака в трехкомнатной квартире по адресу: Москва, ул. Маршала Новикова (ранее — Первый Щукинский проезд), д. 1, кв. 16, площадь 57 кв. м, проживают там до сих пор, без какого-либо перерыва. Моя жена Е. Г. Боннэр и ее дети Татьяна (1950 г. р.) и Алексей (1956 г. р.) (Яковлев ошибочно пишет: 1955 г.) не жили в этой квартире ни одного дня. После брака я перешел жить в двухкомнатную квартиру матери моей жены, где на площади 34 кв. м в это время проживали (кроме меня) пять человек. Моя старшая дочь Татьяна Андреевна Сахарова (1945 г. р.) вышла замуж в 1967 году, еще при жизни моей покойной жены К. А. Вихиревой, и с этого времени жила отдельно. Я оплатил ее вступительный взнос в ЖСК АН СССР, в 1972 году она въехала в трехкомнатную квартиру в центре Москвы (Ростовская наб., д. 1, кв. 26), где и живет с мужем и дочерью. Все изложенное мной по этому поводу может быть подтверждено выписками из домовых книг и свидетельскими показаниями. Свидетелями прошу вызвать: Бобылева Александра Акимовича, Зельдовича Якова Борисовича, Романова Юрия Александровича,[1] Фейнберга Евгения Львовича. Нарочитое называние моих детей уменьшительными именами, а детей жены полными предназначено Яковлевым для того, чтобы у читателя создалось впечатление, что малых детей на улицу «вышвырнули».

2. Ложью является то, что моя жена «прибрала» мои сбережения. В 1969 г. я передал в фонд государства (Красному Кресту и на строительство Онкологического центра) 139 000 рублей. В 1971—73 годах я отдавал своим детям от первого брака и моему брату Георгию Дмитриевичу Сахарову более 500 руб. ежемесячно. В 1973 году я перевел на счет своих детей от первого брака половину оставшихся у меня к тому времени сбережений в сумме 14 400 руб. В 1972 году я подарил старшей дочери Татьяне свою автомашину ЗИМ. В 1973—77 годах я продолжал регулярно оказывать помощь сыну Дмитрию в размере 150 руб. в месяц, в дальнейшем оказывал ему материальную помощь эпизодически. Одновременно я оказывал и продолжаю оказывать материальную помощь своему брату. Все с 1971 года происходило с ведома и одобрения моей второй жены, а иногда и по ее инициативе.

3. Яковлев пишет заведомую ложь, называя моего зятя Ефрема Янкелевича недоучкой и лоботрясом. Е. Янкелевич успешно кончил Московский институт связи в 1972 году. В настоящее время в США он по моей доверенности выполняет весьма сложную и ответственную работу моего представителя за рубежом. Яковлев называет лодырями и бездельниками Алексея Семенова и Татьяну Семенову-Янкелевич. Это заведомая клевета, которая легко опровергается документами.

4. Яковлев пишет: «С изменением семейного положения Сахарова изменился фокус его интересов. Теоретик по совместительству занялся политикой, стал встречаться с теми, кто скоро получил кличку „правозащитников“». Это утверждение — ложь. Я встретился с моей будущей женой Е. Г. Боннэр осенью 1970 года (Яковлев умышленно ложно пишет — в конце 60-х годов). Еще в середине 50-х годов меня стали глубоко волновать общественные и общеполитические вопросы. Я сыграл определенную роль в заключении Московского договора 1963 года о прекращении ядерных испытаний в трех средах. Это может подтвердить в качестве свидетеля министр среднего машиностроения СССР, член ЦК КПСС Е. П. Славский. В 1968 году, за два с половиной года до встречи с Е. Г Боннэр, опубликована моя статья «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В ней определились основные линии моей общественной позиции, получившие развитие в ряде последующих моих высту-

[1] А. А. Бобылев — родственник покойной жены А. Д. Сахарова. Я. Б. Зельдович и Ю. А. Романов — физики, коллеги А. Д. Сахарова.

плений. С очень многими наиболее известными защитниками прав человека в СССР я встретился в первой половине 1970 года, т. е. до моей встречи с Е. Г. Боннэр.

5. Яковлев лживо излагает обстоятельства голодовки, объявленной моей женой и мною с целью добиться для нашей невестки Елизаветы Алексеевой, ставшей заложницей моей общественной деятельности, разрешения на выезд в США к мужу. Я заявляю, что решение о голодовке было нашим общим, каждый из нас сознавал абсолютную необходимость и серьезность этого шага. Голодовку проводили мы оба, а не только я (см. газета «Известия» 4 декабря 1981 года). На тринадцатый день голодовки мы были насильно госпитализированы и разлучены, помещены в разные больницы. Мы прекратили голодовку на 17-й день, когда власти дали нам заверения, что наше требование будет удовлетворено.

6. Яковлев пишет: «Боннэр в качестве методы убеждения супруга поступать так-то взяла в обычай бить его чем попало». Яковлев с одобрением цитирует статью выходящей в Нью-Йорке газеты «Русский голос»: «Похоже, что Сахаров стал заложником сионистов, которые через посредничество вздорной и неуравновешенной Боннэр диктуют ему свои условия». Яковлев пишет: «...такой аттестат выдан Сахарову теми, кто сумел объективно поставить его на службу интересам империализма. Как? Для этого придется вторгнуться в личную жизнь Сахарова. Все старо как мир — в дом Сахарова пришла мачеха...» «Замечены регулярные перепады в его настроении. Спокойные периоды, когда Боннэр, оставив его, уезжает в Москву, и депрессивные — когда она наезжает из столицы к супругу... Засим следует коллективное сочинение супругами какого-нибудь пасквиля, иногда прерываемое бурной сценой с побоями... На этом фоне я бы рассматривал очередные откровения от имени Сахарова, передаваемые западными радиоголосами». Я заявляю, что все приведенные мною утверждения Яковлева представляют собой сознательную и злонамеренную провокационную ложь. Яковлев не приводит и не может привести никаких доказательств того, что моя жена Е. Г. Боннэр меня избивает и таким образом добивается нужных ей поступков и заявлений. Я утверждаю, что это, порочащее честь и достоинство моей жены и мои, утверждение Яковлева абсолютно ложно. Ни на чем не основаны и ложны также утверждения Яковлева о колебаниях в моем настроении, якобы депрессивном в присутствии жены. Я заявляю, что все мои статьи, книги и обращения, опубликованные на Западе или распространявшиеся в СССР, выражают мои личные убеждения, сложившиеся в течение целой жизни. Яковлев изображает меня неким недоумком, большим ребенком, находящимся в подчинении у властной, коварной и корыстолюбивой женщины. Он также говорит о моем психическом нездоровье. Недавно эту же инсинуацию повторил президент АН СССР А. П. Александров. Таким образом пытаются дискредитировать мои общественные выступления как несамостоятельные, внушенные чужой волей. При этом преследуется и вторая цель, быть может, еще более важная — поставить мою жену в непереносимое и опасное положение, нанести ущерб ее здоровью и жизни и тем попытаться парализовать мою общественную активность. В подкрепление используются инсинуации о личной жизни и мнимых преступлениях моей жены в прошлом, клевета о ее моральном облике. Но особо важную роль играет подчеркивание ее национальности, эксплуатация национальных предрассудков части населения нашей страны. Я глубоко благодарен моей жене за ее самоотверженность и стойкость в нашей трагической жизни, за усиление гуманистической направленности, которой я обязан ей. Но я с определенностью заявляю, что за всю свою общественную деятельность, за содержание и форму своих выступлений я несу полную единоличную ответственность, и только я. Я категорически отвергаю утверждение Яковлева, что мои выступления явились хотя бы в какой-то степени результатом давления со стороны моей жены Е. Г. Боннэр или кого-либо иного. Я считаю свои выступления соответствующими общечеловеческим целям сохранения мира на земле, прогресса и свободы, прав человека, соответствующим целям гуманности и гласности, и отвергаю обвинение Яковлева, что они имеют антинародный или проимпериалистический характер. Мои выступления, текст которых подтвержден моей женой Е. Г. Боннэр или моим представителем на Западе Е. В. Янкелевичем, являются полностью моими авторскими. Поэтому я утверждаю, что приведенная выше формулировка Н. Н. Яковлева — «откровения от имени Сахарова» — злонамеренная ложь. Вместе с тем я официально заявляю, что не могу нести ответственности за те выступления от моего имени, текст которых не подтвержден лично мною, или лично моей женой Е. Г. Боннэр, или лично Е. Янкелевичем, если когда-либо такие публикации появятся в СССР или на Западе. До сих пор такие публикации мне не известны. Сказанное относится к статьям, книгам, воспоминаниям, заявлениям, обращениям, интервью, вообще к любым публикациям, включая научные. В сложившейся ситуации я считаю необходимым заявить: в случае моей смерти авторские права на все написанное мною, опубликованное и в рукописях, завещаю моей жене Е. Г. Боннэр, назначая ее единственным распорядителем и наследником моего литературного наследства. В случае же и ее смерти единственным распорядителем и наследником моего литературного наследства назначаю Янкелевич (Семеновy) Татьяну Ивановну, эта моя воля в числе других моих распоряжений закреплена в нотариальном завещании, подлинник которого хранится в Нотариальной конторе Приокского района города Горький.

А. Д. Сахаров

19 сентября 1983 г.
Горький, пр. Гагарина, 214, кв. 3.

Районный суд Киевского района Москвы. На прием к судье довольно большая очередь, и нигде нет надписи, что инвалидам войны без очереди. Я впервые в жизни пришла на такой прием. Все сидят в комнате, большой, похожей на класс. Открывается дверь в соседнюю. Выходит молодая, хорошенькая женщина и тут же при всех расспрашивает каждого, по какому делу он пришел. В результате кому-то дается справка, бланк заявления, кому-то говорят, что надо заплатить пошлину, кого-то вообще отсылают в другое учреждение. Людей сразу становится меньше, оставшиеся по одному входят в кабинет судьи. Кто задерживается там на 3—5 минут, кто дольше. Моя очередь. Объясняю очень кратко, с чем я пришла, подаю всю пачку документов и журнал «Смена». Она начинает читать, в это время входит ее секретарь и дает ей какую-то записку. Судья просит прощения и выходит. Со мной остается секретарь. Судья возвращается через несколько минут и говорит: «Я не могу принять ваше заявление без разрешения председателя районного суда, пройдите к нему». Я уже поднялась к ней на третий этаж. После инфаркта я стала везде и всюду считать этажи — каждый этаж стал для меня прямо событием. Теперь еще один этаж, и я около кабинета председателя. У него тоже очередь. Небольшая — человека четыре. Но задерживаются дольше, чем у районного судьи. Сразу после меня подошли три человека вместе. По их разговору поняла: после суда просить свидание. В чем дело, не знаю, но, похоже, осужден сын этих двух пожилых — она заплаканная, все время говорит, он больше молчит (может, суд был сегодня, сейчас) — и муж молоденькой девчонки (которая с ними), на лице ее не видно ни большого горя, ни озабоченности.

Судья — крупное, усталое лицо, грузный, костюм на нем серый, много ношенный, на груди орденские планки. Встал из-за стола к шкафу, протез скрипит — без ноги, похоже, инвалид войны. Ну, посмотрим, что мне этот скажет. Взял бумаги и уселся так удобно — может, будет читать. Действительно, читает. Почти полчаса. Потом: «Значит так, Елена Георгиевна. Вы пройдите к судье снова, я распоряжусь, чтобы она приняла заявление». Протянул руку. Я пожала и в состоянии некоего недоумения, так как ожидала опять отказа, пошла к судье. Теперь уже, слава Богу, счет этажей идет вниз. Как только вышел от судьи очередной посетитель, секретарь позвала меня. Судья записала меня в какую-то большущую тетрадь, приклеила туда гербовую марку, которая мной была куплена еще раньше, в преддверии визита в суд. Я расписалась, секретарь вложила все мои бумаги в папку с крупно напечатанным «ДЕЛО». Под этим проставила мое имя, адрес и дату. Судья сказала: «Мы вас известим в течение месяца о времени слушания дела». Я вышла. Спускаясь по лестнице, как мне кажется теперь, я думала: «Вот как все хорошо. Похоже, я буду действительно судиться, и, может, стоит предупредить девочек (моих сверстниц, но все девочки) в Ленинграде, что я их вызову на суд в качестве свидетелей, что я кончала школу с одними, а с другими — медицинский институт». Я вышла на улицу. В тщетных попытках найти такси покружила в переулках вокруг суда. Медленно (было очень скользко, и сердце от этажей болело) двигалась к Кутузовскому проспекту. И тут я стала терять этот первый свой энтузиазм. Похоже, достаточно свежий октябрьский ветер сумел быстро остудить мой оптимистический порыв.

В Москве среди друзей подачу заявления в суд много обсуждали. Вначале были обсуждения «подавать — не подавать». Кто был за, кто — против, и вообще все делились на «за» и «против». Интересно, что часто те, кто против,— это тоже вроде друзья, и в повседневной жизни мы много общаемся, есть у нас и взаимопомощь, и еще какие-то черты дружбы, видимо, вынужденной обстоятельствами. Это те, кто, тем не менее, может сказать: «Нет, лучше ей не судиться, все-таки не все ясно в ее жизни». Я просто знаю, что так говорили те, кого иногда даже весь мир считает нашими друзьями. Те, кто «за», никогда ничего подобного никогда не скажут, и даже в мыслях у них такое не заронится. Они не будут никогда ни с кем обсуждать в полуяковлевском стиле что бы то ни было (не только про нас), а если усомнятся, то просто спросят.

В деле с подачей заявления пересилили те, кто был «за» и, конечно, Андрей. Теперь обсуждалась подача заявления. Многие считали, что суд будет, но Яковлева не осудят и не оправдают — решение будет неопределенным. Некоторые считали, что осудят, но опровержения не напечатают. А у меня, как только октябрьский ветер меня остудил,

взгляд был на дальнейшее вполне определенный: ничего не будет. Так прошел октябрь. Шиханович в мой очередной приезд потребовал, чтобы я пошла к судье. Мы договорились, что на следующий день после работы он повезет меня туда. Он сбегал в автомат и узнал, что и у судьи, и у председателя завтра приемный день. Когда мы приехали в суд и преодолели три этажа, то оказалось, что моя судья заболела и прием отменен. Мы поднялись еще на этаж — прием отменен: председатель суда вызван в райком (или горком, не помню). Прием будет на следующей неделе. Через неделю я приехала уже с Эмилем [1] — Ших не мог уйти с работы, а прием был не в вечерние часы. Районный судья по-прежнему была больна. Но секретарь ее (похоже, она ждала меня) сказала, что меня примет председатель. Поднялись к нему. Вошли в кабинет вместе с Эмилем. Он попросил Эмиля выйти, хотя я просила вести разговор при нем. Не хотел свидетеля, что ли?

Мы остались вдвоем, он достал из шкафа папку «ДЕЛО», из которой торчал журнал «Смена», положил к себе на стол и, прижав рукой, сказал: «Дело ваше к рассмотрению я принять не могу».

— Почему? — Он пожал плечами и, как-то вобрав голову в плечи, сказал снова: «Не могу».

— Тогда дайте письменный мотивированный отказ, ведь это положено, так написано в кодексе.

— Положено, но я не дам мотивированного отказа, не могу.

— Ну, а куда мне жаловаться, что нарушается закон?

— Жаловаться? Елена Георгиевна, вы женщина умная. Если вам не жаль сил и времени, то можете, конечно, жаловаться, но не советую.

Тогда я спросила:

— Скажите, а вам на высоком уровне приказали не принимать моего заявления в суд к рассмотрению?

Он посмотрел на меня вдруг другим, не мертвым, как было во все время разговора, а живым взглядом и сказал:

— Не достаточно.

— Понятно, но ведь я пишу правду, а Яковлев врет,— разговор становился уже каким-то неофициальным.

— Я знаю,— ответил он.— Я кое-что проверял — вот не жили вы никогда в квартире Сахарова. И книжечку Всеволода Багрицкого прочел.

Мы оба замолчали. Потом я встала, чтобы уходить, и мне непроизвольно захотелось протянуть ему руку, когда он, скрипя протезом, вышел из-за стола, держа в руках мое дело. Я протянула руку, он протянул мне «Дело», потом понял мой жест, переложил его в другую руку и, пожимая мою, сказал:

— А хотите, я не буду вам возвращать ваше «Дело», а положу к себе в сейф, у вас все равно, небось, есть копии. А у меня, может, и долежит. Может, снова начнут реабилитировать.

— Оставьте.

Мы пожали друг другу руки. Я вышла со странным смешанным чувством и уважения к этому человеку за то, что он мне, в общем, много сказал, и удивления, что он все понимает, и сожаления, что вот ведь может работать в этой системе. И сочувствия: «А что делать?»

Я рассказала это Эмилю, потом дома друзьям, потом в Горьком Андрею. А сама до сих пор думаю: «А может, действительно скоро будут снова реабилитировать? Сомнительно что-то». Ну, если не будут, то, может, из этого сейфа мое дело против Яковлева все-таки попадет в категорию тех, на которых в верхнем правом углу написано «хранить вечно».

Этой же весной был обыск у Натальи в Ленинграде. Я не отнеслась к нему всерьез. Так же расцениваю и сейчас, что ничего они там особо не искали, а то бы нашли. Им это было не нужно. Единственное, что было надо, это подтолкнуть ее решение уехать из СССР. Им был не нужен лишний человек, которому я могу полностью доверять. То, что обыск был проведен сразу, как Наташа пришла с поезда, привезшего ее из Москвы от меня, преследовало и параллельную цель. А не прячу ли я чего-нибудь в Ленинграде?

Вскоре после обыска умерла Зоечка [2]. Ленинградский «Пушкинский дом» [3] за годы, что мы в Горьком, все больше двигался к тому, чтобы совсем опустеть — это началось со смерти Инки в октябре 1980. Наташа подошла к решению уезжать и вскоре получила вызов, а Ших прислал нам фототелеграмму с бессмертным четверостишием:

Наташа получила вызов,
Увы, прощанье предстоит.

---

[1] Эмиль Израилевич Шинберг, зубной врач, знакомый Е. Г. Боннэр.

[2] Зоя Моисеевна Задунайская, литературный редактор (ум. в 1983).

[3] Квартира в доме на Пушкинской ул., где жили Н. В. Гессе, З. М. Задунайская и Регина Моисеевва (Инка) Этингер (1922—1980), ближайшая подруга Е. Г. Боннэр со школьных времен.

И наш грядущий коммунизм
Ее, увы, не осенит.

Я поехала в Москву своим обычным поездом, в 11 вечера уезжаешь, в 7.15 приезжаешь (если поезд не запаздывает, что бывает часто — это не «Красная стрела» Москва—Ленинград). Я не помню никаких особых событий в этом пути, не помню, как себя чувствовала. Встречал меня Шиханович. Помню, что было холодно в Москве, идти надо было далеко по платформе. Шиханович рассказывал мне разные лагерные и другие неприятные вещи по дороге, пока мы шли. Приехали домой, попили кофе и... Собственно говоря, я в связи с этим и приехала. Шиханович настаивал, чтобы мы праздновали дни рождения Лизы и Саши. Он говорил, что отъезд Лизы и рождение Саши — это наша общая победа. Когда она родилась, в Москве пили: «За Сашу и нашу свободу!». И было решено, что все будут отмечать эти два дня рождения, тем паче, что в мой день рождения и в дни рождения мамы и Андрея меня в Москве в последние годы не бывает — я в Горьком.

Мы попили кофе, я дала Шихановичу деньги на разные покупки для Горького и на покупки к 20 ноября, к Лизиному дню рождения. Он должен был распределить, кто что будет готовить, а сам должен был купить вино... В свой обеденный перерыв Шиханович пришел, принес часть покупок, вино он принес, это я точно помню. И, стоя на корточках около холодильника и укладывая что-то туда, рассказывал мне о разных московских делах, которые были не очень хороши. И у меня было такое чувство, что он ощущает, что находится на свободе последние дни, а может быть, часы. Раньше я за ним этого не замечала. Он ушел около двух часов. Вечером он снова пришел и отвез меня на такси к Гале [1]. Мы с ним долго разговаривали, сидя на скамейке около ее подъезда. Шел небольшой снег, и снежинки мягко кружили в свете фонаря. К Шиху ластилась какая-то чужая собака. Впрочем, какая там «чужая» — Шиху все собаки свои.

На следующий день стало известно, что Шиханович арестован. Таким образом, Лизин день рождения мы праздновали без него. «Праздновали» — это не то слово. Аля [2] была чернее ночи, да и всем было очень трудно. Мы все привыкли, что Шиханович никогда не пропускает никаких праздников, и даже когда нет никаких сил и охоты праздновать, он заставляет нас. Его лозунг: «У нас слишком мало праздников, а они нам тоже нужны!» — пока он был на свободе, железно выполнялся, благодаря его настойчивости.

В декабре Наталья уже фактически уезжала, хотя и находилась в фазе ожидания разрешения. Мы с Андреем были уверены, что дадут ей его очень быстро. В декабре она негласно приезжала в Горький проститься с Андреем. Они виделись дважды или трижды. Я видела Наташу только в день приезда. Я тогда так плохо себя чувствовала, что мне это было просто физически тяжело — вставать с постели, куда-то ехать. У Андрея уже полностью созрела уверенность, что голодовку ему объявлять необходимо и что он будет это делать. Он показывал Наташе черновик письма-обращения к ученым (прил. 4) и письма участникам Стокгольмской конференции (прил. 5). Знала Наташа и о том, что мы планируем, что я уйду на время голодовки в посольство — тогда речь шла о норвежском. Эти бумаги мы показывали ей, когда встретились в первый день втроем. Бумаги эти я носила на себе, а не Андрей в своей сумке — мы уже знали, что сумки воруют. Наташа была в Горьком 12, 13 и 14 декабря.

Продолжение следует

---

[1] Галина Семеновна Евтушенко (далее также Галка), подруга Е. Г. Боннэр.

[2] Алевтина Петровна Плюснина, жена Ю. А. Шихановича.

Роберт
КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

На самой вершине

В то время как темп террора — во всяком случае, его видимой части — осенью 1937 года несколько снизился, Сталин начал подготовку следующей фазы. Велись допросы множества видных людей, в том числе самих Бухарина и Рыкова, с расчетом на показательный процесс. Значительное число неудачливых сталинцев вроде Рудзутака и Антипова, возможно, даже оказавших поначалу какое-то сопротивление, были теперь готовы фигурировать в качестве центральных фигур следующего процесса. Однако предстояло сделать еще очень многое.

Все рядовые участники сопротивления на февральско-мартовском пленуме были уже раздавлены. Но самые высшие из тех, кто выражал сомнение, все еще занимали свои высокие должности. Этих высших сановников, а также всех других, проявивших своенравие или независимость, Сталину требовалось искоренить; пока они существовали, Сталин считал, что в структуре его власти имеется слабое место.

Члены сталинского Политбюро, сопротивлявшиеся генеральному секретарю на февральско-мартовском пленуме, представляли совершенно новую проблему для вождя. Они не были, подобно Зиновьеву или Бухарину, людьми, давно отстраненными от власти. Они не были, подобно Пятакову, работниками, отодвинутыми на второстепенные посты в правительстве и партии. Правда, они составляли меньшинство и (за исключением Косиора и в недавнем прошлом Постышева, осуществлявших подлинное управление Украиной) имели мало доступа к настоящим орудиям власти. Тем не менее они потенциально представляли бóльшую опасность, чем их предшественники. Все еще оставалась возможность комбинации, которую Сталин мог считать угрожающей,— комбинации «умеренных» руководителей с армией. Даже удар, нанесенный по военным руководителям в июне 1937 года, не выглядел для него завершающим. Какие-то командиры еще оставались в живых, и они могли представлять опасность. Так или иначе, Сталин продолжал действовать, сочетая, как обычно, постепенность с беспощадностью.

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 9—12; 1990, № 1—4.

Первым делом были предприняты определенные шаги, так сказать, технического порядка. После смягчающего закона от августа 1936 года осужденные надоедали властям своими жалобами на то, что быстрые суды над ними и приговоры к смертной казни были незаконными. И вот 14 ноября 1937 года был издан новый чрезвычайный закон, подтверждающий чрезвычайный закон от 1 декабря 1934 года, вводящий «упрощенный порядок судопроизводства» по статьям 58-7, 58-8 и 58-9 Уголовного кодекса. На приговоры по этим делам были запрещены обжалования, а также ходатайства о помиловании, право на которые было восстановлено в 1936 году с целью обмануть Зиновьева и компанию. Кроме того, эти законы «устраняли гласность судебного разбирательства» [1]. В этом сообщении видны явные противоречия: во-первых, много судебных процессов уже было проведено до закона без всякого «гласного разбирательства»; во-вторых, предстоявший тогда процесс Бухарина, Рыкова и других был проведен как раз «гласно», да еще с большим шумом. Но, как бы ни рассматривать этот закон, он, по всей видимости, отражал определенное решение Сталина: прекратить показательные процессы после того, как будет проведен ближайший из них, уже полностью подготовленный. Иногда утверждают, что частичный провал процесса над Бухариным и Рыковым привел к прекращению дальнейших публичных судилищ. Но упомянутый закон показывает, что решение об этом могло быть принято раньше. Нет сомнения, что процесс над Бухариным и другими принес Ежову немало затруднений. В свое время Пятаков и Радек были готовы к открытому процессу после всего четырех месяцев обработки. Теперь же прошло девять месяцев со времени ареста Бухарина и Рыкова, а над ними предстояло работать еще по меньшей мере три или четыре месяца. Тем не менее, как мы сейчас увидим, планы проведения процесса Бухарина—Рыкова достигли уже той стадии, на которой появились все мыслимые составные части процесса: убийства, медицинское убийство, промышленное и сельскохозяйственное вредительство, шпионаж, буржуазный национализм и измена. До сих пор каждый процесс добавлял новые преступления к дежурному списку, но после этого процесса добавлять уже явно нечего.

[1] Н. В. Жогин в «Советском государстве и праве», 1965, № 3; см. также Victor Kravchenko. «I Chose Justice». London, 1951, p. 157.

2 октября 1937 года был принят еще один закон, позволяющий суду, по выражению Вышинского, «в особых случаях избирать меру наказания среднюю между 10 годами лишения свободы и высшей мерой социальной защиты» — смертной казнью. В истолковании Вышинского эта «средняя мера» приравнивается к 25 годам тюремного заключения. Сразу после этого короткий пленум ЦК, проведенный 11—12 октября, ознаменовал собою окончание открытой оппозиции Ежову: он был избран кандидатом в члены Политбюро. На этом пленуме состоялось также падение одной очень важной фигуры, причем состоялось оно в обстановке такого произвола, какого до сих пор не бывало на столь высоком уровне.

Нарком просвещения Андрей Бубнов был одним из наиболее известных старых большевиков. Достаточно сказать, что Бубнов был в свое время делегатом V съезда партии (1907); кандидатом в члены ЦК РСДРП в 1912 году и членом первого Политбюро, назначенного для проведения революции в октябре 1917 года. В августе 1918 года Бубнов совместно с Пятаковым организовал коммунистическое восстание на Украине. В прошлом «демократический централист», он перешел на сторону Сталина еще в 1923 году, провел жестокую чистку фракционеров в армии и с тех пор верно служил. На октябрьский пленум Бубнов отправился вместе со своим украинским коллегой по работе — наркомом просвещения УССР Затонским. Они подошли к зданию ЦК, предъявили свои удостоверения. Однако офицер НКВД у дверей заявил, что не может их впустить без дополнительных документов, которые должны быть им выписаны. Бубнов вернулся в свой наркомат и проработал там допоздна. В полночь к нему вошла дрожащая секретарша и сказала, что только что слышала по радио извещение о его снятии как не справившегося с работой. На следующий день он передал дела временно исполняющему обязанности Тюркину, а в декабре был арестован [1].

Тем временем суды и смертные приговоры продолжались, но в несколько меньшем масштабе и без объявлений на первых страницах газет. Грандиозная пропагандистская кампания против «врагов» ослабла. Пресса занялась подготовкой к выборам в Верховный Совет. Предвыборные статьи были полны разговоров о демократии. Появлялись заголовки вроде «Женщины-избиратели — большая сила». Потом пошли предвыборные собрания, выдвижение кандидатами всех вождей, восторженные митинги по всему Союзу — и так до конца октября.

Сталин, однако, не прекращал подготовки к нападению на тех своих соратников, кто его чем-либо не удовлетворял. На XXII съезде КПСС Шелепин рассказал, что существует документ, подписанный Сталиным, Молотовым и Кагановичем в ноябре 1937 года и санкционирующий «предание суду Военной Коллегии большой группы товарищей из числа видных партийных, государственных и военных работников». Шелепин сообщил далее, что «большинство из них было расстреляно. Среди невинно расстрелянных и посмертно реабилитированных такие видные деятели нашей партии и государства, как товарищи Постышев, Косиор, Эйхе, Рудзутак, Чубарь, Нарком юстиции Крыленко, секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР Уншлихт, Нарком просвещения Бубнов и другие».

Здесь содержался ясный намек (хотя прямо об этом не было сказано), что перечисленные Шелепиным люди были в списке жертв, о котором Шелепин непосредственно перед тем говорил. Некоторые из них, правда, были к тому времени уже под арестом, но по заведенному порядку их, очевидно, допрашивали с намерением отложить формальное «предание суду» до момента, когда они дадут нужные показания.

То, что документ был подписан Сталиным, Кагановичем и Молотовым — по-видимому, от имени ЦК и Совета народных комиссаров,— выглядит странно. Вообще говоря (за исключением случаев ареста членов самого Политбюро), Сталин в случае особо важных арестов стремился получить согласие всего состава Политбюро. И хотя в критический период 1937—1938 годов это, может быть, не соблюдалось, в последующие годы существовала именно такая тенденция.

Еще удивительно то, что некоторые аресты, санкционированные документом, не осуществлялись целые недели и даже месяцы — обреченные люди довольно долго оставались на высоких постах.

Вообще-то процедура ареста любого члена партии требовала, чтобы НКВД информировал либо местную партийную организацию, либо, если фигура важная, даже ЦК о том, что имеется ордер на арест такого-то и такого-то. После этого человек исключался из партии на секретном заседании партбюро, и об этом исключении ему не сообщали до самого ареста. Бывало, что период между таким тайным исключением и арестом длился довольно долго. Известен случай, когда секретарь обкома партии на Украине был тайно исключен из партии украинским ЦК в марте 1938 года, но до июля оставался на свободе. В течение этого времени он продолжал выполнять все свои обязанности,

[1] А. Биневич и З. Серебрянский. Андрей Бубнов. М., 1964, с. 78—79. Об аресте Бубнова см. также «Вопросы истории КПСС», 1963, № 4 (К 80-летию со дня рождения Бубнова).

в том числе даже председательствовал при исключении из партии других. Известен также случай иностранной коммунистки, арестованной 19 июня 1938 года, причем ей показали ордер на арест, датированный 15 октября 1937 года. Нечего и говорить, что все это было в полном противоречии с партийным уставом.

В то время, о котором идет речь, Постышев все еще занимал свой пост в Куйбышеве и оставался кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Косиор оставался первым секретарем ЦК партии Украины и членом Политбюро ЦК ВКП(б). Пребывал в составе Политбюро и заместитель председателя Совнаркома Чубарь. Можно перечислить еще несколько обреченных руководителей, продолжавших тогда работать, ни о чем не ведая.

Не очень ясно, кого имел в виду Шелепин, говоря об «известных военных работниках». Однако, как мы видели, военных в те месяцы арестовывали пачками. Что касается упоминания о «других», то в их число мог входить, например, нарком тяжелой промышленности В. И. Межлаук, который с весны 1937 года стал появляться на трибуне вместе с членами Политбюро. Этот полный квадратный лысеющий человек в очках был арестован в декабре 1937 года.

Также к концу 1937 года был арестован и Уншлихт, по происхождению поляк, пришедший к власти примерно тем же путем, что и Дзержинский. С 1900 года Уншлихт был пробольшевистским членом польской социал-демократической партии. В революционные годы он был членом петроградского ревкома, воевал в гражданскую войну вместе с Тухачевским в 16-й Армии, был ранен. Позже он стал заместителем председателя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии — ВЧК.

Несколько меньшей по масштабу фигурой был нарком юстиции Н. В. Крыленко. В 1918 году он произвел на английского представителя в Москве Брюса Локкарта впечатление «дегенерата-эпилептика» [1]. Иванов-Разумник, сидевший с Крыленко в 1938 году в тюрьме, называет его «пресловутым и всеми презираемым народным комиссаром юстиции» [2].

Роль Крыленко на шахтинском процессе была поистине отвратительной. Но после реабилитации Крыленко эту роль стали всячески превозносить. Так, например, Е. Адамов писал в журнале «Советская юстиция»: «В нашем суде юридическая оценка неизбежно сочетается с моральной и политической. Это всегда учитывал Крыленко... Выступая на Шахтинском процессе, оратор, например, так подчеркивает особую роль нашего советского суда: „Наш суд, — говорил он, — это орган, при помощи которого руководящий авангард пролетариата, рабочий класс в целом строит новое общество; вот почему его приговоры должны явиться определенным орудием воспитательной, правовой и политической пропаганды. Вот почему его приговоры должны нести в себе элементы общественно-политического воспитания“» [1].

На международном шахматном турнире в 1932 году Крыленко (он был большим поклонником и покровителем шахмат) выступил с речью, догматизм которой придавал ей буквально фарсовый характер:

«Мы должны раз и навсегда покончить с нейтралитетом шахмат. Мы должны раз и навсегда осудить формулу „Шахматы ради шахмат“ как формулу „Искусство для искусства“. Мы должны организовать ударные бригады шахматистов и начать немедленное выполнение пятилетнего плана по шахматам» [2].

Этот доктринерский фанатизм Крыленко пронес через всю свою юридическую работу в годы сталинского террора. С 1931 года он был наркомом юстиции РСФСР, а в 1936 году возглавил уже Всесоюзный Наркомат юстиции.

После ареста, в Бутырской тюрьме, с Крыленко обращались особенно презрительно, — «чтобы сбить с него гордость», как писал тот же Иванов-Разумник. Через некоторое время его перевели в Лефортовскую тюрьму, и следы бывшего наркома затерялись. В книге английского исследователя Д. Ричардса о советских шахматах утверждается, что одно из обвинений, выдвинутых против Крыленко, состояло в том, что он будто бы задержал развитие шахматной игры и отделил ее от общественной и политической жизни народа. Крыленко погиб в 1940 году [3].

Обреченные члены Политбюро все еще оставались на свободе. Ничего не предпринималось даже против Постышева, так значительно пониженного в должности. После перевода в Куйбышев он имел последнюю встречу со Сталиным, причем якобы искренне протестовал против террора, по крайней мере в отношении верных партийцев. Однако в июне была опубликована речь Постышева на партийной конференции в Куйбышеве: это был призыв, исключительно яростный, даже по тогдашним масштабам, к бдительному искоренению троцкистов.

30 октября 1937 года, после удаления Чернова из Наркомата земледелия, его пост занял Эйхе. Это был член партии с 1905 года, крупный, серьезного вида человек, с репутацией беспощадного руководителя. До того времени Эйхе работал секретарем западно-сибирского крайкома партии. Вышинский критиковал Западную Сибирь за то, что там возбуждалось недостаточное количество дел по обвинению в контрреволюционной деятельности в 1937 году. Возможно, этот факт как-то характеризовал подход Эйхе к террору. Во всяком случае, он фигурировал в последующих обвинениях против Эйхе.

3 ноября 1937 года был издан предвыборный плакат с портретами членов Политбюро. Там были все тогдашние члены Политбюро, в том числе Косиор и Чубарь, а из числа кандидатов фигурировали только Жданов и Ежов. Таким образом, Эйхе, Постышев и Петровский были демонстративно унижены. Вообще на протяжении последних месяцев 1937 года обреченным кандидатам Политбюро высказывались признаки неуважения. Их не выбирали, например, в почетные президиумы. Их имен не было в списках кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР на предстоявших в декабре выборах. В кандидаты часто не выдвигали также и Косиора, а Петровский и Эйхе в одном случае были выдвинуты. С другой стороны, когда в печати появилось письмо высших руководителей Советского Союза, выдвинутых сразу во многих избирательных округах, с отказом баллотироваться во всех, кроме одного, то имена всех этих обреченных там фигурировали. И все они — Косиор, Постышев, Эйхе, Чубарь и Петровский — были избраны депутатами.

Примерно два месяца подряд, до дня выборов 12 декабря 1937 года, а также и после этого дня, выборы служили главной темой пропаганды, и о них много писали. Каждый день в газетах появлялось множество статей, фотографий, отчетов с предвыборных собраний, особенно с участием членов Политбюро, излагались так называемые «наказы избирателей»; газеты нагнетали обстановку радостного ожидания. Резолюции массовых митингов подавались под заголовками вроде: «С радостью голосуем за Николая Ивановича Ежова». Сталинский «акын» Джамбул из Казахстана написал стихотворение «Народный комиссар Ежов», в котором обрисовывал руководителя тайной полиции такими умильно-розовыми красками, что это было бы слишком даже для ангела.

Статьи и всякие материалы о выборах продолжали появляться весь декабрь. Было среди них и много сообщений из-за рубежа — например, о «большом впечатлении в Англии». А когда избирательная тема стала постепенно выдыхаться, для публики нашлись другие — например, годовщина Шота Руставели, дополненная всевозможными конференциями стахановцев.

Однако без показательного убийства год все-таки не закончился. Между процессами Зиновьева и Пятакова прошло 5 месяцев. После этого прошло уже целых 11 месяцев, а процесс Бухарина еще не был подготовлен. В качестве промежуточной меры состоялся закрытый суд над людьми, которые не желали давать нужные показания, — суд по закону от 14 ноября.

20 декабря 1937 года на многие газетные страницы раскатилось празднование двадцатой годовщины ВЧК — ОГПУ — НКВД. Были напечатаны крупные портреты Дзержинского и Ежова. Бдительность органов-юбиляров была продемонстрирована как раз накануне объявлением о чистке в хлебозаготовительных организациях. Митинги трудящихся аплодировали, посылая резолюции и даже стихотворения относительно замечательной роли тайной полиции. В «Правде» появилась длинная статья Фриновского, а также большой список награжденных. Начальник ГУЛАГа Борис Берман [2)] получил орден Ленина. Среди всех этих громких праздничных публикаций затерялось небольшое объявление, возможно, специально приуроченное к случаю. Это объявление касалось более практической стороны деятельности людей Ежова. Сообщалось, что Енукидзе, а также Карахая, Орахелашвили и другие 16 декабря предстали перед Военной Коллегией Верховного Суда СССР как шпионы, буржуазные националисты и террористы. Они будто бы признались в своих преступлениях и были расстреляны.

Есть сообщения, что осенью 1937 года Енукидзе перевели из Суздальского изолятора в Москву. Он, как передавали, был в неплохом состоянии. На предстоявшем процессе Бухарина — Рыкова он должен был стать главным злодеем-террористом, ответственным за организацию убийства Кирова. Действительно, в отчете об этом процессе мы находим упоминание о том, что Енукидзе приказал Ягоде проинструктировать заместителя начальника ленинградского НКВД Запорожца не чинить препятствий убийце [1], а также, что Енукидзе ответствен и за подготовку убийства Горького [2]. Менее официально, по слухам, Енукидзе не только отказался давать показания, но даже заявил об участии Сталина в убийстве Кирова и его виновности в смерти других.

Бывший секретарь ЦК компартии Грузии Орахелашвили в последние пять лет занимал должность заместителя директора Института Маркса — Энгельса — Ле-

[1] R. H. Bruce Lockhart. «Memoirs of a British Agent». London, 1932, p. 257.

[2] Р. В. Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки. Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1953, с. 350 (см. прим. [1)]).

[1] «Советская юстиция», 1965, № 10 («Крыленко как судебный оратор»).

[2] Boris Souvarine. «Staline». Paris, 1935, p. 526.

[3] «Из истории гражданской войны», т. 2, с. 782, прим. 73.

[1] «Дело Бухарина», с. 25—26.

[2] Там же, с. 26—27.

пина в Москве. Некоторые советские источники утверждают, что Орахелашвили был уничтожен, так как возражал против книги Берии «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье». Книга Берии содержала грубые извращения, имевшие целью выпятить роль Сталина. Правда, с датой смерти Орахелашвили творится нечто мистическое. В официальном объявлении было сказано, что «приговор приведен в исполнение». «Большая советская энциклопедия» утверждает, что Орахелашвили прожил до 1940 года. А недавно вышедшая (в 1967 году) «Советская историческая энциклопедия» опять дает дату его смерти «декабрь 1937 года». Жена Орахелашвили Мария была также расстреляна.

20 декабря состоялось торжественное собрание в Большом театре, посвященное 20-летию ВЧК—НКВД. Присутствовали Каганович, Молотов, Ворошилов, Микоян и Хрущев. В почетный президиум был избран полный состав Политбюро, в том числе Косиор и Чубарь (которые не присутствовали). Однако опять-таки среди кандидатов в члены Политбюро были названы Жданов и Ежов, а оставшиеся места в президиуме заняли Хрущев и Булганин.

Главным докладчиком был Микоян. Он восхвалял Ежова как «талантливого, верного сталинского ученика», называл его «любимцем советского народа», призывал чекистов «учиться у товарища Ежова сталинскому стилю работы, как он учился и учится у товарища Сталина», и, «подробно остановившись на последнем периоде работы Наркомвнудела», даже воскликнул в порыве энтузиазма: «Славно поработал НКВД за это время!».

В январе состоялся пленум ЦК и представление нового правительства Верховному Совету. Постышев (которого официально все еще называли «товарищем») был выведен из числа кандидатов в члены Политбюро и заменен Хрущевым. (Кстати говоря, это был последний случай, когда было официально объявлено о выводе из состава Политбюро. После этого люди и их фотографии попросту исчезали.) Передовая статья «Правды» тогда же обвинила руководителей определенных партийных организаций в том, что прежде они разрешали группироваться вокруг них «заклятым врагам народа», а теперь «шарахнулись к огульному исключению из партии десятков и сотен коммунистов». В качестве примера был назван Куйбышевский обком. В постановлении пленума ЦК от 19 января 1937 года содержалось угрожающее замечание о том, что «органы НКВД не нашли никаких оснований для ареста» этих исключенных из партии в Куйбышевской области. Постышева «освободили от работы на Украине», и ему было объявлено партийное порицание в период его работы в Куйбышеве за «покрывательство врагов народа». Однако он не был немедленно арестован. У Постышева была в Москве небольшая квартира, где уже после этого пленума его посетил сын — военный летчик. На этой квартире Постышев, по-видимому, оставался до своего ареста весной 1938 года.

Что касается Косиора, то он прожил в Киеве очень тяжелый год на пепелище своей былой власти. 3 июля 1937 года умер его брат И. В. Косиор, тоже член ЦК. Его похоронили с почетом. Между тем теперь выяснилось, что, как и Орджоникидзе, он покончил самоубийством [1]. Другой брат, В. В. Косиор, был давним участником оппозиции; еще в 1934 году он получил 10 лет. Обвинения по его адресу звучали также и на процессе Пятакова. Летом 1937 года в числе других оппозиционеров он был привезен в Москву из Воркуты и расстрелян.

26 января 1938 года Косиор и Петровский вернулись в Киев и были встречены на вокзале теми, кто оставался еще от «украинского ЦК». На следующий день, 27 января, «пленум» этого ЦК снял Косиора с его поста. Первым секретарем ЦК КП Украины стал, как мы уже знаем, Никита Хрущев. Однако Косиор не был немедленно предан забвению. Напротив, его назначили заместителем председателя Совнаркома СССР и председателем Комиссии Партийного Контроля.

Все это не помешало Молотову представить 19 января 1938 года Верховному Совету новое правительство, куда в качестве заместителей председателя Совнаркома входили Косиор, Чубарь и Микоян. А Эйхе был наркомом земледелия.

Конечно, заместители председателя Совнаркома не могли серьезно думать, будто располагали реальной властью. И Ворошилов, и Каганович, например, оба стояли в руководящей иерархии неизмеримо выше их, но в то же время они не были заместителями председателя Совнаркома. Это хорошо подчеркивает декоративный характер назначений.

Тем не менее было чем любоваться: Молотов в кресле председателя на заседании Совета народных комиссаров — после того, как он подписал приказы о суде и аресте нескольких из них. Встречаясь со своими тремя заместителями, он знал, что двое из троих были как бы уже мертвыми, и их высказывания попросту не имели никакого значения.

В период пребывания у власти Хрущева и особенно после XX съезда КПСС было принято говорить о январском пленуме 1938 года как о некоем возврате

[1] См. П. Якир. Письмо в редакцию журнала «Коммунист», 2 марта 1969 г. «Посев», 1969, № 5.

к законности. А как же иначе — ведь именно этот пленум возвел Хрущева на высший уровень власти. Действительно, резолюция пленума, как всегда, содержала сильные выпады против несправедливых исключений из партии. Там была критика по адресу обкомов за ошибки такого рода. Эта критика продолжалась весь 1938 год и давала основания говорить о «возврате к законности» тем, кто хотел говорить об этом. На самом же деле никаких признаков улучшения не было, и в работе Ю. П. Петрова, например, сделана лишь попытка совместить требования Хрущева с правдоподобием. Автор писал: «Январский пленум ЦК ВКП(б) 1938 года несколько оздоровил положение. Однако репрессии не прекратились».

Самые резкие критические замечания против несправедливых исключений из партии сделал... сам Ежов. На протяжении всего террора высшие руководители постоянно выступали против несправедливых исключений — однако лишь с целью уничтожить своих подчиненных. Например, как мы уже видели, в нападках на Постышева, относящихся к 1937 году, официально осуждались нарушения партийной демократии, тогда как фактически целью было сломить сопротивление террору. Это можно заметить уже и в письме ЦК от 24 июня 1936 года «Об ошибках при рассмотрении апелляций исключенных из партии во время проверки и обмена партийных документов»: письмо энергично протестовало против непринципиальных исключений.

Резолюция январского пленума 1938 года критиковала, кроме куйбышевской, и многочисленные партийные организации, обвиняя таких работников, как «бывший секретарь Киевского обкома КП Украины, враг народа Кудрявцев», «разоблаченный враг народа, бывший зав. ОРПО (заведующий отделом руководящих партийных органов) Ростовского обкома ВКП(б) Шацкий» и т. д.[1] Вместе с тем резолюция рассказывала грустные истории о честных большевиках и даже об их супругах, которые увольнялись с работы в результате неправильных обвинений.

Постоянное присутствие этой темы весьма примечательно. Совершенно ясно, что было гораздо выгоднее обвинить Постышева и других в негуманности, чем в поздно проявленной гуманности. Этим путем центральное руководство могло или полагало, что могло, избежать непопулярности, связанной с его действиями. Но если взглянуть поглубже, то в этом можно усмотреть определенное намерение Сталина. С самого начала террора Сталин направлял всеобщую ненависть на тех, кто на каждом предыдущем этапе был его орудием, чтобы уничтожить их, когда они сделают свое дело. Если так, то до известной степени это шло успешно. За террором в памяти народной осталось прозвание «ежовщина» — и со своим исчезновением Ежов унес с собой часть ненависти, которая в противном случае досталась бы пережившим его руководителям.

[1] См. «Правду», 19 янв. 1938 г.

После пленума произошло еще одно примечательное назначение. 11 февраля 1938 года первым секретарем московского обкома и горкома партии вместо Хрущева был назначен А. И. Угаров, который в то время уже находился под следствием по «ленинградскому делу» Заковского и других. В течение нескольких месяцев он появлялся на трибуне с самым высшим руководством и считался человеком восходящим. Однако в сентябре или ноябре 1938 года он был заменен Щербаковым, затем исчез.

Партия в том виде, как она существовала всего год назад, была разгромлена. Ветераны первого периода сталинского правления, от секретарей обкома до народных комиссаров, пали жертвами Ежова. Однако это был еще не конец шторма. Охваченных ужасом людей ждали новые жестокие удары.

Глава девятая

ВАКХАНАЛИЯ

Самым ценным для нас являются люди, кадры.

Сталин

Западному читателю невозможно вообразить себе страдания, которые пережил в то время советский народ. Для того, чтобы исследовать сталинский террор и по-настоящему его показать, нужны не только интеллектуальные, но и моральные усилия. Приведенные факты дают лишь общую цепь доказательств, и, строго говоря, дальше этого исследователь идти не обязан. Но ведь эти факты приводятся для того, чтобы на их основе читатель мог составить моральное суждение. При самом хладнокровном их рассмотрении мы должны воспринимать происходящее так, как его воспринимал Пастернак, который закончил «Автобиографический очерк» следующими словами: «Продолжать его было бы непомерно трудно... Писать о нем (о происходившем) надо так, чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы» [1].

До сих пор мы рассказывали о том, как пострадала от репрессий партия. Об этом имеется гораздо больше сведений, особенно из советских источников, чем о судьбе «простого советского человека».

[1] Б. Пастернак. Сочинения. Т. II, Ann Arbor, Univ. of Michigan, 1961, с. 52.

Но на каждого пострадавшего члена партии приходилось 8—10 брошенных за решетку простых граждан.

Партийные деятели, о которых шла речь выше, были сознательно вовлечены, в большей или меньшей степени, в политическую борьбу. «Правила игры» были им известны. Многие из них несли личную ответственность за аресты и смерть миллионов крестьян во время коллективизации. Мы не должны, понятно, отказывать им в жалости, но все же они имеют меньше прав на сострадание, чем простые советские граждане. Если Крыленко был осужден и казнен, то до этого он сам послал на смерть сотни других по сфабрикованным обвинениям. Если Троцкий был убит в изгнании, то он сам отдавал приказы о расстреле тысяч рядовых членов партии, потирая руки с чувством исполненного долга. Пушкин сказал однажды, что русские бунтовщики «люди жестокосердые, которым и своя шейка — копейка, и чужая головушка — полушка». Это может быть применимо к таким людям, как Розенгольц, но явно неприменимо к его жене. Ее пример дает нам представление о судьбе и чувствах рядовых беспартийных граждан, вовлеченных в агонию Большого террора.

Состояние всеобщей подавленности хорошо передано в отрывке из романа «Доктор Живаго»:

«Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств, война явилась очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления... И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы».

Нам, выросшим в условиях устойчивого общества, не хватает воображения, чтобы понять, что во главе великого государства могут стоять люди, которых в нормальных условиях сочли бы преступниками. Также трудно проникнуться чувствами советского гражданина, которому пришлось жить при Большом терроре. Легко говорить о постоянном страхе и ожидании стука в дверь, который обычно раздавался на рассвете; о голоде, изможденности и беспросветной судьбе узников трудовых лагерей. Но представить себе, что это хуже, чем ужасы войны, все же кажется трудно.

Россия переживала террор и раньше. Ленин заявлял об этом открыто, считая террор орудием политики. Во время гражданской войны в массовом порядке проводились казни «классовых врагов». Но тогда обстоятельства были другими. В те дни многое делалось сгоряча, несправедливости и жестокости чинились по всей стране. Но они были редко частью большой, спланированной и «спущенной сверху» операции. Это были скорее яростные и стихийные удары по врагу, который готов был ответить тем же и был для этого достаточно силен. Вещи назывались своими именами. Это были поистине ужасные дни: отряды ЧК расстреливали так называемых классовых врагов сотнями и тысячами. Люди, прошедшие через это, очевидно, думали, что худшего быть не может.

Террор Ленина был продуктом войны и насилия, распада общества и администрации. Руководство, вынесенное на гребне волны, отчаянно боролось за то, чтобы выжить, за сохранение своей власти.

Сталин, с другой стороны, полностью подчинил себе страну в период относительного спокойствия. К концу 20-х годов население примирилось, хотя и неохотно, с существованием и стабильностью советского правительства. Правительство, в свою очередь, пошло на некоторые экономические и другие уступки, что привело к развитию хозяйства и повышению жизненного уровня. Новый цикл террора был начат Сталиным намеренно и хладнокровно. Сначала партия пошла войной на крестьянство. После выполнения этой сталинской операции положение начало снова стабилизироваться, и тогда, в середине 30-х годов, на беззащитное население, с тем же хладнокровием, были обрушены новые страдания. Хладнокровие сопровождалось другой, специфически сталинской чертой террора: абсолютной лживостью выдвинутых обвинений.

Есть еще один фактор, который необходимо учесть. Во время первой мировой войны, как пишет Роберт Грейвз в книге «Прощай, всё», солдат мог выдержать лишения и опасности окопной жизни только некоторое время. Затем, после первого же месяца, силы начинали сдавать. «Через шесть месяцев офицер был еще на что-то годен, но через девять-десять — становился обузой для других офицеров. Через двенадцать-пятнадцать месяцев он был более чем бесполезен». Грейвз отмечает, что люди в возрасте более 33 лет, а особенно после 40, обладали меньшей выносливостью. Офицеры, прослужившие свыше двух лет, становились алкоголиками. Солдаты были «совершенно апатичны и бесчувственны, и в этом состоянии шли на выполнение задания». «Самому мне,— пишет Грейвз,— потребовалось десять лет, чтобы полностью оправиться». Он добавляет, что это объяснялось не только физическим состоянием организма: в хорошем батальоне физические недомогания были редки.

Говоря о жизни советских людей в 1936—38 годах, очень трудно передать этот бесконечный, еженощный, бросающий в пот страх, страх в ожидании того, что арест наступит еще до рассвета. Сравнение с войной вполне правомерно, даже с точки зрения числа жертв. При других диктатурах аресты шли выборочно; брали людей, подозреваемых в антиправительственной деятельности, и для этого имелись какие-то основания. В эру Ежова очередной жертвой мог стать любой человек.

Ночью — страх, а днем — бесконечное притворство, лихорадочные усилия доказать свою преданность Системе Лжи. Таково было «нормальное» состояние советского гражданина.

Доносы

Сталин требовал не только подчинения, но и соучастия. Отсюда — душевный кризис, который так хорошо описал Пастернак в 1937 году в устной беседе с доктором Нильсоном:

«...они однажды пришли ко мне... с какой-то бумагой, где было написано, что я одобряю решение партии о казни генералов. В каком-то смысле это было доказательство того, что мне доверяют. Они не приходили к тем, кто был в списке подлежащих уничтожению. Моя жена была беременна. Она плакала и умоляла меня подписать эту бумагу, но я не мог. В тот день я взвесил все и попытался установить, сколько у меня шансов остаться в живых. Я был убежден, что меня арестуют — пришел и мой черед. Я был к этому готов. Вся эта кровь была мне ненавистна, я больше не мог терпеть. Но ничего не случилось. Меня, как выяснилось впоследствии, косвенным путем спасли мои коллеги. Никто не осмелился доложить высшему начальству, что я отказался поставить свою подпись» [1].

Такое нравственное величие было доступно немногим. Все были изолированы. Что значил молчаливый индивидуальный протест по сравнению с гигантскими митингами, которые одобряли казнь генералов и на которых раздавались крики: «Собачья смерть!» — по отношению к лидерам оппозиции? Откуда мог тайный оппозиционер знать, искренне говорят выступающие или нет? Никаких признаков оппозиции или даже нейтралитета не было. Все тонуло в массовом подражании энтузиазму. Даже дети и родственники осужденных публично отрекались от своих родных.

Разрушение семейных связей было осознанной целью Сталина. Когда в ноябре 1938 года Сталин ликвидировал руководство ВЛКСМ во главе с Косаревым, он жаловался на то, что организации «не хватает бдительности». По мнению Сталина, комсомол слишком много внимания уделял исполнению устава, который провозглашает эту организацию политической школой для будущих коммунистов. Сталин считал, что хорошему молодому коммунисту нужна не политическая подготовка, а качества энтузиаста-стукача.

Много доносов было сделано из страха. Любой человек, который слышал неосторожно сказанное слово и не сообщил об этом, мог поплатиться сам. Членов партии, которые не могли отыскать «врагов народа» среди своих знакомых, «прорабатывали» на собраниях за «недостаток бдительности». Иногда случалось и такое: разговор между старыми знакомыми становился вдруг слишком откровенным и заканчивался тем, что они доносили друг на друга. Только старые, испытанные друзья могли вести беседы, которые хоть немного отклонялись от официальной линии. Отбор был очень тщательным. Илья Эренбург рассказывает в своих воспоминаниях, что у его дочери был пудель, который научился закрывать дверь гостиной, как только разговор гостей становился приглушенным. Он получал за свою бдительность кусочек колбасы и научился безошибочно распознавать характер разговора.

Но не все сознательные граждане безотказно выполняли свой стукаческий долг. В своей книге «Я выбрал свободу» Кравченко приводит такой эпизод: «Директор одного предприятия подвез как-то на своей машине мать „врага народа“, старую женщину, после чего его шофер сказал: „Товарищ директор, я, может быть, сукин сын, который должен сообщать обо всем, что видит и слышит. Но клянусь собственной матерью, на этот раз не скажу ни слова. Моя мать — простая женщина, а не такая интеллигентная дама. Но я ее люблю, и спасибо вам, Виктор Андреевич, говорю как русский — русскому“. И действительно, об этом инциденте никто не узнал, хотя впоследствии директору были инкриминированы различные „серьезные преступления“».

Если нацизм способствовал выходу наружу садистских инстинктов, учредив это законодательным порядком, то сталинский тоталитаризм автоматически поощрял подлость и злопыхательство. Даже сегодня в советской печати можно натолкнуться на заметки об «особо сознательных» гражданах, которые сообщают в милицию о проступках (истинных или воображаемых) своих сограждан и в результате добиваются их высылки в отдаленные районы. Во времена Сталина это было общепринятой практикой. Интриганы, вызывающие склоки дома и на работе, авторы анонимных писем и т. д. могут

[1] См. Daily Mail, 24 окт. 1958 г.

причинить неприятности в любом обществе. При Сталине эти люди процветали.

«Я видел,— пишет Эренбург в третьей книге своих воспоминаний,— как в передовом обществе некоторые люди, казалось бы приобщенные к благородным идеям, совершали низкие поступки во имя личного благополучия или своего спасения, предавали товарищей, друзей; жена отрекалась от мужа, расторопный сын чернил попавшего в беду отца». А не так давно в СССР был напечатан рассказ, довольно типичный, о том, как студент геологического института донес на своего друга. На танцах он подслушал, как его друг рассказывал своей девушке, что его отец был казнен. При поступлении в институт он этот факт скрыл. Студента исключили и сослали в трудовой лагерь на 15 лет [1].

Деятельность доносчиков разрослась до невероятных размеров. В украинских газетах сообщалось, что один житель Киева донес на 69 человек, а другой — на 100. В Одессе один коммунист донес на 230 человек. В Полтаве член партии «разоблачил» всю свою организацию.

На XVIII съезде партии, когда «перегибы», допущенные во время чисток, подвергались запоздалой и частичной критике, огласили рассказ одного доносчика о том, как ему удалось добиться снятия пятнадцати секретарей местных партийных организаций. Другой известный клеветник из Киева, как сообщалось на съезде, «обратился с такой просьбой: „Я выбился из сил в борьбе с врагами, а поэтому прошу путевки на курорт". (Громкий смех)» [2].

Некоторые совершенно бредовые доносы вели к невероятным результатам, анонимные письма представляли собой просто злопыхательские выдумки, но они достигали цели. Вот пример: некто Силаков дезертировал из Красной Армии, а затем сдался в Киеве. Он рассказал о том, что планировал налет на почтовое отделение, чтобы достать деньги для террористической организации, но потом решил добровольно отдать себя в руки советской власти. НКВД этого было мало. Силакова как следует избили, и после этого была выработана другая версия, в которой фигурировал уже не только он сам и его друзья, но целое военное подразделение. Во главе заговора стоял теперь не Силаков, а его командир. Они намеревались совершить террористические нападения на членов праaительства. Почти все подразделение, от командира до шоферов, было арестовано, причем многие — вместе с женами. В дело были вовлечены также обе сестры Силакова, его старая больная мать и его отец. Привлекли даже дядю, который всего один раз виделся с племянником, но он был унтер-офицером (т. е. младшим сержантом) в царской армии. По новой версии дядя превратился в «царского генерала».

Это нелепое дело раздулось до такой степени, что «в киевской тюрьме не осталось ни одной камеры, где бы не сидел человек, связанный с заговором Силакова» [1]. После падения Ежова и его киевского представителя Успенского в 1938 году Силаков и все осужденные вместе с ним были допрошены заново. Им была дана возможность отказаться от своих показаний. Некоторые на это не соглашались, опасаясь ловушки, и тогда с ними пришлось говорить по-другому. Этих людей насильно заставили отказаться от ложного признания своей вины в преступлении, которое грозило им смертной казнью. В результате сам Силаков был приговорен к трем годам тюремного заключения, но лишь за дезертирство.

Но доносительство процветало не только на любительской добровольной основе. НКВД повсеместно организовал специальную сеть «сексотов» (секретных сотрудников), которые вербовались из местного населения.

Сексоты разделялись на две группы: в первую входили добровольцы — откровенные подонки и злопыхатели, которые хотели досадить своим знакомым, и «идеалисты», уверенные в том, что они работают для блага «дела». Вторую группу составляли сексоты по принуждению; часто этим людям обещали облегчить судьбу их родственников, находящихся в тюрьме. Они надеялись, что будут говорить правду и не доставят неприятностей своим друзьям. Но это был самообман: нажим становился все сильнее и сильнее. Сексота, который не поставлял информации, автоматически брали на подозрение. А поскольку население в целом научилось держать язык за зубами, доносчикам приходилось все больше сообщать о безобидных поступках и словах, по-своему истолковывать или просто выдумывать, чтобы удовлетворить одолевающую НКВД жажду заговоров [2].

В воспоминаниях очевидцев есть история о том, как один украинский сексот стал убежденным коммунистом. Он не смог вступить в партию из-за прошлых связей с Белой армией и поэтому решил служить делу коммунизма единственным доступным ему способом. Вначале он старался соблюсти беспристрастность. Он всего лишь выполнял свой долг, а это всегда приятно. Когда ему удалось преодолеть угрызения совести, личные склонности и антипатии, он чувствовал себя настоящим героем. Но одних намеков на враждебное отношение к правительству было недостаточно. Сотрудники НКВД, конечно, прекрасно знали, что в эту категорию попадает широкий слой населения, и требовали новых конкретных сведений. Сексот попытался сопротивляться, но был сам обвинен в том, что скрывает факты. И он начал по-своему «истолковывать» подслушанные разговоры, пока всякое различие между правдой и ложью не стерлось у него в уме. Но даже, несмотря на это, он был на плохом счету, потому что пытался сохранить в своих доносах подобие убедительности. Его измышления казались начальству слишком сдержанными, и он сам был арестован.

Любой отчет о работе советского учреждения, научно-исследовательского института и т. д., даже до Большого террора, говорит о том, что жизнь в нем представляла собой клубок интриг. То же самое, наверное, можно сказать о многих других странах. Но средства, доступные интригану в советских условиях, делали его гораздо более опасным. Для того, чтобы продвинуться, нужно было «компрометировать» других, добиваться их исключения из партии, а зачастую и их ареста. Это был общепринятый способ служебного продвижения. Объектом мог быть соперник, чье положение казалось слишком прочным, или же один из его подчиненных, с помощью которого можно было очернить начальника. По самым приблизительным подсчетам, каждый пятый сотрудник советского учреждения в те годы был в той или иной форме осведомителем НКВД.

Вот, например, как обстояло дело в сталелитейной промышленности. Вслед за Гвахарией, племянником Орджоникидзе и одним из гениев индустриализации, все директора крупных литейных предприятий на Украине были арестованы. «Через несколько месяцев были арестованы и те, кто пришел им на смену. Обычно удерживался только третий или четвертый по счету состав руководства. Литейная промышленность попала в руки молодых и неопытных людей. У них не было даже обычных преимуществ молодости, потому что отбор носил исключительно „негативный" характер. Это были люди, которые в прошлом неоднократно доносили на других. Они неизменно становились на колени перед теми, у кого было больше власти. Они были искалечены морально и нравственно» [1].

Сталин неуклонно разбивал все формы солидарности и товарищества, за исключением тех, которые были созданы на основе личной преданности ему самому. Террор полностью разрушил личное доверие. Больше всего пострадали, конечно, организационные и коллективные связи, которые все еще существовали в стране после 18 лет однопартийного правления.

Самой могущественной и важной организацией, требующей приверженности по отношению именно к себе, к своим идеалам, была партия, или, точнее, ее досталинский состав. Затем — армия. Потом уж интеллигенция, которая справедливо считалась потенциальным носителем еретических идей. Все эти групповые «приверженности» возбуждали особенно яростную реакцию. Но когда Сталин стал действовать против всего народа как такового, он был совершенно логичен. Только такими методами можно было раздробить общество, уничтожить всякое доверие и всякую преданность, за исключением преданности ему самому и его ставленникам.

Бабель говорил: «Теперь человек разговаривает откровенно только с женой — ночью, покрыв голову одеялом». Только самые закадычные друзья могли намекнуть друг другу о несогласии с официальными взглядами (да и то не всегда). Рядовой советский гражданин не мог определить, в какой степени официальная ложь «срабатывает». Такой человек думал, что он, вероятно, принадлежит к разбросанному и беспомощному меньшинству, что Сталин выиграл свою битву, уничтожив представление о правде в умах людей. Но не все приписывали вину Сталину. Он всегда умел остаться на заднем плане, обманув даже таких людей, как Пастернак и Мейерхольд [1]. А если в заблуждении оказались умы такого калибра (хотя и не политического склада), то ясно, что аналогичные представления были широко распространены. Страх и ненависть всей страны сосредоточились на Ежове.

Массовый охват

Хрущев сообщил на XX партийном съезде, что «число арестов по обвинению в контрреволюционных преступлениях возросло в 1937 году, по сравнению с 1936 годом, больше, чем в десять раз». Щупальцы НКВД потянулись ко всем, кто был в контакте, хотя бы самом незначительном, с осужденными членами партии. Секретарь одного из обкомов партии на Урале, Кабаков, посетил в 1932 году рабочие кварталы, где поговорил с какой-то старой женщиной. Она рассказала, что

[1] Михаил Демин, «Москва», 1965, № 4 («Посмотри мне в глаза»). Любопытно, что автор рассказа Мих. Демин в 1968 году попросил политического убежища во Франции.

[2] XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М., 1939, с. 521 (доклад А. А. Жданова).

[1] Beck F. and Godin W. «Russian Purge and the Extraction of Confession». London, 1951, p. 166—171.

[2] Там же, с. 143; см. также замечательное описание сексотов, которому посвящена глава 7 книги Василия Гроссмана «Все течет», Франкфурт-на-Майне, 1970, с. 59—71 («Октябрь», 1989, № 6.— *Ред.*).

[1] Weissberg, «Conspiracy of Silence», p. 364.

[1] См. Эренбург И. Собр. соч., М., т. 9, 1967, с. 188 («Люди, годы, жизнь», кв. 4, гл. 28).

ее сын был вынужден поехать отдыхать за свой счет. Кабаков дал указание руководству предприятия, где работал этот рабочий, возместить стоимость путевки. Пять лет спустя, когда самого Кабакова арестовали, кто-то сообщил в НКВД, что он заступился за молодого рабочего. Парень был втянут в дело и обвинен в «подхалимстве перед Кабаковым».

К делу Николаева, который действовал в одиночку, было привлечено 13 сообщников. Это было возведено в общий принцип. «Бдительность» стала пробным камнем сознательности гражданина или служащего — и, конечно, члена партии. Сотрудники НКВД на предприятиях и в учреждениях находились под постоянным давлением: они должны были, не щадя сил, искоренять врагов. От каждого арестованного требовали назвать сообщников, а всех его знакомых автоматически брали на заметку.

На показательных процессах, естественно, всплывали имена не только политических соратников, но и множества людей, не имевших ничего общего с партийной борьбой. На процессе Бухарина, например, подсудимый Зеленский сообщил, что «в аппарате Центросоюза было при мне около 15 % бывших меньшевиков, эсеров, анархистов, троцкистов и так далее. В некоторых областях количество чуждых выходцев из других партий, колчаковских офицеров и так далее... было значительно выше». Эти люди, сказал Зеленский, были центром притяжения всякого рода антисоветских элементов. Понятно, что такие показания вызывали цепную реакцию арестов по всей стране.

Однако массовый характер репрессий объясняется не только этим явлением «цепной реакции». В 30-х годах в Советском Союзе были еще живы сотни тысяч людей, которые когда-то принадлежали к небольшевистским партиям, служили в Белой армии, людей свободных профессий, побывавших за границей, националистов, местной интеллигенции и т. д. Все более и более яростная кампания за «бдительность» и разоблачение «скрытых врагов» охватила всю страну — не только партию; об этом шумели пресса и радио.

Значительная часть всего населения Советского Союза уже была занесена в списки Особого отдела НКВД и его местных отделений. Они были разбиты на несколько категорий:

АС — антисоветские элементы;
Ц — регулярно посещающие церковь;
С — член религиозной секты;
П — повстанец — всякий, кто в прошлом участвовал в антисоветских выступлениях;
СИ — имеет связи с иностранцами.

Принадлежность к одной из этих категорий не давала еще законченных оснований для преследования, но все эти люди были взяты на учет. Как только местному отделению НКВД нужно было продемонстрироавть рвение, их арестовывали.

В списке «опасных элементов», составленном после аннексии Литвы в 1940 году, проводится более детальная классификация [1]. К январю 1941 года, после полугодовой оккупации, в Литве насчитывалось всего две с половиной тысячи коммунистов [2]. Самых заклятых врагов — троцкистов — было совсем мало. Такая маленькая территория не представляла никакой угрозы положению Сталина, но для того, чтобы превратить ее в надежную советскую вотчину, кое-кого нужно было уничтожить. Подход к их ликвидации был во многом тем же, что и на русской территории. В списках по группам перечислены: все бывшие руководящие работники государства, армии и судебной системы, все бывшие члены коммунистических партий, все активные члены студенческих корпораций, члены национальной гвардии, все, кто боролся против Советов в 1918—1920 годах, беженцы, представители иностранных фирм, служащие и бывшие служащие иностранных миссий, фирм и компаний, люди, имевшие контакт с заграницей, включая филателистов и эсперантистов, все духовенство, бывшее дворянство, помещики, купцы, банкиры, коммерсанты, владельцы гостиниц, ресторанов, магазинов, бывшие работники Красного Креста. Подсчитано, что в списках числилось 23 процента всего населения [3].

Многие представители этих групп в самом Советском Союзе давно уже умерли или же эмигрировали. Но кое-кто все-таки остался. И каждый был окружен естественно расширяющимся кругом коллег и знакомых, на которых автоматически распространялось подозрение в общении с «чуждыми элементами»: любой служащий, например, чей начальник «оказался» троцкистом; любой, кто покупал продукты у бывшего «кулака» или жил по соседству с армянским «буржуазным националистом».

Таким образом, к середине 1937 года практически все население Советского Союза стало потенциальным объектом террора. Очень немногие чувствовали себя в безопасности, почти каждый мог

---

[1] Подробные сведения о ней на основании документации, захваченной во время войны 1941—1945 гг., можно найти в «Lithuanian Bulletin», New York, vol. III—VIII, 1945—1950.

[2] См. Отчет Мандатной комиссии XIX съезда КПСС (опубликован также в «Правде», 9 окт. 1952 г.).

[3] См. ордера 001233 и 0054 в «Lithuanian Bulletin» и в «The Dark Side of the Moon» (anon., with Preface by T. S. Eliot), London, 1946, p. 50—51.

ждать, что за ним придут. Пастернак великолепно передает это ожидание:

«Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице, и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-либо безымянным номером из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей севера» [1].

Те, кто вернулся осенью 1937 года из-за границы, как, например, Илья Эренбург, были глубоко потрясены изменениями в стране. По пути из Испании Эренбург остановился в Париже, откуда позвонил своей дочери. Но он не мог выдавить из себя ничего, кроме разговора о погоде. В Москве он обнаружил, что многие писатели и журналисты исчезли. В редакции «Известий» уже перестали вывешивать дверные таблички с именами начальников отделов. «Курьерша объяснила мне, что не стоит печатать: „Сегодня назначили, а завтра заберут“»,— запишет потом Эренбург. То же самое можно было наблюдать в министерствах и в других учреждениях — пустые места, осунувшиеся лица, полное нежелание вступать в разговоры. Американский журналист Фишер, который жил в Москве летом 1937 года, вспоминает, что НКВД произвел аресты в половине из 160 квартир его дома, и дом этот не был исключением.

Ареста можно было избежать различными способами. Один широко известный ученый избежал первой волны репрессий, прикинувшись пьяницей. Другой пошел дальше: он напился пьяным и стал дебоширить в парке, получил 6 месяцев, но избежал политических неприятностей. Интересно, что некоторые из самых убежденных противников режима — очевидно самые дальновидные — спаслись тем, что удалились в тень. Николай Стасик, например, бывший министр в антикоммунистическом правительстве Украинской Рады в 1918 году, уцелел в Мариуполе. До прихода немцев во время второй мировой войны он работал в городском парке.

Иногда между увольнением человека и его арестом проходило некоторое время, так что можно было уехать из крупных городов. С. Поплавский (которого впоследствии, после войны, Сталин назначил заместителем главнокомандующего польской армии) в 1937 году учился в академии им. Фрунзе. После исключения из партии и из академии он, чтобы избежать возможных последствий, сразу же покинул Москву, а через год или полтора, т. е., очевидно, после падения Ежова, появился вновь. Его реабилитировали и восстановили в академии.

Вообще, частое передвижение с места на место давало известную гарантию безопасности. Обычно проходило по крайней мере месяцев шесть или даже год, прежде чем местное отделение НКВД начинало интересоваться приезжим или собирало о нем достаточно сведений. Много времени уходило на пересылку личного дела из старого отделения НКВД в новое, по месту жительства: такие документы шли не обычной почтой, а по специальным каналам НКВД. Иногда они вообще не доходили.

Довольно безопасно было, например, в Сибири. Местные власти были сравнительно рады новым поселенцам и не делали особых различий между теми, кто находился в ссылке, и приехавшими по своей воле. НКВД в какой-нибудь области европейской России не был заинтересован в доставке «неблагонадежных» своим коллегам в Сибири. Конечно, всегда можно было потребовать возвращения того или иного лица «под подозрением», но это было хлопотно, и, за исключением особо важных случаев, игра не стоила свеч. Но далеко не все могли получить такую, хотя бы и временную, гарантию безопасности. Под арест шли миллионы и миллионы.

Помощник Вышинского, Рогинский, получивший 15 лет, и в лагере продолжал защищать действия властей. Он утверждал, что руководство поступает правильно, изолируя от общества большие группы людей, которые могут наделать неприятностей. Он считал, что нужно до максимума использовать труд всех, правых и виноватых, кто стал «экономически бесполезен». Поднаторевшие аппаратчики, члены партии и НКВД, оправдывали репрессии более искусно. Даже простой анекдот или легкая критика в адрес правительства несет в себе зародыш активной оппозиции в будущем,— заявляли они,— и НКВД, пресекая эти попытки в корне, проводит оправданную превентивную операцию.

На предприятиях проходили специальные собрания, на которых члены коллектива выступали с взаимными разоблачениями. В это движение был вовлечен весь рабочий класс. В романе Стаднюка «Люди не ангелы» описывается типичное собрание 1937 года: «В позапрошлую смену,— гневно заявил низкорослый, в бараньем треухе мужчина,— мастер Середа не дал мне бетона. Я еще тогда думал, что это подозрительно. А вчера узнал, что Середа скрывает свое родство с махновцем, за которым замужем его двоюродная сестра! Электромонтажник Цвиркун при поступлении на работу скрыл, что его батька был церковным старостой! — сообщил второй оратор. Третий разоблачал бывшего своего товарища, родители которого лишались избирательных прав за саботаж во время коллективизации...».

Размер репрессий по всей стране не был

---

[2] Б. Пастернак. Доктор Живаго. ...

результатом, как считают некоторые, чрезмерного рвения со стороны местных работников НКВД. Как раз наоборот — на этом настаивал центр. 29 ноября 1936 года Вышинский «распорядился в месячный срок истребовать и изучить все уголовные дела о крупных пожарах, авариях, выпуске недоброкачественной продукции с целью выявления контрреволюционной, вредительской подоплеки этих дел и привлечения виновных к более строгой ответственности». Руководство некоторых районов, где не была выполнена разверстка по выявлению контрреволюционной деятельности, получило строгое взыскание от генерального прокурора. В 1937 году по всему Восточно-Сибирскому бассейну только восемь дел этой категории было направлено в суд. «Вышинский объяснил это слабой, недостаточной борьбой за выкорчевывание вредительских гнезд»[1].

Весь этот период прошел под знаком периодически возникавших, тщательно организованных массовых процессов. В мае 1937 года дальневосточные газеты сообщали, что на этих судах было вынесено 55 смертных приговоров, в июне — 91, в июле — еще 83, и так в течение всего года. В Белоруссии, начиная с июня, не проходило и недели, чтобы где-нибудь не было раскрыто шпионское гнездо — в промышленности, в Академии Наук, в Польском театре, в спортивных организациях, в банках, в цементной промышленности, среди ветеринаров, в организациях по снабжению хлебом и на железных дорогах. Руководство местных железных дорог было «разоблачено» 8 октября 1937 года, и его сотрудники объявлены не только польскими, но, согласно установившейся железнодорожной традиции, и японскими шпионами. То же самое происходило в Средней Азии: в ноябре в Казахстане было объявлено о казни 25 человек, в Узбекистане — 18. В январе 1938 года в Киргизии было официально казнено 26 человек и в Узбекистане — еще 134.

28 июля 1937 года Евдокимов собрал партийное руководство Северного Кавказа и дал инструкции о проведении особо тщательных чисток. 31 июля начались аресты в Чечено-Ингушской АССР. Пять тысяч человек уместилось в тюрьмах НКВД в городе Грозном, набив их до отказа; еще пять тысяч было загнано в гараж нефтяного треста в том же городе и тысячи других — в различные здания, специально выделенные для этой цели. В общей сложности в Чечено-Ингушетии было арестовано 14 тысяч человек, т. е. около 3 процентов всего населения.

[1] Н. В. Жогин в «Советском государстве и праве», 1965, № 3, с. 24 («Об извращениях Вышинского»).

В октябре еще одна массовая операция подобного рода была проведена под личным наблюдением Шкирятова.

Массовые аресты и высылки проводились с невозмутимым спокойствием и деловитостью. Вот, например, приказ Серова («Инструкция НКГБ») № 001233 «О порядке проведения операции по выселению антисоветского элемента из Литвы, Латвии и Эстонии»: «...Операция будет начата с наступлением рассвета. Войдя в дом выселяемого, старший оперативной группы собирает всю семью выселяемого в одну комнату... Ввиду того, что большое количество выселяемых должно быть арестовано и размещено в специальные лагеря, а их семьи следуют в места специальных поселений в отдаленных областях, поэтому необходимо операцию по изъятию как выселяемых членов семьи, так и глав их, проводить одновременно, не объявляя им о предстоящем их разделении...». (Полный текст «Инструкции» воспроизведен в «Новом журнале», 1972, № 107, Нью-Йорк, стр. 193—199).

Процедура

Стук в дверь всегда раздавался на рассвете, вне зависимости от того, была ли это специальная операция или обычный, положенный по разверстке арест. Группа НКВД обычно состояла из 2—3 человек. Одни вели себя грубо, другие пытались соблюдать внешние приличия. Затем начинался обыск, он мог быть коротким, но мог и затянуться на несколько часов, особенно когда нужно было просматривать книги и документы. Арестованный и его жена (если он был женат) находились в это время под стражей — до тех пор, пока его уводили. Сообразительная женщина могла спасти жизнь своему мужу, дав ему с собой теплую одежду. Формальности продолжались недолго, и утром, как правило, арестованный уже находился в камере.

Вот как описывает свой арест генерал Горбатов:

«В два часа ночи раздался стук в дверь моего номера гостиницы ЦДКА. На мой вопрос: „Кто?" ответил женский голос: „Вам телеграмма". „Очевидно от жены",— подумал я, открывая дверь. Но в номер вошли трое военных, и один из них с места в карьер объявил мне, что я арестован».

Новая конституция формально содержала гарантии от незаконного ареста. Статья 127 гласит, что никто не может быть арестован без постановления суда или санкции прокурора. Но поскольку судебная власть не является независимой, это утверждение — фикция.

Правосудие в СССР совершенно официально есть «средство укрепления социалистического строя, охраны прав граждан и подавления врагов народа, троцкистско-бухаринских агентов иностранных разведок»[1].

Существует разница между понятиями «арестован» и «задержан». Человек может быть «задержан без санкции суда или прокурора во всех случаях, когда его поведение создает угрозу общественному порядку и безопасности». Более того, согласно Исправительно-Трудовому Кодексу, «для приема в места лишения свободы обязательно наличие приговора или постановления органов, уполномоченных на то законом, *или открытого листа*» (курсив автора)[2].

Обычно арест производился по предъявлению ордера, подписанного прокурором, но иногда с этой формальностью не считались. Кравченко, например, пишет, что во время одного ареста на Украине вместе с человеком, на которого был выписан ордер, было схвачено двое совершенно случайных людей. Никакого ордера на их арест не было, но их также посадили и выпустили на свободу только через пять месяцев. Нередко по ошибке арестовывали людей с такими распространенными фамилиями, как Иванов. Через несколько недель или месяцев эти люди выходили на свободу. Но прежде чем ошибка была обнаружена, некоторые из них успевали сознаться в шпионаже и других преступлениях. Несмотря на это, их все же иногда выпускали.

Жене не сообщали, где находится арестованный муж. Ей самой приходилось ходить по тюрьмам, чтобы выяснить это. В Москве жены шли сначала в «справочный центр» — Кузнецкий мост, 24, напротив Лубянки, потом в Сокольники, потом в Таганку, в Бутырку, в военную тюрьму Лефортово; а потом начинали сызнова. Сотни женщин стояли в очереди у каждой тюрьмы. Дождавшись своей очереди, женщины просили передать заключенным 50 рублей, на которые те имели право до вынесения приговора. Иногда администрация тюрьмы в результате какой-нибудь бюрократической неувязки заявляла, что такого заключенного нет. Некоторым женщинам удавалось точно установить место нахождения мужа только на второй или третий раз.

Сын Анны Ахматовой, молодой востоковед Лев Гумилев, сидел в Ленинграде. «В страшные годы ежовщины,— пишет поэтесса,— я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то „опознал" меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами,

[1] БСЭ, 1-е изд., М., т. 46, 1940, с. 667 (статья «Правосудие»).

[2] «Исправительно-Трудовой Кодекс РСФСР», принятый ВЦИК СНК 1 августа 1933 г., статья 45.

которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала: могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».

Ахматова пишет, что ее ртом «кричит стомильонный народ» и что

...если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем — не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

Сын Ахматовой, Лев Гумилев, был в заключении еще в 1956 году, когда Фадеев написал следующее письмо: «В Главную Военную прокуратуру... в справедливости его изоляции сомневаются известные круги научной и писательской интеллигенции... При разбирательстве дела Л. Н. Гумилева необходимо также учесть, что (несмотря на то, что ему было всего 9 лет, когда его отца, Н. Гумилева, уже не стало) он, Лев Гумилев, как сын Н. Гумилева и А. Ахматовой, всегда мог представить „удобный" материал для всех карьеристских и враждебных элементов для возведения на него любых обвинений»[1].

Из письма ясно, что Лев Гумилев, подобно многим другим, пострадал как «родственник».

Женщины, которые всеми силами пытались добиться освобождения своих мужей, практически никогда не достигали этой цели. Кравченко рассказывает такой случай: жена одного из осужденных пришла в 12 часов ночи в местное отделение НКВД. Начальник отделения грубо крикнул ей: «Что вы бегаете из тюрьмы в тюрьму, как сумасшедшая, и добиваетесь освобождения мужа. Я приказываю вам прекратить эту беготню. Я приказываю вам не надоедать. Все: убирайтесь!».

Очень трудно было узнать, куда направили мужа после суда. Некоторые писали во все лагеря, о существовании которых им удалось узнать у других жен. Иногда после многочисленных ответов «в данном лагере такого заключенного нет» вдруг оказывалось, что он именно там, и после этого, в некоторых случаях, в зависимости от приговора, у жены начинали принимать передачи.

Участь этих женщин была поистине ужасна. Генерал Горбатов пишет: «Много думал я о жене. Ее положение было хуже, чем мое. Ведь я находился среди таких же

[1] См. «Новый мир», 1961, № 12, с. 195 (переписка А. А. Фадеева).

отверженных, как сам, а она — среди свободных людей, и как знать, может быть, среди них найдутся такие, что отвернутся от нее, как от жены „врага народа“...».

Есть масса сведений о том, что женщины теряли работу, жилье, прописку, что им приходилось распродавать свое добро, жить случайной работой или на иждивении родственников. Они ничего не знали о судьбе своих мужей — будущее было совершенно беспросветным.

Камера

Сначала арестованный попадал в приемный пункт тюрьмы. Там его регистрировали и тщательно обыскивали с ног до головы. Одежду осматривали по швам. Шнурки и все металлические принадлежности, включая пуговицы, отбирали. Эти обыски периодически повторялись во время заключения; приблизительно раз в две недели обыскивали каждую камеру.

Условия и распорядок тюремной жизни были одинаковы по всей стране: страшная теснота, недостаток пищи, тоска и грязь, а в перерывах — допросы. Вариации были очень незначительны. Все согласны в том, что при царе жизнь в тюрьмах была несравненно лучше, чем в советские времена. Во всяком случае не было такой скученности.

Бывший заключенный московской Бутырской тюрьмы рассказывает, что в 1933 году в камеру, предназначенную для 24 человек, было втиснуто 72. В ноябре 1937 года в ней было уже 140 человек. 110 женщин находились в камере, предназначенной для 25. В этой камере стояло несколько кроватей, несколько больших ведер-параш и стол. Весь пол был устлан досками, на которых спали. Заключенные не могли спать на спине, а только на боку. Если кто-то хотел повернуться, то должен был согласовать это со всеми остальными, спящими по обе стороны от него, чтобы все могли повернуться одновременно. В камере, рассчитанной на 24 человека, помещалось по 70, 80 и 95 человек.

Приведенные выше описание, сделанные бывшими заключенными, касаются в основном тюрем Москвы, Ленинграда и Киева. Условия в них были гораздо лучше, чем в провинциальных тюрьмах. Рассказывают, что заключенные из Челябинска или Свердловска, попадая в переполненные камеры Бутырок, были в восторге. «Здесь просто курорт,— заявляли они,— по сравнению с тем, что мы видели раньше». Когда арестованных накапливалось слишком много, то в Сибири, например, выкапывали в земле ямы, покрывали крышей и сгоняли в них арестованных. К осени 1937 года в харьковской тюрьме, предназначенной для восьмисот человек, находилось двенадцать тысяч.

Проблема перенаселенности решалась по-разному. В Москве заключенных заставляли спать под кроватями и на досках, уложенных между кроватями. Этим способом можно было разместить троих на одном квадратном метре. В провинциальных тюрьмах не было ни кроватей, ни досок, и арестованных сгоняли в кучу. Спали на боку в несколько рядов. Иногда скученность достигала такого предела, что половине заключенных приходилось стоять, в то время как другая половина спала.

В каждой камере избирался староста, который отвечал за поддержание порядка, распределение спальных мест и т. д. Вновь прибывшего помещали вплотную к вонючей «параше», а затем, по мере того как увеличивался его стаж, он удалялся от «параши» все дальше и дальше.

Утренний туалет длился недолго. Например, 110 женщин, в распоряжении которых было 5 мест в уборной и 10 кранов, должны были управиться в 40 минут. До того, как тюрьмы были переполнены, заключенных в больших городах раз в десять дней водили в баню. Им выдавали достаточно мыла и регулярно дезинфицировали одежду и белье. В провинциальных тюрьмах было много грязнее.

Во время ежовщины дневной рацион состоял из 500—600 граммов черного хлеба, 20 граммов сахара и жидкого капустного супа два раза в день. В некоторых тюрьмах три раза в день выдавали горячую воду и по столовой ложке крупы. В Бутырках суп из капусты чередовался с ухой, плюс к этому выдавали около 400 граммов черного хлеба, а вечером — кашу. Женщина, сидевшая тогда в тюрьме, вспоминает: это было хуже, чем до ареста в ее голодном городе — даже после того, как она потеряла мужа и сына, но все-таки гораздо лучше, чем в лагерях.

Тюремные рационы выдавались регулярно и были, очевидно, составлены с таким расчетом, чтобы человек, который практически не двигался, мог остаться в живых.

Из-за недостатка света и воздуха лица заключенных приобретали особый голубовато-серый оттенок. Многие страдали дизентерией, цингой, чесоткой, воспалением легких и сердечными болезнями. Воспаление десен было у всех. «Цингой заболевали, особенно проведя в тюрьме год, два, три (были и такие)» [1].

Администрация тюрьмы несла прямую ответственность за жизнь заключенного. Это приводило к парадоксальным результатам: в одной и той же камере можно было найти заключенных, тяжело страдавших после пыток, и тех, кому в то же самое время регулярно выдавали лекарства от простуды, кашля и головной боли. Администрация делала все возможное, чтобы воспрепятствовать самоубийству.

[1] Р. Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки, с. 245.

Пока тянулся допрос, доктора редко вмешивались в дело. Но потом они начинали лечить раны и переломы, полученные при допросах, хотя официальный диагноз был другим. В провинциальных тюрьмах все выглядело по-другому: там прямо пытались установить — сколько заключенный может выдержать. В медицинских справках и, очевидно, в официальных отчетах откровенно говорилось об избиениях. Согласно В. Кравченко, так продолжалось и в начале 1938 года.

Взаимоотношения в камерах, если не считать стукачей, были, как правило, хорошими и доброжелательными, особенно в Москве. В воспоминаниях заключенных есть очень много рассказов о доброте и самопожертвовании. Венгерский коммунист Лендьел рассказывает, как одному заключенному его камеры, которого жестоко пытали, была на целый день предоставлена кровать. В этой камере, предназначенной для 25 человек, находилось 275. Каждый поделился с ним сахаром из своего рациона.

В тюрьмах читались лекции на самые разнообразные темы, рассказывались всевозможные истории. В каждой камере, вспоминает бывший заключенный Герлинг, был по крайней мере один летописец, исследователь тюремной жизни. Он целый день занимался тем, что собирал истории, обрывки разговоров, подслушанных в коридоре, сообщения из газет, найденных в уборной, приказы администрации. Он следил за движением транспорта во дворе тюрьмы и даже прислушивался к приближающимся и удаляющимся шагам людей, проходивших мимо ворот.

Все без исключения люди, побывавшие в тюрьме, рассказывают, что знали ответственных работников, которые и в заключении сохраняли верность партии. Одни были убеждены, что Сталин и Политбюро ничего не знали о происходящем, другие считали себя не в праве решать подобные дела. Долг повелевал им подчиняться всем приказам партии, включая дачу показаний на суде.

Встречались и другие типы. В Бутырках в одну камеру были помещены сыновья пяти ответственных партийных работников. Четверо из них держались с наглостью, типичной для новой привилегированной молодежи. Они тут же отреклись от своих родителей и даже похвалялись этим. Порядочным парнем был только один — сын расстрелянного «лихача» [1] генерала Горбачева.

Заключенным разрешалось курить, но все игры были запрещены. Некоторые тайно играли в шахматы, вылепив фигуры из хлеба. В женских камерах Бутырок гадали на спичках. Обнаружив у когонибудь спички, надзирательница пересчитывала их. Всех женщин, у кого находили 41 спичку (количество, необходимое для гадания), наказывали.

Сообщают, что только в двух московских тюрьмах — Лубянке и Бутырках — можно было пользоваться книгами (впоследствии Берия разрешил игры и чтение). Библиотека в Бутырках была хорошо укомплектована по всем разделам: классика, переводы, история, научные издания. Это объяснялось тем, что до революции в Бутырки помещали политических заключенных, а крупные издательства бесплатно отсылали в тюрьмы один экземпляр каждой изданной книги. Библиотека на Лубянке состояла в основном из книг, конфискованных у заключенных.

Ежов установил более строгие правила. Он приказал завесить все окна ставнями, которые до сих пор называются «ежовскими намордниками», так что оставалась видна только узкая полоска неба. (До этого ставни использовались лишь на Лубянке и в ленинградской тюрьме на Шпалерной.) После суда над Бухариным были введены новые карательные меры. Ставни открывались только один раз в день на 10 минут. От сырости «хлеб покрывается плесенью еще до обеда. Стены насквозь прозеленели. Белье всегда влажное. Все суставы болят, точно их грызет кто-то» [1]. За самый малейший проступок (например, если у кого-то находили иглу) заключенного отправляли в карцер, где он получал 200 граммов хлеба и кружку кипятка на день, не имел права носить верхнее платье, и три соединенные деревянные доски вместо кровати опускались только ночью. В Ярославле в 1937 году карцеры делились на три категории. В карцере мягкого режима было светло, и заключенный был одет в обычную форму. Следующей ступенью была сырая грязная дыра в стене, где было холодно и абсолютно темно. Заключенный сидел в нижнем белье, получая один раз в день хлеб и воду. Гинзбург просидела там пять дней за то, что кто-то написал ее имя в комнате для умывания. Из карцера первой категории выходили «на скорый конец».

В тюремных дворах были ликвидированы все деревья и цветочные клумбы. Заболоцкий пишет в стихотворении «Ивановы», что был лишен возможности видеть даже деревья — их заперли на замок. Одновременно были уволены все наиболее либеральные надзиратели — оставили только тех, кого заключенные не любили, предварительно отправив их на курсы «повышения квалификации».

Во время допросов, когда расследова-

[1] См. «Дело Бухарина», с. 233.

[1] Е. Гинзбург. Крутой маршрут...

лось какое-нибудь важное дело, некоторых заключенных держали в так называемых «внутренних тюрьмах». Но кое-кто отбывал там и срок заключения. В обычных камерах люди жили и спали вповалку, на голых досках, в грязи и духоте, но все-таки здесь был коллектив: можно было поговорить или даже послушать лекцию специалиста на литературную или научную тему. Внутреннюю же тюрьму окрестили «могилой». Камеры были чище и просторнее, каждый имел свою койку и даже постельное белье. Раз в месяц все белье, носильное и постельное, отдавалось в стирку. Но здесь было запрещено шуметь и даже громко разговаривать. Глазок в двери открывался каждые пять минут. С 11 вечера до 6 утра заключенный должен был находиться в постели, днем — сидеть, не облокачиваясь. Делать было абсолютно нечего. Бывший заключенный Вайсберг, сидевший в таком изоляторе на Украине, а потом в Москве, узнал о начале мировой войны только в конце октября 1939 года. Если в общих камерах находились тысячи и десятки тысяч людей, то во внутренних тюрьмах их бывало всего несколько сот.

В изоляторах перед сном нужно было раздеваться, а во время сна держать руки поверх одеяла. Говорят, эта мера была вызвана тем, что один заключенный умудрился сплести под одеялом веревку и повесился на ней. Во всяком случае, это была единственная возможность изготовить какой-то незаконный предмет. Если надзиратель замечал, что во время сна заключенный спрятал руки под одеяло, он тут же входил в камеру и будил его.

Во внутренних тюрьмах было практически невозможно перестукиваться. На стук редко отвечали, опасаясь провокаторов. В других местах это было распространено. Нередко при этом пользовались так называемой «азбукой декабристов».

В одиночном заключении на первый план выдвигались психологические проблемы. Вот какие советы дает бывший артист Большого театра Орловский, отсидевший в изоляторе 5 лет: «Во-первых, вы должны полностью отрешиться от действительности — перестаньте думать о себе как о заключенном. Вообразите себя туристом, который на время попадает в непривычную обстановку. Не признавайтесь самому себе в том, что условия здесь плохие, потому что они могут быть еще хуже, и вы должны быть к этому готовы. Старайтесь не вникать в повседневную жизнь изолятора — не слышать его звуков, особенно ночью, не чувствовать его запахов. Старайтесь забыть о существовании часовых, не смотрите на них, не обращайте внимания на выражение их лиц. Перестаньте мечтать о том, что вскоре, возможно, вам удастся покинуть изолятор. Не пытайтесь вновь обрести свободу такими методами, как голодовка или признание своей вины, или мольбой о жалости. Перестаньте тосковать о друзьях, которых вы оставили на воле».

Тюрьмы особой категории состояли из пяти-шести «политических изоляторов» — например, в Суздале, Верхнеуральске, в Ярославле и Александровске «изоляторы» появились в самые первые годы советской власти. Тогда считалось, что это гуманный метод устранения из общественной жизни членов оппозиционных политических фракций, «левых уклонистов» и т. д. Еще в начале 30-х годов в этих тюрьмах с заключенными обращались мягче, но во время массовых репрессий они перестали быть исключениями. В пище, которую давали в 1937 году в ярославском изоляторе, вообще не было витаминов. «Утром хлеб, кипяток и два кусочка пиленого сахара. В обед — баланда и сухая, без всяких жиров, каша. На ужин — похлебка из какой-то рыбешки, тошнотворно пахнувшая рыбьим жиром» [1]. И все же эти тюрьмы сохранили свои отличительные черты. В них содержалось не более 400—500 заключенных. В Верхнеуральске были камеры, в которых сидело всего 10—25, а то и 3—8 человек, плюс несколько «одиночек». Обычно в этих изоляторах отбывали срок более важные политические заключенные, не подлежащие немедленной ликвидации — в том смысле, что они были нужны для новых процессов.

[1] Е. Гинзбург. Крутой маршрут...

Перевод с английского
Л. ВЛАДИМИРОВА

Продолжение следует

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

1) В «Приложениях» Р. Конквест так оценивает эту книгу: «[Четвертый вид источников, которыми мы располагаем,—] свидетельства жертв, выехавших за пределы коммунистического мира и опубликовавших свои воспоминания на Западе. Среди них весьма замечательные личности, умеющие наблюдать, живо описывать и заслуживающие полного доверия. В нашем распоряжении имеются воспоминания видного литературного критика Иванова-Разумника...»

2) Описка автора или переводчика: в действительности Матвей Берман.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Валерий
ЛАРИН

О МЕТАСТАЗАХ И БЕЗУМЦАХ

Имя Петра Кожевникова в литературных кругах, а с некоторых пор и за их пределами на слуху. Способный, говорят, даже талантливый. «Талант — это наказание»,— говорил А. Т. Твардовский. Справедливость утверждения Кожевников доказал всей своей биографией. За участие в альманахе «Метрополь» он был на десять лет отлучен от литературы. Но канули (и будем надеяться безвозвратно) времена, когда карались свежие мысли, непохожесть, внезаданность. Тут бы и образумиться автору, сесть за стол и наверстать упущенное. Увы, не внял Кожевников голосу рассудка, с головой окунулся в общественную работу. А деятельность эта звонких дивидендов не сулит,— да что дивиденды! — личной безопасности не гарантирует.

Что же явилось побудительным мотивом его подвижничества? Встающий в Финском заливе на дыбы бетонный монстр, памятник проектантской лихости и экологической дикости? Уплотняющийся запашок гнили по жаркому времени и при западном ветре? Обеспокоенность за своих детей? Да, все вместе, но главный побудительный мотив — это он сам. Все чаще Кожевникова можно встретить на митингах неформалов, обеспокоенных за судьбу города почему-то больше, чем его «отцы».

«Эпоха развитого социализма» отполировала изумительный тип человека «разумного». Сей муж раз и навсегда, как молитву, затвердил основополагающие для себя заповеди: не высовывайся, не встревай, держи язык за зубами. Этакий тип умненького молчальника, хитренького паучка, смиренным поведением вымолившим себе право на тихое убожество,— тот минимум, в который он сам себя оценил.

Ценности и драгоценности бывают всамделишные, а бывают поддельные, так сказать, имитация. То же с талантом. Если он — подлинник, то никакими рамками не оконтуривается и вануданию не подлежит — в этом его диалектическая природа. Так было и так будет.

Петр Кожевников (за относительной его молодостью отчество пока отбросим) грубо нарушил все заповеди паучьей мудрости. Он бурно митинговал, щедро раздавал интервью, сам писал и даже сподобился выставить счет «крестному отцу» дамбы — Григорию Васильевичу Романову. Ни много ни мало — один миллиард рублей. За энергию, дар убеждения, целеустремленность товарищи по неформальному движению избирают его лидером объединения «Дельта», программной задачей которого является борьба за экологическую чистоту северо-западного водного бассейна, в частности, борьба со строительством дамбы в Финском заливе.

Вопросы экологии Кожевникову близки по роду его службы: в то время он работал в скромной должности матроса-моториста судна «Эколог», приписанного к гидрохимической лаборатории Северо-Западного бассейно-территориального управления. Именно этому судну предстояло открыть в биографии писателя и общественника детективную страницу. Страница открылась 30.06.87 г.

Итак, 30.06.87 г. Кожевников Петр Валерьевич, 1953 года рождения, русский, беспартийный, под судом и следствием ранее не состоявший, явился в 9.00 на борт судна «Эколог» для несения вахты. Место стояния судна — Малый Гутуевский ковш Ленинградского торгового порта. Однако вахте не суждено было завершиться. Вахтенный помощник капитана т. Барсов устно передал ему распоряжение капитана Полунина о перенесении вахты на следующий день — 1.07.87 г. Ввиду того, что ранее Кожевников категорически отказывался являться на общие собрания экипажа в дни, не совпадающие с его вахтами, дежурство и день собрания решили совместить, такое было ему дано объяснение. Кожевникова это решение не устраивало, так как расходилось с его планами. Он направился в помещение склада № 9 с тем, чтобы позвонить начальнику лаборатории т. Фазлыевой. Фазлыева попросила его пригласить к телефону т. Барсова: надо согласовать вопрос с вахтенным помощником лично. Кожевникову было дано распоряжение пока стоять, «как стоишь». Попутно следует заметить: Барсов с утра был вместе с капитаном в управлении, на судне появился около 15 часов. Описываемые события происходят после 15 часов. Кожевников распоряжением вахтенного помощника освобождался с 18 часов после окончания стояночной вахты. Далее. Кожевников возвращается на судно и передает Барсову просьбу Фазлыевой. Тот идет на склад к телефону и, не застав звонком Фазлыеву, возвращается назад. Около 17 часов Барсов и Кожевников отправляются на склад вместе. Звонят.

Разговаривает Барсов. Фазлыева подтверждает распоряжение капитана Полунина: да, после 18 часов Кожевников должен идти домой. Во всяком случае так явствует со слов Барсова. Матрос-моторист Кожевников и вахтенный помощник Барсов покидают склад и идут на судно. Метрах в пятидесяти от склада, перед стоящими на путях грузовыми платформами дальнейшие события расщепляются на две версии.

По версии Барсова, Кожевников, шедший несколько сзади, с грубой бранью и восклицаниями: «Ну, что, добился своего, сволочь!» — нанес ему два удара в лицо: прямой правой и боковой слева. Результат — у Барсова разбиты губы, альвеолярные отростки двух верхних передних зубов смещены назад.

По версии Кожевникова, двое неизвестных, подкравшись сзади, набросили ему на шею удавку и принялись душить. Барсов оборачивается и бьет его кулаком по горлу. Одновременно Кожевникову тупым тяжелым предметом наносят удар по голове. Завязывается драка, в ходе которой Кожевников получает на тыльной стороне левой кисти глубокую длинную рану. Кожевников — спортсмен, хорошо боксирует, знает карате. Отбился. Двое неизвестных исчезают за складскими помещениями. Барсов бежит к стоящему у причала пограничному дебаркадеру.

Далее версии соединяются воедино. Дежурные пограничники в помощи Барсову отказывают, советуют обратиться в портовую поликлинику. Тоже с Кожевниковым.

Правомочна ли первая версия? Пожалуй. Кожевников вспыльчив. Отношения с экипажем у него были натянуты. Постоянные придирки раздражали и держали его в нервном напряжении. Очередного «сюрприза» он не перенес, сорвался. И понятно, внезапное отстранение от вахты рушило его личные планы. Жизнеспособна ли вторая версия? Безусловно. Экипажу «Эколога», за небольшим исключением, Кожевников не пришелся. Не свой. Непьющий. Бубнит что-то о несовершенстве нашей социальной модели. Сотрясает воздух призывами к экологической борьбе. И пишет, пишет. В руководство управления. Потом дальше, выше. В письмах — нелицеприятная критика работников управления, экипажа «Эколога» и экологического состояния Северо-Западного водного бассейна. На вахте вместо того, чтобы лишний раз подтереть в машинном отделении или гальюн покрасить, в тетрадочку строчит: «Я — писатель!» Конечно же, у спаянного коллектива были все основания быть им недовольным. Да и у всего управления, пожалуй. Кожевникову намекали, предостерегали, угрожали. Место даже предлагали в денежном отношении поинтереснее. Но Кожевников представляет собою тип, диаметрально противоположный типу «умного» человека, в изобилии репродуцированному эпохой звездопадов и застолий. Не умный он человек. Не понял. Уперся. К тому же в уголовном деле, ранее возбуждавшемся против экипажа «Эколога» за деятельность, от проблем экологических весьма отдаленную, он привлекался в качестве свидетеля. Судно «Эколог» таможенному досмотру не подлежит, и от дела веяло соленой контрабандистской романтикой. Что ж, если человек не понимает, следует стимулировать его сообразительность какими-то более убедительными средствами. Что и имело место. Кожевникову в поликлинике порта оказали медицинскую помощь и отправили на бюллетень. Барсов оказался в больнице.

По «факту происшествия», на основании заявления Барсова, против Кожевникова уголовное дело возбуждено не было. В следственной практике подобные дела относятся к категории «глухих». Действительно, свидетелей — никаких, а версии Кожевникова и Барсова следствие сочло взаимно сбалансированными. Но рано ставить точку. В марте 1988 года (через девять месяцев) опять на основании повторного заявления Барсова и его ближайших родственников дело было возбуждено. По ходу следствия Кожевникову было предложено передать дело в товарищеский суд по месту работы. Барсов против такого исхода не возражал. Кожевников опять чего-то недопонял и настоял на полном и всестороннем расследовании обстоятельств происшествия. Коли так, извольте. Следственная процедура перешла на повышенные обороты. В конце ноября следственная группа линейного отдела ЛО УВД на морском транспорте закончила работу и квалифицировала вину Кожевникова по ст. 109 УК РСФСР «Нанесение менее тяжких телесных повреждений». Дело передано в Балтийскую транспортную прокуратуру. Там оно не залежалось. Доукомплектовав вину Кожевникова ст. 193 «Угроза или насилие в отношении должностного лица...», прокуратура 13 января 1989 года представила Петру Кожевникову обвинительное заключение и передала дело в Кировский районный народный суд. «Дело непростое, запутанное, окончательно разберется суд»,— таковы были слова следователя прокуратуры С. Б. Топорова.

Суд разбирался (с перерывами) три месяца. С 6 марта 1989 года по 5 июня того же года. Решение суда:

Кожевников П. В., русский, беспартийный, 1953 года рождения, ранее не судимый, был приговорен по статье 109 ч. I к одному году лишения свободы и по ст. 193 УК РСФСР ч. II к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год.

При свершении обвиняемым в течение года уголовно наказуемого поступка, вынесенный ему новый срок плюсуется со старым.

Итак, Кожевников был признан виновным, несмотря на яростное сопротивление адвоката В. Г. Захарова (построенное отнюдь не на эмоциях, а логически выверенное и точное) и при энергичном содействии ему общественной защиты. Суд, по-видимому, прислушался к их доводам, ибо обвинительная сторона (прокурор Балтийской транспортной прокуратуры Малов В. В.) настаивала на двух годах по ст. 109 ч. I и трех годах по ст. 193 ч. II, при двух годах отсрочки. То есть судья Васильева И. Ю. приговор обвинительной стороны смягчила почти вдвое. А могло быть хуже? — возникает вопрос. Первые судебные заседания заставляли предполагать самое худшее. Но в окончательном результате Кожевников вернулся к семье. Интересно, поумнеет ли он за год?

Это только фабульный пунктир. Размеры дела измеряются увесистыми томами. Теперь коснемся некоторых оттенков его с тем, чтобы предоставить читателю возможность поразмыслить. Они любопытны.

В декабре 1988 года представитель общественной защиты нанес визит прокурору Северо-Западной транспортной прокуратуры г. Градусову И. В. и с его любезного разрешения был допущен к ознакомлению с делом. Следователь Балтийской транспортной прокуратуры (она входит в Северо-Западную транспортную прокуратуру как составная административная единица) Топоров С. Б. успокоил: время есть — до предъявления обвинительного заключения, как минимум, еще месяца полтора. В задачу общественной защиты входила попытка предотвратить судебное разбирательство, ограничиться средствами общественного воздействия на уровне Ленинградского Союза писателей, однако визит в транспортную прокуратуру возымел неожиданный эффект ускорения, дело словно сорвалось с привязи. Обвинительное заключение было предъявлено Кожевникову не в начале февраля 1989 года — по расчетам следователя прокуратуры, а 13 января, как это уже упоминалось. Был составлен документ за подписью секретаря ЛО СП, секретаря партийной организации и Д. А. Гранина, в котором ко всему прочему излагалась просьба передать дело на рассмотрение Союзу писателей, тем и ограничиться. Представители общественной защиты нанесли И. В. Градусову повторный визит, коим продублировали просьбу, изложенную в документе. Документ обратного эффекта, торможения не вызвал (а был направлен он в прокуратуру и административный отдел обкома партии), Градусов же развел руками: поздно, обвинение уже предъявлено. Что ж, прокурор всегда прав.

Между тем торопиться не следовало бы. Несмотря на напористый характер ведения следствия, проявляемый майором Королевой настолько, что в сыскном азарте забывались нормы профессиональной этики, в расследовании был допущен ряд серьезных недоработок и упущений. Показания «истца», «ответчика» и свидетелей в ряде случаев противоречивы. Например, после того, как Барсов и Кожевников вышли со склада № 9, окончательно не выяснено, кто шел впереди, а кто сзади. Если принять на веру то, что Барсов шел первым, как он получил удар в лицо? Не шел же задом наперед. Если обернулся, то в какой момент? Что заставило? Барсов показывает, что на хождение до склада и обратно он употребил не более пятнадцати минут. Кожевников утверждает, что он ходил два часа. Если два, то где это время Барсов находился? Вполне уместно было бы проведение следственного эксперимента на месте «боя», а также составление жесткого хронометража времени хождения обоих по маршруту: «Эколог» — склад № 9 — дебаркадер — «Эколог». Этого сделано не было. Почему вахтенный пограничник дебаркадера Тебеньков утверждает, что не видал ни Кожевникова, ни Барсова? По его же звонку наверх поднялись прапорщики Козлов и Забудняк; впоследствии на суде они засвидетельствовали наличие у Кожевникова и Барсова травм. Загадки. Загадки... Капитан «Эколога» Полунин на 1.07.87 г. был вызван в судоходную инспекцию на 9.00. Могло ли состояться собрание в отсутствие капитана? Вряд ли. Следовательно, отпадает вопрос отстранения Кожевникова от вахты. Зачем тогда все же было его отстранять, кому он мешал? Зачем эти хождения на склад со звонками? Напрашиваются выводы, работающие на версию Кожевникова. Следствие не поинтересовалось исправлениями в вахтенном журнале, не подвергло анализу произведенные там записи. Запись относительно перенесения вахты Кожевникова отсутствует. Почему? Отстранение Кожевникова от вахты могло быть произведено только на основании рапорта вахтенного помощника на имя капитана. Был ли такой рапорт? Где он? Неизвестно. Вопрос об отстранении Кожевникова от вахты стоял, вероятно, настолько остро, что вахтенный помощник Барсов дважды самовольно покинул судно, нарушив тем самым ст. 404 «Устава службы на судах». Что за необходимость такая? Откуда спешка? Такими вопросами следственная группа не задавалась. Таким образом, первопричины инцидента, по факту которого было возбуждено уголовное дело, следствием оказались непроработанными. Важно еще одно. Со слов

начальника гидрохимической лаборатории Фазлыевой явствует, что в разговоре по телефону с Барсовым она просила Кожевникова от вахты не отстранять, а собрание экипажа перенести, то есть, по возможности, решить вопрос бесконфликтно. Но тогда получается, что Барсов говорит неправду, что слова Фазлыевой он передал Кожевникову в искаженном виде. Предложение решить вопрос бесконфликтно вряд ли вызвало бы у матроса-моториста такую агрессивную реакцию, о которой говорит Барсов в своей версии. Таким образом, сама версия под сомнением. Но именно она была заложена в следствие краеугольным камнем...

Идем дальше. Теперь по поводу статьи 193 УК РСФСР («Угроза или насилие в отношении должностного лица...»), примененной к Кожевникову по линии Балтийской транспортной прокуратуры. Должностным лицом, о котором говорится в статье, в настоящем случае является вахтенный помощник Барсов. Согласно «Уставу службы на судах» юрисдикция вахтенного помощника капитана распространяется лишь в пределах судна. На берегу правами должностного лица он обладать не мог, так как покинул судно без разрешения капитана. Кроме того, статья имеет силу в случае, если насильственные действия направлены на пресечение *должностных* действий. Но о каком пресечении могла идти речь, если драка произошла спустя значительное время после вынесения Барсовым своего решения. Значит, не было никакого пресечения, значит, есть основания говорить о неправомерности применения к Кожевникову ст. 193 УК РСФСР.

Естественным порядком встает вопрос и о правомерности передачи в прокуратуру, а затем в суд сырого следственного дела. Можно ли? Оказывается, можно. Следствие, как было втолковано автору этих строк в прокуратуре, отвело Кожевникову роль ответчика, а Барсову — роль истца в некотором роде условно. Окончательно во всем должен будет разобраться суд. Но прежде, чем перейти к судебной процедуре, отметим еще два важных обстоятельства.

Первое. Люди прозорливые, но с умом проказливым нашептывали Кожевникову: выйди на товарищеском суде по месту работы с покаянием и делу конец. Но ведь покаяние — это публичное признание своей вины, перед множеством свидетелей, да еще на стадии следствия, которое, кстати сказать, никто не собирался прекращать. Вот тут-то и птичка в шапке. Надо сказать, что подследственный в правовом отношении — человек весьма неискушенный, но интуиция не подвела — отказался и настоял на завершении следствия.

Второе. Не оставляет мысль, почему Барсов возбудил дело? Да еще через девять месяцев. Смотришь ему в лицо — не тот вто человек, что в мире злобой держится. Не мог все эти полгода пестовать и холить свою обиду. Тогда почему? Может, родственники сообща раздували тлеющую искорку обиды? Зачем? Кому потребовалось втягивать Барсова в следственно-судебную тягомотину? С какой целью? Крутнем колесо времени назад.

В апреле 1988 года мать Барсова на очной ставке, в присутствии следователя ЛО УВД на морском транспорте Чертополохова, теряя терпение, кинула: «Вы обещали его сразу посадить, чего же не сажаете!» Речь, как понимаете, шла о Кожевникове, а слова были обращены к парторгу Северо-Западного бассейно-территориального управления (СЗБТУ) т. Сливкину А. Г. Ну, вот уже что-то. Если давал обещание, значит, сам имел подобное намерение. Зачем ему понадобилось Кожевникова сажать? Давайте посмотрим. Но предварительно несколько справок.

Сливкин Анатолий Григорьевич. Зам. начальника морского отдела СЗБТУ, парторг (!!) организации. Летом 1987 года в Онежском озере произошел разлив нефтепродуктов. На запрос с места аварии вышел вертолет с т. Сливкиным и т. Савушкиным, ст. госинспектором, на борту. Вертолет сделал прогулочный облет места катастрофы и ушел восвояси. Мер по ликвидации последствий аварии никаких принято не было. На этом основании против Сливкина и Савушкина Карельская прокуратура возбудила дело.

Как показывает бывший ст. инспектор управления Чистякова Л. А., к Сливкину в ее присутствии приходил моряк с жалобой на судно «Эколог», конкретно, на пьянство и безобразия, чинимые экипажем, кои влекли за собой нарушение техники безопасности и мешали работать. Мер не принято, дело замято.

Осенью 1987 года на судне «Эколог», стоящем у причала в Ломоносове, состоялось собрание коллектива, резко осудившего линию поведения рулевого-моториста Кожевникова. Сценарий собрания предусматривал в финале покаянное слово осужденного. Его не было. А без него картина остракизма была бы не такой впечатляющей. Сливкин разрешил впоследствии вопрос куда как просто: покаяние в протокол вписать, относительно чего и дал распоряжение одному из членов экипажа.

Это к вопросу лица партийного руководителя управления.

Ни на одном из заседаний суда т. Сливкин А. Г. не появился. Ни как свидетель, ни как вольнослушатель. А разбирательство длилось три месяца, время можно было найти, но Анатолий Григорьевич его не нашел.

Понятно, что моторист Кожевников со своими болями был у Анатолия Григорьевича, как камешек в ботинке, как кость в горле. Но дело даже не в Сливкине, все гораздо шире, интереснее. Давайте сделаем несколько пробных выборок из коллектива управления, так сказать, гистологических щипков.

Товарищ Новодворский, начальник морского отдела, непосредственный начальник Сливкина: дважды незаконно получал квартиры, чем интересовалась областная прокуратура. Товарищ Королев, начальник СЗБТУ! Полон достоинства, стати. Кожевникова на суде называет не иначе как Петр Валерьевич. Вот только не поколебалось ли его чувство собственного достоинства, когда 1,5 млн. м^3 загрязненной воды проводил по документации как чистые? Пейте на здоровьичко, мои родимые! Таков облик руководителей организации, в обязанность которой вменяется контроль за состоянием вод Северо-Западного водного бассейна. А методы контроля? Пожалуйста. Сброс загрязненных продуктов в бассейне производится в конце года, отчеты о состоянии вод сдаются в октябре. Разудалый стиль работы вам что-то напоминает? Подсказываю, СЗБТУ на правах управления входит в Минводхоз. Да, да, тот самый! Зам. министра которого, товарищ Черепахин, дал в свое время добро на сброс отходов судами, идущими транзитом через Ладогу. Последствия известны. Что ж, каков поп, таков и приход.

Вот и бился Петр Кожевников, человек наивный, головушка горячая с ветряными мельницами, звонил во все колокола, стучался в двери уважаемых инстанций. И достучался... до суда. Ситуация до оскомины знакомая, схема до предела банальная, заношенная до скрипа: ведомство (приводной механизм) — правоохранительные органы и судопроизводство (средство наказания) — объект порки (сиречь Кожевникова в нашем случае). Впрочем, третье звено может выпадать, когда обстоятельства дела требуют выполнения заказа в спешном порядке, напрямую. Обратимся к беглой статистике — во всех случаях работает приведенная схема.

Красногвардейский район г. Белгорода, история борьбы с *бруцеллезом*.

Материал Ю. Щекочихина по Одессе: «После шторма».

В Чебоксарах исчезает зав. отделом местной газеты Никифоров.

Зверски убит журналист Глотов, предпринявший дерзкую попытку проникнуть в тайны московской торговой мафии.

Бьют геолога Дрыгу на Самотлоре.

Смерть директора совхоза Худенко в том же трагическом ряду.

Где же его конец?!

Методики наказания отшлифованы до блеска.

Этого, увы, Петр Валерьевич Кожевников не понял. А понял бы — не ловил бы по укромным местам колотушки, не носился бы с неформалами-экологами по Ладоге, не замахивался бы на бетонную фортецию в заливе — рукотворный памятник Минводхоза. Она ж во имя интересов народа возводится, а значит, и для него. А он намеки себе позволяет, дескать, не совсем в ту сторону стройматериалы плывут морем и сушей, вбок слегка забирают и встают потом в пригожих местах дачами, и застревают наличными в глубоких карманах. Вот и доигрался!

— Встать, суд идет!

Перед судом встает задача многотрудная: доказать вину Кожевникова П. В., 1953 г. рождения, ранее не судимого. Как докажешь, свидетелей-то нет! Прямых-то нет. Но есть косвенные. Прямо не докажут, но могут показаниями своими создать фон, на котором обвиняемый будет выглядеть весьма неприглядно: такой может, ему в жизни и другой услады нет, кроме мордобоя. Идет терпеливый, кропотливый допрос многочисленных свидетелей. Каждый из них привносит в облик скуловорота Кожевникова штрих уточняющий, дополняющий, обогащающий. И встает перед нами фигура некрасивая. Лодырь, нерадивый, пустозвон, хитрец и враль. К тому же с воспаленными личностными амбициями. Писатель, видите ли! А чего написал, покажь! Если такой великий, то где томов многопудье, премии, народное признание где? Бездельник, ты, Пека, и болтун! Мало того, парень с сомнительным политическим душком. Смутные разговоры промеж экипажа вел, подбивал стрекоча к Свейским берегам на «Экологе» задать. Примут, обещал. К счастью, экипаж проявил идеологическую бдительность и отгородился от искусителя крылатым словом: «антисоветчик»! Фигурирующее в деле показание работника Ленводхоза Кругового заслуживает особого внимания — точная копия допоса образца 37-го года. Больно и неловко слушать свидетелей, эти тяжкие пережевывания навязанных из чужого лексикона слов. Зачем же шутов из людей делать!

В качестве свидетеля был приглашен Павлов, привлекавшийся ранее в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному против экипажа «Эколога» в связи с хищением импорта. Кожевников тогда был вызван для дачи свидетельских показаний. И давал их, правда, в сдержанной манере. Теперь Павлов поменялся с ним местами. Что можно ждать от такого свидетеля? Однако привлекли, сгодился. «Суд разберется»,— обнадежил следователь прокуратуры. Нет, не разбирательство это было, а засуживание! И с таким крутым обвинительным креном, что у неискушенных это вызывало состоя-

ние шока. Свидетели, дающие сколь-либо положительные показания нейтрализовывались, ибо места для них в судебной процедуре не было предусмотрено. Помощник капитана Голубев, человек пожилой, усталый, отозвался о Кожевникове с теплотой, более того, попытался охарактеризовать обстановку на «Экологе» объективно. Но был остановлен при этом оскорбительной репликой судьи: «Вы что, штатный свидетель?»

«Ирина Юрьевна! — хочется обратиться к судье.— Мы глубоко уважаем ваш каторжный, прямо скажем, неженский, призванный выполнять почетные и нужные оздоровительные функции труд. Понимаем вашу усталость и где-то раздражительность. Потому что духота, нудятина, необходимость держать в рамках приличия разгулявшиеся эмоции гостей. После заседаний не менее тяжких обязанностей по дому с вас никто не снимал, верно? Но так-то зачем? Человек же вам в отцы годится! Штатные должности, смеем вам напомнить, оплачиваются».

Только раздражительностью такую реплику не объяснишь. Скорее, это заданность. Суд приступил к процессу с готовым решением: «Виновен!» Вольная или невольная попытка помешать осуществлению этого решения вызвала у суда раздражение. Равно как и попытка рассмотреть дело несколько шире предопределенного ракурса — она неизменно блокировалась: «Ваш вопрос снимается». Дело значительно серьезнее и глубже произошедшей драки, корни его идут далеко. Сколько подобных драк происходит ежедневно по области? Десятки? Сотни? И если на каждую из них тратить энергию правоохранительных органов, то половина страны должна одеть мундиры. Дело Кожевникова выделено *особо*. А если так, то в рассмотрение его следовало бы включить и избиение Кожевникова в Комарове, выполненное высокопрофессионально.

Акция с привлечением четырех молодцов и подсобных технических средств не могла обойтись без надежного покровительства. Подъехали на машине. Ждали в определенном месте — «в упрежденной точке», как говорят ракетчики. И объект в эту точку вышел. Потом «сухие», технические удары по голове, не как попало, а в нужные места. Что из себя представляет человек с отказавшей головой? — живое мясо. Не исключено, что при наведении боевиков на объект использовалась портативная, коротковолновая рация. Ибо, каким образом его могли «вести» от Дома творчества к шоссе, куда он спустился для утренней разминки? (Разминки он делал в разных местах и в разное время). Не синичка же по воздуху навела! Нет, за Кожевниковым велась планомерная охота, и задействованы в ней были далеко не дилетанты. Не забыты были и его единомышленники. Свидетельство тому и угрозы в адрес С. В. Цветкова, вставшего на защиту Кожевникова в своей статье «Вопреки презумпции невиновности», опубликованной в «Ленинградском рабочем», хамская и неуклюжая попытка скомпрометировать его при помощи Ломоносовского медвытрезвителя! А черная (!) «Волга», в сантиметре разминувшаяся с Майей Ивановной Кривошей, членом бюро общественного совета при Госкомприроде! Дело Кожевникова следовало бы изучить специалистам союзного уровня, в контексте больших и малых хищений в Ленинградском торговом порту, от случаев мелкой контрабанды до исчезновения контейнеров. Все это участки единой опухоли, от которой нам никогда не избавиться, если не избавимся от причин, ее породивших. Но следствие, а затем суд предпочли из больной плоти вычленить только драку.

До какой же степени надо быть наивными, полагая, что не видно остального! Где же предел аналитической атрофии и атрофии элементарного здравого смысла, если на очевидную неприглядность наносятся румяна правдоподобия! Ну, хорошо, примем условия: драка, так драка. И нападения никакого не было, просто психопат Кожевников избил своего непосредственного начальника Барсова. Суд понимает, что косвенные свидетельства — это жидковато, не набирается на вину. Требуется нечто посолиднее, повещественнее, так сказать. Слова, что дым: сказал — отказался. И нечто находится. О, шрамы! На тыльной стороне левой кисти Кожевникова шрамы, полученные в драке. Надо доказать, что они получены от зубов и не от абстрактных, а именно зубов Барсова. Но как? Что от зуба, это покажет экспертиза. А что от барсовских? М-гм... Так это он сам подтвердит! И Барсов подтверждает. Трудно выговаривая незнакомые слова, но подтверждает: да, было дело, порезал Кожевников руку о его «резцы». Вот только остается гадать, как человек, получивший, по его версии, нокаутирующий удар в лицо, причем от противника превосходящего веса, силы и спортивной подготовки, сумел через секунду рассмотреть, как при следующем, боковом ударе противник порезал руку именно о его зубы и именно о резцы, да еще при этом кровь разглядеть на руке Кожевникова? Прямо-таки олимпийская способность держать удар!

С экспертизой дело обстояло не просто. Экспертиза показала, что раны резаные, нанесены острым предметом. Таковым мог быть и нож. Не годится. Потому что, если нож — это уже намек на нападение, присутствие третьих лиц. Никак не годится. Назначается повторная экспертиза, комиссионная. Она включает в себя судебно-медицинскую и психиатрическую. В части первой экспертиза признает раны рвано-ушибленными, «характерными для зубов», без всяких оговорок — утверждение категорично. В части второй экспертиза устанавливает наличие «фона» и склонность к фантазированию. Что ж, для писателя не так и плохо. Хотя после получения в Комарове ударов пострадавшего немудрено было и идиотом признать. Не признали. Таким образом, рвано-ушибленными. Хорошо! «Характерными для зубов» — прекрасно! Конечно же для зубов Барсова характерная. Прокурор Балтийской транспортной прокуратуры Малов В. В., представляющий на суде сторону обвинения, задает Кожевникову прямой вопрос: вы ударяли Барсова в лицо? Ответ: не помню. Действительно, в драке зачастую невозможно разобрать, куда и как наносятся удары. К тому же раны могли быть получены от удара о любой заостренный предмет, будь то металлический, пластмассовый или деревянный. Они могли быть получены от того же ножа, если линия пореза пришлась перпендикулярно плоскости его лезвия. Но надо, чтобы о зубы! И версия упорно поддерживается обвинительной стороной.

Представленный общественной защитой протест против характера ведения разбирательства судом отклоняется. В практике судебных процессов при двух взаимоисключающих экспертизах назначается третья. Это естественно. Адвокат и общественная защита подают ходатайство — о назначении таковой. Объективной, независимой, квалифицированной, в Ленинградском юридическом центре. Ходатайство судом отклоняется. Со временем шрам «садится» и установить истинный характер раны очень сложно. Первичную обработку травмы производит хирург портовой поликлиники Кащеев. Но врач уже ушел из жизни: сердце. Вызванная в качестве свидетеля ассистировавшая ему сестра Волынцева Е. И. твердит одно: ничего не помню — раны характерные для зубов. У Елены Ивановны горе — сын попал под машину, она находится в состоянии транса. Допрашивать ее дальше бессмысленно и бесчеловечно. В суд приглашается эксперт Авдеев, проводивший первую экспертизу. Доказательно и вразумительно он подтверждает свое заключение. Представитель комиссионной экспертизы Василенко настаивает на рвано-ушибленном характере ран. Утверждение его о том, что в результате удара два передних зуба повернулись вокруг собственной оси, несет в себе изрядный заряд юмора. И это можно было бы оценить, если бы не решалась человеческая судьба. Авдеев напоминает, что Бюро судебно-медицинских экспертиз организовало экспертно-контрольную комиссию. Это семинар, форма учебы на общественных началах. На комиссии ведутся разборы экспертных заключений. Так вот, экспертно-контрольная комиссия под председательством Андреева заключение комиссионной экспертизы относительно характера раны Кожевникова признала ошибочным. Да, подтверждает Василенко, подвергла критике. Суд затребовал на предпоследнее свое заседание протокол заключения комиссии. Протокол, оказывается, исчез. На суд явился зам. начальника бюро судебно-медицинской экспертизы т. Беликов. «Факт наличия» критики, о которой говорили Василенко и Авдеев, он не подтвердил. Кстати, Беликов руководил комиссионной экспертизой, той самой, что критиковалась. Вопросов нет.

Напрасно представитель общественной защиты доказывал, что если раны Кожевникова — от зубов, то получены они могли быть только одним способом и весьма комичным,— если кулак был засунут в рот пострадавшему. Опрошены боксеры с солидным опытом боев, проведен эксперимент на макете. Получить такие порезы от зубов не-воз-мож-но! Доводы во внимание не принимаются. Суд удаляется на совещание.

Пока суд совещается, мы порассуждаем. Дадим суду фору: да, раны получены от зубов. Но это никоим образом не исключает версии Кожевникова: порез мог произойти о зубы любого из двух нападавших, в ходе драки. Даем еще одну фору: да — о зубы — и о зубы Барсова! Снимает ли это возможность нападения? Нет, не снимает. Кожевников в драке мог «зацепить» и Барсова. Почему же тогда Кожевников на скамье подсудимых? А не наоборот. Ведь и он пострадал не мало. Что доказано? Ничего. Три месяца потрачено на то, чтобы доказать, что Кожевников мог ударить. Вряд ли такая форма доказательства доказательством является. Но:

— Встать, суд идет!

Приговор суда вы знаете. А что касается выводов, право на таковые оставляю за читателем.

Прошедший суд, как в капельке росы, отразил всю нашу заржавленную, неповоротливую, зависимую и потому далеко не всегда справедливую систему судопроизводства. Вопрос создания независимого суда с судом присяжных прямо-таки вопиет. Это наипервейшая задача только что сформированного парламента. Ибо без нового правового инструмента нет совершенствования нашей политической структуры в сторону демократизации. Суд над Кожевниковым показал, какая огромная работа в этом направлении предстоит.

Можно издать законы, вооружить народ инициативой, но разом преодолеть инерцию мышления, косность и консерва-

тизм сознания невозможно. Съезды народных депутатов это наглядно продемонстрировали. Необходим институт правовой культуры, в недрах которого могло бы возродиться наше человеческое достоинство.

На телевизионных экранах бушевал съезд, а в форточку помещения суда сквозил колымский ветерок. Брало сомнение, какой год на дворе: 89-й или зловещая машина времени сместила нас на 52 года назад?

Пора покончить с практикой безадресной, а следовательно, и бесплодной критики: мафия, бюрократия, коррупция в высших эшелонах власти. Здесь необходима конкретность, а это уже задача пишущих: журналистов, писателей, тем более, что при управлении КГБ и МВД организованы пресс-центры. Творческие союзы могли бы взаимодействовать с ними в непосредственном деловом контакте.

Должна повысить свою активность партийная организация Союза писателей, в частности, работой с неформалами. История Кожевникова убедила меня, что это серьезная сила, с которой надо не только считаться, но и искать формы сотрудничества, искать творчески. В этой среде я встретил примеры высокого бескорыстия, безоглядной щедрости, гражданского бесстрашия и политической зрелости.

Не будем обрушивать свой праведный гнев на скромных работников юстиции. В конце концов они — пленники системы, на страже интересов которой стоят. Такой вот порочный круг или самозатягивающийся узел. Меры нужны безотлагательные и оперативные. И они уже осуществляются. На ноябрьской сессии Верховного Совета приняты основы законодательства о судоустройстве СССР, согласно которым адвокат допускается к следственному делу на начальной стадии его ведения, а по тяжелым уголовным делам назначается суд присяжных. Несомненно, такое решение законодательного органа — шаг вперед на пути совершенствования правового инструмента.

Но в то же время МВД СССР предлагает на рассмотрение Верховного Совета законопроект, предусматривающий привлечение в качестве улики магнитофонных записей. Это, несомненно,— шаг назад и более широкий. Мировая практика судопроизводства такого еще не знала. Остается только выразить надежду, что этот законопроект утвержден не будет, ибо он сведет на нет наши демократические завоевания. Речь, в конечном счете, идет о политическом обновлении. Только оно поможет нам воздвигнуть систему, стимулирующую в человеке все лучшее, заложенное в него природой, а не наоборот. Тогда двигательными общественными мотивами станут ум, нравственность, добродетель, а не явления тому полярные. И все больше будет появляться людей «неумных», не калькулирующих свое утлое благополучие, а без громких фраз подчиняющихся диктату совести.

Хочется повторить слова Е. Шварца из известной пьесы: «Слава безумцам!..» Прекрасные слова!

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Дмитрий ХРЕНКОВ

В ОЖИДАНИИ НОВЫХ ВСТРЕЧ

Оставаться в гостях Ольге Федоровне было уже невмоготу. И раз и другой она поднималась, чтобы уйти, но хозяева удерживали ее, хотя, по правде сказать, они были немало огорчены тем, что Берггольц своими резкими высказываниями испортила благопристойную атмосферу приема. Разговор о поэзии должен был стать, видимо, чем-то вроде очередного блюда на столе. Услышав молодого человека, который взялся вести эту часть программы, Ольга Федоровна сначала отмахнулась от его речей, как от надоедливой мухи, но потом поняла, что они были отнюдь не импровизацией, и решительно ринулась в бой.

А молодой человек говорил о том, что давно пора пересмотреть в нашей поэзии табель о рангах, что Маяковский, мир огромил мощью своего голоса, выстроил нечто вроде забора, прикрывшего доступ к другим поэтам — иных кровей, иных творческих приемов. Вслед за Маяковским под огнем критики оказалась вся фронтовая поэзия. И это переполнило сердце Берггольц гневом.

— Идем! — решительно поднимаясь из-за стола, сказала она мне.

— Но ведь еще рано,— попробовали ее урезонить.

— Метро закроется!

— Вызовем такси...

Однако Ольга Федоровна была уже в передней.

Мы еще успели спуститься в вестибюль станции «Аэропортовская», но едва сели в поезд, как Берггольц стала рваться из вагона, предлагая пройтись пешком. До гостиницы «Москва», где мы тогда жили, было далековато, и я не хотел выходить.

— Ты думай! Ты понял? Это же бандитизм! — восклицала Берггольц, пытаясь поднять меня с места.

Наконец, на станции «Маяковская» мы вышли на почти безлюдную в этот час улицу Горького.

— Ты понял?

Впрочем, Ольга Федоровна не спрашивала. Она была убеждена, что ее давние друзья, хозяева дома, не разобрались в человеке, которого приняли за истинного знатока поэзии.

— Не обращайте внимания,— пытался я ее успокоить.— Ну, выпил молодой человек, закружилась голова, захотел привлечь к себе внимание. Завтра он сам забудет, что болтал.

— И это говоришь ты — друг Тихонова и Светлова, мой блокадный побратим! — в голосе Берггольц зазвенел металл. Редкие прохожие оборачивались и глядели нам вслед. Но что было поделать? Путь до гостиницы далек, и я решил: пусть она выскажется, а то — не дай бог! — станет звонить среди ночи, как не раз бывало, когда душа ее полнилась волнением.

Я хорошо понимал ее возмущение, хотя где было мне знать, что тогда мы услышали вовсе не случайные откровения молодого литератора. Он высказал то, что где-то уже варилось, отливалось в чеканные формулировки.

В ту ночь звонков не последовало, но утром, едва мы встретились за завтраком, Ольга Федоровна заговорила о том, какой удар готовят исподтишка нанести нашей поэзии. Во весь голос читала она Маяковского и Тихонова, Светлова и Багрицкого и после каждого стиха спрашивала: можно ли от этого отречься?

Тогда Берггольц работала над статьей «Попытка автобиографии». Не знаю, что она собиралась написать, берясь за перо, но теперь стало очевидно: ей нужно было снова и снова пережить свою сопричастность тем, у кого училась и чей локоть всегда чувствовала. Она не могла не воздать должного людям, показавшим ей «дорогу к жизни и работе»: Есенину и Маяковскому, Ахматовой и Пастернаку, Светлову и Антокольскому...

Берггольц никогда не ощущала себя винтиком в нашем общелитературном деле. Верность своим принципам не мешала ей ценить работу талантливых поэтов даже тогда, когда она не чувствовала творческих связей с ними. Но широта взгляда вовсе не означала, что Ольга Федоровна может дать в обиду «своих». Как заклинание, она цитировала известные слова Михаила Светлова: «Единственное, что у меня дома висит на стене,— портрет Маяковского. И поэтому мне кажется, у моей комнаты нет стен».

Не знала стен и поэзия самой Берггольц.

Ее лирика представляет собой сплав исповеди и проповеди. Но сказать только это — значит оставить без внимания еще одну, по-моему, наиважнейшую сторону ее таланта. Как только назвать ее? Пронзительной зоркостью? Умением пораз-

мыслить о том, о чем не задумывались многие ее товарищи по перу? Чтобы убедиться в этом, достаточно, читая ее стихи, обратить внимание на даты их написания. Тогда мы поймем, как далеко вперед смотрела Берггольц! Но стихи — стихами. А еще больше нашему уму скажут дневники. К сожалению, сегодня нет возможности перечитать их страницу за страницей. Зная, что я пишу о ней книгу, Ольга Федоровна в минуты доброго расположения позволяла мне взглянуть на некоторые страницы и даже сделать нужные мне выписки. Но бывало и так, что она не выпускала тетрадки из рук, прикрывая ладонью текст и оставляя видным лишь абзац, который, по ее мнению, должен я прочесть. К другим доступа не было! Но даже такое знакомство с дневниками дает право утверждать, что они остаются лучшим из всего, написанного ею. То, что удалось прочесть мне, можно уподобить тропке, ведущей к вершинам. Наверное, высоко ценила свои дневники и сама Берггольц. Случалось, ей не сразу удавалось найти среди своих бумаг только что написанное стихотворение. Местонахождение же дневников всегда было под самым неусыпным контролем. Как-то я заметил, что две тетрадки, оказавшиеся в моих руках, были проколоты посередине. Я вопросительно повернулся к Ольге Федоровне. Сперва она не хотела давать объяснений. Но потом сказала, что эти тетрадки прибивались гвоздями снизу к садовой скамье на даче. Для чего? И тут Ольга Федоровна всласть посмеялась надо мной. Сохраняемые таким образом, дневники не могли попасть в чужие руки при самом тщательном обыске.

В тот день Берггольц прочла мне несколько стихотворений, оказавшихся в одной из этих тетрадок.

— Надо немедленно опубликовать их! — воскликнул я.

Ольга Федоровна посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Ведь только что я приехал к ней с горькой вестью о том, что цензура решительно снимает из ее лениздатовской книжки несколько наиболее сильных стихотворений.

— Ты предлагаешь мне это после сообщения о шабаше цензуры!

Берггольц не пожелала дальше вести разговор на эту тему. Но в тот же день, вечером, или на другой день он неожиданно вспыхнул на квартире Анны Андреевны Ахматовой.

— Вот он,— ткнула она в меня пальцем,— утверждает, что некоторые из тюремных стихов сегодня можно напечатать.

Ахматова хитро посмотрела на меня, а потом рассудительно заметила: мол, что вы, Оленька, беспокоитесь? Ведь стихи не горят! Придет время, и все написанное будет опубликовано.

Берггольц не спешила соглашаться. Мне кажется, она не хотела, не могла работать на будущее, если не видела сегодняшнего смысла своего труда. Это вовсе не значит, что всему, выходившему из-под ее пера, Ольга Федоровна предрекала вечность. Немного я встречал писателей, которые столь требовательно и взыскательно оценивали написанное ими. Известно, как решительно и горячо она отстаивала свою точку зрения на разного рода собраниях и диспутах. Спорщицей Берггольц являлась отменной. Но была беспощадной в первую очередь к себе, даже тогда, когда ее книги получали высокие оценки. Достаточно, хотя бы в отрывках, познакомиться с ее дневниками. Они полны не столько фактами, сколько жестоким самосудом.

Известно, что первые книги стихов и прозы Берггольц заметил и тепло отозвался о них Максим Горький. 22 ноября 1934 года он писал Ольге Федоровне:

«Современных поэтов я плохо понимаю, мне кажется, что стихи у них холодно шумят, и вызывает этот шумок — как будто чужой поэтам ветер. Читаешь и думаешь: через силу написано — от ума. Возможно, что я не прав. Ваши стихи понравились мне. Они кажутся написанными для себя, честно, о том „именно", что чувствуется Вами, о чем думаете Вы, милый человек. Все очень просто, без фокусов, без игры словом, и веришь, что Вам поистине дороги „республика, работа и любовь". Это очень цельно, и этого вполне достаточно на жизнь хорошего человека. Пожалуй, слишком часты „разлуки", „вокзалы", хотя и это обосновано. Понравился мне „очерк" „На всеказахском съезде", и хорошо своей мудростью четверостишье — заключительное — в „Случае".

Ну, вот и все. Будьте здоровы. Не расточайте сил на „мелочи жизни". Искренне желаю Вам дальнейших успехов.

М. Горький».

Как и все, Ольга Берггольц любила похвалу, но никогда не переоценивала ее. Вот и после получения письма Алексея Максимовича она записывает в своем дневнике: «И все-таки чувствую себя жуликом, и даже думаю — искренен ли старик? Выудила у старика похвалу...

Ведь стихи тихонькие, узкие, робкие. Ах, если б навзрыд, навзрыд, полным женским голосом! Будет ли так? Не знаю...»

Знаменательные строки! Уже тогда, в период своего восхождения, гордясь принадлежностью к комсомолу, испытав себя в разных литературных жанрах и заслужив доверие друзей, Берггольц мечтала о том, что казалось ей недоступным в благословенное время первых удач. Никто не мог обвинить ее в приспособленчестве, в широко афишируемой любви к родной стране, но она хотела писать «навзрыд», «полным голосом», то есть так, как пока ей не удавалось.

За долгую работу в газете и на радио ей пришлось написать немало разного рода «откликов», может быть, не в полную меру сил, но она не открещивалась от написанного, как делали это иные ее товарищи.

В дневнике записано:

«Мне часто кажется теперь, что вот что-то копится, копится во мне, и лопнет, взорвется, будет небывалая свежесть и прозрение. Я встану над собой, над неудачной жизнью, все сложится, как у Кая из ледяных кусочков сложилось слово „любовь", и как-то отделенная от жизни, мудрая по-настоящему, я сделаю хорошие стихи и книги — „трагически-прекрасные", как говорил Алексей Максимович».

До ареста и до ленинградской блокады было еще далеко, а трагедия уже стояла на пороге ее дома.

Мне кажется, что сама природа ее дарования была трагедийной. Ей еще не дано было знать, какие реальные очертания обретет этот трагизм. Но дыхание его она явственно чувствовала за своим плечом, когда садилась к письменному столу, выполняла задания редакции, шла на партийные и комсомольские собрания.

Ты знаешь, мне каторга снится
Сквозь эти прозрачные дни,—

вдруг написала она. Стихотворение о Достоевском. Но временна́я дистанция растаяла, как исчезли границы между той каторгой, которую отбывал на родной земле наш великий писатель, и местами заключения, где томились другие борцы за правое дело.

Все происходящее в родной стране касалось ее самым непосредственным образом. И подтверждение мы найдем во многих стихах и дневниковых записях предвоенных лет. Она сама сказала об этой особенности своего творчества:

Ты возникаешь естественней вздоха,
крови моей клокотанье и тишь,
и я Тобой становлюсь, Эпоха,
и Ты через сердце мое говоришь.

А чуть раньше в дневнике: «Мне хочется создать мучительную книгу — мучительную по радости и скорби, где как-то освоить, передать это томление от преходящества жизни, и радости жизни, и грусть ее...»

Это была ее программа, может быть, еще недостаточно осознанная, но постепенно создаваемая всем ходом пока еще безмятежной жизни. Еще 4 марта 1933 года в спорах с С. Маршаком по поводу своей повести «Пимокаты с Алтайских» она решительно высказывала убеждение: писатель призван проповедовать и отстаивать собственную программу. «Да, программа! А с каких пор писатель должен отказываться от программы, которую он хочет вложить в вещь?»

И снова подтверждение, на этот раз в стихах:

Но я дышу одним дыханьем
с людьми любимейшей страны.
Все помыслы, дела, желанья
тобою, Родина, сильны.

7 ноября 1935 года в дневнике записано:

«Как я люблю все это, как горда и рада,— что советский человек, что живу в такие годы. Просто иногда стеснение какое-то овладевает от гордости и радости, не хочется выражать это громко, как иногда совестно восхищаться вслух и словами красотой природы, точно боясь оскорбить ее этим и разрушить то невыразимое, чистое, что в тебе возникло».

И снова:

«О, как мало времени осталось на жизнь и ничтожнейше мало — на расцвет ее...»

Невская застава, на которой она выросла, общение с достойнейшими представителями русского рабочего класса и интеллигенции, задушевные беседы с Горьким и Маршаком, занятия в литературной группе «Смена», долгие разговоры с талантливейшим поэтом Борисом Корниловым, ставшим ее мужем,— все помогало ей приобретать закалку, без которой невозможно было твердо стать на землю, почувствовать себя ответственной за все, что происходит на ее просторах.

Такой увидели Берггольц во время Великой Отечественной войны, когда она вошла по праву разделенного страданья в каждый ленинградский дом, чтобы попытаться словом заменить пайку хлеба, успокоить отчаявшихся, воодушевить ослабевших.

Беды сталинщины не обошли ее стороной. 13 декабря 1938 года Берггольц была арестована и 171 день провела в тюрьме. О разгуле беззакония она знала не понаслышке, испытала его на себе, но, пройдя через одиночки и допросы, тюремную больницу, видя горе таких, как сама, не повинных ни в чем людей, не утратила веры в идею, которую исповедовала с юных лет, оставалась тем, кем была всю жизнь,— пламенной патриоткой. Обращаясь к Родине, не жаловалась, а просила:

Все, что пошлешь: нежданую беду,
свирепый искус, пламенное счастье,—
все вынесу и через все пройду.
Но не лишай доверья и участья.

Что это — не пустые слова, можно убедиться, обратившись к работе Ольги Берг-

гольц в годы Великой Отечественной войны и ленинградской блокады. Как и вся наша поэзия, ее стихи были и патроном в подсумке солдата, и куском хлеба для голодающих, и советчиками для тех, кто упал духом.

Эти стихи («И шар земной гордится Ленинградом», «И каждый, защищавший Ленинград,— не просто горожанин, а солдат») становились заповедями для всех защитников города, источниками сил для продолжения борьбы.

Нет, не плакальщицей была во время блокады Берггольц, не регистраторшей фактов, а творцом поэзии, открывавшей перед читателями и слушателями далекие дали будущего.

Я счастлива. И все яснее мне,
что и всегда жила для этих дней,
для этого жестокого расцвета.

И гордости своей не утаю,
что рядовым вошла в судьбу твою,
мой город, в званье твоего поэта.

Немногие наши поэты сегодня могут сказать о себе так, хотя они, во всяком случае, лучшие из них, не отсиживаются в кустах, когда на повестке дня — судьбоносные вопросы жизни страны. Но как часто им не хватает той страсти, той требовательности к себе, какой отличались и Ольга Берггольц, и многие поэты-фронтовики!

Убежден, что сегодняшний читатель мог бы оценить творчество Берггольц еще выше, если бы он знал все, написанное ею, в том числе и тюремные стихи. К сожалению, они появились впервые не в родной стране...

Не прощу себе никогда, что не смог уговорить Ольгу Федоровну попытаться опубликовать эти стихи при ее жизни. Увы, она хорошо знала наши порядки.

Когда готовился большой том стихотворений Берггольц в «Библиотеке поэта», помню, я передал составителю А. И. Павловскому несколько таких стихотворений. Не все они были напечатаны. Но все-таки, казалось, тетради ожили.

Однако именно этих тетрадей мы не нашли, когда комиссия по литературному наследию Ольги Федоровны (Д. Гранин, В. Кукушкин, А. Чепуров, автор этих строк) пришла в ее квартиру на Черной Речке. Памятных тетрадей, пробитых гвоздями, тех, которые сегодня появились в литературных журналах Запада, там не оказалось. Конечно, первые публикации насторожили: не фальсификация ли перед нами? Нет, многие стихи мы знали наизусть, а иные строчки дневников можно сверить по своим записям.

Печатая за рубежом (журнал «Время и мы») тюремные стихи и записки О. Берггольц как раз из тех тетрадей, которые мы в свое время найти не могли, С. Бабенышева в своем предисловии замечает, что как «чудо» прочла в моей книге «От сердца к сердцу» строчки из этих дневников. «Не те, что у меня, а если иногда и те, то искалечены, обрублены, выхолощены». И далее: «Но я не верю Дм. Хренкову, что при нашей жизни дневники — это действительно „литературное событие" — увидят свет... А там, кто его знает...»

Не помнит С. Бабенышева, что на публикацию каждой строки я получал личное разрешение Ольги Федоровны, а потом, увы, и эти строки проходили через мясорубку цензуры.

Жаль, что первые публикации этих удивительных документов из архива О. Берггольц сделаны не в нашей стране. Но разве ценность их стала меньшей!

И верю: ждут нас новые встречи с Берггольц!

ИЗ ДНЕВНИКОВ ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ

15 июля 1939 г.

13 декабря 1938 г. меня арестовали, 3 июля 39-го вечером я была освобождена и вышла из тюрьмы. Я провела в тюрьме 171 день. Я страстно мечтала о том, как я буду плакать, увидев Колю и родных — и не пролила ни одной слезы. Я нередко думала и чувствовала там, что выйду на волю только затем, чтобы умереть — но я живу... подкрасила брови, мажу губы...

Я еще не вернулась оттуда, очевидно, еще не поняла всего...

4 сентября 39 г.

Все еще почти каждую ночь снится тюрьма, арест, допросы. (Отнесла стихи в «Известия», составила книжку стихов: «Да взлета, колодца — все еще нет, да и будет ли он у меня?»)

6 сентября 39 г., 2 ч. ночи

Я приветствую вас, Мария Римман, Ольга Абрамова, Настасьи Мироновна Плотникова, Елена Ивановна, Женя Шабурашвили,— коммунистки, беспартийные честные товарищи, сидящие или не сидящие в камерах Арсеналки и Шпалерки! Я с вами сейчас, родные мои товарищи. Я рыдаю о вас, и верю вам, я жажду вашей свободы, восстановления вашей чести.

Товарищи, родные мои, прекрасные мои товарищи, все, кого знаю и кого не знаю, все, кто ни за что томится сейчас в тюрьмах в Советской стране, о, если б знать, что это мое обращение могло помочь вам, отдала бы вам всю жизнь!

Я с вами, товарищи, я с вами, я с вами, бойцы интернациональных бригад, томящиеся в концлагерях Франции. Я с вами,

все честные и простые люди: вас миллионы, тех, кто честно и прямо любит родину, с поднятой головой и открытыми устами!

Я буду полна вами завтра, послезавтра, всегда, я буду прямой и честной, я буду до гроба верить мечте нашей — великому делу Ленина, как бы трудно оно ни было! Уже нет обратного пути. Я с вами, товарищи, я с вами.

15 октября 39 г.

Да, я еще не вернулась оттуда. Оставаясь одна дома, я вслух говорю со следователем, с комиссией, с людьми — о тюрьме, о постыдном, состряпанном «моем деле». Все отзывается тюрьмой — стихи, события, разговоры с людьми. Она стоит между мной и жизнью...

14 декабря 39 г.

Ровно год тому назад я была арестована.

Ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. И именно ощущение, т. е. не только реально чувствую, обоняю этот тяжкий запах коридора из тюрьмы в Б(ольшой) Дом, запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы.

...Да, но зачем все-таки подвергали меня все той же муке?! Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные матрасы, стук в отопительных трубах, голуби).

И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности?

Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: «живи». Произошло то же, что в щемящей щедринской сказке «Приключения с Крамольниковым». «Он понял, что все осталось по-прежнему,— только душа у него „запечатана"».

Но когда он хотел продолжать начатую работу, то сразу убедился, что, действительно, ему предстоит провести черту и под нею написать: «не нужно».

Со мною это и так, и все-таки не так. Вот за это-то «не так» я и хватаюсь. Действительно, как же я буду писать роман о нашем поколении, о становлении его сознания к моменту его зрелости, роман о субъекте его сознания, когда это сознание после тюрьмы потерпело такие погромы, вышло из дотюремного равновесия.

Все или почти все до тюрьмы казалось ясным: все было уложено в стройную систему, а теперь все перебуравлено, многое поменялось местами, многое переоценено.

А может быть, это и есть настоящая зрелость? Может быть, и не нужна «система»? Может быть, раздробленность такая появилась оттого, что слишком стройной была система, слишком неприкосновенны фетиши, и сама система была системой фетишей? Остается путь, остается история, остается наша молодость, наши искания, наша вера,— все остается.

Ну, а вывод-то какой мне сделать — в романе, чему учить людей-то? Экклезиастическому «так было — так будет»? Просто дать ряд картин, цепь размышлений по разным поводам — и все? А общая идея? А как же писать о субъекте сознания, выключив самое главное — последние два-три года, т. е. тюрьму? Вот и выходит, что «без тюрьмы» нельзя и с «тюрьмой» нельзя... уже по причинам «запечатанности». А последние годы — самое сильное, самое трагичное, что прожило наше поколение, я же не только по себе это знаю.

Ну, ладно. Кончу — обязательно к новому году, кончу правку истории [1] и возьмусь только за художественное, и буду писать так, как будто бы решительно все и обо всем можно писать, с открытой душой, сорвав «печати», безжалостно и прямо, буду пока писать то, что обдумала до тюрьмы (включая человечность, приобретенную мною там и осмысляя наш путь по-взрослому), а там видно будет, к концу...

Да, но вот год назад я сначала сидела в «медвежатнике» у мерзкого Кудрявцева, потом металась по матрасу возле уборной — раздавленная, заплеванная, оторванная от близких, с реальнейшей перспективой каторги и тюрьмы на много лет, а сегодня я дома, за своим столом, рядом с Колей (это главное!) [2], и я — уважаемый человек на заводе, пропагандист, я буду делать доклад о Сталине, я печатаюсь, меня как будто уважает и любит много людей... (Это хорошо все, но не главное.)

Значит, я победитель?

Ровно год назад К(удрявцев) говорил мне: «...Ваши преступления, вы — преступница, двурушница, враг народа, вам никогда не увидеть мужа, ни дома, вас уже давно выгнали из партии».

Сегодня — все наоборот.

Значит — я победитель? О, нет!

Нет, хотя я не хочу признать себя и побежденной. Еще, все еще не хочу. Я внутренне раздавлена тюрьмой, такого признания я не могу сделать, несмотря на все бремя в душе и сознании.

[1] Речь идет об истории «Электросилы».

[2] Николай Молчанов (1910⟨09⟩—1942) — муж Берггольц, она прожила с ним двенадцать лет. Погиб в блокаду в январе 1942 года.

Я покалечена, сильно покалечена, но кажется, не раздавлена. Вот на днях меня будут утверждать на парткоме. О, как страстно хочется мне сказать: «...Родные товарищи! Я видела, слышала и пережила в тюрьме то-то, то-то и то-то... Это не изменило моего отношения к нашим идеям и к нашей родине и партии. По-прежнему, и даже в еще большей мере, готова я отдать им все свои силы. Но все, что открылось мне, болит и горит во мне, как отрава. Мне непонятно то-то и то-то. Мне отвратительно то-то. Такие-то вещи кажутся мне неправильными. Вот я вся перед вами,— со всей болью, со всеми недоумениями своими». Но этого делать нельзя. Это было бы идеализмом. Что они объяснят? Будет — исключение, осуждение, самым глупым (?), и, вероятнее всего, опять тюрьма.

О, как это страшно и больно! Я говорю себе — нет, довольно, довольно! Пора перестать мучиться химерами! Кому это нужно, твои лирические признания о боли, недоумениях и прочее? Ведь программу и устав душою разделяешь полностью? Ведь все поручения стремишься выполнить как можно лучше? Последствия тюремного отравления не сказываются на твоей практической работе, наоборот, я стараюсь быть еще добросовестнее, чем раньше. (Не оттого ли, что стремлюсь заглушить отравление?) Так в чем же дело?

23 декабря 39 г.

...Стенка не шевелится [1]. Это удручает меня. Неужели опять — авария? Я знаю, что это почти безрассудно заводить сейчас ребенка: война, болезнь Коли, материальная необеспеченность, а сколько будет забот и тревог и быта! Но я рвусь к этому, как к спасательному кругу: мне кажется, что тот, кто должен появиться, как-то помирит нас с жизнью, наполнит ее важным, действительным смыслом.

Я говорю о действительном, вечном, независимом от «вражды или близости с Наполеоном», смысле.

Не действительный смысл есть, но этого для жизни мало. Вот 21 декабря я выступала на собрании о Сталине, выступала неплохо, потому что готовилась к докладу очень добросовестно, потом прочитала свой стишок о Сталине. Гром аплодисментов, все были очень довольны и т. д. Ровно год назад я читала этот стишок в тюрьме, будучи оплеванной, низведенной на самую низшую ступень, на самое дно нашего общества, на степень «врага народа». ...Как этот слабый стишок там любили! Плакали, когда я дочитывала до конца, и сама я так волновалась, когда читала. ...Пока не стала думать: «Твоя вина!» Но даже думая так о нем,— не могла без волнения читать, и доклады делала с волнением, искренне. Где, когда, почему мы выскочили из колеи?

25 декабря 39 г.

Вчера читала материалы газетные о Сталине. Очень гнусная статья П. Тычины в «Литературной газете». А мой этот самый стишок там отказались печатать. Очевидно, как пояснил Володя Л.,— тоже не принявший стишка,— «не масштабно, не соответствует величию Сталина». Вот как раз и соответствует величию, еще большему, может быть, чем реальное величие,— величию людского представления о нем.

И вдруг мне захотелось написать Сталину об этом: о том, как относятся к нему в советской тюрьме. О, каким сиянием было там окружено его имя! Он был такой надеждой там для людей, это даже тогда, когда я начала думать, что «он все знает», что это «его вина»,— я не позволяла себе отнимать у людей эту единственную надежду. Впрочем, как ни дико, я сама до сих пор не уверена, что «все знает», а чаще думаю, что он «не все знает». И вот начала письмо с тем, чтобы написать ему о М. Римман, Плотниковой, Ивановой, Абрамовой, Женьке Шабурашвили — это честные, преданные люди, глубоко любящие его, а до сих пор — в тюрьме. И когда подошла к этому разделу — потухла, что ли. Додик писал Сталину о своем брате, о том, как его пытали,— ответа не получил. Римман писал тому же Сталину о своей жене — ответа не получил. Помощи не получил. Ну, для чего же писать мне? Утешить самое себя сознанием своего благородства?

Потому что мысль о том, что я не написала до сих пор Сталину, мучит меня, как содеянная подлость, как соучастие в преступлении... Но я знаю — это бесполезно. Я имею массу примеров, когда люди тыкались во все места вплоть до Сталина, а «оно» шло само по себе,— «идеть, идеть и придеть».

В общем, «псих ненормальный, не забывай, что ты в тюрьме...»

Боже мой! Лечиться, что ли? Ведь скоро 6 месяцев, как я на воле, а нет дня, нет ночи, чтобы я не думала о тюрьме, чтоб я не видела ее во сне... Да нет, это психоз, это, наверное, самая настоящая болезнь...

25 января 40 г.

..Машу Р. осудили на 5 лет... Все статьи сняли, осудили, как «социально-опасную». Это человек, отдавший всю жизнь партии. Мотивировок к осуждению нет даже юридически сколько-нибудь основательных. Произвол, беззаконие и все.

О, как подло.

Даже тот факт, что продолжают выпускать людей — не может снизить, убавить подлости осуждения Маши и ей подобных. Тем более должны были освободить. Не вся правда хуже, чем неправда. Не вся правда — двойной обман.

«Нами человечество протрезвляется, мы — его похмелье, мы — его боль родов»,— писал Герцен в 1848 г. Может быть, время поставить под этими словами сегодняшнюю дату. Какой-то маленький светлый кусочек внутри, остаток безмерной веры — «Клочок рассвета мешает мне сделать это? Или трусость? Или инстинкт самосохранения?»

1 марта 40 г.

...Читаю Герцена с томящей завистью к людям его типа и XIX веку. О, как они были свободны. Как широки и чисты! А я даже здесь, в дневнике (стыдно признаться) не записываю моих размышлений только потому, что мысль: «это будет читать следователь» преследует меня. Тайна записанного сердца нарушена. Даже в эту область, в мысли, в душу ворвались, нагадили, взломали, подобрали отмычки и фомки. Сам комиссар Гоглидзе искал за словами о Кирове, полными скорби и любви к Родине и Кирову, обоснований для обвинения меня в терроре. О, падло, падло.

А крючки, вопросы и подчеркивания в дневниках, которые сделал следователь? На самых высоких, самых горьких страницах!

Так и видно, как выкапывали «материал» для идиотских и позорных обвинений.

И вот эти измученные, загаженные дневники лежат у меня в столе. И что бы я ни писала теперь, так и кажется мне — вот это и это будет подчеркнуто тем же красным карандашом, со специальной целью — обвинить, очернить и законопатить,— и я спешу приписать что-нибудь объяснительное — «дли следователя» или руки опускаю, и молчишь, не предашь бумаге самое наболевшее, самое неясное для себя...

О, позор, позор, позор!.. И мне, и тебе! Нет! Не думать об этом! Но большей несвободы еще не было...

Писать свое — пьесу, рассказы...

Не думать, не думать об этом хотя бы пока... Все равно никуда не уйдешь от этих мыслей...

ТЕТРАДИ 1939—1940 гг.

1

Дни проводила в диком молчании,
Зубы сцепив, охватив колени.
Сердце мое сторожило отчаянье,
Разум — безумия цепкие тени.
Друг мой, ты спросишь, как же я выжила,
Как не лишилась души, ума?
— Голос твой милый все время слышала,
Его заглушить не могла тюрьма.
Все отошло, ничего не осталося,
Молодость, родина — все равно!
Голос твой, полный любви и жалости,
Твой человеческий, твой родной.
Он не шептал утешений без устали,
Слов мне возвышенных не говорил,—
Только одно мое имя русское,
Имя простое мое твердил.
И знала я, что еще жива я,
Что много жизни еще впереди,
Пока твой голос, моля, взывая
Имя живое мое твердит.

1939, январь.
33 к.

2

Как странно знать, что в городе одном,
Почти что рядом мы с тобой живем...
Я знаю, как домой дойти. Пятнадцать
Минут ходьбы. Пять улиц миновать.
По лестнице на самый верх подняться
И в дверь условным стуком постучать.
О, только бы домой дойти! Сумею
Рубцы и язвы от тебя укрыть,
И даже сердце снова отогрею,
И даже плакать буду и любить.
О, только бы домой дойти! Пятнадцать
Минут ходьбы. Пять улиц миновать.
По лестнице на самый верх подняться
И в дверь условным стуком постучать...

1939, январь.
33 к(амера).

3

Нет ни слез, ни сожалений,
Ничего не надо ждать.
Только б спать без сновидений,
Долго, долго, долго спать.

А уж коль не дремлет мука,
Бередит и гонит кровь —
Пусть не снится мне разлука,
Наша горькая любовь.

Сон про встречу, про отраду,
Пусть минует стороной.

[1] У Ольги Берггольц было две дочери; одна умерла в младенчестве, другая, Ирина, прожила несколько лет и погибла в мае 1936 года. Когда Ольгу Берггольц арестовали, она вновь ждала ребенка, но и на этот раз ее ожидания не осуществились.

Даже ты не снись — не надо,
Мой единственный, родной.

Пусть с березками болотце
Мне приснится иногда.
В темной глубине колодца
Одинокая звезда.

1939, январь.
33 к(амера).

4

Ночника зеленоватый свет,
Бабочка и жук на абажуре.
Вот и легче... Отступает бред...
Это мама около дежурит...

Вот уже нестрашно снится лес,
Пряничная пестрая избушка.
Хорошо, что с горла снят компресс,
И прохладной сделалась подушка.

Я сама не знаю, почему
Мне из детства, мне издалека
Льется в черную мою тюрьму
Только свет зеленый ночника.

Тихий, кроткий, милый-милый свет,
Ты не оставляй меня одну.
Ты свети в удушье, в горе, в бред,
Может быть, поплачу — и усну.

И в ребячьем свете ночника
Мне приснится все, что я люблю.
И родная мамина рука
Снимет с горла белую петлю...

1939, апрель.
Одиночка 17.

5

Где жду я тебя, желанный сын?
В тюрьме, в тюрьме!
Ты точно далекий огонь, мой сын,
В пути, во тьме.

Вдали — человеческое жилье,
Очаг тепла,
И мать пеленает дитя свое,
Лицом светла.

Не я ли это, желанный сын,
С тобой, с тобой?!
Когда мы вернемся, желанный сын,
К себе домой?

Кругом пустынно, кругом темно,
И страх, и ложь,
И голубь пророчит за темным окном,
Что ты — умрешь.

1939, март.
Одиночка 17.

6

Догоняя друг друга,
В желто-серых отрепьях
Ходят дети по кругу
Мимо голых деревьев.

Точно малые звери,
Лисенята в темнице.
О, туман желто-серый
На ребячьих лицах!

Двух детей схоронила
Я на воле сама,
Третью дочь погубила
До рожденья — тюрьма.

Люди, милые, хватит!
Матерей не казнят!
Вы хоть к этим ребятам
Подпустите меня.

1939, апрель.
Арсеналка, больница.

7

Из края тьмы, бессмысленной и дикой,
В забытое земное бытие
Я душу увожу, как Эвридику:
Нельзя мне оглянуться на нее.
Шуршат изодранные покрывала,
Скользят босые слабые ступни...
Нет, не глядеть, не знать,
какой ты стала
За эти, смертью отнятые, дни,
Нет, если я условие нарушу
И обернусь — и расплачусь вдвойне:
Тогда навек я потеряю душу,
И даже песни не помогут мне...

1939, май.
Одиночка 9.

8

Мне надо было, покидая
Угрюмый дом, упасть в слезах,
И на камнях лежать, рыдая,
У всех прохожих на глазах.
Пускай столпились бы, молчали,
Пускай бы плакали со мной,
Со мной снедаемы печалью
Неутолимой и одной.
Пускай, с камней не поднимая,
А только плечи охватив,
Сказали б мне: — «Поплачь, родная,
Когда наплачешься — прости».
Но злая гордость помешала.
И, стиснув губы добела,
Стыдясь, презрев людскую жалость,
Я усмехнулась и ушла.
И мне друзья потом твердили
О диком мужестве моем,
И как победою гордились
Удушливо-бесслезным днем.
Им невдомек, что черной платой
За это мужество плачу:
Мне петь бы вам и плакать, плакать...
Но слезы отняты. Молчу.

1940.

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

Андрей
ИЗМАЙЛОВ

ТУМАННОСТЬ

Целенаправленная ложь тоже создает своих демонов, искажая все: прошлое, вернее, представление о нем, настоящее — в действиях, и будущее — в результате этих действий. Ложь — главное бедствие, разъедающее человечность, честные устремления и светлые мечты.

И. Ефремов. «Час Быка»

Много было толков. Древняя и милосердная формула «о мертвых либо хорошо, либо ничего» сработала. Но как и на кого?

Осенью 1972 года не стало Ивана Антоновича Ефремова — писателя, ученого, мечтателя. И его имя обволокла ложь. Ибо молчание вместо правды — это ложь. Ибо толки и слухи — это версии, предположения, но не правда.

Почва для произрастания толков и слухов была обильно унавожена. Например, письмами граждан в самые высокие инстанции после выхода в свет романа «Час Быка»...

«В ЦК КПСС, отдел культуры... от Жучкова Ю. В. г. Долинск Сахалинской области.

Мера или *Вера.* Личные сомнения читателя о пользе романа И. Ефремова „Час Быка“...» (Далее эти сомнения растягиваются на 86 страниц общей тетрадки). «Завершая письмо, хотелось бы еще раз заострить внимание на тревоге за читающую „Час Быка“ молодежь. Может быть, я неправ... но боюсь оказаться правым. Письмо адресовано в ЦК КПСС, а не в какой-либо журнал или в газету, потому что, если я неправ, И. А. Ефремову воздадут должное критики-профессионалы. Если же в чем-то прав, то не стоит привлекать в этом случае к книге ненужного внимания...»

Письмо такого интеллектуального уровня не единично.

Было и другое — от некоего Москаленко, работавшего заместителем начальника по политико-воспитательной работе в учреждении — далее цифровой индекс и номер такой-то, в колонии, короче.

На подобные «сигналы» в не столь отдаленные времена реагировали однозначно. «Есть мнение»: лучше об Иване Антоновиче после его кончины — «ничего». А как насчет того, чтобы о нем говорить «хорошо»? Категорически никак. «Есть мнение»! Вы просто не владеете информацией — там тако-ое! Да еще и обыск у него на квартире! Да еще и...

Какое — «тако-ое»? Какой — обыск? Владетели информации делиться ею не торопились. Ложь взошла, вымахала в рост, заветвилась, распустила цветочки, которые ароматизировали окрест, и уже ягодки завязывались...

Екклезиаст: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: ...время насаждать, и время вырывать посаженное...»

1

На первой странице «Часа Быка» автором заявлено: *«Посвящается Т. И. Ефремовой».*

Таисия Иосифовна долго не соглашалась на беседу. Нелегко вспоминать. Но нужно, нужно знать, как было и что было. Согласилась. Вот ее рассказ...

В 1970-м году «Час Быка» вышел отдельной книгой в издательстве «Молодая гвардия». И какие-то тучи нависли, предгрозовые. Было ощущение, что вот-вот разразится. Тогдашний директор издательства пришел к Ивану Антоновичу и попросил как-то помочь. Иван Антонович написал письмо Петру Нилычу Демичеву, министру культуры. Он писал, что работает уже много лет, но не знает отношения правительства к его творчеству. Довольно скоро последовал ответ: однажды на машине к нам приехал один из редакторов издательства и сказал, что Ивана Антоновича ждет Демичев, что эту машину за ним прислали из ЦК, что надо вставать и ехать.

А Иван Антонович в то время был уже очень болен и принимал такое лекарство, после которого ему необходимо было лежать. Я и сказала: мы ничего не можем поделать. Он и не поехал, но просил на будущее если присылать машину, то не через издательство, а непосредственно ему и предупредить заранее. Так и получилось позднее — позвонили: за вами вышла машина. Мы поехали. В новое здание ЦК. У ворот Ивана Антоновича пропустили, меня — нет. Я сказала, что буду ждать. Милиционеры предупредили, что здесь стоять нельзя. Ну, а ходить можно? По улице Куйбышева? Можно. Я и ходила. Ходила около двух часов — беседа была длительная. Милиционеры интере-

совались, почему я так волнуюсь? Потому что у вас порядки такие,— говорю,— свою же машину только до ворот пропускаете, а не к зданию. А у меня муж сердечник, вот и не знаю, если «неотложка» понадобится, пропустите вы ее или нет.

В конце концов они ко мне сочувственно стали относиться, и когда я ближе подходила, то жестами показывали: нет, мол, не идет еще... Потом вижу — появляется Иван Антонович и уже издали показывает мне большой палец. Значит, все в порядке!

Беседой он остался доволен, никак не ожидал, что Петр Нилыч читал его книги — не так, чтобы референты подготовили список литературы и краткое содержание. Демичев сказал, что облик автора, который представлялся по романам, у него совпал с «оригиналом». Разговор шел и о «Часе Быка». Петр Нилыч говорил, что эту книгу надо издавать миллионными тиражами. Только нужно сделать кое-какие правки, чтобы не было ненужных аналогий: вот у вас на Тормансе правление коллегиальное, Совет Четырех, а надо бы подчеркнуть единовластие Чойо Чагаса. Ну и разные другие поправки...

Это уж не знаю, что кому пригрезилось. Иван Антонович выправил текст, но Совет Четырех так и оставил. После той беседы как-то легче стало, посвободней дышать. И над «Молодой гвардией» тучи рассеялись. А потом... Потом...

В 1972 году произошло что-то такое. Как вакуум вокруг Ивана Антоновича образовался. Это было очень жаркое лето, леса горели. А мы снимали дачу под Москвой у вдовы Александра Евгеньевича Ферсмана, которого Иван Антонович очень любил. И мы не сразу, но заметили, что как-то так... за нами следят. Опять что-то непонятное назревало.

Чувствовал ли это Иван Антонович? Да. Он оставил мне «Книжечку советов», которую я нашла после его смерти...

«...*Помнить*, что все письма не экспедиционные, не семейные, фото, записи, адреса — ничего не сохранилось с периода 1923—1953 гг. Я все уничтожил, опасаясь, что в случае моего попадания в сталинскую мясорубку они могут послужить для компрометации моих друзей. По тем же причинам я сам не вел никаких личных дневников...

...Но вот на что обращай самое тщательное внимание, соблюдай самую максимальную осторожность. Одно дело, пока ты со мной — в случае чего тебя не тронут из-за меня, если конечно самого не тронули бы. Оставаясь одна, ты подвергаешься опасности любой провокации и при твоей доверчивости и прямоте можешь пострадать... Может придти сволочь, прикинувшись твоим и моим другом или поклонником, вызвать тебя на откровенный разговор, ...а потом обвинить тебя в какой-нибудь политической выходке, схватить, а то и засудить. Все это памятуй всегда, не пускай неизвестных людей, а впустив, никогда не говори запальчиво или откровенно с неизвестным человеком. Немало шансов, что это окажется дрянь, подосланная или просто решившая воспользоваться беззащитностью...»

Так что он чувствовал, конечно, что-то.

Мы вернулись с дачи 19 сентября. Гуляли, беседовали. У Ивана Антоновича должен был выходить пятитомник, и он говорил мне, что будет теперь писать популярную книгу о палеонтологии. Хотел отдать дань своей науке, которую обожал, и считал себя прежде всего ученым, а не писателем. Я говорила ему, что надо начинать автобиографию. Иван Антонович уже собирал материалы и о Ленинграде воспоминания свои. Я читала их, они очень были созвучны тому, что пишет об этом городе Вадим Сергеевич Шефнер...

Третьего октября у него были врачи и нашли, что состояние стабильное. Четвертого мы даже прошлись. А в половине пятого утра я вдруг услышала хрип. Вскочила, стала звонить в «скорую», всем. «Скорая» приехала и констатировала, что Ивана Антоновича нет уже... Его похоронили очень быстро, на второй день. Я была в таком состоянии, что не знала, почему это. Народ шел и шел...

(Из письма И. А. Ефремова жене: «Меня конечно нужно сжечь, а урну, если захочешь, чтобы было место, хорошо бы на Карельском перешейке, на каком-нибудь маленьком кладбище. Это неспешно. Пока урна может стоять сколько угодно. Помогут Дмитревский и Брандис, вообще ленинградцы...»)

Урну Ивана Антоновича, как только разрешили, на третий день, я забрала, и она в шкафу тут стояла. А со мной жила сотрудница Ивана Антоновича — Лукьянова Мария Федоровна.

И вот 4 ноября 1972 года, как раз под праздники, был звонок в дверь, пришел домоуправ с водопроводчиком. Проверять отопление. У меня никакого подозрения не было, потому что мы и заявку в свое время подавали. Водопроводчик очень быстро посмотрел и ушел, а домоуправ задерживался. Я подумала, что, как обычно, надо ему денег дать. Пошла за ними, а он уже был у выхода. Я ему еще покричала, чтобы подождал меня. А он открыл дверь, и там стояли уже двое. Я предложила им раздеться и пройти в кабинет. Что-то один из них показал мне. Удостоверение личности? Я не разглядела — Мария Федоровна побежала за очками для меня. Но я еще была в полной уверенности, что пришли из Академии наук по поводу квартиры. У нас дом академический, вот и...

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЫСКА С КРАТКИМИ ПОЯСНЕНИЯМИ Т. И. ЕФРЕМОВОЙ:

«4 ноября, 1972 года.

Присутствовали сотрудники Управления КГБ при Совете министров СССР по городу Москве и Московской области: Хабибулин,... (всего девять мужских и одна женская фамилия.— *А. И.*) с участием понятых... в присутствии Ефремовой Таисии Иосифовны и Лукьяновой Марии Федоровны, временно проживающей с Ефремовой... с соблюдением требований и статей 169, 171, 176, 177 УПК РСФСР на основании постановления оперуполномоченного УКГБ... от 3 ноября 1972 года произвел обыск... Обыск начат в 10.45 (Т. И. Ефремова: „Когда окончен, не написали. Он после полуночи закончился. То есть больше полусуток").

Перед началом обыска Ефремовой Т. И. было предложено выдать указанную в постановлении на обыск идеологически вредную литературу, на что Ефремова заявила, что в ее квартире и у нее идеологически вредной литературы не имеется. Затем был проведен обыск в двух комнатах, в кухне, ванной и подсобных помещениях.

При обыске обнаружено:

...Фотоснимок мальчика во весь рост без головного убора. Одет во френч. В ботинках. Размер фото... На обороте фотокарточки записано: „И. А. Ефремов. Бердянск. 17-й год".

Фотокарточка мужчины с пистолетом в руке, на голове шапка, голова обернута материей. На обороте запись: „23 год". Размер фото... (Т. И. Ефремова: „Это шуточная такая фотография была").

Фотокарточка мужчины. На голове форменная фуражка с кокардой. Во рту трубка. На обороте написано: „25 год".

Ефремова пояснила, что на указанных фотокарточках изображен ее муж, снимки относятся к 17, 23 и 25 году.

...Конверт размером 19×12 светло-бежевого цвета. На конверте надпись: „...моей жене от И. А. Ефремова". В конверте два рукописных вложения. Первое — на трех листах белой нелинованной бумаги размером 20×28. На первом листе текст начинается со слов „Милая, бесконечно любимая..." На третьем листе текст заканчивается записью: „1—7 мая, 66 года. Прощай". Бумага лощеная.

Второе вложение состоит из двойного листа бумаги с текстом, исполненным черным красителем. Текст начинается со слов: „Тебе, моя самая..." Заканчивается словами: „Ласка жизни моей. Волк". (Т. И. Ефремова: „Волк — это я Ивана Антоновича так звала").

...Книга на иностранном языке с супер-обложкой, на которой изображена Африка и отпечатано: „Африкан экологие хомоп эволюшн" и другие слова... За страницами 8, 20, 48, 112 заложены натуральные сушеные листья деревьев. За 8 и 20 страницами — по одному, за 48 и 112 страницами — по два листа. (Т. И. Ефремова: „Это мы с Иваном Антоновичем в 1954 году еще посадили дома семена гинго, и они у нас выросли. Потом деревья стали погибать, и мы решили отдать их в ботанический сад. Нам даже не поверили, что мы гинго вырастили дома. Это древнее хвойное растение. Вот мы отдали и на память оставили себе последние листочки").

...Оранжевый тюбик с черной головкой с иностранными словами.

Лампа, на цоколе которой имеется текст... (Т. И. Ефремова: „Это смешная лампа. Которая в лифтах. Ивану Антоновичу нужна была какая-нибудь лампа срочно, и лифтер ему дал").

...Письмо рукописное на 12 листах, сколотое скрепкой. Начинается со слов: „Многоуважаемый Иван Антонович, ваше письмо от 26 февраля..." Оканчивается словами: „...обтираюсь жестким полотенцем".

...Все вышеперечисленное с 1 по 41 номер изъято в рабочем кабинете, в котором работал И. А. Ефремов. Находилось на полках, на столе и в ящиках письменного стола. В холле на полках обнаружено и изъято: машинописный текст автора Гейнрихса под названием „Диалектика XX века". Фрунзе. 63—65 год. На 85 листах. В левом верхнем углу сшит белыми нитками...

...Различные химические препараты в пузырьках и баночках... (Т. И. Ефремова: „Это мои гомеопатические лекарства").

...Трость деревянная, разборная с вмонтированным острым металлическим предметом.

Металлическая палица из цветного металла, в конце ручки петля из тесьмы. Висела на книжном шкафу.

В процессе обыска специалисты использовали металлоискатель и рентген. Изъятые предметы упакованы в семь пакетов и одну картонную коробку. Опечатаны печатью УКГБ. Заявлений и замечаний от лиц, участвовавших в обыске, не поступило».

(Так как это только выдержки из протокола обыска, то опущено подробное перечисление изъятого с 1 по 41 номер: письма читателей, фотографии друзей на память, квитанции.— *А. И.*)

...Людей, которые обыск проводили, было много. Потом я посчитала — вместе с домоуправом двенадцать человек. Они между собой почти не говорили, а записками обменивались. Но нужно отдать должное — ставили на место все очень аккуратно. И все как в детективном фильме. Вот стоял букет, и Мария Федоровна хотела поставить его на окно. Сказали,

что нельзя. У них было радио, они по нему переговаривались с машиной. Во дворе машина стояла, они ходили туда — я не знаю: отдохнуть, кофе попить. Только следователь, который протокол вел, не выходил никуда. Он пожилой был, валидол глотал изредка. Хабибулин. Ришат Рахманович. Вот последние письма Ивана Антоновича — следователь не разбирал почерка, и я должна была их ему читать. Я еще спросила: «А вам не стыдно?»

За мной и Марией Федоровной очень внимательно ходила эта их женщина. Наверное, для личного обыска, если бы он понадобился. Но все они очень предупредительны были. Еще когда эта женщина только вошла, она искренне удивилась: «Такой большой писатель, и такие низкие потолки у вас, и всего две комнаты!»

Мария Федоровна пыталась кого-то там из них поить чаем — все-таки очень долго это продолжалось.

Во время обыска зашел было ко мне наш давний друг Петр Константинович Чудинов, у него сейчас книга вышла об Иване Антоновиче. И вот когда он сюда позвонил, ему не открыли, хотя он видел свет в наших окнах...

(П. К. Чудинов: «Я проявил настойчивость. Мне потом открыли все-таки и спрашивают: что вам здесь надо? Я, говорю, двадцать лет в этот дом хожу и что мне надо — знаю, а вот вам что здесь надо? Не признались. А я взял и милицию вызвал. Милиционер пришел, сразу стал звонить от соседей в квартиру. А у них телефон спаренный, пришлось спускаться вниз, просить не занимать — у Ефремовой что-то случилось. В общем, весь дом загудел. Милиционера они успокоили, сказав, что здесь угрозыск работает».)

Потом моя сестра приехала, ей не дали войти. Она встала вот тут, в тамбуре, и говорит: «Не уйду, пока вы мне ее не покажете!» Я вышла. Иди, говорю, все в порядке.

Потом было очень смешно и очень страшно, когда потребовали открыть шкаф, где хранилась урна с прахом Ивана Антоновича. Я сказала, что не открою. Я поняла, что они могут урну вскрыть. Я им просто сказала: если вы дотронетесь до нее, я ее разобью. Видимо, по моему состоянию они поняли, что я это сделаю. Хабибулин меня успокоил. Отнесите, говорит, урну в ту комнату, и никто до нее не дотронется. И никто не дотронулся!

Когда они уходили, я спросила, как я друзьям своим смогу объяснить, что здесь происходило. Они ответили: лучше, конечно, если никто не будет знать. Каким же, говорю, образом, если весь дом на ноги подняли?! В общем, ушли они.

Я ничего не забыла. Каждое 4 ноября я стою у окна на кухне и смотрю, не идут ли ко мне...

2

Так это было. Таисия Иосифовна согласилась на нашу с ней беседу: «Расскажу, чтобы не было сплетен. А было так...»

Так это было. Но вот почему *это* было?! Итак, обыск проводили на предмет изъятия «идеологически вредной литературы». Что по тем временам, ныне именуемым застойными, считать таковой?

Например, роман, в котором сказано: «Земляне обнаружили странную особенность в передачах всепланетных новостей. Их программа настолько отличалась от содержания общей программы передач Земли, что заслуживала особого изучения.

Ничтожное внимание уделялось достижениям науки, показу искусства, исторических находок и открытий, занимавших основное время в земных передачах... Не было всепланетных обсуждений какихлибо перемен в общественном устройстве, усовершенствований или проектов больших построек, организаций крупных исследований. Никто не выдвигал никаких вопросов, ставя их, как на Земле, перед Советами или персонально перед кемлибо из лучших умов человечества».

Или:

«...По закону Стрелы Аримана...

— Что еще за стрела?

— Так мы условно называем тенденцию плохо устроенного общества с морально тяжелой ноосферой умножать зло и горе. Каждое действие, хотя бы внешне гуманное, оборачивается бедствием для отдельных людей, целых групп и всего человечества. Идея, провозглашающая добро, имеет тенденцию по мере исполнения нести с собой все больше плохого, становиться вредоносной...»

Или:

«Я вижу, что у вас ничего не сделано для создания предохранительных систем против лжи и клеветы, а без этого мораль общества неуклонно будет падать, создавая почву для узурпации власти, тирании или фантастического и маниакального „руководства“».

Или:

«Когда человеку нет опоры в обществе, когда его не охраняют, а только угрожают ему, и он не может положиться на закон и справедливость, он созревает для веры в сверхъестественное — последнее его прибежище».

Это все цитаты из «Часа Быка» (издательство «Молодая гвардия». 1970). Роман уже *был издан.* Тиражом 200 000 экземпляров. И хотя книга разошлась мгновенно, ее можно было отыскать вне квартиры автора, без применения металлоискателя и рентгена...

После «Часа Быка» Иван Антонович Ефремов написал только «Таис Афинскую» и собирался взяться за книгу о палеонтологии. Об этом знал он, знала его жена...

Читатель не знал. Читатель никогда не хочет верить, что большой писатель ушел навсегда, и новых книг не будет. Читатель истово надеется: есть еще, есть роман, почти законченный, он в рукописи, но он есть. Читатель всегда хочет верить в лучшее. И долго ходила версия о рукописи И. Ефремова. Легко представить, сколь эта версия будоражила умы государственных мужей того периода — периода, когда было возможно сослать ученого, выдворить писателя из страны, осудить поэта за тунеядство. Почему бы не провести обыск на квартире фантаста через месяц после его кончины?! Вон чего он нафантазировал в «Часе Быка», а ну как предполагаемая рукопись еще похлеще! Так и сказано (да, повторюсь): «выдать идеологически вредную литературу». Не нашли? Вот и хорошо. Всем хорошо...

Письма и вещи вернули. Не все. Булаву и трость классифицировали как холодное оружие и не возвратили. Правда, произошло это лишь после настойчивых звонков и настоятельных писем Таисии Иосифовны в Совет Министров А. Н. Косыгину, в прокуратуру по надзору за следствием КГБ, в Московское отделение КГБ. И вернули... И некий работник Комитета сообщил вдове по телефону: «А знаете, вот машинописная статьи „Диалектика XX века“, изъятая в вашей квартире, признана антисоветской». Статья, присланная в 1965 году Ивану Антоновичу без обратного адреса, только: г. Фрунзе.

— Так ваши сотрудники за ней приходили? Они ее искали? У меня...

— Дело не в том. Дело в принципе. Ведь нашли!

— Скажите, а при чем тут Ефремов?

— Ну, как при чем! У вас же она найдена!

— А если я возьму какую-нибудь рукопись, которую вы признаете антисоветской, и пришлю без обратного адреса вам домой?

—...Вас, товарищ Ефремова, мы ни в чем не обвиняем. Вашего мужа тоже, он уже покойник.

Итак, никаких обвинений...

Читатели сразу заметили, что уже объявленная подписка на Собрание сочинений И. Ефремова задерживается. Стали писать в издательские инстанции, спрашивать — почему, что случилось? Получил ли кто-нибудь из них внятный ответ?..

Потом звонил Сергей Жемайтис, редактор из «Молодой гвардии» — издательства: «Таисия Иосифовна, вам столько досталось уже, но это не всё. Приготовьтесь... Собрание сочинений Ивана Антоновича запрещено к выпуску...» (Много позже все-таки удалось добиться согласия коллегии на выход трехтомника.)

В 1974 году в Ленинграде собирается палеонтологическое общество. Два доклада — один об И. Ефремове, второй — о тафономии, науке, основанной Иваном Антоновичем. За день до начала — звонок вдове: доклад об И. Ефремове снят.

Таисия Иосифовна набрала номер офицера КГБ, с которым в процессе последовавших за обыском выяснений-разъяснений у нее сложились уважительные отношения («Я ему даже „Таис Афинскую“ подарила»). Спросила, сообщив о снятии доклада, что произошло после того, как он уверил ее в отсутствии претензий КГБ к Ивану Антоновичу?

Он ответил, вспоминает Таисия Иосифовна: «Поверьте, от нас сейчас ничего не идет, это, вероятно, просто перестраховка ученых».

— Мне от этого не легче. Я сейчас сяду и буду писать. Брежневу.

— А что, правильно! Пишите!

— И я могу сослаться на вас, что Иван Антонович ни в чем не обвиняется?

— Да, можете сослаться...

Осознавала, что до Брежнева письмо вряд ли дойдет, но к беседе в отделе писем ЦК подготовилась — составила обширный список печатных работ, откуда имя И. Ефремова выбрасывалось. Не раз и не два встречала деланное удивление — «Что вы, что вы! Откуда вы взяли, что Иван Антонович под запретом?!» — вот и подготовилась. В отделе писем ЦК сказали, что не готовы с ней беседовать...

Прошло время. Пришло время. Книги великого ученого, писателя, мечтателя изданы, издаются, будут издаваться. Но что же было? Что было тогда, в 1972-м? Когда нет информации, рождаются версии.

3

Т. И. Ефремова вспоминает: «А по Москве вскоре после обыска уже пошли слухи, что Ефремов — это не Ефремов, а английский разведчик, что его подменили в Монголии. Очень много было слухов. Видимо, версия о том, что Иван Антонович — не Иван Антонович, всерьез разрабатывалась КГБ. Я потом встречалась с Хабибулиным, который обыск у нас проводил,— он позвонил мне, и мы говорили долго. У него вопросы были: какие на теле мужа были ранения? Я сказала: ну, какие ранения, после операции грыжи, и под коленкой ему вену пропороли контрабандисты в Средней Азии. Он спрашивал все: от дня рождения до кончины мужа. Я сказала, что не могу всего знать, потому что встретила Ивана Антоновича только в 1950-м году. Еще когда в прокуратуре по надзору за следствием КГБ беседовала, то все спрашивали, сколько

лет и мужа знаю. Ну, пуд соли с ним я съела, отвечаю. Но упорно допытывались: а точнее? Хорошо, говорю, двадцать лет. Вам достаточно? Вы что думаете, я откажусь от своего мужа? Да я горжусь им! Мне удивленно так сказали, что здесь нечасто можно такое услышать».

А. Н. Стругацкий: «Прошло года два или три после смерти Ивана Антоновича. Я был в гостях у покойного ныне Дмитрия Александровича Биленкина. Большая компания, хорошие люди. И зашел разговор о нападении Лубянки на квартиру Ефремова. Биленкин, помимо того, что он хороший писатель-фантаст, был, как известно, геологом по профессии. Так вот, рассказал он удивительную вещь... 1944 год. И. А. Ефремов откомандирован с экспедицией в Якутию на поиски новых месторождений золота. Была война, и золото нужно было позарез! У него под командованием состояло несколько уголовников. Экспедиция вышла на очень богатое месторождение, они взяли столько, сколько смогли взять, и отправились обратно, причем Иван Антонович не спускал руки с кобуры маузера. Как только добрались до Транссибирской магистрали, на первой же станции связались с компетентными органами. Был прислан вагон, и уже под охраной экспедицию повезли в Москву. По прибытии с уголовниками сразу расплатились или посадили их обратно, вот уж не знаю. А Ивана Антоновича сопроводили не то в институт, от которого собиралась экспедиция, не то в министерство геологии. Там прямо в кабинете у начальства он сдал папку с кроками и все золото. При нем и папку и золото начальство запихало в сейф, поблагодарило и предложило отдыхать.

На следующий день за Ефремовым приезжает машина из компетентных органов и везет его обратно, в тот самый кабинет. Оказывается, за ночь сейф был вскрыт, золото и кроки исчезли...

И вот Дмитрий Александрович Биленкин предположил, что не исключено: обыск как-то связан с тем происшествием. Ну, мы накинулись на него, стали разносить версию в пух и прах: мол, это ничего не объясняет, да и зачем нужно было ждать с 1944 по 1972 год! Но он был очень хладнокровным человеком, холил свою бороду, усмехался и курил замечательный табак, трубку...»

А. Н. Стругацкий (продолжение): «Все терялись в догадках о причинах обыска. Почему он был *ПОСЛЕ* смерти писателя? Если Иван Антонович в чем-то провинился перед государством, почему никаких обвинений ему при жизни никто не предъявил? Если речь идет о каких-то крамольных рукописях, то это чушь! Он был чрезвычайно лояльным человеком и хотя ругательски ругался по поводу разных глупостей, которые совершало правительство, но, что называется, глобальных обобщений не делал. И потом — даже если надо было найти одну рукопись, ну две, ну три, то зачем устраивать такой тарарам с рентгеном и металлоискателем?!

Вот сочетав все, я, конечно, как писатель-фантаст, построил версию, которая и объясняла все! Дело в том, что как раз в те времена, конце 60-х и начале 70-х годов, по крайней мере в двух организациях США — Си-Ай-Си и Армии были созданы учреждения, которые серьезно занимались разработками по летающим тарелкам, по возможностям проникновения на Землю инопланетян. У наших могла появиться аналогичная идея. И тогда же у фэнов, то есть любителей фантастики, родилась и укрепилась прямо идея-фикс какая-то: мол, ведущие писатели-фантасты являются агентами внеземных цивилизаций. Мы с Борисом Натановичем получили не одно письмо на эту тему. Нам предлагалась помощь, раз уж мы застряли в этом времени на Земле, приносились извинения, что современная технология не так развита, чтобы отремонтировать наш корабль. И в том же духе.

Иван Антонович Ефремов безусловно был ведущим писателем-фантастом. Можно себе представить, что вновь созданный отдел компетентных органов возглавил чрезвычайно романтически настроенный офицер, который поверил в абсурд „фантасты суть агенты". И за Ефремовым стали наблюдать. Но одно дело — просто следить, а другое дело — нагрянуть с обыском и не дай бог попытаться взять его самого: а вдруг он шарахнет чем-нибудь таким инопланетным!

Именно поэтому как только до сотрудников этого отдела дошла весть о кончине Ивана Антоновича, они поспешили посмотреть. А что смотреть? Я ставлю себя на место гипотетического романтического офицера и рассуждаю здраво: если Ефремов — агент внеземной цивилизации, то должно быть какое-то средство связи. Но как выглядит средство связи у цивилизации, обогнавшей нас лет на триста-четыреста, да еще и хорошенько замаскировавшей это средство?! Поэтому брали первое, что попалось. Потом, удовлетворенные тем, что взятое не есть искомое, все вернули».

Ю. Медведев: «Много лет меня волновала загадка смерти, точнее, омерзительных событий, воспоследовавших вскоре после кончины одного всемирно известного ученого и писателя прошлого века, путешественника, историка, философа, провидца. А события такие: в дом покойника нагрянула по ложному доносу орава пытливых граждан с соответствующими удостоверениями, перерыли все вверх дном, рукописи постранично перелистали, книги, письма, личные вещи перетрясли, стены миноискателями просветили, даже урну с прахом покойного... Так вот, всю жизнь меня мучило, кто донос настрочил,.. какую цель преследовал, хотя насчет цели — ясно: после обыска лет десять имя светлое замалчивалось, даже из кроссвордов его вычеркивали. В средневековье на Руси это называлось „мертвой грамотой"...

...И увидел я тех, кто бред этот выдумал, подтолкнул подлый розыск. Двух увидел, состоящих в родстве. Один худой, желчный, точь-в-точь инквизитор. Изощренный в подлости, даже звездное небо в окуляре телескопа населявший мордобоем галактических масштабов, ненавистью ко всему, что нетленно, гармонично, красиво, вековечно. Другой грузный, с зобом как у индюка, крикун, доносчик, стравливатель всех со всеми, пьяница, представитель племени вселенских бродяг, борзописец, беллетрист, переводчик. При жизни всемирно прославленного гения оба слыли его учениками, случалось учителю их защищать, а после смерти его ни разу не позвонили вдове. Я увидел подноготную подлости, микромолекулярную схему зависти». (Повесть «Протей». В сб. «Простая тайна». М.: 1988.)

4

Да, когда нет информации, рождаются версии. Разыгрывается фантазия. Фантазия, игра ума, к которой и надо относиться как к игре — занимательной, увлекательной, но игре.

Таисия Иосифовна с великолепной, мягкой, даже какой-то сочувствующей иронией рассказала о версии подмены И. Ефремова. А Петр Константинович Чудинов добавил, усмехнувшись: «Если англичане в Монголии „подложили" нам Ивана Антоновича, то им спасибо надо сказать! Такого ученого подарили, такого писателя!»

Аркадий Натанович, излагая вариант Д. Биленкина и свой, предстал вдохновенным рассказчиком, какими читатели и знают А. и Б. Стругацких по их книгам. Впрочем, тем же читателям при всей убедительности повестей братьев не придет в голову всерьез изыскивать среди окружающих таинственных «странников», «люденов» и прочие плоды писательского воображения. Фантастика на то и фантастика. Аркадий Натанович и подчеркнул в беседе: «как писатель-фантаст».

Сложнее обстоит дело с версией из повести «Протей». Шаржи — шаржами, они могут быть добрыми и злыми, лишь бы узнавался «оригинал». Но когда шаржированный «оригинал» обвинен в предательстве учителя, то...

А. и Б. Стругацкие направили письмо в Советы по фантастике СССР и РСФСР, всем любителям фантастики, а также во Всесоюзное творческое объединение молодых писателей фантастов (ВТО МПФ), под эгидой которого была напечатана повесть Ю. Медведева. Письмо резкое, даже яростное. С призывом дать оценку «клеветническому пасквилю тиражом 75000 экземпляров».

Стоило ли братьям реагировать именно так? Это, в конце концов, вопрос темперамента... Я спросил у Аркадия Натановича, согласен ли он, что отрывок из повести «Протей» — это провокация, на которую они поддались?

— Видимо, да. Измышления Ю. Медведева — попытка нам отомстить. Тот, кто читал наши с братом выступления о том, что сделал этот человек с советской фантастикой, (с наследием Ефремова, кстати говоря), тот поймет: Юрий Михайлович нежных чувств к нам питать не мог... Мы с Борисом Натановичем очень близки. И нельзя ставить вопрос о каком-то несогласии моем с письмом. Ну вот, это было бы как правая половинка мозга не согласится с тем, что решает левая половинка мозга. Да и нельзя оставлять без внимания подобный плевок в лицо. То есть интеллигент может, конечно, позволить себе не заметить плевка, «быть выше этого». Но все равно потом ведь придется отвернуться и вытираться. И в нашем письме мне очень нравится вторая его часть — о том, что пришла пора действительно выяснить причины и обстоятельства странных событий вокруг имени Ивана Антоновича Ефремова. Существование доноса и личность автора его — в том числе...

5

Ришат Рахманович Хабибулин давно на пенсии. С 1973 года. Тот самый, что вел обыск и глотал валидол. Беседуем:

— Ришат Рахманович, вы до определенного момента занимались этим делом. Можете вы сказать, был ли обыск в квартире Ефремова следствием какого-либо доноса?

— Что (очень озадаченно)? Никакого доноса не было. Нет. Совершенно точно, никакого доноса.

— Насколько я знаю, КГБ слишком серьезная организация, которая должна иметь более веские основания, чем «письма граждан», для столь решительных действий. Не так ли?

— Да никакого доноса там не было! Это что, ваши писатели придумали? Санкцию на обыск дал заместитель Генерального прокурора. Маляров, как я помню.

— Судя по тому, что рассказывала мне вдова Ивана Антоновича, сотрудники Комитета госбезопасности непосредственно к Ефремову претензий не имели?

— Какие претензии могут быть... это...

к человеку, который скончался?! В том же году, в каком это дело возникло, в том же году и было прекращено. Никакое дело не может продолжаться, если человека нет в живых. Существует положение, по которому за смертью дело прекращается.

— Так что же? Обыск мог быть вызван не в связи непосредственно с хозяином квартиры?

— Я вам точно не могу сказать, я говорю вам в принципе. Может быть, даже совсем другой человек где-то арестован, и он дал показания, что какие-то материалы или документы преступного характера находятся на квартире Ефремова. Это уже основание для обыска, хотя может потом оказаться, что этот арестованный просто наговорил, время тянул или скомпрометировать хотел... Вообще, если вопрос так подробно вас интересует, нужно письменно обратиться к руководству.

— Я так и сделал. Но уже сейчас вы ответили на важный вопрос: был ли донос.

— Да нет же! Не было.

— Ни анонимного, ни подписанного, где против Ефремова выдвигались бы обвинения такого характера, что могли привлечь внимание КГБ?

— Никакого!

...Я спросил у Таисии Иосифовны, насколько убедительной ей показалась версия Ю. Медведева об авторстве предполагаемого доноса.

— Насколько я знаю Аркадия Натановича,— ответила она,— он никогда не мог бы что-то подобное написать. Нет, нет, нет! Никогда. Это надо Юрия Михайловича спросить, Медведева...

6

Юрий Михайлович Медведев, заведующий отделом прозы журнала «Москва», был только-только с самолета:

— Я прилетел из Монголии сегодня ночью. Как раз договаривался о том, чтобы поставить памятник Ивану Антоновичу Ефремову в пустыне Гоби... Скажу априори, что ваш покорный слуга за всю свою жизнь никогда, ни разу ни в какие инстанции вообще писем не писал, выполняя один из заветов Ивана Антоновича.— Он достал общую тетрадку, упоминаемую в самом начале: *«МЕРА или ВЕРА»*, от Жучкова Ю. В. из Долинска Сахалинской области.— Как текстовик, как человек, занимающийся иррациональной частью русского народного сознания — и в фантастике — я глубоко убежден, что столь изощренный текст не мог сделать один человек, находящийся на самой окраине нашего Отечества. Это работа мощного коллектива. Этот донос я показываю вам первому в своей жизни.

— Это скорее не донос, а из серии писем граждан того периода, когда «гневно клеймили», толком не зная, за что.

— Вы правы в сугубо буквенном смысле. Но вот в прошлом веке понятие доноса было несколько иным — это была бумага по службе. Например, как бы мы ни относились к подлейшему Фаддею Булгарину, но в его деятельности была черта, которая для нас сейчас даже неожиданна. Весь Петербург знал, что он пишет донос и через семь дней отнесет его Дубельту или Бенкендорфу. Это было обозрение нравов, одновременно являвшееся дурно пахнущим политическим очернительством. Между тем, заметьте, Пушкин руку ему до конца жизни протягивал, вместе с ним на обедах бывал, Грибоедов завещал ему «Горе от ума». Он был редактором одного из самых распространенных журналов.

— Мы отвлеклись. Формы доноса действительно различны. Братья Стругацкие назвали вас пасквилянтом в связи со страницами повести «Протей»...

— Для меня поднятый шум был полной неожиданностью, и сейчас даже я не уловил его смысла до самого конца. Мог ли я предполагать, что вольное сочинение, повесть фантастическая может стать предметом того, чтобы назвать меня... как угодно. Я решительно отвергаю подобные домыслы. Я оставляю право художника на чистый вымысел. Я даже удивлен, что отрывок из «Протея» вызвал у братьев такую бурную реакцию.

— Вы говорите о чистом вымысле, но все довольно прозрачно: слывшие учениками прославленного гения двое, состоящие в родстве, переводчик и астроном.

— А кого вы считаете из них переводчиком? Аркадия Натановича? А что он переводит? Впервые слышу, что он переводчик. Он никогда себя так не называл...

(«Стругацкий Аркадий Натанович... По специальности переводчик-референт японского языка». Библиотека современной фантастики в 15 томах, т. 7. Изд. «Молодая гвардия». М.: 1966).

...А разве я кого-то из них назвал астрономом? Ах, вы об «окуляре телескопа»? Скажите, вам приходилось смотреть в окуляр телескопа? А мне приходилось много раз. Вы не заметили, что фраза в глядке телескопа написана, если угодно, не совсем даже по канонам русского языка? У меня есть причина, по которой я сделал именно так, а не иначе... Братья Стругацкие называли меня разрушителем советской фантастики, но заметьте: за минувшие годы, имея возможностей не меньше, чем у братьев, я ни разу не ответил. Почему, вы спросите? Потому что я выполняю один из заветов Ивана Антоновича... Есть охотники выводить друг друга на страницах — так было всегда в русской литературе. Я не из их числа, но не в первый раз попадаю в такую ситуацию. Если вы помните, был у меня такой рассказец — «Чертова дюжина Оскаров». Там главный герой был некто режиссер Барковский. Рассказу, опубликованному в 1972 году, предшествовало такое предисловьице: «Светлой памяти режиссера Михаила Барковского, без вести пропавшего в Париже в 197... году». Знаете, первому секретарю ЦК ВЛКСМ тогда звонил Андрей Тарковский и, ссылаясь на рассказ, где есть слова, что он там бросает Россию, бежит и на каких-то размалеванных женится, упрекал меня в том, что я его светлому образу подмочил репутацию. Хотя я сказал тогда Тяжельникову и директору издательства, что это чистый вымысел от начала до конца...

— Вы называете Ивана Антоновича своим учителем. Выполняете его заветы. Как вы реагировали тогда, в 1972 году, на события, последовавшие после его кончины?

— Когда случилось это действо, этот обыск, я стал «зарывать в землю» свои беседы с Иваном Антоновичем, записанные на магнитофон, а также некоторые документы, связанные с нашей перепиской. Поскольку, честно говоря, боялся обыска. Даже рукопись «Часа Быка» с правками Ивана Антоновича «зарыл» на шестнадцать лет. Я, конечно, просил коллег как-то подняться на учиненное бесчиние — люди по-разному реагировали. Я считаю, что каждый имеет право на любую форму поведения в любой ситуации — можно испугаться. Я, сознаюсь, испугался. Повторяю, даже прятал в другом городе свои записи бесед с Ефремовым. И кое-что, скажу правду, уничтожил и не все еще достал. Я был за то, чтобы биться за учителя, за его дело и бессмертие до самого конца...

— Вы считаете, что помянутый отрывок из «Протея» помогает в битве за учителя, за его дело и бессмертие до самого конца?

— Давайте дадим шанс нашему несчастному жанру поиграть вольными силами, давайте попрочитываем наши сочинения по заглавным буквам, давайте посмотрим, какие хитрости и загадки преподносит настоящий автор-профессионал в своем сочинении. Если мы писатели-фантасты, представители иррационального, самого красивого начала, если мы представители звездного шаманизма или магического реализма или волшебного реализма — так дайте нам возможность быть не теми, кто посылает злобные доносы друг на друга, а людьми, которые играют вольно силушками. От переизбытка силушки я это все и написал, от переизбытка силушки... И повторяю еще раз: в отличие от тех же братьев Стругацких, моих коллег по жанру, я никогда ни строки ни в какие инстанции не писал и никогда не напишу. Я выполняю один завет Ивана Антоновича Ефремова...

...До конца текущего столетия, тысячелетия загадка смерти и событий после смерти Ивана Антоновича и поведения его врагов и друзей будет разгадана почти до самого конца. Это я предсказываю вам как фантаст. Даже без обращения к бывшим сильным мира сего она будет решена, ибо, как вы знаете, любая загадка имеет обыкновение укладываться в первопричину свою. Я тоже знаю еще много интересного, что связано с высшими формами противостояния, но это не предмет нашей беседы, поскольку я с вами впервые познакомился. И, следуя завету Ивана Антоновича, я старался быть предельно искренним.

7

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ ВТО МПФ *(Всесоюзного творческого объединения молодых писателей-фантастов)* В. И. Пищенко

Как и другие члены КЛФ страны, мы имели неоднократно возможность слышать Ваши пространные уверения в том, что Вы лично — принципиальный противник раскола советской фантастики. Более того, Вы неоднократно утверждали, что ВТО МПФ при издательстве «Молодая гвардия» отказывается от использования издательских площадей для внелитературной борьбы и сведения счетов.

Однако публикация в сборнике ВТО МПФ «Простая тайна» повести Ю. Медведева «Протей» свидетельствует об обратном. Эта повесть — явление беспрецедентное в советской НФ. Аморальность данного сочинения, вызывающе, цинично оскорбляющего А. и Б. Стругацких, настолько очевидна, что не нуждается в комментариях. Примечательно, что это не первый случай, когда Медведев прибегает к нечистоплотным приемам. У любителей фантастики на памяти рассказ этого автора «Чертова дюжина Оскаров» — отвратительный пасквиль на А. А. Тарковского. Подобная «литературная» деятельность Ю. Медведева прямо вытекает из его идейной позиции, ставшей широко известной в начале 70-х годов. В то время Медведев, назначенный заведующим отделом фантастики издательства «Молодая гвардия», начал разгром советской научно-фантастической литературы и травлю ее лучших представителей.

От имени многочисленных любителей фантастики мы спрашиваем Вас: как совместить Ваши призывы ко всем авторам и КЛФ «жить дружно» и печатание повести Ю. Медведева?

Всесоюзный совет клубов любителей фантастики.

8

Я не считаю, что загадка смерти и событий после нее вокруг имени И. Ефремова требует для разгадки времени «до конца текущего столетия, тысячелетия». Картина жизни и смерти выдающегося мыслителя вполне прояснилась. Есть туманность и есть туманность.

«Туманность Андромеды», как и все книги Ивана Антоновича, по-прежнему будет увлекать и вдохновлять новые и новые поколения читателей, как увлекла и вдохновила четверть века назад тех же братьев Стругацких.

Туманность недомолвок, многозначительных намеков, сплетен — густая туманность времен застоя-болота рассеивается, стоит только дать больше света. Света, воздуха, голоса. Что нам всем сегодня и дано.

20 марта 1989 года я пришел по адресу: Москва, Кузнецкий мост, 24. Приемная КГБ.

Человек, сидящий за столом, принял от меня бумаги с официальными запросами и сказал: «Ждите. Мы вам ответим письменно».

Жду.

Ждем.

ПОСТСКРИПТУМ

И действительно ответили письменно! И в срок!

«Комитет Государственной Безопасности СССР. Управление по городу Москве и Московской области. Следственный отдел.

25.04.89. № 8/605. г. Москва...

На Ваше письмо в КГБ СССР от 9 марта 1989 года сообщаем, что действительно в ноябре 1972 года Управлением КГБ СССР по городу Москве и Московской области с санкции Первого заместителя Генерального Прокурора СССР был произведен обыск в квартире писателя Ефремова Ивана Антоновича, а также некоторые другие следственные действия в связи с возникшим подозрением о возможности его насильственной смерти. В результате проведения указанных действий подозрения не подтвердились.

Одновременно разъясняем Вам, что в соответствии со статьями 371 и 375 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР следственные материалы могут быть истребованы только органами прокуратуры и суда.

Начальник Следственного отдела Управления Ю. С. Яковлев».

ПОСТПОСТСКРИПТУМ

Я зачитал пришедший ответ вдове И. А. Ефремова по телефону. Таисия Иосифовна вздохнула:

— О господи! Это уже чересчур! Это какой-то черный юмор... Они забыли, что Иван Антонович — сердечник. Они забыли, что существует история его болезни. Они забыли, что...— и в голосе задрожала слеза обиды...

ПОСТПОСТПОСТСКРИПТУМ

Спасибо за разъяснения о статьях 371 и 375 УПК РСФСР! Уточняю только: копия протокола обыска, хранящаяся у Т. И. Ефремовой, не является «следственными материалами». Между «изъятием идеологически вредной литературы» и «возникшим подозрением о возможности насильственной смерти» — дистанция огромного размера. Через месяц после кончины человека искать подтверждение подозрения о его насильственной смерти посредством рентгена, металлоискателя, изъятия всего, перечисленного выше — это и впрямь «черный юмор».

Понимаю, что честь мундира дорога. Понимаю, что работники компетентных органов, судя по ответу «Неве», попали в безвыходное положение: есть официальный запрос, и надо на него как-то отвечать, не повредив «мундир». Вот и ответили «как-то»... А что до оскорбления памяти ушедшего и чувств ныне живущих, то у них, конечно, есть честь, но вот мундира нет. А свой мундир всегда ближе к телу. И как еще прикажете отвечать, если положение безвыходное?!

Безвыходное — это такое положение, ясный и очевидный выход из которого почему-то не устраивает...

И последнее. В статье 371 УПК РСФСР перечислены должностные лица, могущие приносить протесты в порядке судебного надзора. Статья 375 УПК РСФСР это — «Истребование уголовного дела». В Комментарии к УПК РСФСР сказано: «Поводами для истребования дела для проверки в порядке надзора являются: ...б) ходатайства и сообщения других лиц и организаций; ...г) материалы печати, радио и т. д.» (Комментарий к УПК РСФСР. «Юридическая литература», М.: 1976, с. 544).

Вот интересно, кто из должностных лиц, перечисленных в статье 371, истребует следственные материалы на основании хотя бы пункта «г» Комментария к статье 375?..

Жду.

Ждем...

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Своевременные мысли, или Пророки в своем отечестве. Составитель М. С. Глинка. Лениздат, 1989.

Купить этот сборник я не призываю — бесполезно: весь тираж (100 тысяч) давно расхватан. Оно и понятно: привлекают смело выявленная тема, удачно найденное название, метко сформулированный подзаголовок. Остальное гарантируют авторы так долго лежавших под спудом публикаций — В. Короленко, «Письма к Луначарскому»; И. Бунин, «Окаянные дни»; М. Горький, «Несвоевременные мысли»... Отсюда и название сборника — как ответ, реплика, протест: нет, и сегодня вполне своевременные! Разбираясь сегодня в собственных грехах и ошибках, мы по-новому оцениваем недавние идеалы: классовую узость взгляда, презрение к общечеловеческим ценностям, готовность платить любой ценой, неразборчивость в средствах — ради благой же цели! Да и сама цель оказалась не очень-то продуманной. В такой обстановке свежо и злободневно звучат мысли тех, кто видел и сознавал опасность в самом начале пути, но в запале схватки не был услышан. Несть пророка... Хочется думать, что вслушаться еще не поздно.

Отрадно, что тексты, написанные составителем, отличаются от стандартных введений и предисловий — вялых, суконных и наукообразных. Здесь это горячие речи живого человека, владеющего словом. И все же информативный анализ обстоятельств написания самих статей не помешал бы.

Трехчастная композиция сборника резонна, однако пропорции не сбалансированы: первая часть («Позавчера») перевешивает. Да и по содержанию две последующие («Вчера» и «Сегодня») не соответствуют замыслу сборника, выраженному в названии. Сами по себе входящие в них публикации (воспоминания, документы) не лишены интереса, но вряд ли уместны в этой книге. Понимаю: приводя в третьей части официальные документы, составитель хотел наглядно показать, что некоторые мысли пророков нашли ныне официальное признание, но, право же, в этом документальном подтверждении нет нужды.

Л. САМОЙЛОВ

Фазиль Искандер. Стоянка человека. Повесть. «Знамя», 1989, № 7—9.

«Кто хотя бы на минуту испытал свободное парение в небе,— сказал конструктор «махолета» и трезвый мечтатель Виктор Максимович,— тот не может не возвратиться на землю обновленным человеком». И далее: «Никакая диктатура не сможет управлять летающими людьми».

Свой махолет он так и не изобрел: погиб при очередных испытаниях. Но на землю и людей ее Виктор Максимович смотрел уже оттуда, с неба, с полета. А от Икара велено ждать земного отношения не то что к людским мелочным расчетам, а даже к вещам обычным, но лишенным высоты. Высоты духа и чести.

Честь Виктора Максимовича — русская высокая интеллигентность. А мы вроде отвыкаем презрительно гвоздить интеллигенцию — мозг и совесть нации — «прослойкой». И взлетает ввысь искандеровский герой не потому, что изобрел он аппарат, движимый маховыми усилиями крыльев, а благодаря мощи своего интеллекта. Благодаря врожденной порядочности. Благодаря совести, неусыпной и требовательной.

Удвоенная острота зрения позволяет ему отбросить даже тень меркантильности. И уподобить дом нечистоплотного в выборе друзей знакомого... тому свету — ибо в нем встречаешь сразу и убийцу, и убиенного. И понять, что, если общество отнимает у человека его социальное достоинство, национальное начинает раздуваться, как раковая опухоль. И с горечью вспомнить трагически изломанные судьбы своих довоенных друзей-одноклассников. Угораздило же их родиться с умом и талантом в такое чудовищное время! И сказать, что «бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа».

Удивительно ли, что недостроенный его махолет охраняют целых двадцать лет? После двадцать второго съезда дежурства, правда, отменили, а после чехословацких событий дежурить стали снова.

Виктор Максимович, погибший, воскресни! Нам нужна только твоя высота! И ничья больше.

Е. ЩЕГЛОВА

Лидия Гинзбург. Человек за письменным столом. Л.: Советский писатель, 1989.

Новая книга Лидии Гинзбург... Какое увлекательное и одновременно вызывающее смущение чтение! Писатель берет перо для прямого разговора о жизни. и внезапно оказывается, что в рамках

литературного произведения такой разговор уже не нуждается ни в сюжетных подпорках, ни в конструировании условных кулис, призванных изображать «трехмерную» реальность, ни в действующих лицах, говорящих на своем, отличном от авторского языке.

Круг тем, афористичность высказываний сразу провоцирует на сопоставление с сочинениями французских моралистов XVII—XVIII веков. Впрочем, довольно скоро обнаруживается, что сравнение это неточно. В отличие от Ларошфуко, Паскаля, остающихся всецело в рамках афористических жанров с их дидактическими задачами, Лидию Гинзбург интересуют возможности художественной прозы, сохраняющей свои особенности и специфику. Логически неторопливый ход мысли, последовательный поиск доказательств, выводы и отступления, углубление, анализ — все это лишь на поверхности. Волнует же, держит в напряжении читателя, придает этим текстам особую динамику и драматизм иное, остающееся скрытым, неявным. Автор пытается смоделировать, воссоздать сам процесс мышления, затягивая нас в горячий пульсирующий поток. На наших глазах развертывается завораживающее движение мысли, размыкающей круг и потому адекватной действию, мысли, обращающейся к главным, конечным вопросам бытия. Причем подспудный, скрытый процесс выхода на эти вопросы, процесс набора высоты крепнущим, преодолевающим собственное бессилие и вялость сознанием подобен зарождению и кристаллизации экзистенциальных тем в лирическом стихотворении. Это уже не анализ в обычном понимании. Воздействие напряженного интеллектуального потока на читателя строится по стиховому принципу суггестивности.

Это свойство прозы Лидии Гинзбург представляется наиболее удивительным, многообещающим, симптоматичным, отражающим сложные, глубинные процессы, протекающие в современной литературе.

А. МАШЕВСКИЙ

Н. Кузьмин. От войны до войны (Ночные беседы). «Молодая гвардия», 1989, № 7—8.

Свой исповедальный дневник, как уведомляет автор, он, «рассуждая своей головой», писал «откровенно в стол». Но обнаглевшая желтая пресса вынудила его обнародовать «личные мысли по тому или иному поводу». «Настоящей бедой... стал отнюдь не „зажим" культуры, а совсем наоборот: необузданное ее раздувание» — мысль, для *писателя* удивительная. Впрочем, она выражена в приличной для этого автора форме, а потому не показательна. От цитирования же показательных характеристик живых и умерших, щедро разбросанных по «беседам», я воздержусь. Равно как и от рецензии в собственном смысле слова: надписи на стенах общественных туалетов рецензировать не принято.

Правда, авторы настенных изречений не претендуют на художественность, публицистичность, гражданственность, не выдают себя за профессиональных литераторов, мыслителей, озабоченных судьбами отечества, или за жертвы заговоров. Ибо понимают: «гражданами второго сорта» (самоопределение Н. Кузьмина) их сделал не пятый пункт в анкете, что бы там ни значилось, а уровень таланта, образования, культуры. Ну, а когда все-таки не понимают?

Тут я должен не только попросить снисхождения к Н. Кузьмину, но и сказать ему спасибо. Ибо он представил нам редкий по чистоте и достоверности оттиск мифологизированного сознания, в нашем социуме преобладающего. Больше того — скрупулезно исследовал способы его самозащиты.

Рожденный, как и все мы, в духовной неволе и неповинный в этом, автор имел немало возможностей обрести свободу, но предпочел сжечь (!) еретические книги и остаться теперь уже добровольным, по убеждению, охранителем системы, толкователем ее догм, жрецом «вождя». Это позволяет Н. Кузьмину, по его собственному признанию, прогулявшему весь университетский курс в Алма-Ате и списавшему чужой диплом, судить об истории, экономике и политике с безапелляционностью невежды. Возводить мелкие движения души, жаждущей напастей популярным и талантливым, в ранг борьбы за идеалы. Печатные доносы в безнадежно провинциальных, хотя и издающихся в столице журналах, называть актами гражданского мужества. А в последних строках своего произведения прямо свистать Русь к топору.

«Ненависть невежды к знанию — самая страшная ненависть» (Галилей). Вот, если угодно, рецензия на опус Кузьмина — из семи слов. От необходимости искать оценку подобному явлению нас избавил гений.

Е. ПАНОВ



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

ДЕЛО ПРОШЛОЕ

Стрелки часов отсчитывали первые минуты новых суток — 9 мая 1945 года. Несмотря на позднее время, в пригороде Берлина Карлсхорсте царило необычное оживление. В бывшем военно-инженерном училище собрались представители Верховного Главнокомандования Советских Вооруженных сил и союзных войск — Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, маршал авиации Великобритании Артур В. Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США генерал Карл Спаатс, главнокомандующий французской армией генерал Жан Делатр де Тассиньи.

В назначенное время в сопровождении двух высших офицеров фашистской Германии в зал вошел ближайший сподвижник Гитлера генерал-фельдмаршал В. Кейтель, фельдмаршальским жезлом приветствуя представителей советских и союзных войск. С прилизанными волосами и привычным моноклем Кейтель тщетно пытался сохранить спокойствие. Вручив представителям союзного командования полномочие подписать акт о безоговорочной капитуляции, выданное новым главой германского правительства гроссадмиралом К. Деницем, он вместе с генерал-полковником Штумпфом и генерал-адмиралом фон Фридебургом подписали этот акт.

— Предлагаю немецкой делегации покинуть зал,— холодно произнес Жуков.

Поднявшись из-за стола, В. Кейтель внимательно посмотрел на маршала Жукова. После 22 июня 1941 года один из них мог стать победителем, другой — поверженным. Тогда их разделяли тысячи километров, а сейчас они стояли рядом. Нелегок был их путь, одного — к позорному поражению, другого — к победв. Один внутренне торжествовал, другого угнетали черные чувства.

Кто же он, бывший генерал-фельдмаршал Кейтель, и какую роль сыграл в сравнительно короткой, но кровавой истории «тысячелетнего» рейха?

Вильгельм Кейтель родился 22 сентября 1882 года. Потомок древнего саксонского рода, он избрал традиционный для многих немецких аристократов путь военного. В начале первой мировой войны командовал артиллерийской батареей, участвовал в боях на Марне.

Дальнейшая служба Кейтеля — это калейдоскоп должностей, даже родов войск. Служил в кавалерии, артиллерии, штабе. Затем снова артиллерия и штаб. В 1933 году, оценив ситуацию, безоговорочно переметнулся в стан Гитлера. В отличие от некоторых других кадровых офицеров его не смутило безусловное подчинение бывшему ефрейтору, ставшему всевластным фюрером.

Взлет Гитлера и его партии к руководству Германией многие немцы, особенно аристократия, встретили неоднозначно. Старые кайзеровские генералы с неприязнью и внутреней враждебностью восприняли приход к власти выскочки-ефрейтора. Прусские, баварские, саксонские дворяне презрительно относились к Гитлеру — человеку без рода и племени. Фюрер, конечно же, чувствовал это и сделал ставку на новое поколение военных. На то поколение, которое нуждалось в «сильной руке», в возрождении Германии, униженной Версальским договором.

Работая в штабе военного министерства, Кейтель упорно искал пути обхода статей Версальского мирного договора и стоял у истоков создания вооруженной опоры нацизма — вермахта. Его изобретательность и преданность фашистам была оценена фюрером. Уже через год после прихода к власти Гитлера Кейтель получил вожделенные погоны генерал-майора, а в 1938 году возглавил штаб верховного главнокомандования Германии.

Трудно преувеличить роль Кейтеля в подготовке и осуществлении агрессивных войн, которые развязала фашистская Германия. Как особо доверенное лицо Гитлера он вместе с двумя другими генералами был на встрече фюрера с австрийским канцлером Шушнигом. На ней немцы угрожали немедленным вторжением в Австрию, что вскоре и было сделано. Фигура Кейтеля олицетворяла собой готовность Германии немедля применить оружие. В этом смысле он стал «военной визитной карточкой» нацистов

Вместе с Гитлером Кейтель 21 апреля 1938 года обсуждал план вторжения в Чехословакию. Именно он предложил фюреру несколько вариантов провокаций пограничного инцидента с Чехословакией. В частности, его директива от 30 марта 1938 года содержала заявление Гитлера: «Моим неизменным решением является разгромить Чехословакию вооруженными силами в ближайшем будущем».

Штаб верховного главнокомандования, возглавляемый Кейтелем, играл ведущую роль в подготовке и проведении агрессии и против других стран. Директива вторжения в Польшу известна нам как директива Гитлера и Кейтеля от 10 мая 1939 года. Она была направлена командованию всех родов войск как руководство к действию.

Если взглянуть на документы, относящиеся к германскому вторжению в Норвегию, Данию, Бельгию, Люксембург, Югославию и Грецию, то везде встретим подписи Кейтеля. Его служебное рвение, преданность фюреру, профессионализм в разработке планов и их осуществлении были высоко оценены Гитлером. 19 июля 1940 года после разгрома Франции Кейтель в числе первых получил жезл генерал-фельдмаршала. По мнению некоторых высших офицеров вермахта, он обладал интуитивной особенностью быстро приспосабливаться к характеру и системе управления фашистского диктатора.

Начиная с 1940 года, Кейтель выполнял и ряд военно-дипломатических функций. Его поездка в Румынию, Венгрию, Финляндию, Италию, в ходе которых он занимался знакомством с их вооруженными силами, были направлены на укрепление гитлеровского военного блока. В 1941 году фельдмаршал принимал участие в стратегическом руководстве операциями войск на Балканах и на греческом фронте.

После разгрома фашистской Германии Кейтель заявлял, что он противился вторжению в Советский Союз по военным соображениям и также потому, что это было бы нарушением пакта о ненападении от 23 августа 1939 года, называемого ныне «пактом Молотова — Риббентропа». Но это не помешало ему контролировать разработку плана «Барбаросса», участвовать в совещаниях высшего командования вермахта с Гитлером, на которых обсуждались в деталях планы нападения на СССР.

Подлинный портрет Кейтеля не будет полным без перечисления его злодеяний против нашей армии и народа во время Великой Отечественной войны. Достаточно привести лишь несколько кейтелевских директив, которые сами за себя говорят о бесчеловечности фашистской военщины, полном попрании понятий о правилах и обычаях ведения войны.

13 мая 1941 года Кейтель подписал приказ о том, что лица из числа гражданского населения, подозреваемые в преступлениях против немецких войск, должны расстреливаться без суда, что германские солдаты за преступления против гражданского населения не подлежат судебному преследованию.

В приказе фельдмаршала Кейтеля от 23 июля 1941 года говорилось: «Учитывая громадные пространства оккупированных территорий на Востоке, наличных вооруженных сил для поддержания безопасности на этих территориях будет достаточно лишь в том случае, если всякое сопротивление будет караться не путем судебного преследования виновных, а путем создания такой системы террора со стороны вооруженных сил, которая будет достаточна для того, чтобы искоренить у населения всякое намерение сопротивляться. Командиры должны изыскать средства для выполнения этого приказа путем применения драконовских мер».

Кейтель до конца оставался верным Гитлеру. В ходе битвы за Берлин он предпринимал отчаянные меры, пытаясь хоть на несколько дней оттянуть неизбежный крах фюрера. Он приказал прекратить сопротивление англо-американцам, а все усилия сконцентрировать против советских войск, организовывал взаимодействие своих армий, формировал ударные группировки, тасовал командующих войсками.

В отличие от многих своих коллег и подчиненных Кейтель не вел дневников, записей, не оставил мемуаров. Вот почему предлагаемое читателям «Невы» «„Интервью“ Кейтеля советской разведке», данное им 17 июня 1945 года, надо полагать, вызовет несомненный интерес. Это «интервью», а по существу — допрос, не вошел в сборник материалов знаменитого Нюрнбергского процесса, ибо проводился до создания Международного военного трибунала, на котором были осуждены главные военные преступники фашистского рейха.

В своих работах наши крупнейшие военные историки на этот документ не ссылались, так как его разыскать было нелегко. С одной стороны, до недавнего времени его защищал соответствующий гриф, с другой — лежал он совсем не в том фонде, где по логике должен бы храниться.

Конечно же, отвечая на вопросы советской разведки, Кейтель пытался, как мог, обелить себя, свалить часть своей вины на уже мертвого тогда фюрера. Конечно же, он ухватился за избитый вымысел геббельсовской пропаганды о «происках СССР против Германии», сделал неуклюжие попытки хоть как-то оправдать ее агрессию и вину за развязывание второй мировой войны. Мы публикуем этот несомненно интересный документ как он есть, без каких-либо купюр и комментариев, полагая, что читатель сам

40-Э

разберется, где бывший генерал-фельдмаршал гитлеровского рейха юлит, наводит тень на плетень, где говорит правду.

Международный военный трибунал приговорил Вильгельма Кейтеля в числе других главных военных преступников к смертной казни. Его повесили в здании, находящемся во дворе нюрнбергской тюрьмы ночью 16 октября 1946 года. Это было в высшей степени спраедливое возмездие и закономерный финал зарвавшегося завоевателя.

«ИНТЕРВЬЮ» КЕЙТЕЛЯ СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДКЕ

Вопрос: С какого времени Вы занимали пост начальника Генштаба вооруженных сил Германии?

Ответ: Я являлся начальником Генштаба вооруженных сил Германии с 1935 года и, исполняя эти обязанности, руководил разработкой, организацией и проведением операций вооруженных сил страны — сухопутной армии, ВВС и флота.

Вопрос: Являлись ли Вы членом национал-социалистской партии?

Ответ: Согласно существовавшему в немецкой армии правилу, военнослужащие не могут являться членами партии, и я не составлял исключения. Правда, в 1939 году личным указом Гитлера я был награжден золотым почетным знаком национал-социалистской партии, однако это награждение не имеет отношения к членству в партии. В 1939 году в Германии не были еще восстановлены военные ордена, и поэтому Гитлер, желая наградить меня после захвата Чехословакии, вручил мне этот значок.

Вопрос: Были ли Вы согласны с политикой национал-социалистской партии?

Ответ: На этот вопрос мне ответить очень трудно. Я не могу сказать, что был согласен со всеми мероприятиями партии, однако поддерживал ее мероприятия по укреплению и восстановлению вооруженных сил Германии. Я должен заявить, что теперь, по прошествии долгого времени, мне трудно восстановить в памяти все события, и поэтому я затрудняюсь в ответе.

Вопрос: Правильно ли будет считать, что Вы от начала до конца были согласны с военно-политической линией Гитлера и поддерживали ее до момента капитуляции?

Ответ: Я не всегда и не по всем вопросам соглашался с фюрером, но он почти никогда не учитывал моего мнения при принятии решения по основным вопросам. Внутренне я также часто не соглашался с ним, но я — солдат, и мое дело выполнять, что мне приказывают. Мы имели право высказывать свое мнение, но никогда не оказывали влияния на решение.

Я должен указать, что с момента, когда Браухич был смещен с поста Главнокомандующего сухопутной армией и передал эту должность Гитлеру, фюрер дал мне понять, что я не должен становиться между ним и армией. С этого момента я был почти исключен из сферы вопросов Восточного фронта и занимался остальными театрами военных действий, а также вопросами координации действий армии, ВВС и флота. Основным советником фюрера по вопросам Восточного фронта был назначен начальник Генштаба сухопутной армии. С этих пор и стало определяться разделение функций между Верховным командованием вооруженных сил (ОКВ) и Генштабом сухопутной армии (ОКХ). Первое занималось Западным фронтом, Италией, Норвегией, второй — только Восточным фронтом. Поэтому мне трудно было оказывать какое-либо влияние на решения, принимаемые на советско-германском фронте.

С 1941 года я также не принимал участия в руководстве военной промышленностью, ибо для этого было создано специальное министерство вооружения и военной промышленности.

В отношении внешней политики, то чем тяжелее и угрожающе становилось военное положение, тем более замкнутым становился фюрер в своих высказываниях. По вопросам внешней политики он совещался только с Риббентропом.

Вопрос: Чем Вы объясняете, что Гитлер постепенно отстранял Вас от руководства важнейшими областями государственного управления?

Ответ: Я объясняю это следующими причинами: а) тем, что фюрер взял на себя лично непосредственное командование сухопутной армией. Он вообще не терпел противоречий себе, тем более он не мог перенести, чтобы я противопоставил ему свой авторитет. Мне было официально указано, что мое несогласие с фюрером я могу высказывать только ему с глазу на глаз, но ни в коем случае не в присутствии других лиц; б) у меня сложилось впечатление, что фюрер не доверял мне и моим взглядам. Я не могу этого обосновать. Я чувствовал это интуитивно.

В последнее время он очень приблизил к себе оперативный штаб Ставки Верховного Главнокомандования под руководством генерал-полковника Йодля, исключив меня из круга ближайших советни-

ков. Возможно, я не оправдал надежд фюрера как стратег и полководец. Это понятно, ибо полководцами не становятся, а рождаются. Я себя не считаю полководцем, так как мне не пришлось провести самостоятельно ни одной битвы и ни одной операции. Я оставался начальником штаба, выполняющим волю полководца.

Вопрос: Считаете ли Вы себя ответственным за то положение, в котором оказалась Германия, проиграв войну?

Ответ: Я не могу отрицать факта, что Германия и германский народ оказались в катастрофическом положении. Если о всякой политике судить по ее результатам, то можно сказать, что военная политика Гитлера оказалась неправильной, однако я не считаю себя ответственным за катастрофу Германии, ибо я ни в коей мере не принимал решений ни военного, ни политического характера, я только выполнял приказы фюрера, который сознательно взял на себя не только государственную, но и военную ответственность перед народом.

Вопрос: До какого времени Вы находились с Гитлером?

Ответ: 23 апреля 1945 года ночью я выехал из Берлина на фронт, в штаб 12-й армии генерала Венка, имея задачу осуществить объединение 9-й и 12-й армий. 24 апреля я попытался вернуться в город, но не мог осуществить посадку и был принужден остаться вне Берлина.

22 апреля фюрер принял решение остаться в Берлине. Он заявил нам, что ни за какую цену не покинет города и будет ожидать исхода судьбы, непосредственно руководя войсками. В этот день фюрер произвел на меня очень тяжелое впечатление; до этих пор у меня ни разу не возникло сомнения в его психической полноценности. Несмотря на тяжелые последствия покушения 20 июля 1944 года, он все время оставался на высоте положения. Однако 22 апреля мне показалось, что моральные силы оставили фюрера, и его душевное сопротивление было сломлено. Он приказал мне немедленно уехать в Берхтесгаден, причем разговор был исключительно резок и окончился тем, что фюрер просто выгнал меня из комнаты. Выходя, я сказал Йодлю: «Это — крах»...

Вопрос: С какого времени Германия начала подготовку к войне против Советского Союза и какое участие Вы принимали в этой подготовке?

Ответ: Вопрос о возможности войны против Советского Союза впервые встал с некоторой определенностью к концу 1940 года.

В период — осень 1940 года — зима 1941 года — этот вопрос ставился только в плоскости возможности активных действий германских вооруженных сил на Востоке, с целью предупреждения нападения России на Германию. В этот период никаких конкретных мероприятий Генштабом не предпринималось. В период — зима 1941 года — весна 1941 года война на Востоке считалась почти неизбежной, и Генштаб начал подготовительные мероприятия и разработку планов войны.

Я не могу сказать, какими политическими планами располагал Гитлер, но в отношении подготовки войны на Востоке я оценивал положение исключительно с военной точки зрения: Генштаб располагал данными, что с ранней весны 1941 года Советский Союз приступил к массовому сосредоточению своих сил в приграничных районах, что свидетельствовало о подготовке СССР, если не к открытию военных действий, то, по крайней мере, к оказанию открытого военного давления на внешнюю политику Германии.

Первоначально я относился к возможности начала войны на Востоке весьма скептически, о чем может свидетельствовать мой меморандум на имя министра иностранных дел от сентября 1940 года, в котором я считал войну с Советским Союзом маловероятной. Однако в ходе развития событий зимой 1940—1941 годов это мнение подверглось значительным изменениям, в первую очередь, под влиянием разведывательных данных о сосредоточении русских войск.

Для нас было очевидно, что аналогичная подготовка ведется Советским Союзом и по дипломатической линии. Я считал, что решающим событием в этом отношении явился визит Молотова в Берлин и его переговоры с руководителями германского правительства. После этих переговоров я был информирован, что Советский Союз поставил ряд абсолютно невыполнимых условий по отношению к Румынии, Финляндии и Прибалтике.

С этого времени можно считать, что вопрос о войне с СССР был решен. Под этим следует понимать, что для Германии стала ясной угроза нападения Красной Армии.

Эта опасность особенно стала ясной после шагов СССР в балканской политике. В частности, в отношениях Советского Союза с Югославией мы видели, что Сталин абсолютно недвусмысленно обещает Югославии свою военную поддержку и рассчитывает использовать ее как удобный политический плацдарм для развертывания дипломатического воздействия, а в случае необходимости, и непосредственных военных действий.

Прямым выводом напрашивалась необходимость нейтрализовать эти мероприятия Советского Союза, что и было сделано путем молниеносного удара по Югославии.

Я утверждаю, что все подготовительные мероприятия, проводившиеся нами до весны 1941 года, носили характер оборонительных приготовлений на случай возможного нападения Красной Армии. Таким образом, всю войну на Востоке в известной мере можно назвать превентивной. Конечно, при подготовке этих мероприятий мы решили избрать более эффективный способ, а именно предупредить нападение Советской России и неожиданным ударом разгромить ее вооруженные силы.

К весне 1941 года у меня сложилось определенное мнение, что сильное сосредоточение русских войск и их последующее нападение на Германию может поставить нас в стратегическом и экономическом отношениях в исключительно критическое положение. Особо угрожаемыми являлись две выдвинутые на Восток фланговые базы — Восточная Пруссия и Верхняя Силезия. В первые же недели нападение со стороны России поставило бы Германию в крайне невыгодные условия. Наше нападение явилось непосредственным следствием этой угрозы.

В политическом смысле было ясно, что Сталин рассчитывает на затяжку войны на Западе, которая должна была максимально истощить Германию и обеспечить возможность для СССР захватить инициативу в мировой политике в свои руки.

В настоящее время мне как человеку, лично принимавшему участие в оценке обстановки и планировании мероприятий 1941 года, очень трудно полностью составить объективное мнение о правильности наших планов. Однако Генштаб в 1941 году, составляя военные планы, руководствовался именно теми основными положениями, на которые я указал выше.

Вопрос: В чем состоял общий оперативно-стратегический замысел немецкого Верховного Командования в войне против Советского Союза?

Ответ: При разработке оперативно-стратегического плана войны на Востоке я исходил из следующих предпосылок.

Исключительный размер территории России делает абсолютно невозможным ее полное завоевание.

Для достижения победы в войне против СССР достаточно достигнуть важнейшего оперативно-стратегического рубежа, а именно линии Ленинград — Москва — Сталинград — Кавказ, что исключит для России практическую возможность оказывать военное сопротивление, так как армия будет отрезана от своих важнейших баз, в первую очередь от нефти.

Для разрешения этой задачи необходим быстрый разгром Красной Армии, который должен быть проведен в сроки, не допускающие возможности возникновения войны на два фронта.

Я должен подчеркнуть, что в наши расчеты не входило полное завоевание России. Мероприятия в отношении России после разгрома Красной Армии намечались только в форме создания военной администрации (так называемых рейхскомиссариатов). О том, что предполагалось сделать позже, мне неизвестно, возможно, что это планировалось по линии политического руководства. По крайней мере, я знаю, что при разработке планов войны на Западе немецкое командование и политическое руководство никогда не задавались определенными политическими формами, которые должны были быть установлены в государствах после их оккупации.

Вопрос: Рассчитывало ли немецкое Верховное Командование молниеносно разгромить Красную Армию и в какие сроки?

Ответ: Безусловно мы надеялись на успех. Ни один полководец не начинает войны, если не уверен, что ее выиграет, и плох тот солдат, который не верит в победу. Другое дело, что я не мог не сознавать значительные трудности, связанные с ведением войны на Восточном фронте. Мне было ясно, что только военное поражение Красной Армии может привести к выигрышу войны. Мне трудно указать только сроки, в которые планировалось проведение кампании, однако, можно сказать, что приблизительно мы рассчитывали закончить операции на востоке до наступления зимы 1941 года.

До этого времени немецкие вооруженные силы должны были уничтожить сухопутную армию Советского Союза (которую мы оценивали в двести — двести пятьдесят дивизий), его ВВС и флот, выйдя на указанный выше стратегический рубеж.

Вопрос: Какие военно-дипломатические мероприятия были проведены в ходе подготовки к войне?

Ответ: Из предполагавшихся союзников Германии в войне против Советского Союза заранее были поставлены в известность о военных мероприятиях подготовительного характера только Румыния и Финляндия.

Румыния была поставлена в известность по военной линии, в силу необходимости обеспечения прохода немецких войск через страну, а также усиления немецких учебных гарнизонов.

О предполагающейся войне против Советского Союза было также заявлено начальнику Генштаба финской армии генералу Хейнрихсу, причем это было сделано в крайне осторожной форме.

Генерал Хейнрихс отметил, что он положительно относится к намерениям Германии и доложит маршалу Маннергейму об этих намерениях и своей положительной оценке.

С Италией никаких военных переговоров до начала войны не велось. Я не исключаю возможности извещения Ита-

лии дипломатическим путем во время переговоров Риббентропа с Муссолини. Следует указать, что военно-политические переговоры Германии с Италией не носили характера требований, а наоборот,— сам Муссолини как в 1941, так и в 1942 году предлагал свои войска для посылки на Восточный фронт (сначала горнострелковый корпус, затем 8-ю армию).

Военных переговоров с Японией не велось. Правда, мы постоянно получали от японского Генштаба информацию о состоянии русской дальневосточной армии.

Вопрос: Когда Вам как начальнику Генштаба стало ясно, что война для Германии проиграна?

Ответ: Оценивая обстановку самым грубым образом, я могу сказать, что этот факт стал для меня ясным к лету 1944 года.

Однако понимание этого факта пришло не сразу, а через ряд фаз, соответственно развитию положения на фронтах. Кроме того, я должен оговорить, что для меня лично это понимание выражалось в формуле, что Германия не может выиграть войну военным путем. Вы понимаете, что начальник Генштаба страны, которая продолжает вести войну, не может придерживаться мнения, что война будет проиграна. Он может предполагать, что война не может быть выиграна.

С лета 1944 года я понял, что военные уже сказали свое слово и не могут оказать решающего воздействия — дело оставалось за политиками.

Необходимо учитывать, что даже в 1944—1945 годах военно-экономическое положение Германии и положение с людскими ресурсами не были катастрофическими. Производство вооружения, танков, самолетов сохранялось на том фактическом уровне, который позволял поддерживать армию в нормальном состоянии. Воздушные бомбардировщики выводили отдельные предприятия из строя, однако их удавалось быстро восстанавливать.

Можно сказать, что военно-экономическое положение Германии стало безнадежным только к концу 1944 года, а положение с людскими ресурсами — к концу января 1945 года. Относительно внешнеполитического положения Германии я почти ничего сказать не могу, так как последнее время в дипломатических переговорах не участвовал.

Начиная с лета 1944 года, Германия вела войну за выигрыш времени в ожидании тех событий, которые должны были случиться, но которые не случились. Большие надежды возлагались также на наступление в Арденнах, которое должно было возвратить Германии линию Зигфрида и обеспечить стабилизацию Западного фронта.

Вопрос: На какие реальные военные и политические факторы рассчитывала Германия, ведя войну за выигрыш времени?

Ответ: На этот вопрос ответить очень трудно. В войне участвовало много государств, различные армии, различные флоты, различные полководцы, в любое время могли возникнуть совершенно неожиданные изменения в обстановке в результате комбинации этих различных сил. Эти неожиданные события нельзя предсказать, но они могут оказать решающее влияние на всю военную обстановку.

О политических расчетах фюрера я не могу ничего сказать, ибо он в последнее время очень резко отделял все военное от политического.

Вопрос: В чем же заключался смысл сопротивления, которое продолжала оказывать Германия?

Ответ: Как я уже сказал, это была затяжка в ожидании политических событий и частично в ожидании улучшения в военной обстановке. Я уверен, что если бы со стороны союзников в свое время были предложены другие условия, чем требование безоговорочной капитуляции, то Германия прекратила бы сопротивление гораздо раньше. Однако других предложений не поступало, и нам оставалось, как честным солдатам, только биться до последней возможности. Я не считаю то положение, в котором очутилась сейчас Германия, хуже того, чем если бы она капитулировала раньше.

Я спрашивал у фюрера: имеются ли возможности ведения дипломатических переговоров с союзниками и установлены ли какие-либо политические связи? Гитлер либо давал резко отрицательный ответ, либо вообще не отвечал на подобные вопросы.

Вопрос: Как изменялась в Вашей оценке стратегическая и оперативная обстановка на Восточном фронте и какова была Ваша оценка военных перспектив Германии на различных этапах войны?

Ответ: Сосредоточение немецкой армии в районах, граничащих с областью государственных интересов СССР, началось нами непосредственно после окончания французской кампании, ибо к этому времени в восточных районах у нас было только 5-7 дивизий. Основными районами сосредоточения явилась Восточная Пруссия и Верхняя Силезия. Это сосредоточение усиливалось по мере подтягивания русскими войск в приграничные районы.

Нельзя сказать точно, что именно к лету 1941 года немецкая армия была полностью готова к войне. В известной мере армия всегда готова к войне и также всегда не готова к войне. Например, к ведению полноценной подводной войны Германия стала готовой только к 1945 году.

План кампании 1941 года состоял примерно в следующем: три группы армий, усиленные мощными танковыми соединениями, наносят одновременный удар по Красной Армии, постепенно сосредоточивая свои усилия на флангах группировки, имея главной целью на севере — Ленинград и на юге — Донбасс и ворота к Кавказу. Предполагалось, что силы центральной группы армий будут использованы для последующего парализования ударов на флангах. После сражения на границе и прорыва всей линии обороны Красной Армии немецкие войска должны были окружить и полностью уничтожить главные силы Красной Армии в Белоруссии и на Украине, не допустив их отхода на Москву. Как я указывал выше, кампания 1941 года должна была закончиться к началу зимы 1941 года, ибо мы себе прекрасно представляли все затруднения, связанные с осенней распутицей и зимними морозами в России. Если оценивать силы трех групп армий, имевшихся в нашем распоряжении к началу войны, то я могу сказать, что они не были слишком велики, однако, по нашей оценке, имели достаточную возможность для достижения решающего успеха. Количество дивизий я назвать затрудняюсь.

Я первоначально разделял общее мнение, что главная битва, которая может решить военно-экономическую борьбу России, должна разыграться на полях Донбасса, однако впоследствии это мнение подвергалось изменениям и, в первую очередь, под влиянием успешного завершения сражения под Брянском и Вязьмой.

По докладу наших разведывательных органов, а также по общей оценке всех командующих и руководящих лиц Генштаба, положение Красной Армии к октябрю 1941 года представлялось следующим образом: в сражении на границах Советского Союза были разбиты главные силы Красной Армии; в основных сражениях в Белоруссии и на Украине немецкие войска разгромили и уничтожили основные резервы Красной Армии; Красная Армия более не располагает оперативными и стратегическими резервами, которые могли бы оказать серьезное сопротивление дальнейшему наступлению всех трех групп армий.

Положение своих войск сводилось к следующему: южная группа армий, после проведенных боев, была значительно истощена и не обладала достаточной силой, чтобы полностью овладеть Донбассом. Все более усиливалось возникшее после форсирования Днепра стремление перенести удары в центр.

В отношении дальнейшего наступления центральной группы армий на Москву создались следующие разногласия:

Командование центральной группы армий и руководство Генерального Штаба сухопутной армии (Браухич, Гальдер) требовали сосредоточить наиболее сильный кулак в центре, продолжать наступление на Москву, обходя ее, главным образом, с севера, и этим наступлением решить исход войны.

Я и, первое время, фюрер придерживались мнения, что необходимо стабилизировать центральный участок на наиболее выгодных позициях и за его счет усилить фланги для решения основных военных задач и более широкого и глубокого обхода центральной группировки Красной Армии.

Руководство Генштаба сухопутной армии, учитывая блестящий успех окружения под Брянском и Вязьмой, убеждало фюрера, что операция под Москвой имеет стопроцентную перспективу на успех. Фюрер поддался их аргументам и согласился на наступление на Москву.

Дальнейшее развитие событий показало ошибочность этого решения. Следствием провала под Москвой и отхода немецких войск явилось снятие Браухича с поста Главнокомандующего сухопутной армией. Насколько я сейчас могу вспомнить, снятие Браухича объяснялось следующим.

Фюрер решительно воспротестовал против того, что Браухич после контрудара Красной Армии предпринял планомерный отход, заранее запланировав его по рубежам. Боясь отрыва центральной группы армий от северной группы, он слишком поспешно начал отводить 9-ю армию.

Фюрер считал, что Браухич нарушил принципиальное требование — не отходить ни шагу назад с завоеванной территории, так как он знал, что значит отдавать противнику первоначально захваченные районы. Гитлер особо резко восстал против иллюзий «тыловых рубежей», которые создавались при планировании отхода.

Фюрер, а также и я, считали, что Браухич недооценил силу немецких войск. 4-я армия и 3-я танковая группа вообще не были разбиты, а 2-я танковая группа полностью сохранила свою мощь, и поспешный отход не вызывался необходимостью.

Кроме того, Гитлер учитывал, как привходящее обстоятельство, болезнь Браухича и его возраст.

В отставке Браухича не играли никакой роли политические причины. Также не обоснованы мнения, что Браухич якобы был против наступления на Москву и дальнейшего продвижения в глубь России.

В результате кампании 1941 года стало ясно, что возникает момент известного равновесия сил между немецкими и советскими войсками. Русское контрна-

ступление, бывшее для Верховного командования полностью неожиданным, показало, что мы глубоко просчитались в оценке резервов Красной Армии. Тем более ясно, что Красная Армия максимально использует зимнюю стабилизацию фронта для дальнейшего усиления, пополнения и подготовки новых резервов. Молниеносно выиграть войну не удалось, однако это ни в коем случае не отнимало у нас надежды новым наступлением достигнуть военной победы. При составлении плана кампании 1942 года мы руководствовались следующими установками:

войска Восточного фронта более не в силах наступать на всем протяжении фронта, как это было в 1941 году;

наступление должно ограничиться одним участком фронта, а именно южным;

цель наступления: полностью выключить Донбасс из военно-экономического баланса России, отрезать подвоз нефти по Волге и захватить главные базы нефтяного снабжения, которые, по нашей оценке, находились в Майкопе и Грозном.

Выход на Волгу не планировался сразу на широком участке, предполагалось выйти в одном из мест, чтобы в дальнейшем захватить стратегически важный центр — Сталинград. В дальнейшем предполагалось — в случае успеха и изоляции Москвы от Юга — предпринять поворот крупными силами к Северу (при том условии, что наши союзники взяли бы на себя Дон). Я затрудняюсь назвать какие-либо сроки для проведения этой операции. Вся операция на южном участке должна была закончиться крупным окружением всей юго-западной и южной групп Красной Армии, которые охватывались нашими группами армии «А» и «Б».

Необходимо указать, что в самый последний момент перед наступлением на Восток стало известно, что один из офицеров Генерального Штаба, везший оперативные директивы на фронт, пропал без вести и, видимо, попал в руки русским. Кроме того, в одной из английских газет проскользнула заметка о планах немецкого командования, в которой упоминались точные выражения оперативной директивы Генштаба. Мы ожидали контрмер со стороны русских и впоследствии были очень удивлены, что наступление на Воронеж сравнительно быстро увенчалось успехом.

После прорыва линии обороны Красной Армии группа «Б», не имея задачи обязательно овладеть Воронежем, должна была резко повернуть на юг и вдоль Дона стремительно продвигаться к Сталинграду. Эта операция полностью удалась, и после прорыва складывалось впечатление, что перед нами почти совсем не осталось противника. Моим личным заключением было: Красная Армия уходит на юго-восток, уводя главные силы.

Некоторые из военных руководителей, в частности командующий группой армий «Б» генерал-фельдмаршал Вейхс, предлагали немедленно форсировать Дон и поворачивать на север, не доходя до Сталинграда. Это мнение не встретило одобрения фюрера, так как оно отвлекало нас от разрешения главной цели — отрезания Москвы от Кавказа и, кроме того, требовало сил, которыми мы не располагали.

Вслед за этим началось сражение за Сталинград. На нем базировались главные стратегические расчеты обеих сторон. Этим и объясняется тот факт, что мы связали в городе слишком много сил и, надо признаться, что Красной Армии удалось достигнуть разрешения этой военной задачи. Здесь еще надо признать, что мы недооценили силу Красной Армии под Сталинградом, иначе бы мы не втягивали в город одну дивизию за другой, ослабляя фронт на Дону. Вдобавок ко всем затруднениям, Антонеску потребовал выделения самостоятельного участка для румынской армии, что затем привело к катастрофическим результатам.

Сейчас можно сказать, что немецкое командование не рассчитало ни сил, ни средств, ни времени, ни ударных способностей войск. Однако в то время Сталинград был настолько соблазнительной целью, что казалось невозможным отказаться от него. Думали, что если взять еще одну дивизию, еще один артиллерийский полк Резерва Главного Командования, еще один саперный батальон, еще один минометный дивизион, еще одну артиллерийскую батарею, то город вот-вот будет в наших руках. В соединении с недооценкой и незнанием противника все это привело к сталинградскому окружению.

Если бы решение о судьбе 6-й армии было в моих руках, то я бы ушел из Сталинграда. Однако надо сказать, что сейчас очень трудно оценивать свои собственные поступки, ибо мне только сейчас видно, какими результатами закончились наши планы.

Предложения об уходе из Сталинграда были самым решительным образом отклонены фюрером. Первоначально очень большие надежды возлагались на контрнаступление Манштейна и помощь ВВС. Но после неудачи Манштейна все были едины во мнении, что необходимо максимально быстро вывести войска с Кавказа, что и удалось. Из кампании 1942 года и битвы под Сталинградом и сделал следующие выводы:

потеря 6-й армии исключительно тяжело отзовется на состоянии Восточного фронта;

однако войну на Восточном фронте нельзя считать проигранной, даже если она не будет в скором времени увенчана военной победой;

нельзя возлагать никаких военных надежд на союзные государства (Румынию, Венгрию, Италию и другие).

Тем не менее, к моменту начала планирования операции на Восточном фронте на лето 1943 года войскам Восточного фронта удалось полностью пополниться, обеспечить свое снабжение. Правда, очень резко ощущался недостаток опытных военных кадров.

План 1943 года предусматривал: уничтожение Курского выступа и выпрямление фронта на этом участке; в случае особого успеха возможность продвигаться на северо-восток для того, чтобы перерезать железные дороги, ведущие от Москвы на юг (я должен оговорить, что это предположение высказывалось самым неопределенным образом); в дальнейшем — предпринять аналогичную наступательную операцию ограниченного характера под Ленинградом. Командование группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Клюге) и руководство Генерального Штаба сухопутной армии (генерал Цейтцлер) особо настаивали на проведении Курской операции, не проявляя ни малейшего сомнения в ее успехе. В отношении себя я должен указать, что в это время не принимал участия в разработке планов и непосредственном руководстве Восточным фронтом, и поэтому моя осведомленность в вопросах советско-германского фронта в период 1943—1945 годов недостаточна.

Фюрер чувствовал себя неуверенным в необходимости операции и ее успехе. Однако он поддался заверениям Генштаба сухопутной армии.

Было ясно, что для Красной Армии не составляет тайны наше намерение ликвидировать курскую группировку и что она готовится к нашему удару. Поэтому фюрер предлагал, кроме ударов с севера и юга, нанести дополнительный удар в строго восточном направлении на Курск. Цейтцлер решительно протестовал, считая невозможным так расчленять силы по различным направлениям, и ему опять удалось убедить фюрера.

Колебания и неуверенность самого Гитлера впоследствии сказались на проведении операции, в которой Манштейну и Моделю не хватило ни сил, ни решительности для достижения успеха.

Кроме того, мы ни в коем случае не ожидали, что Красная Армия не только готова к отражению нашего удара, но и сама обладает достаточными резервами, чтобы перейти в мощное наступление. Следствием этого явился отход на всем центральном участке Восточного фронта.

Подводя итоги боев 1943 года, я должен сказать, что они явились вторым серьезным предупреждением для немецкой армии. Я оценил их так: война для Германии ни в коем случае не проиграна. Однако мы больше не можем вести наступательных операций большого масштаба на Востоке и должны перейти к обороне. Необходимо выиграть время для восполнения потерь, понесенных армией.

Кроме того, я сделал для себя вывод, что на Восточном фронте войска не только не могут устойчиво обороняться, но даже не могут приостановить наступление.

Вторжение союзников в Нормандию поставило нас перед фактом войны на два фронта (итальянскую кампанию англо-американских войск я не считал за второй фронт). Мы ожидали вторжения на Бретань или в районе Шербура, так как там находятся наиболее выгодные базы для высадки. Союзники застали нас врасплох, высадившись на побережье Марианфиль, где мы их совершенно не ожидали. Однако мое личное мнение, что успех союзников исключительно объясняется превосходством в воздухе, которое полностью нарушило наши пути подвоза. В иных условиях немецкие войска сумели бы сбросить англо-американские части в Ла-Манш.

Итог 1944 года для меня: войну можно выиграть только политикой. Военного выигрыша достигнуть нельзя.

В ходе операции 1945 года я могу указать несколько попыток Верховного Главнокомандования достигнуть перелома в боях.

Самая серьезная попытка — зимнее наступление в Арденнах, которое имело своей целью форсирование реки Маас между Латтианом и Намюром и в случае успеха — дальнейшее продвижение до Антверпена. Мы самым серьезным образом рассчитывали на успех, ибо знали, что у союзников во Франции 80—86 дивизий, а на участках предполагаемого прорыва всего лишь три американские дивизии. Поражение этого наступления было одновременно сопряжено с истощением наших людских резервов.

В феврале — марте 1945 года предполагалось провести контроперацию против войск, наступавших на Берлин, использовав для этого Померанский плацдарм. Планировалось, что, прикрывшись в районе Грауденц, войска группы армий «Висла» прорвут русский фронт и, выйдя в долину реки Нотец (Нетце) и на Варту, с тыла выйдут на Кюстрин. Одновременно должен был производиться дополнительный удар из района Штеттина. Этот план остался невыполнен, ибо негде было найти войск, а их переброска требовала долгого времени. Известное значение имело то, что группой армий «Висла» тогда командовал Гиммлер, не имевший ни малейшего представления о том, как следует командовать войсками.

Следующая попытка — контрнаступление 6-й танковой армии под Будапештом. Следует указать, что эта идея лично принадлежит фюреру, который считал: в настоящих условиях решающее значение имеют 70 тысяч тонн нефти в Надьканижа и обеспечение Вены и Австрии. Он указывал, что можно скорее пойти на сдачу Берлина, чем на потерю венгерской нефти и Австрии. Исходя из этих соображений, Гитлер приказал произвести переброску 6-й танковой армии с западного фронта в район Будапешта. Эта переброска продолжалась 7-8 недель, ибо была затруднена полным разрушением транспортной сети в Германии.

После неудачи, после всех этих попыток поражение Германии стало абсолютно ясным. Только солдатский долг повиновения человеку, которому принесена присяга, заставил меня и всех нас сражаться до последнего.

Вопрос: На основании чего немецкое командование продолжало оставлять войска в Курляндии и Италии, не перебрасывая их на активные участки Восточного фронта?

Ответ: Вопрос о Курляндии и Италии являлся предметом неоднократного рассмотрения и значительных разногласий в руководящих сферах.

По вопросу о Курляндской группе войск фюрер считал, что они постоянно привлекают к себе от 50 до 60 русских дивизий. Если увести войска, то на каждую немецкую дивизию придется по 3—4 русских, что будет очень нежелательно.

Генерал-полковник Гудериан придерживался мнения, что необходимо постоянно выводить войска из Курляндии — одну дивизию за другой. Генерал-полковник Рендулич предлагал абсолютно фантастический план — прорваться в Восточную Пруссию.

Необходимо учитывать, что мы испытывали крупные затруднения с морским транспортом. На перевозку дивизии из Либавы в Германию требовалось минимум 12 дней, а для полного оборота кораблей — 3 недели.

Грубым расчетом на вывоз всей группы армий требовалось не менее полугода, если еще учитывать воздействие со стороны противника, который, безусловно, усилил бы воздушные атаки, заметив массовый вывоз войск.

Поэтому фюрер решил: продолжать вывоз техники, материальной части, конского состава и небольшого количества войск, оставляя главные силы для сковывания русских.

В отношении Италии мы считали необходимым оставить войска в северной ее части по следующим соображениям.

Северная Италия — богатый сельскохозяйственный и промышленный район (орудийные, автомобильные заводы и т. д.). Для использования местной рабочей силы мы не должны были ее вывозить в Германию и тратить средства на ее размещение и питание.

Пока наши войска находились в Северной Италии, союзники базировались на аэродромах в районе Рима. Уход из Италии повлек бы за собой резкое приближение союзных баз и усиление воздушных налетов на Германию.

Если бы мы ушли на горные границы с Францией, Италией и на старую австрийскую границу, то это бы не освободило много войск, потребовав 16 дивизий.

Решающим соображением в вопросе сохранения Северной Италии явилось наличие наших войск в Югославии. Пока немецкие войска продолжали оставаться в Югославии или находиться в движении из Югославии на северо-запад, мы не могли уйти из Италии, ибо тем самым мы обрекли бы их на гибель.

Принципиально вопрос об оставлении Италии ставился. Уже к осени 1943 года по отрогам Альп была готова оборонительная позиция, на которую могли отойти войска. Группе войск в Югославии был отдан приказ, предупреждающий о возможности быстрого отхода, но развитие событий на Балканах замедляло это движение и соответственно сделало невозможным уход из Италии.

Вопрос: Расскажите о Вашей миссии в Финляндию в 1944 году и Ваших переговорах с руководителями финского правительства.

Ответ: К июню 1944 года перед нами стала определенная угроза возможного выхода Финляндии из войны, что совершенно обнажило бы наш северный фланг. С целью предупредить события в Финляндию выехал Риббентроп, который достиг в ходе переговоров с Рюти соглашения о том, что Финляндия не выйдет из войны без предварительного контакта с Германией. Финляндии было обещано подкрепление в составе одной дивизии и двух дивизионов штурмовых орудий, которые перебрасывались через Ревель.

Мой визит в Финляндию имел целью провести переговоры с начальником Генштаба финской армии и одновременно с Маннергеймом. Во время совещания по военным вопросам я сообщил Хейнрихсу об обстановке в районе северной группы армий и заверил его, что будут приняты все меры, чтобы удержать рубеж по р. Нарва. Я предложил Маннергейму, чтобы авторитетная делегация финского генштаба посетила штаб северной группы армий и ознакомилась с обстановкой, а также обещал, что, по мере потребности, Германия будет продолжать перебрасывать подкрепления на финский фронт.

Во время личных переговоров Маннергейм заявил мне, что настроение в Финляндии упало, народ хочет мира и стремится возможно скорее закончить войну. Он дал мне понять, что договор с Рюти не был ратифицирован парламентом, а он, как президент, несет ответственность перед народом и поэтому не связан обязательствами, которые принял Рюти. Далее Маннергейм заявил, что он связан с судьбой своего народа и в решающий момент будет зависеть от него. Я подчеркнул, что Финляндия может быть уверена в нашей поддержке, ибо мы имеем в Финляндии интересы, не только связанные с Финляндией, но, главным образом, свои собственные интересы. Маннергейм не дал мне никаких обещаний.

При возвращении в Германию я немедленно доложил фюреру о заявлении Маннергейма, на что он ответил: «Я этого ожидал. Когда солдаты начинают делать политику, ничего хорошего не получается. Маннергейм превосходный солдат, но плохой политик».

Я со своей стороны сказал, что полагаю, что финны пойдут при малейшей возможности на возобновление переговоров с Советским Союзом. С этим мнением Гитлер согласился.

Как прямое следствие этого визита мы были вынуждены отдать командующему немецкими войсками в Финляндии генерал-полковнику Рендуличу приказание немедленно начинать планирование ухода из страны, что впоследствии было осуществлено с полным успехом, несмотря на активное противодействие финских войск. Из Финляндии удалось увести 90 процентов немецких войск.

Вопрос: Какими разведывательными сведениями располагало немецкое командование о Советском Союзе до войны и в ходе ее и из каких источников получалась информация?

Ответ: До войны мы имели очень скудные сведения о Советском Союзе и Красной Армии, полученные от нашего атташе. В ходе войны данные, поступившие от нашей агентуры, касались только тактической зоны. Мы ни разу не получали сведений, оказавших бы серьезное воздействие на развитие военных операций. Например, нам так и не удалось составить картину, насколько повлияла потеря Донбасса на общий баланс военного хозяйства СССР.

Общее руководство военной разведкой осуществлял адмирал Канарис, который рассылал получаемые от агентуры материалы по разведорганам сухопутной армии, ВВС и флота.

О постановке разведывательной службы я имею самую поверхностную информацию. Могу сказать, что в мирное время мы располагали весьма ограниченной разведслужбой. Во время войны в нейтральных странах мы имели нелегальные разведывательные центры (в Италии, Швеции, Турции и Южной Америке). Подробностями работы я не интересовался, положившись полностью на адмирала Канариса. Я никогда не вмешивался в его дела...

Вопрос: Как Вы расцениваете военные способности Гитлера?

Ответ: Он умел находить правильные решения в оперативно-стратегических вопросах. Совершенно интуитивно он ориентировался в самой запутанной обстановке, находя правильный выход из нее. Несмотря на это, ему не хватало практических знаний в вопросах непосредственного осуществления операций. Прямым следствием явилось то, что он, как правило, слишком поздно принимал все решения, ибо никогда не мог правильно оценить время, разделяющее принятие оперативного решения от его воплощения в жизнь.

Вопрос: Какие меры принимались для выезда Гитлера и других руководителей правительства и партии из Берлина?

Ответ: Как я указал раньше, Гитлер самым решительным образом отказался выехать из Берлина. Единственно, что я могу сообщить, что 28 апреля мною, во время нахождения в Рейнфельде, была получена радиограмма из Берлина с требованием выделить 40—50 самолетов типа «Физелер-Шторх» или других учебных самолетов, которые должны были совершить посадку в Берлине. Для руководства этой операцией на самолете из Берлина прибыл ко мне генерал-фельдмаршал Штер фон Грейм. Самолеты были выделены, часть из них имела назначение — остров Пфауенинзель, на реке Хавель. Результаты операции мне неизвестны, ибо я выехал с командного пункта.

Я не думаю, чтобы в последние дни и часы Гитлер мог вылететь из Берлина. Единственной посадочной площадкой оставался отрезок Шарлоттенбургершоссе между колонной Победы и Бранденбургскими воротами. Я запрашивал разрешения у Берлина вылететь на доклад к фюреру с посадкой на указанной площадке, на что последовало запрещение, ибо площадка полностью простреливалась русской артиллерией. О судьбе прочих лиц, находящихся вместе с Гитлером в Берлине, мне ничего не известно.

Вопрос: Что Вам известно о мероприятиях национал-социалистской партии по сохранению своих кадров в условиях оккупации Германии и созданию нелегальных организаций?

Ответ: Относительно мероприятий партии по сохранению своих кадров и перестройке работы в нелегальных условиях мне абсолютно ничего не известно.

По вопросу нелегальных организаций я знаю только о создании организации «Вервольф», о чем я узнал по радио в се-

редине апреля сего года. Точно день не помню.

До момента объявления по радио относительно создания этой организации мне никто ничего не говорил. Когда я попытался спросить у фюрера, что это за организация, он мне грубо ответил: «Это не Ваше дело». Я полагаю, что инициатива создания «Вервольф» принадлежит партии или «СС», по крайней мере, я могу ручаться, что со стороны Генштаба вооруженных сил не принималось никаких мер по созданию или обеспечению данной организации.

Относительно задач «Вервольф» я предполагаю, что они были аналогичными тем задачам, которые имели партизанские отряды, действовавшие в России или на Балканах. Очевидно, предполагалось снабжать их оружием с воздуха. В частности, во Франции мы имели поразительный пример того, как в разоруженной стране возникают отряды, имевшие все виды оружия — тысячи винтовок, автоматов, пулеметов, пистолетов, гранат. Однако это мои предположения, ничего определенного мне не известно. Каких-либо складов по линии армии для организации «Вервольф» не создавалось. Я считаю, что в момент объявления о создании движения «Вервольф» никакой организации не имелось, и воззвание преследовало пропагандистские цели возбудить в народе силу сопротивления, не имея какого-либо организационного центра. Опыт организации фольксштурма достаточно нагляден, он показывает неудачу попытки создания массовых организаций среди народа, тем более, когда это предпринимается партией без взаимодействия с органами вооруженных сил.

Одним из мероприятий массового характера, которое предпринималось в последний период, можно считать создание групп и отрядов истребительных типов, для которых преимущественно использовалась гитлеровская молодежь, но это мероприятие носило легальный характер, так как танкоистребительные отряды действовали совместно с регулярными войсками.

Другими данными по вопросу создания каких-либо нелегальных организаций я не располагаю, однако не исключена возможность, что они создавались по линии партии или «СС».

Вопрос: Что Вам известно о так называемой армии Власова и какую роль предназначало для нее немецкое командование?

Ответ: Насколько мне известно, генерал Власов был взят в плен в р-не 18-й армии. Армейская рота пропаганды начала распространять листовки за его подписью, откуда и происходит вся история с власовскими войсками. Я точно не помню, но мне кажется, что первоначально Власова заметило министерство иностранных дел, затем передало Розенбергу, который, в свою очередь, передал его Гиммлеру.

Первоначально серьезное внимание уделил Власову весной 1943 года Генеральный штаб сухопутной армии, который предложил сформировать и вооружить русские части под командованием генерала Власова. Секретарь имперской канцелярии министр Ламмерс специальным письмом обратил внимание фюрера на эту попытку. Гитлер самым решительным образом запретил все мероприятия по формированию вооруженных русских частей и отдал мне приказание проследить за выполнением его директивы. После этого Власов был взят мною под домашний арест и содержался в районе Берлина. Гиммлер также выступал против формирования русских частей под эгидой Генштаба сухопутной армии.

В октябре — ноябре 1944 года Гиммлер изменил свое отношение к Власову. Он специально посетил меня, чтобы узнать, где находится Власов, и получить возможность переговорить с ним. Затем совместно с генерал-инспектором добровольческих соединений Генштаба сухопутной армии генералом Кестрингом он предложил мне доложить фюреру о необходимости формирования русских частей и широкого использования генерала Власова. На это предложение я ответил решительным отказом.

В дальнейшем Гиммлеру удалось получить разрешение фюрера на создание русской дивизии, которая, насколько я знаю, была брошена в бой в апреле 1945 году в районе южнее Франкфурта-на-Одере.

Верховное Главнокомандование никогда не имело никаких серьезных расчетов на использование власовских войск. Фюрер также самым резким образом отвергал мысль о формировании армий Власова и решительно отказался принять его. Покровительство Власову оказывал только Гиммлер и «СС».

Вопрос: Каково Ваше мнение о бесчисленных зверствах по отношению к гражданскому населению со стороны немецких войск на территории Советского Союза?

Ответ: Еще когда война велась в Польше, то против немецких офицеров совершались невиданные зверства, во Франции то же самое.

Я не могу отрицать, что в отдельных местах немецкие солдаты совершали зверства по отношению к гражданскому населению и военнопленным. Однако я утверждаю, что Верховное Командование не только не давало таких приказов, но, наоборот, сурово наказывало всех виновников. В этом вы можете убедиться, просмотрев дела в военном трибунале.

Вопрос: С кем Вы были наиболее тесно связаны среди руководящих, военных, партийных и правительственных деятелей?

Ответ: В политических и партийных кругах у меня друзей не было. Среди государственных деятелей наиболее близок по службе мне был имперский министр Ламмерс, затем министр финансов Шверин фон Крозигк.

Среди военных мне наиболее близок был генерал-полковник Йодль, а также в свое время генерал-полковник Фриче, генерал-фельдмаршал Рейхенау и Браухич. Моими личными друзьями были генералы Бризен и Вольф, которые погибли во время войны.

Вопрос: Принимал ли кто-либо из лиц Вашего окружения участие в заговоре 20 июля и как Вы относились к заговору?

Ответ: Никто из лиц моего окружения не принимал участие в заговоре 20 июля, за исключением одного офицера, который краткое время служил в Генштабе под моим руководством. Я с ним никаких личных отношений не имел.

Заговор 20 июля я считаю тяжелым преступлением, которое только может совершить солдат, а именно: преступление против человека, которому он присягал.

Вопрос: Известны ли Вам лица, занимавшие видное положение в гитлеровском правительстве, которые в настоящее время скрываются?

Ответ: В настоящее время я не знаю, кто находится в плену, а кто скрывается: в частности, мне неизвестно местонахождение министра продовольствия Баллса, министра юстиции Тирака, министра почты Онезорге. Из лиц военного руководства мне неизвестно, где генерал-полковник Рендулич, генерал-фельдмаршал Шернер.

Однако я не думаю, чтобы генералы скрывались от военных властей.

Вопрос: Какую роль Вы играли в период захвата Гитлером власти?

Ответ: В это время я был начальником организационного отдела штаба рейхсвера, а с начала ноября 1932 года по январь 1935 года болел. Все события произошли во время моей болезни. В тот период я вообще не принимал никакого участия в политической жизни. Моим назначением на должность начальника генерального штаба я обязан генерал-полковнику Бломбергу, который очень хорошо ко мне относился.

Вопрос: Что Вам известно о судьбе Геббельса?

Ответ: Насколько я знаю, Геббельс до последнего времени находился в Берлине. Я его неоднократно видел в бункере Гитлера. Он сам жил не в имперской канцелярии, а в своем доме у Бранденбургских ворот, под которым имелось хорошо оборудованное бомбоубежище. О судьбе Геббельса точных сведений я не имею.

Вопрос: Что Вам известно о судьбе Гиммлера?

Ответ: Я встретился с Гиммлером в апреле 1945 года, когда был вынужден уходить от русских войск в северо-западном направлении и искал подходящее место для своего командного пункта. Примерно 29 апреля я прибыл в имение Добин в районе Варен, так как мой начальник связи подобрал это место как располагавшее проводной и радиосвязью. В Добине я встретил Гиммлера, который собирался выезжать в район Любека. Гиммлер сказал мне, что он собирается, в случае безвыходного положения, сдаться в плен союзникам.

Впоследствии из прессы и по рассказам я узнал, что Гиммлер был задержан англичанами и отравился до допроса, после чего его похоронили на северной окраине города Лунсбурга.

Вопрос: Где находятся в настоящее время государственные военные архивы Германии?

Ответ: Местонахождение государственных архивов мне неизвестно. Военный архив ранее располагался в Потсдаме. В феврале — марте 1945 года я отдал приказание о вывозе архива в Тюрингию, в район города Ордруфа. Были ли они вывезены куда-нибудь дальше, сказать не могу.

Вступительная статья, подготовка текста и публикация кандидата исторических наук
Виктора ПОЛТУХОВСКОГО

Ленинградский альбом

Анатолий ПЕТРОВ

ЛЬВЫ СТЕРЕГУТ ЛЕГЕНДУ

Да, этот город, скорее всего, легенда. Ее передают из поколения в поколение. Потому она и существует. Потому в начале каждого лета тысячи паломников устремляются на берега Невы, желая наполниться духом ее, желая лично удостовериться в том, что легенда еще не умерла. И они находят тому подтверждение, едва лишь уви-



дят и золотые шпили, и львов на фасадах, и мосты в изящном чугунном кружеве, и невероятной красоты растреллиевские, россиевские, захаровские, воронихинские творения. Находят, разумеется, не белым днем, а белою ночью. Днем им не до того.

...А белая ночь между тем уже прикоснулась к нам волшебным своим опахалом, очаровала, заворожила. И вот уже ничего «лишнего» мы не видим вокруг, все, что могло бы как-то оскорбить наши эстетические чувства своим раздражающе простецким или, быть может, провинциальным, а то и, что тут стесняться, антисанитарным видом, все это — исчезло, спряталось по темным углам.

И вот уж разведены мосты. И вот начинается чудо...

Надо ли говорить об ощущениях? Вряд ли. Говори не говори — передать их невозможно... Да и кто поверит, если, например, написать, что такими ночами на влажный асфальт загадочных улиц вступают призраки знаменитых некогда обитателей города? А это так! И движутся они непрерывной вереницей, и видится в ней множество знакомых — от сумрачного Достоевского до романтичного Блока, от безумного Германна и целеустремленного Левши до недалеких героев Зощенко. И среди всех их особо выделяются вовсе уж хорошо знакомые — монументальные фигуры, сошедшие с гранитных пьедесталов. И поступь бронзовых истуканов столь тяжка, что в зданиях содрогаются стекла и равно занявшаяся заря дробится в них и золотом осыпается на карнизы.

Так все таинственно! И так фантастично!

Однако стоит разгореться новому дню, как чары тут же спадут. Белая ночь рассеется без следа, будни обступят нас со всех сторон, оглушат шумом, завертят, закрутят в водовороте дел, очередей, суеты, давки, поисков того, чего нет и не предвидится,— так, что забудутся золотые шпили, а львиные маски на фасадах, если увидим их вдруг из толпы, случайно, мельком, на ходу, покажутся не столь симпатичными, и знаменитая фраза «львы стерегут город» прозвучит для нас совсем не так, как хотят того экскурсоводы, и мы горько отметим про себя: львы стерегут легенду... Увы!

Белым днем (не белою ночью!) город представится нам бесцветным, вылинявшим, усталым и безразличным.

Что же с ним сталось?

Мы присядем на спуске у самой невской волны и хорошо об этом подумаем. И легенда повернется к нам своею изнанкой, и город вдруг оживет, очеловечится, и мы увидим то, что мало кто видел.

Вот он, окутанный рыжими дымами, поднялся во весь свой исполинский рост, вот он склонился над водною гладью, простершейся до Кронштадта, и глянул в мутное зеркало Маркизовой лужи. И отразился в зеркале не тот образ Петербурга-щеголя и аристократа, о котором так много сказано в классической литературе, а совершенно другой — из нашего повседневного бытия, образ человека с лысиною, плохими зубами, небритого и с недобрым взглядом. Куда делись легендарное великолепие, прежний лоск и рыцарственное благородство? Кто знает...

А впрочем, знаем мы все, но только пожимаем плечами. Но что с того, что знаем? Здесь многое как-то не так, здесь многое почему-то наоборот.

Вот, например, посмотрите: на месте храма — баня, в Доме Советов — завод, в великокняжеском даорце — Совет, у ангела на портике церкви св. Петра (там, где сейчас бассейн) отобран крест, и ангел, сидя на корточках, доверчиво обнимает, словно блаженненький, воздух и глядит, глядит бедняга в безмолвствующие небеса...

Нет, это уже не легенда.

P. S. Более полугода существует Фонд возрождения Ленинграда, созданный по инициативе крупнейших фирм, научных учреждений и творческих союзов (среди основателей Фонда газета «Смена» и журнал «Нева»). Фонд имеет в Куйбышевском районном отделении Жилсоцбанка счет № 19001700465 МФО 17111.

Вернисаж «Седьмой тетради»

П. РАГОЗИН

С ГЕРАСИМОМ ЭФРОСОМ — ВО ВРЕМЕНА НЭПА

Давно в «Седьмой тетради» вынашивалась идея — показать читателям карикатуру в ее развитии, а вернее, с помощью карикатуры, этого «чудесного и странного» вида изобразительного искусства, развернуть наглядную и довольно своеобразную историческую ретроспективу нашей общественной жизни. Мы много думали и об «антологии карикатуры», и о «вернисажах» и перебирали имена: Боклевский, Агин, Степанов, Моор, Дени, Бродаты, и произносили вслух звучные названия сатирических изданий: «Искра», «Сатирикон», «Будильник», «Бегемот», «Пушка», «Ревизор», «Лапоть», «Подзатыльник», и листали сборники сатирических рисунков, но... что нам было делать, если с местом в журнале туго!

А вот сегодня, несмотря ни на что, взяли да и приняли эпохальное решение: начнем! И выбрали карикатуриста «в самом лучшем, высоком смысле этого слова», карикатуриста, по компетентному мнению Бор. Ефимова, с типичным для «ленинградской школы» тонким рисунком. Это — Герасим Эфрос.

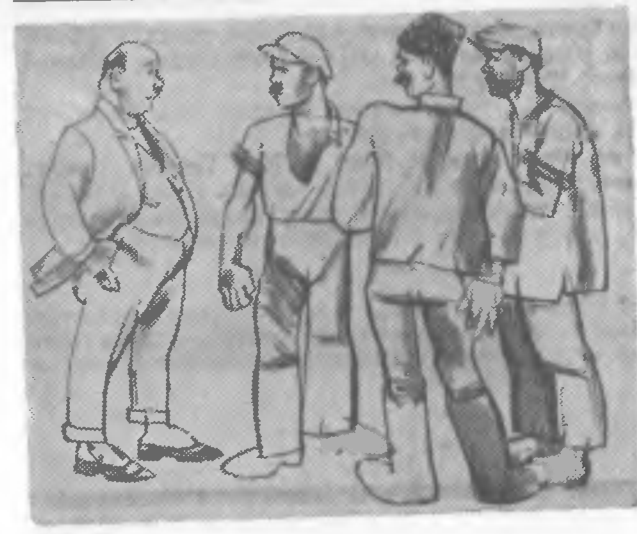
Он родился в 1902 году. С детства проявил страсть к рисованию и, заметим при этом,— незаурядные способности. Мальчика показали И. Е. Репину — специально возили в Куоккалу. Репин работы юного дарования похвалил.

В Академии художеств Герасим учился у К. Петрова-Водкина. Закончив живописный факультет, поступил на архитектурный. В годы учебы вместе с сокурсником и близким другом Брониславом Малаховским, будущим мастером карикатуры, начал сотрудничать в журналах «Бузотер», «Бегемот», «Красный ворон», «Смехач». Ему посчастливилось работать «в одной упряжке» с Л. Бродаты и Н. Радловым. Много позже Эфроса, уже как живописца и архитектора, пригласил в ЛИСИ Н. А. Тырса. Там Герасим Григорьевич преподавал на кафедре рисунка и живописи. С 1962 года он в том же качестве работал в пединституте им. А. И. Герцена. Скончался Эфрос в 1979 году.

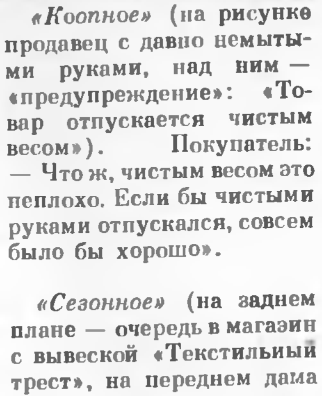
Сейчас мы словно бы постигаем заново нашу историю и нашу культуру.



Спор извозчиков



Конфликт



«Коопное» (на рисунке продавец с давно немытыми руками, над ним — «предупреждение»: «Товар отпускается чистым весом»). Покупатель: — Что ж, чистым весом это неплохо. Если бы чистыми руками отпускался, совсем было бы хорошо».

«Сезонное» (на заднем плане — очередь в магазин с вывеской «Текстильный трест», на переднем дама разговаривает с извозчиком):

— Извозчик! К концу мануфактурной очереди — тридцать копеек.

— Полтинничек положите, гражданка,— концо уж больно большой».

Точное объяснение (отец-рационализатор и его сынишка перед картиной, изображающей кентавра).

— Папа! А кто же это такой?

— Древний изобретатель, деточка. Голова человеческая, а ноги лошадиные. Чтобы по учреждениям бегать».

И Герасим Эфрос вполне может служить нам гидом во время экскурсии по далеким 20—30-м годам.

Если рядом с рисунками Г. Эфроса держать еще и рассказы М. Зощенко и последовательно все это изучать, то представление о той эпохе нэпманов, кооперативов, арендаторов можно получить довольно объемное, живое и полное. И возникнут при этом некие ассоциации, нам захочется провести параллели, и мы их проведем, и... разглядим в персонажах замечательного художника, к тому же «озвученных» рассказами прекрасного писателя,— самих себя, но только несколько, так сказать, менее «благородных»: не та одежда, не те речи, не совсем те интересы. Но мы с удивлением обнаружим, что находимся



Шпана с Обводного

все еще в начале нашего трудного пути.

Скверная бумага и недостаточно хорошая печать не позволяют воспроизвести наиболее типичные для 20—30-х годов карикатуры — теряются при воспроизведении многие мелкие, но важные для «чтения» сатирических рисунков штрихи. Демонстрируем ряд журнальных работ — крупный их план дает возможность увидеть главное, характерное. Ну, а о параллелях можно составить суждение по подрисуночным подписям.

Думается, экскурсия с Эфросом полезна, она, кроме всего прочего, позволяет взглянуть «оттуда» на наше сегодня и сделать вывод, столь же оптимистичный, сколь и пессимистичный: мы здорово изменились, но мало продвинулись вперед.



На рынок



Рабфаковцы 20-х годов



Есть такой анекдот...

«ТАК ЧТО ЖЕ ОНИ ТАМ ПЕРЕСТРАИВАЮТ?!»

Троцкий говорил: Сталин бьет своих оппонентов не по их идеям, а по их черепам.

Газетчик кричит:

— Шесть условий Сталина — три копейки! Шесть условий Сталина — три копейки!

Прохожий спрашивает:

— Почему так дешево?

— А все правильно: каждому условию — грош цена!

Англичане удивляются: как это в Советском Союзе люди добровольно подписываются на заем? А Литвинов им говорит:

— Подумаешь, заем! У нас собаки сами горчицу лижут.

Англичане опять не верят: не может того быть, чтобы собаки сами горчицу лизали!

— Дайте мне собаку и горчицу! — говорит Литвинов.— Я вам покажу.

Ему дали. Он мазнул собаке под хвостом горчицей. Собака стала зализывать.

— Вот видите! А вы не верили. Так и заем у нас.

Автомобиль свернул на улицу Воинова (которая идет от Смольного, мимо Большого дома).

— Правительственная трасса! — тихо говорит шофер лейтенанту.

— Правительственная трасса! — шепчет лейтенант полковнику.

— А почему шепотом? — спрашивает шепотом полковник лейтенанта.

— А почему шепотом? — спрашивает шепотом лейтенант шофера.

— А я вчера пива холодного выпил,— ответил шофер.

Разговор в тюрьме.

— Ты за что сидишь?

— За то, что ругал Радека.

— Ты за что сидишь?

— За то, что хвалил Радека.

— А ты за что?

— А я сам Радек.

Рабинович, что вы все ходите и ходите — вы же все равно сидите!

В тюрьме.

— За что сидишь?

— За кражу автомобиля. А ты?

— Ко мне пришли и сказали: «Уберите портрет этого негодяя». А я спросил: которого?

Звонок в дверь. Брежнев подходит, вынимает из кармана очки, бумажку и читает:

— Кто там?

Брежнев выступает по телевидению.

— По Москве распространяются ложные слухи, будто вместо меня в машине возят чучело. Заявляю ответственно: это клевета! На самом деле вместо чучела возят меня.

Брежнев играет с внуком.

— Ты кем хочешь быть, когда вырастешь?

— Генеральным секретарем!

— А зачем нам два генеральных секретаря?!

(Точно такой же анекдот рассказывали западные немцы про престарелого Аденауэра; только там было не «генеральный секретарь», а «канцлер»...)

В ФРГ Брежнев встречается с местным политическим деятелем Хойзингером. Тот спрашивает Брежнева:

— Как вы относитесь к Брандту?

Брежнев:

— А кто такой Брандт?!

На следующий день его советник говорит:

— Ловко вы вчера Хойзингеру ответили!

— А кто такой Хойзингер?

Пятую звезду Героя Брежнев получил посмертно — за освобождение Кремля.

Брежнев вернулся с того света. Едет по Москве. Видит — огромная очередь.

— Это за чем стоят?

— За водкой.

— Ну, при мне столько не пили.

Начальство беседует с Королевым.

— Вот американские космонавты на Луне побывали. А мы... Отстаем, товарищи!

— Да, знаете ли, были трудности.

— Мы решили обогнать их. Полетите на Солнце!

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1990, № 2.

Другой спрашивает:
— А зачем тебе «Красная гвоздика»-то?
— А как же, я с дамой!

— Почему врач работает на полторы ставки?
— На одну — есть нечего, а на две — есть некогда.

Общее собрание в колхозе. На повестке дня два вопроса:
1. Ремонт сарая.
2. Построение коммунизма.
Председатель колхоза говорит:
— Досок нет. Перейдем сразу ко второму вопросу.

— Почему жизнь все время дорожает?
— Потому что она не является предметом первой необходимости.

Вопрос армянскому радио:
— Будут ли деньги при коммунизме?
Отвечаем:
— У кого будут, у кого нет.

Диктор ТВ: «По I продовольственной программе вы увидите бутерброд с красной икрой, владельцы черно-белых телевизоров увидят бутерброд с черной икрой».

Дай тебе Бог всего, чего хочется,— и без очереди!

Из собрания
Владимира БАХТИНА

Поиски и находки

Петр СВИРИДЕНКО

ЗНАМЕНИТОГО ДЕДА ВНУК

Зденка Маркова — научная сотрудница краеведческого музея старинного чешского города Нове Место на Мораве — прислала мне несколько документов периода первой мировой войны: репродукции двух фотоснимков и копии двух публикаций из местной газеты «Горацке новины». Она просила показать снимки в советских музеях: не удастся ли «опознать» упоминаемого в газетных сообщениях одного из русских с очень громкой фамилией.

И я отправился в поиск, оказавшийся не простым и довольно долгим...

Слух о том, что 16 апреля 1915 года по улицам будут конвоированы четверо русских военнопленных и среди них — молодой князь и молодой граф, разнесся с быстротой молнии. Любопытных собралось великое множество. Но, судя по газетной публикации, интерес к князю, как и двум пленным из простого сословия, был невелик. Всем хотелось, прежде всего, взглянуть на графа. Однако и он интересовал горожан не сам по себе, а как внук знаменитого русского графа, «писателя и философа», чье имя — Лев Николаевич.

Вели пленных под усиленным конвоем. Более того, попарно они были связаны по рукам (правая одного, левая другого). Такая мера была предпринята, видимо, потому, что до этого «граф Толстой» уже дважды убегал из лагерей военнопленных. Выглядели пленники прилично, однако не так, «яко грабата небо книжата» (по-чешски «грабе» — граф, «книж» — князь). Денег и продуктов у них было достаточно. Имели они и топографические карты данной местности. Их привели к железнодорожному вокзалу...

Прошло несколько дней. Не успели еще утихнуть разговоры о русских военнопленных, а газета преподнесла еще одну новость. Она сообщила, что граф Толстой и его компаньоны вновь «упрхли» (убежали). Из барака они проделали «тоннель» в сторону проходившей рядом дороги и — были таковы!..

Я долго всматривался в присланные мне фотоснимки. На одном — пара пленных под конвоем австрийских солдат, на другом — еще одна. Кто же из них «граф Толстой»? Не этот ли рослый, немножко сутуловатый, с крупными чертами лица, шагающий, как мне показалось, особенно уверенной, твердой поступью?.. Поиск осложнялся еще и тем, что в чехословацких материалах имя внука Толстого указывали по-разному: Алексей, Михаил, Лев.

Послал снимки с кратким пояснением в Москву — Государственному музею Л. Н. Толстого. Прождал несколько месяцев — ни ответа, ни привета. Обидно: такое солидное учреждение.

Зато неоценимую помощь оказал мне ветеран Дома-музея «Ясная Поляна» Николай Павлович Пузин, заслуженный работник культуры РСФСР. На письма он отвечал без малейшей задержки, а когда находился в больнице, ответ так же незамедлительно прислала его жена. Их вниманием я тронут до глубины души.

По совету Николая Павловича я обратился в Москву к правнуку писателя — Олегу Владимировичу Толстому. Он ответил: «...В семье Ильи Львовича, моего деда, только старший [сын] был офицером и участником первой мировой войны — Андрей Ильич Толстой. Он георгиевский кавалер (полный) и был награжден золотым георгиевским оружием. В плену он не был».

Осечка. Но Пузин помог мне одной, весьма существенной «подсказкой» — ссылкой на заметку «Внук Л. Н. Толстого», опубликованную в «Русском слове» за подписью Ильи Львовича, в ту пору военного корреспондента этой газеты. Похоже, что заметка явилась ответом на многочисленные вопросы читателей.

Оказавшись через некоторое время в столице, я разыскал в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина эту публикацию — колонку в девяносто восемь строк. Из нее узнал, что внук Л. Н. Толстого, сын автора заметки — Михаил, юнкер Тифлисского военного училища — летом 1914 года был зачислен вольноопределяющимся в 9-й Ингерманландский пехотный полк и с началом войны отбыл на фронт. Несколько раз принимал участие в разведке, где, как он сообщал отцу, «было очень интересно, совсем как на охоте». Но во время одной из рискованных разведок он попал в плен.

Иногда, преодолев препоны австрийской цензуры, к отцу приходили его письма. В одном из них Михаил писал, что на него, внука Толстого, «многие ходят смотреть, как на слона в зоопарке». Отцу известно, что он дважды убегал из лагерей военнопленных (об этом говорится и в упоминавшемся сообщении газеты города Нове Место). Прошел даже слух, что Михаил уже находится в расположении своих войск и отец надеется на скорую встречу с ним. «Зная свободолюбивый и смелый характер сына,— пишет И. Л. Толстой,— я его приключениям не удивляюсь. Иначе он и не мог поступить». Как тут не вспомнить смелого, свободолюбивого Жилина из «Кавказского пленника»! Внук следует примеру литературного героя своего деда...

Однако после третьего побега, когда Михаил и его товарищи «упрхли» через подкоп, он, видимо, был заточен основательней. Из плена ему удалось вернуться только после победы Великого Октября — в 1918 году, о чем имеется запись в «Дневниках» Софьи Андреевны Толстой за 24 ноября: «Поздно вечером пришли со станции мои три внука Ильичи: Миша, побывавший в плену четыре года, Андрюша, георгиевский кавалер, и Володя». Из этой книги я узнал и даты жизни Михаила: 1893—1919.

Итак, имя, возраст и некоторые другие биографические сведения о Михаиле Ильиче Толстом известны. Но это — полдела: меня ведь просили еще «опознать» его на снимке.

Надо опять обращаться в музей Толстого. Не надеясь на письменный ответ, я решил при очередной поездке в столицу зайти туда и поинтересоваться, нет ли изображения Михаила среди многочисленных фотографий членов семьи писателя.

Звоню по телефону в библиотеку музея, излагаю суть дела.

— У нас ремонт,— ответила сотрудница, но тут же добавила: — Здесь сейчас находится профессор Розанова, она много лет изучает жизнь и творчество Ильи Львовича Толстого. Может, она поможет.

Помогла. Да еще как!

Сусанна Абрамовна сообщила мне домашний адрес, номера домашнего и служебных телефонов правнука Льва Николаевича — Никиты Ильича Толстого, доктора филологических наук. Однако в Институте славяноведения и балканистики АН СССР, где он работает, и в МГУ, где преподает, его не оказалось. Звоню домой.

— С удовольствием бы встретился с вами,— сказал он,— но через несколько часов отправляюсь в экспедицию.

Новой поездки в Москву в обозримом будущем не предвиделось, и я послал ему для «опознания» оба чешских снимка.

Встреча наша еще не раз срывалась: то он оказывался в командировке, то был болен. Однажды все же удалось связаться с Никитой Ильичом по телефону, и он сообщил радостную для меня весть:

— Знаете, моя мама, взглянув на ваши снимки, отобрала один и уверенно сказала: «А вот это Миша». Да, тот самый, как вы и предполагали.

Сердечно благодарю Никиту Ильича и его маму. Торжествую. А потом охладеваю: телефонного подтверждения показалось мало. Захотелось услышать эту весть, как говорится, из первых уст.

Не скоро, но мы встретились все же в домашней обстановке с Никитой Ильичом и его доброй мамой Ольгой Михайловной. Приятно было услышать от нее долгожданные слова:

— Да, вот этот самый и есть Миша...

Но откуда у жителей провинциального городка, затерявшегося в дебрях Чешско-Моравской возвышенности, такая осведомленность об «известном русском писателе и философе»? По тому, какой интерес проявляли горожане к внуку, можно предположить, что они основательно «наслышаны» и о деде. А может, даже и «начитаны».

Нежданно-негаданно получаю из Нового Места письмо, где Зденка Маркова, словно разгадав мысли на расстоянии, подтверждает мои предположения...

Всего в пяти километрах от города,

— Так ведь там десять миллионов градусов!
— Вы что думаете — в ЦК дураки сидят?! Ночью полетите!

Начальство собирается к рыбакам. Звонят:
— Рыбу жарите?
— Нет.
— А почему?
— Да рыбы нет.
— Ну вот что. Вы пока жарьте, а рыбу мы с собой привезем!

Министерство путей сообщения разделено на два: Министерство — Туда и Министерство — Обратно.

XXI век. У обрыва реки стоят дедушка и внучек.
— Дедушка, а правда, что здесь когда-то была атомная станция?
— Правда, внучек, правда,— сказал дедушка и погладил внучка по голове.
— Дедушка, а правда, что она взорвалась?
— Правда, внучек, правда,— сказал дедушка и погладил внучка по второй голове...

— Как живешь?
— Как трамвай № 4: по Голодаю [1], по Голодаю — и на Волково [2] (анекдот 40-х годов).

— Как живешь?
— Как пуговица: каждый день в петлю лезу.

— Как живешь?
— Как в сказке: чем дальше, тем страшнее.

Стук в дверь.
— Здесь живет Рабинович?
— Нет, он не живет здесь!
Через некоторое время, походив по лестнице, человек снова стучит в эту же дверь.
— Здесь живет Рабинович?
— Нет, он не живет здесь!
Третий раз звонит.
— Скажите, вы — Рабинович?
— Да, я Рабинович.
— А почему же вы говорите, что не живете тут?!
— А разве это жизнь?

Вся наша история: культ — просвет, культ — просвет.

— Можно ли писать «сталь»?
— Можно. Но лучше «хру-сталь».

Надпись на Мавзолее: «Здесь с 1953 по 1956 год товарищ Сталин скрывался от Временного правительства».

Надпись на Мавзолее: «Здесь в годы культа личности Хрущева скрывался И. В. Сталин».

Еще один вариант надгробной надписи: «И. В. Джугашвили, участник Батумской демонстрации 1904 года».

После ноябрьского Пленума 1962 года о разделении партийных органов мгновенно появились анекдоты, выявившие нелепость этого решения.
— Почему у царского орла две головы?
— Одна по сельскому хозяйству, другая — по промышленности.

— Слышали? В Англии теперь две королевы: одна по промышленности, другая — по сельскому хозяйству.

При Хрущеве. Встречаются в море два корабля. Один из СССР направляется в Израиль, другой из Израиля в СССР. Пассажиры сгрудились вдоль бортов, и все крутят пальцем около виска.
— Что это у вас — национальное приветствие такое? — спрашивает иностранец.

— Ты читал сегодня передовую «Правды»?
— Нет. А что там?
— Ну, знаешь, это не телефонный разговор!

Встречаются сотрудники ЦРУ и КГБ. Сотрудник ЦРУ говорит:
— В последнее время вы нас здорово бьете! Вот на Кубе, в Никарагуа. Но как вы просадились на операции в Ливане?
— Что-то не знаю ничего об этом. А когда это было?
— В сентябре.
— В сентябре? А-а! Так мы тогда на картошке были!

— Как оформить выход из партии?
— Надо получить рекомендации двух беспартийных.

Начинается революция. Старуха, внучка декабриста, спрашивает:
— Что там такое происходит на улице?
Ей говорят:
— Революция!
— А чего же они хотят?
— Они хотят, чтобы не было богатых.
— А мой дедушка хотел, чтобы не было бедных...

Из собрания
Владимира БАХТИНА

---
[1] Остров в дельте Невы.
[2] Одно из ленинградских кладбищ — по названию местности.